

6

НОВАЯ МИР

НОВАЯ
МИР

1967

6



1967

И Н Т Е Р В Ю Д И Т Ъ М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIII

№ 6

Июнь, 1967 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
КАЙСЫН КУЛИЕВ — Из книги «Кизилловый отсвет», стихи. Перевел с балкарского Н. Гребнев	3
С. ЗАЛЫГИН — Соленая Падь, роман. Окончание	5
ИЗ СТИХОВ БЕЛОРУССКИХ ПОЭТОВ — Анатолий Вертинский. Горе — не беда... Перевела Светлана Евсеева. Простые люди узнать хотят... Перевела Р. Казакова. Косим траву — она не кричит... Перевел В. Чекин. — Аркадий Кулешов. Еще о друзьях. Перевел Яков Хелемский. — Пимен Панченко. При свете молний, Отплывает белый теплоход... Перевел Яков Хелемский	117
ЕВГЕНИЙ СНЕГИРЕВ — Роды мне три сына, рассказ	122
И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ — Из записной книжки	131
ОЯР ВАЦИЕТИС — Эйнштейн, стихи. Перевел с латышского Ал. Ревич	134
ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ — Костел в Скарышеве, рассказ. Перевел с польского А. Марьямов	140
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
С. М. АЛЯНСКИЙ — Встречи с Блоком (Из записок издателя). Предисловие Конст. Федина	159
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ЛЕОНИД ИВАНОВ — Новые времена — новые заботы	207
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
<i>По страницам иностранных журналов</i>	
Р. Орлова — Молодые левые	229
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Л. ЛАЗАРЕВ — Это стало историей (Заметки о томе «Литературного наследства» «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны»)	235

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	251
Овидий Горчаков. Доктор Вера — настоящий человек.— Л. Левицкий. Душа действительности.— Е. Гинзбург. Цвет времени.— Ф. Левин. Детский дом в Краесветске.— Р. Райт-Ковалева. История одной биографии.	
<i>Политика и наука</i>	265
Л. Абалкин. Труд и его проблемы.— А. Литвин. Книги о гражданской войне.— К. Микульский. Социалистическая экономика сегодня.— А. Писаренко, А. Обозов. Размышления над аксиомами.— А. Каждый. Библия — это значит «книги»...	
КОРОТКО О КНИГАХ — Д. Руднев. Сбереженное людьми и временем.— А. Вербицкий, Е. Ефимов. Сердце чекиста.— Расул Гамзатов. Мулатка.— Ю. И. Семенов. Как возникло человечество.— Николай Родичев. Цветы отцу.— Лидия Либединская. Зеленая лампа.— Д. Б. Шелов. Ганнаис — потерянный и найденный город.— В. Польшин. Мама, папа и я.— Взаимодействие литературы и изобразительного искусства в Древней Руси.— Ю. Фиалков. Ядро — выстрел! — Н. Д. Волков. Театральные вечера.— Ник. Зарудин. Закон яблока.— А. Н. Рубакин. Похвала старости.— А. П. Квятковский. Поэтический словарь.— Дэвид Уэбстер Акулы-людоеды	278
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

КАЙСЫН КУЛИЕВ

★

ИЗ КНИГИ «КИЗИЛОВЫЙ ОТСВЕТ»

С балкарского

Горят везде кизила гроздьа.
Вершины красны, даль красна.
Кизила свет на спинах козьих
И на папахе чабана.

Ложится яркий свет кизила
На бесконечные луга.
Его горенье озарило
Вблизи — стога, вдали — снега.

Горит кизил, и отсвет алый
Всепоглотившего огня
Застыл на валунах и скалах,
В глазах и в сердце у меня.

И кажется, что без пощады
Все беды он сожжет дотла.
В горах не будет больше града,
В сердцах не будет больше зла.

Горит кизил, его горенье
Уже прокрасило насквозь
В чуть розоватый цвет свершенья
Все то, что в жизни не сбылось.

И как давно уже не пелось,
Поется мне. Я так пою,
Как будто бы кизила зрелость
Вернула молодость мою.

* * *

Я не могу сказать: «Мне все равно,
Что будет в мире после нас твориться!»
За кладбищем, где тлеть мне суждено,
Пусть сад цветет и поле колосится!

Ты, мир, меня жалел не больше всех.
Когда уйду, других жалею и радуй.
Пусть дождь идет и пусть шумит орех
Листою за кладбищенской оградой.

Я не скажу: «Пусть мир летит с основ,
Когда я буду истлевать в могиле!»
Из мира уходя, подобных слов
Ни мой отец, ни мать не говорили.

* * *

Говорят, дурные вести чаще
К нам приходят в предвечерний час
Вместе с грустным солнцем заходящим,
Вместе с тьмой, что настигает нас.

Злые вести, путь проделав дальний.
В сердце нам проникнуть норовят
В час, когда ручьи текут печальней
И грустнее ветви шелестят.

Даже птица в небесах блуждает,
И река в песках теряет путь.
Ищущая цели весть дурная,
Заблудись и ты когда-нибудь!

Перевел Н. Гребнев.



С. ЗАЛЫГИН

★

СОЛЕНАЯ ПАДЬ*

Роман

Глава двенадцатая

Мещеряков вывел полки на большак севернее Моряшихи, рассуждая, что если белые еще не заняли это село — он даст им бой на марше, устроит засады. Если же Моряшиха уже под белыми — сделает на нее нападение.

Вообще-то Моряшиха была удобная, чтобы ее внезапно взять: близко подходил к ней бор, а из степи — увал, еще с одной стороны — займище с озерами, густыми камышами и кустарником.

Противник оказался уже и в Моряшихе, и на подходе к ней по большаку с полустанка Елань. На один из таких отрядов Мещеряков и ударил значительно превосходящими силами.

Отряд был с полноценный батальон, хорошо вооруженный, с обозом. Он быстро развернулся, занял оборону, но был уничтожен почти полностью, уйти удалось конному взводу и нескольким офицерам. Пленных не брали.

Когда с севера еще подошли белые, Мещеряков боя не принял, отступил. Его стали преследовать, а он в удобном для этого месте сманеврировал и нанес контрудар. Белые вернулись на большак, Мещеряков — тоже. Стал их преследовать. Азартно воевал. Отчаянно.

Дрались партизаны в этой и в других стычках — представить невозможно, как храбро! Все — как один, один — как все. Революция! Народная война. Сами за себя вели бои, и результат сказался: вскоре разведка донесла, что противник прекратил наступление на Соленую Падь. Сосредоточивается в Моряшихе.

Правда, тут же взялся откуда-то совсем противоположный слух, коснулся каждого партизана: Соленая Падь взята белыми...

Мещеряков сильно рассердился, хотел арестовать нескольких человек, все равно кого, за распространение слухов, хотя и не знал еще, панический слух это или правильный.

Но слух ни на кого не подействовал, никто в панику не бросился. Больше того — настроенье было победное. Снова удавались Мещерякову победы, хотя и шальные, не настоящие. Они не решали задачи по обороне Соленой Пади, только на моряшихинском направлении изматывали противника, наносили ему сильные потери.

Как в это время действовала вся остальная армия под командованием Крекотеня, Мещеряков не знал. Связь была потеряна.

* Окончание. Начало см. «Новый мир», №№ 4, 5 с. г.

О противнике судить было еще труднее — может быть, он растерялся, может быть, разгадывал какой-то новый план Мешерякова, считал, что партизанский главный намерен бить его поочередно на всех направлениях, начиная с моряшихинского...

А плана-то никакого и не было. Совершенно никакого. Уже до крайности измотавшись в боях, Мешеряков все-таки предпринял наступление на Моряшиху и выбил из села белых. Все произошло быстро и неожиданно для него самого. Но так или иначе теперь можно было и отдохнуть на квартирах, отметить победные бои. И только повесили флаг на штабную избу, как ему доложили: в доме прасола Королева в кадлушке с молоком плавают жирные караси.

— Много? — спросил Мешеряков.

— Вся как есть кадлушка гудить и бурлить! — доложил Гришка. — Во-от такие! — показал руками пошире себя самого. — И дышат и плавают вовсе не кверху брюхом...

— Карась среди рыбы, словно кошка среди животного — страшнo живучая, — кивнул Мешеряков. — Это тебе не то что человек: проткнул скрозь — и нету его. Я вот что, Гриша, я отдохну часок, а ты беги к этому Королеву, накажи, чтобы хозяйка карасю не давала бы в молоке заснуть, еще живым залила его квасной гущей. На сковородке чтобы был карась в гуще и со сметаной — понятно? Пойди, накажи строго, и о другом чтобы беспокоились!

Слышались выстрелы — вытаскивали с сеновалов, из подпольев одиночных белых. Крики тоже слышались. За деревней где-то погуще стрельнули, это — в офицеров. Промчалась, прогудела во всю улицу повозка — кто-то из ездовых перед моряшихинскими бабами и девками уже начал форсить. Нынче вдруг все стало возможно. О том, что самогон запрещен, и думать нечего.

Мешеряков сбросил гимнастерку, рубаху. Нижняя рубаха оказалась потной, липкой, а Мешеряков сильного пота на себе не любил, поморщился:

— Ты гляди, в каждый бой прошибает тебя потом!

Лег и уснул. Но только — очень коротко.

Когда проснулся, сразу почувял — приятное что-то. Гадать не пришлось, в соседней комнате — звонкий такой голос:

— А мы с батей...

Петрунькин голос! Сыночки!

— Дора! — крикнул Мешеряков. — Дора, поди сюда!

Дверные створки распахнулись, вошла Дора.

— Здравствуй, Ефрем! Не раненный ты никуда?

— Никуда. А гнедого в ногу стрелили. И кость не задетая, и не заживает — отдыха нету коню настоящего! Когда случилось, сам забыл уже... — Вспомнил, что случилось во время погони за Тасей Черненко, и подумал: «Однако — прослышала Дора-то, что гонялся я за Черненко. Прослышала и приехала! Было бы из-за чего, а то ведь — тьфу, — язвило бы ее». — Ты какой судьбой? — спросил у Доры.

— С попутными. Еще утрось в Соленой Пади известно было — ты берешь Моряшиху. Приехала. Ребятишек тебе показать. На квартиру куда поставил бы меня, Ефрем. С ребятишками, с Ниночкой неловко в штабной избе...

— Поставлю, — кивнул Мешеряков. — К прасолу Королеву и поставлю. Только я недолго здесь буду, день какой.

И вдруг осенило его: «Вызволить меня Дора приехала. Из нынешней войны. Чтобы чересчур не погружался. Чтобы опомнился». Сам себя спросил: «Опомнюсь, нет ли? Вовремя...»

В каждой стычке Мешеряков нынче шел на гнедом впереди всех,

гнедой еще и другую царапину получил, в мякоть другой ноги, на марше даже прихрамывал, но в бою всякий раз вел себя бодро, уверенно, будто сам по себе, а в то же время повода слушался на редкость как чутко.

Конечно, и гнедого, и его самого тоже могла в любое время достать шальная пуля, но только война не в шальной пуле заключается хотя бы потому, что от шальной уходить не надо, заботы о ней нет — все равно ее не угадаешь.

От шальной пули спасаясь, как раз можно под прицельную себя подставить, которая тебя одного-единственного ждет не дождется. Может — с самого начала боя, а может — с того январского дня пятнадцатого года, когда он в первый раз пошел в настоящий бой, — неизменно ждет его.

В атаке стреляешь, рубишь — противника не видно, видна только его повадка, только его желание убить тебя. Идешь на врага, а он идет на тебя — все равно, в пешем или в конном строю, и тут сразу же надо угадать, кто твой враг среди врагов, кто убьет тебя, ежели только на миг раньше ты не убьешь его.

Распознал — не спускай с него глаз, хотя и нужно еще глядеть, чтобы кто-то со стороны — справа либо слева — тоже не нацелился на тебя. Ищи в повадке его, в каждом его движении — ищи ошибку. В том, как идет он на тебя, как берет тебя на мушку, как поднимает на тебя шашку, — ищи!

То ли он рано поднимет руку, то ли поздно, то ли возьмет влево или вправо, а то — слишком прямо идет на тебя, что-нибудь да сделает слишком, а в этом твоя победа.

На днях, совсем недавно, шел навстречу офицер... Рубака! Он таких, как ты, солдатиков не один десяток научил воевать, он сам вот так же шел на пруссаков и на венгерскую кавалерию, лицо у него — бледное, холодное и расчетливое, глаз — цепкий... Чувал он Ефрема издали, будто рукой уже доставал, горла касался.

«Не верь! — сказал себе Ефрем. — Ни в коем случае не верь, не покажи, что мелькнула у тебя мысль, будто вот этот уже не промахнется ни на волосок! Не покажи!» И не показал. И не он, а офицер допустил самую малую ошибку: поверил Ефрему, будто он перебрасывает шашку с правой руки в левую. А он не перебрасывал.

Ночами, бывало, снилось — тихо и молча приближается человек с шашкой или с пистолетом — безошибочный враг... Не жди от него ничего лишнего, не обманывай: бесполезно.

Но то было ночами, во сне. Наяву же еще ни разу не поверил Ефрем врагу, а сам умел врага обмануть...

И что это нынче он подумал обо всем этом? При жене такие мысли? И офицер вспомнился последний? К чему бы это?..

Дора глядела на него, его узнавала. Живого, невредимого. Поэтому, может быть? В который раз узнавала на бабьем веку?

Помолчав, Мещеряков спросил:

— На Соленую Падь не кидались белые?

— Командир полка соколов их не пускал подойти. Ну и ты не давал ходу с Моряшихинской дороги. Тоже — известно.

— Скажи! А у нас среди армии слух прошел: отдали Падь белякам. Где же они, белые, куда отошли?

— Обрато у наших, у сродственников, война на огаде. Хотя бы отбить тебе Знаменскую тоже, вот как и Моряшиху отбил?

— Сделаем... На Знаменской дороге белые — как?

— Нанесли нам поражение.

— На Семенихинской?

— То же самое...

— Быстро управляют... Ну — конец им один написанный. Здоровьем не страдаешь? Ребятишки здоровые?

Обнял жену рукой. У нее потемнели глаза в узких татарских веках. Говорили, у Доры прадед или прапрадед по матери был татарин, князьком бродячим с речки Алея. И она была белая, светлая, с синими, но узкими глазами, и скулы проступают, и нос как бы придавлен при рождении на кончике — плоский след. Ноздри тоже узкие — темные шелки. Дыхание через них заметное.

— На квартиру бы меня, Ефрем, — сказала Дора еще раз. — И ждут тебя там. — Кивнула на дверь.

— Кто?

— Товарищи! Товарищ Брусенков и еще... товарищ Петров, командир полка, красный сокол.

Мещеряков встrepенулся:

— Что нужно им? Не говорили дорогой?

— Говорили. Ты им нужен. А привез вместе всех Звягинцев, старик. На тройке. Тройка — с его же ограды...

— Сам старик? И управляется, ничего?

— Управляется. Брусенкова с собою рядом посадил на козлы, меня с Петровым товарищем на сиденье, ребятишек в ноги погрузили. Сорок верст не заметили.

— А белые перехватили бы?

— У нас сопровождение было. Две роты мадьярских и еще другие соколы. Из полка товарища Петрова. Их товарищ Петров тоже на коней посадил. Они у него уже сколько дней спасением революции занимаются, им пешим оставаться неловко.

— Как-как?

— Ну, самые, можно сказать, лучшие соколы — они теперь роты для спасения революции и порядка. Среди гражданских и даже среди военных. В Новой Гоньбе облаву среди ночи сделали, все до одного самогонные змеевики побили. Грабителей объявилась шайка на Знаменской дороге — до человека уничтожили, не спросили — белые или красные.

— А ненароком они не меня ли приехали спасти от революции? Или революцию от меня? Ты вот что, Дора, — ты шепни моим эскадронцам, чтобы они к прасоловской избе поближе держались. На всякий на случай. Поняла?

— Поняла... Как же это можно своим не верить?

Мещеряков стал натягивать портупею, подставил Доре плечо.

— Поправь.

Она поправила.

— Ты что же, Ефрем, был уже в прасоловском доме?

— Не был. Но карасы там готовые. Для белого офицерства.

— И прасолиха еще будто молодая. Бездетная.

— Тебе уже известно?

— Известно... — вздохнула глубоко, в дверях снова остановила мужа: — Ефрем! Ты не думаешь ли, будто я, спасаясь из Соленой Пади, приехала? Из страха, что белые возьмут ее?

— Нет, не думаю.

— Ну, и за то слава богу.

* * *

Через час гости молчаливо вошли в прасоловскую избу. Протопали по крыльцу. По сенцам. По горнице. Задвигали стульями, табуретками, после -- долго еще шаркали подошвами под столом, накрытым скатертями, уставленным снeдью.

Появилась хозяйка, стала приветствовать гостей:

— У-у-же чем богаты, тем и... Е-е-ешьте-пейте, гости дор-рогие!

Нижняя челюсть у нее сильно вздрагивала. Она взяла круглый локо-ток одной руки в ладонь другой, подперла подбородок, помолчала и с надеждой глянула на одного из гостей — на командира моряшихин-ского ополчения.

Тот встал, еще встрепанный после боя, после преследования беля-ков по сеновалам и погребам, вытер пот с лица рукавом. Сказал:

— Хочу заверить присутствующих и нашего дорогого командарма товарища Мещерякова Ефрема Николаевича: хотя карасы и все прочее здешнее угощение приготовлено было для белого офицерства, сию мину-ту позорно пораженного в победоносном бою и сильно истребленного, но хозяева Королевы — они все одно не контра. Через их, через этих хозяев, мы схоронили в разное время своих раненых не одного человека, и сами тоже хоронились в ихних помещениях, иначе сказать — успешно скры-вались. И даже когда белые бывали у их на постое, после узнавали от хозяев, какие планы те складывают против нас. А чтобы они в свою очередь выдавали белым наши тайны, то этого никогда замечено не было. Так что провозглашаю за товарища Мещерякова! Ура!

Мещеряков встал, поклонился, огляделся кругом, оглядел хозяйку, сделал ей отдельно небольшой поклон, а тогда и выпил. За ним выпили другие, заговорили.

— Это все правильно.— сказал Мещеряков.— У нас в Верстове, в партизанском Питере, тоже были свои собственные, партизанские же буржуи. Привезем к такому раненого либо здравствующего, спрячем кого,— велим скрывать и ухаживать. Когда не делает — пообещаем пожечь. Добра много, он и бережется от огоньку. А искать — у такого белые не ищут. Не подозревают. Обоюдная польза. Так что спасибо хозяевам за нынешнее приглашение.— Поглядел в черную, прямо-таки смоляную бороду прасола и спросил:— А деньги, назначенную сумму, поди, велели тебе выкладывать партизаны под пенек либо в дупло лес-ное? И не раз?

— И не раз,— подтвердил прасол как будто даже обрадованно.— Не раз! Но только лично наказывали явиться в условное место и лично вручали в самые руки расписку.

— Зачем же лично-то,— удивился Мещеряков,— когда можно без лишних хлопотов! — Протянул прасолихе стаканчик.— Выпьем за хо-зяюшку! Сделайте милость, как зовут-величают?

— Евдокия Анисимовна! — ответил прасол.

— Евдокия Анисимовна! — подтвердила хозяйка, пригубила ядре-ными губами. Дебелая была женщина. Не старая вовсе. Все еще боялась гостей, но уже заметно меньше.

— Мы нонче для всех польза! — сказал прасол.— И белым, и крас-ным, и даже еще какие-то тут бывали, даже им, вовсе неизвестным. Для нас-то польза существует нынче где или нет? И будет ли когда-нибудь, хотя бы не в слишком далеком времени?

— Наверяд ли будет...— вздохнул Мещеряков.— Не в слишком да-леком — навряд ли! Выпьем за свободу, равенство и братство! Оно даже по евангелию и то должно уже вот-вот случиться, не говоря уже о дей-ствительности. Выпьем!

Еще спустя некоторое время Мещерякову сильно захотелось пого-ворить по душам, он огляделся. Рановато было заводить новые знаком-ства, показывать, будто он с кем угодно после первых же стаканчиков готов сидеть в обнимку, и он потрепал Гришку Лыткина по голове. а свою голову чуть склонил над сковородой с жареными карасями, чтобы

лучше слышать карасиный дух и чтобы из поля зрения не пропала прасолиха. Спросил:

— Мертвым себе не снишься, Гриша?

— Ни в жизни! И во сне, и наяву — я всегда живой, Ефрем Николаевич! — ответил Гришка, весь так и подался в сторону Мещерякова, прильнул к нему взглядом.

— Ну и хорошо! Может, для тебя и война эта кончится без снов. Очень может быть. — Похрустел малосольным огурчиком. — А вот старым солдатам, хотя бы и мне, этот период времени, со всякими видениями снов, приходится переживать. И кто его переживет, тот уже солдат, страх снимается как рукой...

— А что же за сны? — спросил Гришка Лыткин с сожалением. Понял, что поторопился ответить. — Что за сны такие — настоящие, военные? Геройские?

— Ну, если опять же разговор обо мне, так на третьем году германской мне ночи не было, чтобы не видеть себя мертвяком. Лежишь застреленный либо пробитый осколком. Нос у тебя синий, даже подошву протертую на сапоге и ту выдать. Одно бывало соображение: раз все это видишь — значит, живой! Вот так с самим же собой ругаешься, доказываешь — живой ты или мертвый... Подлинно солдатский сон.

— Страшно?

— Ну, какой особый страх! Нелепость живому, непокалеченному — и мертвым себе представляться! Противник сколь ни старается, не может тебя убить, начальство тебе за храбрость награды на грудь вешает, а ты сам себе устраиваешь похоронный вид? Глупость человеческая — и только! Хотя и через ее солдат должен пройти и после уже чувствовать себя вольным от страха. То есть быть бесстрашным. Так устроено.

И в это время капелька огуречного рассола упала Мещерякову на галифе. Он быстро вытер руки о полотенце, висевшее позади на спинке стула, одной рукой сильно натянул синее сукно, шелчком другой ловко сбил капельку. Снова пригляделся к плошке с огурцами и к сковородке. Нацелился на небольшой прыщеватый огурчик и на карасика — тоже среднего размера, но жирненького, пухленького, тоже на огурчик похожего.

— Или вот еще, — сказал Мещеряков уже громко, на все застолье, так как все гости слушали его очень внимательно. — Или вот еще: я согласный, что когда исходу не видишь — войей. Ничего особенного — все как один помрем, с войной либо без нее. Выбирай для войны мужские возраста, и пусть они силой и смелостью доказывают свою правду. Если уже на словах договориться не могут. И когда во всеуслышание объявлена война, то и нужно ее делать смелее и как можно лучше для себя. Но вот истязательство — оно на роду никому не написано и происходит от черной души. Я с ним не согласный, ни в коем случае! А если все же так оно случается и с нашей стороны, виновный в нем все одно Колчак, потому что он видит в народе заблудшее животное, которое нужно стегать чем попало, иначе оно не поймет! Он и начал истязательскую войну. Я же бью его и буду бить как раз за то, что он осмелился глядеть на меня таким недопустимым взглядом! — И Мещеряков поглядел на одного, на другого, а на прасолиху — особо. — Надо сделать раз и навсегда, и мы — сделаем. А когда сделаем и будем помирать, то даже молодым не скажем, как обливали народ грязью. Не скажем и про все нынешнее издевательство народа друг над другом. Будут расти и не знать этого! И в прошлом бывало — людей сжигали на кострах. Но таким случаем даже вовсе из ума выжившие старухи и те внучат никогда не пугали. Выпьем за нашу подлинную и справедливую войну, за честных ее героев! А то герои бывают который раз даже не сильно честные! Не понятно, как это в действительности может происходить?

— Ну, ты молодым не скажешь—другие проговорятся!—усмехнулся вдруг Брусенков. Он сидел неподалеку от Мещерякова, ел и пил, до сих пор не проронив ни слова. Ел сноровисто — не то чтобы с сильным аппетитом, но будто бы ему задача была самим собой поставлена: столько-то карасей съесть, столько-то стаканов самогона выпить. Он снимал карася со сковороды за хвост и голову, губами ощупывал спинной плавник, после — узкими, длинными и в каких-то желтоватых пятнышках зубами выдергивал плавник, выплевывал его под стол, а тогда уже быстро, от головы до хвоста, смалывал и всю карасиную спинку. Остальное мясо снимал с круглых карасиных костей неохотно... Вообще-то сник Брусенков в последнее время, становился будто все меньше и меньше ростом. Когда судил на площади Власихина, прямо-таки огромный был человечище... А нынче — совсем незаметный, крохотный, хотя длинное туловище и возвышается над столом, возвышает небольшую рябоватую головку. Что-то случилось с ним. Что-то его давило. Догадываться уже можно — что. Но узнать еще нельзя.

— Другие проговорятся! — повторил Брусенков прерванный было разговор. — Обязательно!

Мещеряков подумал и стал отвечать на этот брусенковский возглас:

— А кому это нужно — признаваться? — Пожал плечами и опять вытер руки о полотенце. — Мало ли что в человеческой жизни бывает, не кричать же вслух обо всем! Тем более наша война — она сама по себе чистая и благородная, такой не бывало еще. Она за окончательную справедливость, и не для кого-то, а именно для народа! Кому же по собственной воле захочется обмарываться?

— Найдутся! — пожал плечами Брусенков. — Найдутся сильно желающие. — И опять Мещерякову брусенковские плечики показались слишком уж тошенькими и весь он — слишком тихим, незаметным, но тут вдруг Брусенков как-то очень проворно и цепко глянул на Петровича, сказал, обращаясь к нему: — Вот возьми и ученую интеллигенцию... Возьми хотя бы ее...

Петрович этого особенного взгляда будто и не заметил, сказал с необычным спокойствием:

— Продолжай, товарищ Брусенков! Интересно!

— Так вот и говорю — разве не сильный от интеллигенции разврат? Память у ее на каждое дерьмо. Кто кого и как истязал, народ не помнит, правильно это было замечено товарищем Мещеряковым, а вот поищи в ихних книжках — найдешь. Написано. Даже не во святости написано, как, скажем, о мучениях Иисуса Христа, а просто так — для интересу. Для обучения отроков. И в нашей нынешней войне они все одно раскопают, кто с кого и как шкуры сдирал. Не обойдутся без этого.

Тут Петрович спокойствие потерял, протянул обе руки над столом, потряс кулачками:

— Книжки надо читать! Читать, а не искать в них бесчеловечность! Кто ее ищет — найдет без книжек! Кто ищет — найдет обязательно!

— Не пишут пусть чего не надо. Тогда не найдет никто. Пусть не угрождают всяческому разврату. А то находятся слишком готовые слушать. Лишь бы плачено было, всё одно — кем и за что!

— Люди родятся хорошие и плохие, — горячился Петрович. — Так что же, из-за этого не родить их совсем? Так же и о книжках можно сказать. За что воюем? За социализм, против заблуждений! Чтобы убрать заблуждения и несправедливость с человеческого пути. Хотим сделать, чтобы пакость отныне не нужна была людям. Чтобы пакостники не нужны им были. Но этого без книги, без той же интеллигенции никогда не сделаешь! Никогда!

Так... Приехали Брусенков с Петровичем нынче по одному какому-

то делу, вместе приехали, но враждовали. Ясно было, что враждовали, даже больше, чем всегда, между ними это замечалось. И, поглядев на них, на того и на другого, Мещеряков решил еще спор поддержать, еще и того и другого послушать. Стал вспоминать и вспомнил один случай. Подумал: можно ли о нем при хозяйке, при молодой еще женщине, говорить? Решил, что можно.

— Могу подтвердить — бывают случаи. У нас в саперном батальоне убило командира, не наврать бы, в феврале, в семнадцатом годе. А денщик остался живой и что сделал? Пошарился в офицерском имуществе. Нашел книжечку, после — за махорку и даже за патроны давал поглядеть другим. Верите ли, там написано, как в разных государствах мужики со своими бабами в постелях обходятся! И картинки при этом! И он, гад, командир батальона, мною командовал, покуда живой был, а я за им этого не знал, а когда его хоронили — шапку перед могилой сбрасывал и давал ему воинский салют, не глядел, что в ту пору у меня в подсумке не более десятка патронов было!

Евдокия Анисимовна вспыхнула, бросилась еще подавать сковороды, Брусенков засмеялся:

— Вот так, вот так, товарищ главком! Мы, народ, друг дружку сразу понимаем, а ей — интеллигенции, — снова кивнул в сторону Петровича, — даже и не сильно нужно это понимание! Вовсе не нужно!

Гости тоже все смешались, командир моряшихинского ополчения — огромный и лохматый — подавился карасем, стал кашлять, прасол сделал вид, что ему случай ничем, разгладил маслеными пальцами борода и спросил, не было ли там еще чего интересного, в имуществе убитого командира батальона, а Петрович протиснулся между Гришкой Лыткиным, который ничего не понял, и Мещеряковым — стал горячо объяснять про науки, про их пользу и необходимость.

В это время доложили, что пришли старики от моряшихинского общества, хотят говорить с главнокомандующим.

— Что за старики? — спросил Мещеряков у командира ополчения. — Что за стародавние порядки? — спросил еще раз и поглядел на Брусенкова. — Или у вас не имеется районного либо хотя бы сельского штаба? Начальника штаба, комиссара, председателя, еще какой комиссии нового порядка?

— У нас все это имеется, товарищ главнокомандующий, — привстав с места, ответил командир ополчения. — Хотя, конечно, все это было сильно постреляно, особенно в последнее, хотя и короткое царствование белых сатрапов, но все равно имеется. Но тут какое дело? Народ, кроме всего, желает еще и стариков. Привычка. Хотя, если вам, товарищ главнокомандующий, сильно недосуг, то им ведь можно сказать — до другого раза.

— Ну, нет, зачем же до другого? — пожал плечами Мещеряков. — Пушай нынче и входят. Поговорим!

Старики, человек пять или шесть, стали в ряд у дверей, один из них — совсем еще бодрый, с длинной и узкой, как мочалка, бородой — поблагодарил за победу над врагом, после откашлялся в кулак, приступил к делу.

— Вы уже, товарищ Мещеряков, не бросайте после совершенного геройства наше селение на произвол! Уже хватит нашим жителям белого насилия, пожжения дворов, побития невинных. Они тут были, сатрапы, обратнo — недоимки еще царского времени взымали. Мыслимо ли? Еще советская власть объяснила: народ за те недоимки своею горячей кровью на германской войне втридорога расплатился с буржуазией, а энти — ни на что не глядят, требуют! И рекрутов молодых в поганую армию призывают. Додумались — в каратели требовать обыкновенных

мужиков и даже вовсе молодых парней! И объездчиков лесных вновь вооружили — ни к одной валежине без настоящего сражения не подступиться! И грозятся еще казачество наделять не из казенных, не из оброчных статей, а из мирской земли. Да обо всем разве сказать? Когда обо всем, то надо сказать так: не за клочок земли, не за кусок хлеба и не за полено дров народом нынче страдаем. Страдаем, что верховный Колчак обратно хочет по всей земле верноподданных рабов поделывать! Это же немисливо для всех нас, товарищ главнокомандующий! И понятно всем! Хотя мы первую советскую власть сквозь собственные пальцы пропустили, но понятие она нам сделала. И просим мы нынче об одном лишь только: покуда невозможно в момент одолеть всю белую силу — то хотя бы по справедливости установить между селениями черед, кому подвергаться, кому быть под защитой своей же собственной народной армии. Мы на этот раз к вам с надеждой! Согласные, как один, родную армию поить-кормить, довольствоваться фуражом, согласные наше собственное ополчение выставять в ночной караул, чтобы товарищи солдаты отдыхали бы в спокойствии, покуда нету истинных военных действий, согласные сделать лазарет для исцеления пострадавших за справедливость, согласные безвозмездно справлять гужевою повинность, а для лазарету доставить сто пар мужеского белья и столь же кусков мыла. Согласные наперед претерпеть которое баловство от товарищей солдат-партизанов, а свою собственную деревенскую контру с глаз не спущать, глядеть за ей строго, лишать ее и пресекать. Согласные еще и еще, чтобы отныне и навеки избавиться от побора и утеснения! Но и к вам, обратно, имеет обчество просьбы: не покидайте селение, не уходите от нас прочь и вдаль! Село наше церковное и базарное, а глядите, что нехристи на каждый заход с им делают, сколь приносят разорения и печали? Примите во внимание, товарищ главнокомандующий, и нижайше вам кланяемся!

Старики все враз махнули бородами, поклонились.

Мещеряков слушал их стоя. После сел. Подумал и обрадованно сказал:

— Ну как же — конские базары здешние я вот с каких пор знаю! — Чуть-чуть показал над столом. — Мы с дядей Силантием, с первым жителем Соленой Пади, — известная у него была фамилия — Дитяткин, Дитяткин Силантий Кузьмич, — так с им, бывало, в Моряшиху наезживали. Торговали коней рабочих и выездных. На бегах — сибирских и киргизских — деньги ставили!

— Выигрывали? — ахнув и подавшись тощим телом вперед, спросил старик с мочальной бородой. — Выигрывали али как?

— По большей части все ж таки выигрывали. Силантий Дитяткин, дядя мой, на коней глаз имел. И меня учил.

— Силантий Дитяткин, он, правда что, — известный был житель в здешней местности. И вокруг далеко. Хотя и не слышать было, чтобы сильно ставил и сильно же выигрывал. Я уже игроков-то зна-ал! Наперечет! А за тебя вот, товарищ Мещеряков, не сомневаюсь: когда не было бы тебе удачи на конях, не было бы ее, обратно, и в военных действиях! Неизменная примета — либо везде, либо нигде! Особенно сказать, на конях делается проверка человеческой удачливости.

— Он у нас сильно удачливый, наш главнокомандующий, — снова вдруг и очень как-то ласково подтвердил Брусенков. — Он у нас фартовый!

— А как же по-другому? — удивился Мещеряков. — Военный без фарту — он кто? Он уже мертвец либо инвалид. Ясно каждому. И вот еще — господа ли, товарищи ли старики, — снова и уже торжественно обратился он к представителям моряшихинского общества, — армия и

народ выражают вам благодарность за вашу сознательность. Горячо выражают, можете этим сильно гордиться. Еще против того, как вы сказали, мы возьмем у вас коней по одному с каждой четырех, и чтоб без обману были годные к военной службе, а не какие-нибудь там козьиногие. Еще озаботиться вам придется насчет зимнего обмундирования армии, то есть поглядеть, чтобы ни в одном дворе более двух полушубков не оставалось, разве только в самых многосемейных. Норму на пимы сейчас не скажу, но она тоже будет, сомневаться не приходится. Что касается нахождения нашей армии в Моряшихе, то подумайте сам — как же это можно? Война идет не из-за одной деревни, хотя бы даже из-за вашей. Идет и за соседние села тоже, и за всю мировую революцию. Так что мы будем находиться, где велит нам воинский долг и революционная обстановка.— Повременил Мещеряков. Пригляделся к тому, к другому за столом.— Но в то же самое время, я так думаю,— продолжил после этой приглядки,— в Соленой Пади может нынче покомандовать главный штаб, а я только на моряшихинском направлении возьму задачу воевать с Колчаком. Так складывается либо может сложиться. На сегодняшний день.

Старики переглянулись, подумали и возликовали; с мочальной бородой старик кинулся Мещерякова обнимать. Тот сказал:

— Рано, отец! Преждевременно. Я вообще говорю, а Моряшиху мы сегодня в ночь можем оставить, не взыщи!

Старик все равно обнимался, Мещеряков из-за его бороды наблюдал за Петровичем. Тот весь изменился, неожиданные были для него эти слова. Брусенков сидел — ничего на лице, и только о чем можно было снова догадаться, что нету между ними никакого сговора, хотя и прибыли они вместе, по одному делу. Странно...

Прасолиха от страха, от смущения избавилась, слушала, что Мещеряков говорит и, главное, как говорит, как рукой при разговоре делает, как брови сводит, как ласковость либо суровость в его голосе звучат... Ну и что же, пусть послушает. Поглядит!

— Королев,— сказал он, обращаясь к хозяину.—Королев, ты уважаю представителя. сделай милость! Хотя места за столом уже нет, я думаю, представители не обидятся, когда им в соседней каморе накроют и хорошо поднесут. Прошу, товарищи старики! Прошу отметить нашу победу, а также дружественное отношение между народом и армией!

Старики еще не ушли в соседнюю комнату, Петрович снова наклонился к Мещерякову, сказал тихо:

— Ну и что же? Не интересуется тебя положение нашей армии, Ефрем? Нисколько не интересуется?

— Интересует. Только я его не знаю. Жду, когда знающие мне скажут. Когда они приехали сказать, а не скрывать.

— И то хорошо, что ждешь. Ну вот и дождался. Сообщаю — твой бывший так называемый комиссар Куличенко увел два полка в Заеланскую степь! Точнее, они его увели за собой, заеланцы, а он — изменил нашему делу, дезертир революции! Интересно, да?

Мещеряков поднял брови, рука у него остановилась над сковородкой с карасями, но ненадолго.

— Давай вот этого еще покушаем,— предложил он Петровичу.— Напополам? Ты рыбы головы хорошо ли глотать можешь? Там внутри очень имеется вкусное место.— И стал это место зубами прокусывать, а сам представил себе Куличенку...

С бородой, с круглым брюшком и сутуловатой спиной. Из кавалеристов. Всю войну провел на коне, а вернулся в Верстово — и года не минуло, выросло на нем брюхо. Он как-то сильно загрустил, все рвался

на коня обратно и с радостью пошел в партизанскую конную разведку. Гонял по степи, рубился лихо, шел все выше, уже был в армии верстовской вторым лицом после Мещерякова. До объединения. А когда верстовская и соленопадская армии объединились, он как-то сник, запросился на самостоятельные действия. Обещал с двумя полками бить противника на Моряшихинской дороге, не пускать его на Соленую Падь. Что обещал, а что сделал? У него и семья осталась в Верстове — куча ребятишек, жена в положении, свои и женины старики родители, не говоря уже обо всем прочем, о политике хотя бы. Куличенке главное всего на свете — командовать и быть командиром. Он им и стал — главнокомандующим заеланской армией. Что не он повел людей, а они повели его за собой — он этого не замечает. «Ведь сколько жил с Куличенкой рядом, — подумал Мещеряков, — с самого ребячества, потом больше года воевали вместе в партизанах, а так и не увидел его. Он ушел — тогда увидел. Понял, почему и как ушел!»

Вино ударяло в голову, кружило. Не пьяный, но жадный делаешься до всего — еще есть и пить желание и всех понять. Кто и что. Понять же было не просто.

— Известно ли тебе, товарищ главнокомандующий, — опять говорил Петрович, — отряд Глухова тоже ушел с нашей территории? Обрати к себе, в Карасуковскую волость?

Этому сообщению Мещеряков уже и в самом деле ничуть не удивился, на карасуковцев он никогда надежд не возлагал, один раз они выступили, налет на белых сделали — большего от них и ждать нечего. Это уже другое дело, что армия Соленой Пади не сумела их выступлением как следует воспользоваться... Вслух он сказал:

— Вот шельмец, Глухов этот, Петро Петрович... Шельмец!

— Хотя белые отошли от Соленой Пади, но собираются с силами в Знаменской, — говорил и дальше Петрович. — Будут вскоре наносить свой решительный удар.

— А что, они нанесут! — согласился Мещеряков. — С них хватит! Силенки есть!

— Не сегодня-завтра! — подтвердил Петрович.

— Я бы на ихнем месте сегодня сделал. Откладывать не стал бы... — Вздыхнул и еще сказал: — А грехов наша армия действительно допустила нынче порядочно... И даже слишком порядочно. На кого-то все эти грехи необходимо зачислить. Так я тебя понимаю, Петрович? Либо не так?

— Отчасти — так...

Это «отчасти» Мещерякова насторожило: не торопился Петрович объяснять общее положение и даже свой приезд в Моряшиху вместе с Брусенковым. И Мещеряков не стал его торопить, стал дальше ждать и смотреть вокруг себя.

Старики представители в соседней комнате уже поднимали в честь главнокомандующего; то одна, то другая борода появлялась в дверях, провозглашала ему здоровья и новых побед.

Евдокия Анисимовна примеривалась к песне, пробовала голос. За окном народ гражданский и армейский тоже гулял. Заводилась гармошка, и не одна — сразу несколько.

Прямо в горницу, к столу, ввалился мужик — не то гражданский, не то армейский, в одних мокрых подштанниках да крест на груди.

Ремешка он аккуратнее не мог найти для святого креста — ремень толщиною в палец, коричневый, сыромятный. Таким стегать кого либо взнуздывать уросливого коня. В руках у него была мордушка, снизу подвязанная тряпицей, в мордушке — караси, с пуд, как не больше. Караси — золотые. Мещеряков просто удивился карасиной расцветке.

В Верстове, да и в других местностях вокруг рыбы по озерам, по речушкам всегда было невпроворот — и линя, и окуня, а карася — особенно. Жарили ее, вялили, готовили впрок. Не то что сетью, или мордушкой, или еще какой снастью ловили — на мелких местах и просто в лужах ребятишки брали ее руками. Говорили так: была бы гина — карась найдется!

Правда, тинный карась уже припахивает, всегда лучше карась из глубокой воды — нежнее, на цвет красивее.

Но такого карасинового золота Мещерякову видеть еще не приходилось — сверкало! Караси то и дело лениво подпрыгивали в мордушке, один выскочил на пол, и мужик отпихнул его босой ногой под стол, он там принялся прыгать еще сильнее, а мужик объявил, что принес рыбки лично главнокомандующему — желает его угостить.

Ему, конечно, не столько нужно было угостить, сколько самому угоститься.

Хозяйка, Евдокия Анисимовна, от этого вида почти что голого мужика — который уже нынче раз — была в замешательстве, но другие гости даже развеселились, а Мещеряков с мужичком чокнулся и отдельно — с его мордушкой. Велел запустить в мордушку руку и вынуть оттуда, из самой глубины, еще одного карася, потому что подумал: мужик этот, шельмец, только сверху золотых, отобранных карасиков положил, для виду. Но карась, вынутый на авось из самой середины, такой же золотой оказался.

Ну и Моряшиха! Не потому ли и названа так, что карась тут водится необыкновенный?

— А за стол я тебя не сильно приглашаю! — сказал Мещеряков незваному гостю. — Все ж таки невозможно!

Ну, он все равно был довольный, мужик: чокнулся с главнокомандующим. И у гостей аппетит от карасинового золота еще больше разыгрался.

Один только Петрович оставался серьезным. Спросил:

— Ефрем, ты мне веришь?

— Покуда не уговариваешь, верю.

— Помнишь, ночью, под Малышкиным Яром, в кошаре хотел я тебя схватить?

— Недавно было, помню.

— Жалею, что не сделал.

— Не понимаешь ты! — сказал Мещеряков. — Это же нужно было — выполнить приказ подчиненного мне Крекотеня, а свои планы и приказы бесчеловечно забыть. Без этого нельзя было. Нет, нельзя было без этого и дальше мне воевать.

— О Крекотене не вспоминай, Ефрем. Ни к чему...

— Убитый?

— Расстрелян.

— Уж не по моему ли устному приказу? Который я тебе все тогда же, под Малышкиным Яром, сказал?

— По этому самому приказу. Да.

Мещеряков глотнул из стакана, вынул платок, вытер лицо... Рассмотрел Петровича заново — буроватого, небольшого, живого... Вспомнил про него, как в бою, в темной улице селения Малышкин Яр, он отчаянно-храбро пострелял двух или трех беляков, хитро их обманув. Вспомнил, что Петрович нынче — чуть ли уже не комиссар при нем самом. Спросил:

— Ты сделал?

— Нет, не я. Я только о твоём приказе сообщил. Правильно ли или неправильно сделал, но только сообщил...

— Он сделал? — кивнул Мещеряков в сторону Брусенкова. — Товарищ Брусенков?

— Он.

Брусенков разговор не слушал, все, что говорил Петрович, ему давно было известно, но тут понял, о чем речь, обернулся, ткнул себя в ворот черной расстегнутой рубахи, кивнул: он и сделал.

— Интересно... — ответил кивком же Мещеряков Брусенкову. — Интересно! А если — по-человечьи: он же тебе дружок был, Крекотень, он же по твоему настоянию оставался в ненужной должности командующего фронтом. Для чего же ты Крекотеня в этой самой должности оставлял — чтобы его фигурой повседневно грозить другим или чтобы при случае самому же и стрелнуть в него? Списывать на него какие хочешь грехи, поскольку должность ненужная? Сможешь ответить, товарищ Брусенков?

— Конечно, смогу, — тихо, как-то очень скромно ответил Брусенков. — Нету того вопроса, на который в здравом уме человек вовсе не может ответить. Конечно!

— Так я слушаю!

— Ты и сам должен хорошо это знать: у каждого командующего должен быть резерв. Как и каким способом он его использует — этого он долгое время не знает, это подсказывает обстановка. Обстановка подсказала.

— Толково... — сказал, подумав, Мещеряков. — Еще вопрос. Обрати к тебе, товарищ Петрович. Кто же нынче командует вместо товарища Крекотеня? Опять же — он?

— Он, — подтвердил Петрович.

А Брусенков точно тем же движением руки снова ткнул себя в грудь и снова кивнул.

Больше Мещеряков узнавал — меньше ему становилось понятным: зачем они оба здесь, Брусенков с Петровичем? Зачем они в сопровождении роты спасения революции? Может, им обоим одного Крекотеня мало? Не хотел главнокомандующий с этим незнанием.

Выпили. Закусили. И как только что Мещеряков представлял себе Куличенку — брюхатенького, лихого, так представил теперь заметно уже седого, но крепкого — косая сажень — Крекотеня. Угловатый был мужик. Неторопливый, совсем не по-военному медлительный. Наверное, потому, что очень уж земляной был. Мужики — все земляные, но тот каждым шагом к земле прирасти был готов... Выбирали летом руководством объединенной армии — он сам хотел сдать высокие командные полномочия, пойти на полк, даже на батальон, вообще пойти, куда пошлют. Но тогда главный штаб Соленой Пади, товарищ Брусенков, этого не допустил.

Прасолиха Евдокия Анисимовна вдруг приладила голос к песне, начала удивительно низко, почти по-мужски:

— Бе-ежал бродяга с Сахали-ина-а-а... Ефрем Николаевич, товарищ главнокомандующий, жду вашего голоса!

— Звери-и-иной у-зко-о-ю тропой... — тотчас пропел Мещеряков высоко и звонко. Поднял стакан, как бы чокаясь с хозяйкой на другом конце стола.

— Ты пойми, Ефрем... — сказал ему Петрович.

— Ну кого тут поймешь? Кого? Понимать — это который раз не для нас, товарищ мой Петрович! Не всегда для нас. Пробовали — делали всеобщие планы военных действий. Не получается. Не выходит. А тогда — пускай идет, как идет... Зве-е-риной у-у-зкою тропой-о-ой, — повторил во второй раз так же звонко и совершенно в такт низкому прасолихиному голосу.

Гости притихли. Услышали голоса, почувствовали сильную песню. — Позор всей твоей жизни, — снова шептал Мещерякову Петрович. — На краю пропасти стоишь. Одной ногой — там...

— Выпили мало. Выпьем — все нам будет ясно. Как божий день! Ну! — И вдруг звонко, голосисто крикнул: — Веселая жизнь! Забавная! — Оглянулся. — Верно, что ли, говорю, Брусенков?

Брусенков, не улыбнувшись, сказал:

— Почто же не верно? — Внимательно присмотрелся к Мещерякову. А Мещеряков сам к себе так же присматривался — то ли он загулял окончательно, то ли нет — не сможет нынче хмель его одолеть? То ли будет и дальше думать, разгадывать, то ли предаться веселью... Все перемешалось нынче — партизанщина!

Но еще спустя время вдруг сказал решительно:

— Извиняйте, хозяева, а мы, по долгу службы, которое-то время должны отсутствовать среди вас. Когда не сильно затруднительно, подайте нам и еще со стола в амбарушку. Карасиков и прочего. Будьте любезны! — Уже от дверей приказал: — Которые здесь находятся командный состав — прошу проследовать за мной!

Хозяйка смолкла на полуслове, он ей снова сказал:

— Мы с вами нашу песню, Евдокия Анисимовна, вскорости допоем! Запросто!

Евдокия Анисимовна и подавала гостям. Амбарушка была прилажена к сенцам, но вход в нее — через ограду, через низенькую скрипучую дверцу.

И Дора тоже подавала.

Она стала на квартиру к прасолу, Наташке велела приглядеть за Ниночкой, сама принялась хозяйке помогать. Вошла в полутьму амбарушки, прищуриваясь, оглядела мужиков. Мужики только что расселись по чурбакам, по скамейкам, уже сильно выпившие начинали все снова... Ефрем сидел спиной к дверям, и Дора только сказала, чтобы он услышал:

— Мужики, мужики! Что с вами будет? — Поставила плошку с огурцами прямо на пол. Еще спросила: — Что будет?

Прасолиха, тоже приладив огромную сковороду на чурбак, тронула Дору за локоть:

-- Пошли?..

В тот миг Дора и хотела толкнуть прасолиху в могучую праздную грудь, не выкормившую ни одного человека. Но вместо того тоже сказала: «Пошли». От прасолихи уже сильно пахло вином, еще — перестоявшей квасной гущей...

Женщины ушли, встал Петрович и сказал:

— Товарищи! Все больше, все сильнее и беззаветнее массы борются с колчаковским игом. Борьба достигла невиданных размеров! А мы? Мы чем дальше, тем меньше имеем революционного права полагаться на стихию! Движение может пойти по разным руслам, может расколоться! Может быть утоплено в крови! Но мы не обуздываем стихию, мы сами стихийно действуем. Я уже товарища Мещерякова ставил в известность, какие происходят печальные события...

И Петрович сказал снова, что Куличенко ушел с двумя полками в Заеланскую степь, что Глухов покинул Убаганскую дорогу, что повсюду, кроме моряшихинского направления, враг наступает, а партизанская армия несет тяжелые потери, что командующий фронтом Крекотень расстрелян Брусенковым, а сейчас временно Брусенков сам командует в крекотеневском штабе.

Все примолкли. Смотрели на Петровича, на Мещерякова. И Мещеряков примолк тоже, как будто обо всем этом впервые услышал.

Но теперь уже пора было не про себя думать, а вслух отвечать.

И отвечать не по-пьяному. С умом. И он откашлялся, встал, пошатываясь. Хмель ударил в ноги, а голова была светлой, даже светлее, чем всегда. Петрович его ждал. Командиры ждали. Брусенков упорно на него глядел... И сам себя Мещеряков тоже ждал.

— Или вы не свидетели, как преступно были переброшены Крекотенем три полка сюда, на Моряшиху, всего за какой-то час до решающего сражения? Или не ваши это были полки? — заговорил Мещеряков. — Или вы не свидетели, к чему это привело? Или никто здесь не понимает, какое имела значение та наша уже полностью подготовленная победа, наша радость и торжество, то есть взятие Малышкиного Яра? И никто не жалеет о потере, не страдает от нее? Тогда о чем же только что говорил товарищ Петрович, как не о последствиях того преступного приказа? Кто же в нем в конце концов виноватый, в том приказе, во всех его невысказанных последствиях? Скажу! Куличенко виноватый — изменил делу, ушел в Заелань и отдал противнику Моряшихинскую дорогу. Скажу! Товарищ Крекотень, командующий фронтом, — виноватый: отдал тот преступный приказ! Товарищ начальник главного штаба виноватый, это я уже понял! Он толкнул Крекотеня сделать преступный приказ, после — расстрелял его за это, хотя и по моему, а не по своему указанию. Встал на его должность, а тогда и потерпел одно за другим поражения от белой банды на многих направлениях. Товарищ главнокомандующий виноватый, что в решающий момент его не оказалось у руководства в хуторе Протяжном. Товарищи командиры полков виноватые, что подчинились приказу Крекотеня немедленно, выйдя из подчинения товарищу главнокомандующему армией. Многие виноватые. А результат? Что же нам нынче нужно делать, что и как? Нам нынче, как никогда, нужна победа, ибо мы можем ее очень просто потерять. Все. Вот вам мой ответ. Я — сказал. Обо всем.

И Мещеряков посмотрел вокруг и вдруг снова и аппетитно стал грызть огурчик. Похрустывал. Командиры — один, другой — посмотрели на него и как будто им только что, сию минуту подали, тоже принялись грызть и хрустеть. Мещеряков выпил — и они выпили.

Не пил и не грыз только один Петрович. Удивленно глядел на Мещерякова. Глядел долго, потом наклонился к нему, с тем же удивлением спросил:

— Так ты что же, Ефрем, ты все понимаешь, да? Все как есть? Всю обстановку?

— Конечно! — ответил ему Мещеряков. Про себя же подумал: «Непонятно одно — почему ты здесь с ротой спасения революции, дорогой мой товарищ комиссар?»

Все знали, кто теперь должен заговорить, — комполка двадцать четыре должен был это сделать. Его и ждали.

Он всегда-то был заметный. Высокий, кудрявый — первый парень на деревне — комполка двадцать четыре призывался в армию в девятьсот шестнадцатом году, еще мальчишкой, еще молоко на губах не обсохло, но только-только успел понюхать германского пороха — и сразу вырос. Кинулся в революцию, при Временном правительстве по первому же закону о введении смертной казни на фронте был приговорен к расстрелу и дезертировал; когда вернулся домой, в Знаменскую, — стал сразу же совдепщиком, а с начала партизанского движения пошел в отряд Крекотеня. Крекотень его любил, как родного сына. И не напрасно — было за что. Выдвинул на командование полком — тоже не напрасно.

Ему было годочков двадцать один, двадцать два — не больше. Он поправил чуб, начал привычным к речам голосом:

— Товарищи! — Резко обернулся к Брусенкову, даже нагнулся к нему и, будто забыв о своем намерении говорить речь, стал говорить

только ему одному, но громко, во весь голос: — Мы, народ, нонче боремся ради победы над ненавистным врагом. И самое необходимое нам — победа! Она! А когда так, то мы за тем идем вождем и командиром, который лучше победы достигает, там достигает, где другому она вовсе недоступная! За которым каждый из нас готовый идти на любой подвиг! Тому мы и прощаем, когда он в чем делается виноватый, того хотим над собою видеть так же, как и впереди себя во время жестокого боя. Того мы узнаем с первой команды над нами и прежде всего — с первого сражения. Хочу спросить, кто бы сделал нынешние наши победы под Моряшихой? Товарищ Крекотень бы сделал? Мир праху революционному товарищу Крекотеню, но он бы никогда этих побед не достиг, он, правда что, скорее мог сделать ошибку с нашими полками! А нам не страшны нынче поражения армии в других местах и направлениях, потому что когда мы идем за товарищем Мещеряковым в бой, то этот бой уже станет нашей победой, а в конце концов победа под его руководством будет обязательной и всеобщей, хотя бы и по всей Сибири!

Комполка двадцать четыре, пошатываясь, подошел к Мещерякову, выбил у него из руки рыбий кусок, выдернул что-то изо рта, нагнул, поцеловал Мещерякова в губы. Крикнул:

— Бесстрашному главному — ур-ра!

И подхватили «ура» мадяры, крикнули отрывисто, не очень громко, но четко — так же и кричали, как в тот раз, когда ночью шли в цепях на Малышкин Яр, в короткий, смелый налет... Нестройно, на все лады, прокричали вслед за мадярами эскадронцы. «Ага, — подумал Мещеряков, — здесь мои ребята. Передала Дора, успела, чтобы они поблизости были, здесь они и есть. Вернее всего — предосторожность лишняя, а все ж таки? Береженого бог бережет!»

В доме гости тоже провозгласили. Чуть отставая от других, пропел «ура» низкий голос прасолихи Евдокии Анисимовны. «Могучая!» — опять подумал Мещеряков, зажмурился. Старики, представители моряшихинского общества, вякнули «ур-ря, ур-ря!», а там и еще покотился возглас через ограды и плетни. Теперь поищи, кто первый крикнул, по какой причине?

Загуляла Моряшиха. Сильно загуляла.

Гришка Лыткин обнимал комполка двадцать четыре, его обнимал, а Мещерякову кричал:

— Ефрем Николаевич, Ефрем Николаевич! Выпейте, пожалуйста, за мое контузии, очень контузии ко мне пришлось, очень по сердцу! — И показывал всем синий подтек под правым глазом. — Это, вы думаете, что у меня, товарищ Петрович? Товарищ Брусенков? — спрашивал Гришка Лыткин, в то время как комполка двадцать четыре утирался руками после его поцелуев. — Вы думаете, колчаковец сделал? Нет — это сделал в нынешнем бою наш товарищ главнокомандующий, вот кто!

И криком кричал Гришка о том, как Мещеряков лично втащил пулемет на баню и начал заливать свинцовым огнем канаву вдоль улицы, в которой беляки залегли. Тогда они конным взводом пошли на Мещерякова — а он их огнем! Они в него гранатой, не достали, а он их — огнем! Они стали заходить сбоку, с другого переулка, а он их — огнем! Тут все поняли: вот он — конец Мещерякову, даже всему бою — конец! Стали звать Мещерякова к себе, тащить его за ногу с банки, а он сказал: «Пошли все...» Все равно его за ноги тащили, а он брыкался и угадал каблуком вот сюда — под правый глаз Гришке Лыткину. После — повернул пулемет, на минуту подставил спину противнику, залегшему в канаве, но за эту минуту — огнем по конному взводу! Потом — верхом на коня! «За мной, красные герои!» И только когда выскочили уже за околицу,

Гришка хватился: у него же контузия! Тогда и вспомнил. А теперь уговаривал за свое ранение выпить, покоя никому не давал, уговаривал!

Мещеряков сказал ему:

— Ты, Гришутка, еще молоденький для баловства! Ей-богу! Воевать уже можешь, и совсем неплохо, а баловаться — нет, молоденький еще! Это вот уже нам, взрослым мужикам... — Поглядел на Брусенкова. — Правда, Брусенков?

— Правда, — подтвердил тот, наливая в стакан.

А Петрович снова спросил Мещерякова:

— Понял ты много, Мещеряков. Понял, да. Но как же ты после этого пьешь? Почему — падаешь? Упал окончательно? Боев не было — пулеметчиков за пьянство расстреливал. Нынче в такой момент и сам пьянствуешь! — Поглядел на округлый и розовый рот Мещерякова, в глаза посмотрел, стал спрашивать: — Что в этот час, в эту минуту может случиться в бывшем штабе Крекотеня? Без него? Без никого? Ну?

— Су-у-у-хой бы я-а ко-роч-кой пи-та-лась... — вел низкий, странно певучий голос, пробиваясь в полутьму амбарушки, заполняя ее, — сы-ы-рую во-о-о-ду б я пи-и-ла-а...

Ну и голос же был у прасолихи! Ну и жизнь была нынче в прасолихином доме!

Покуда находились в этом доме, Мещеряков его будто и не замечал. Ел в нем и пил, разговаривал, а по сторонам не глядел. Теперь из дома ушли, сидели в амбарушке, а прасоловские хоромы тут-то представились в подробностях.

Сундук, закованный в железные обручи, стоял в одном углу. В другом — иконы, иконы... Одна богаче другой, а вот посередке — вовсе крохотная черная иконка, невозможно догадаться — чей лик? Особая какая-то, от родителей, или принесенная с богомолья, или беглый каторжник перед смертью завещал ее доброму человеку, а прасол, само собою, считал, что лучше его нету и не может быть никого.

...Канарейка в клетке. Не клетка, а терем с башенкой, как бы умел чирикать, то и сам поселился бы в таком. Но все это — не само по себе, а рядом с карточками.

На карточках происходила жизнь — фотографом была заснята и начиналась с грустной лошадиной морды. Лошадь в станке, одна передняя нога слегка подтянута к брюху, забинтована, а еще располосована вдоль глубоким шрамом. Рядом с лошастью «смирно» стоят двое в халатах: на одном, бородатом, офицерская фуражка, а в руке железный какой-то инструмент — это был, сразу можно догадаться, ветеринарный доктор в военной службе; другой же, крепкий малый с уздой в руке, с фуражкой набекрень, — ветеринарный санитар, он же будущий прасол.

От фотографии будто и сейчас еще пахло конским потом и карболовой кислотой.

Как моряшихинскому парню повезло в военной службе сделаться конским санитаром — неизвестно, зато известно и видно было все, что произошло дальше: он верный глаз на скотину, особенно на коней, в этой службе приобрел и, вернувшись домой, в память наставника своего, ветеринарного доктора, отрастил бороду, а дальше — повел и повел дело, стал торговать скотом и в Понизовской, и в Нагорной степи, и шло у него к тому, чтобы открыть свой собственный конный завод. Уже снимался на карточки в обнимку с призовыми жеребцами, молочным скотом тоже не брезговал, рядом с его бородой были и тяжелые бычьи головы, и коровы в полный рост, с медалями на грудях и лбах. Были тут и похвальные свидетельства от военного ведомства за поставку армии конского поголовья.

На скотину Мещеряков не очень бы и смотрел, не очень ее запомнил, если бы этот плотный ряд не прервался особой карточкой. В коричневом

цвете, крупный — был портрет Евдокии Анисимовны в подвенечном платье и ее супруга в круглой шляпе. Фотография поясная — она сидела, а он, должно быть, стоял позади, чуть возвышаясь над ней. Евдокия Анисимовна выглядела заметно моложе, чем нынче, — лет на десять, на двенадцать, — но все равно была очень похожая на себя нынешнюю, уже тогда полная, будто вот-вот и совсем перезревшая. Лет двадцать пять ей было... Немало. А не перезрела окончательно и по сю пору.

Прасол на карточке гордый, Евдокия Анисимовна — счастливая. «Ну и что? — подумал Мещеряков. — Ну и что? Хорошо, что счастливая. А то бываю которые — не испытывали счастья ни разу, так они очень неинтересные — не знают, чего искать...»

— Су-у-у-хой бы я ко-о-о-роч-кой пи-и-и-та-а-а-ласы!

— Ты же все понимаешь, Ефрем! Почти что все! Как же можешь себе позволять? Как? Возможно ли это? Для тебя? Для всех нас? — перебивал этот голос Петрович, эту несказанную тоску по сухой корочке. — Я тебя тоже понял: ты приказ Крекотеня пошел и выполнил. Как герой. Тем самым доказал, что он был вредным, приказ, никуда не годным. Потому что самое лучшее его выполнение ничего не дало. Доказал ты свою правоту, но ведь и свою слабость тоже доказал. Не смог обиду преодолеть! Личность восторжествовала в тебе, и ты стал ее рабом! Побывал рабом — хватит! Хватит же! Соленая Падь требует спасения! Ты что же, ты все еще не чувствуешь ответственности момента? Слушайте все! — крикнул вдруг Петрович громко. — Слушайте, может, момент этот — роковой для нашего движения, для той самой победы, о которой главком только что так хорошо провозгласил?

— ...И-и тем до-о-овольна-а-я была... — прислушались и услышали командиры.

Гришка Лыткин, еще больше пьянея, глядел на Петровича, будто боялся за него. После перевел взгляд на Мещерякова.

Тот объяснял Петровичу:

— Личность ковыряешь? Что тебе от нее надо? Хочешь, чтобы я воевал, но — без нее? Это невозможно! Хочешь, чтобы я сию же секунду прекратил свою и вообще всю партизанщину — этого нельзя! Каждому делу и занятию, когда они начаты, должен быть свой собственный конец. Нету этого конца — не мешай! И пусть другие, а не только я дадут тебе объяснение!

— Мы скажем! Мы объясним! — снова крикнул тогда комполка двадцать четыре — понял, что это ему главком поручает ответ. — Ребята! Может, поведем Петровича за амбарушку и объясним? Около стенки?

— Дальше уже некуда слушать о своем герое, о товарище главнокомандующем! — поддержали комполка двадцать четыре.

— Надоела канитель!

Петрович еще крикнул:

— Товарищи, может быть, сию минуту, в этот самый миг белые берут Соленую Падь!

А ему снова ответили:

— Победы наши мараешь! Сам сперва столь же белых накроши, после объясняй, как это делается, каким путем!

— Бросьте вы, ребята, — сказал Мещеряков, а четверо уже к Петровичу подошли, окружили его. Пошатываясь, зорко вглядывались друг в друга: кто первый протянет руку, чтобы Петровича — рыженького, невысокого — первым схватить? Первый схватит, а тогда и все остальные за ним. Ждали первого...

— Бросьте, — повторил Мещеряков. — Тут среди нас имеется Брусенков — он может сделать лучше всех. Брусенков! Отработаешь Петровича? Покуда он все еще не окончательно мой комиссар...

А Петрович, все еще стоя среди четырех пошатывающихся фигур, сказал:

— Ты что же, главком, все понял и ничего не понял? Но я все равно вас обоих буду разоблачать! Вы победы имели, это правильно: Мещеряков — в сражениях, Брусенков — в гражданском главном штабе, но революции — ей одних побед над врагами слишком мало! Ей нужны победы над победителями! Над самим собой она требует побед! Чтобы в каждом торжествовало революционное существо, чтобы мы побеждали в себе гадов!

— Ну, зачем же это ты обоих сразу нас подвергаешь? — удивился Мещеряков. — Обоих?

— А для его, для интеллигента, он только и может быть сам хороший со своими вопросами и мыслями, — сказал Брусенков. — Остальные прочие — для его сплошь сиволапые...

— Отставить! — вдруг крикнул тогда Мещеряков. Бешено глянул, потом прикрыл глаза ладонью. Тише повторил: — Отставить... И тебе, товарищ Петрович, тоже!

И Брусенков отставил, и те четверо, которые Петровича окружали, расселись по своим местам, а Мещеряков потянул Петровича за рукав, посадил рядом и спросил:

— Слышишь?

Теперь уже другая была песня:

— Вс-е-е-е от-дал бы, чтоб быть с то-о-об-ою...

Под эту песню успокоились...

— Умный ты, Петрович. А вот скажи — с женой я всю жизнь, вечно, и за полдни каких-нибудь или за неделю ничего от меня не убудет. Но никогда это женой понято быть не может... Никогда! Не то — жадность, не то — сами они не знают, отчего такие? Из жалости, конечно, можно ни на шаг из дома не уходить, так неужели ей жить охота с жалостью?! Ты умный, а тоже не поймешь? Нет?.. Женщин и жен любовь по рукам-ногам связывает, они и от нас того же хотят. Странно! И — чего ради? Никто не знает! Слушай — мне говорили, будто еще до того, как ты стал краснодеревцем, ты еще матросом плавал по морям? Правда, нет ли?

— Не матросом, а механиком, — устало как-то и безразлично ответил Петрович. — На торговом судне.

— И в разные страны?

— В разные...

— Ну-у-у?.. Как же после угадал на сухопутье?

— Попался на перевозке запрещенного груза. Засудили и посадили.

— В тюрьму?

— Куда же садят?

— Потом?

— Бежал. Служил в армии. Под чужой фамилией. Три месяца. Потом — плен. В настоящий-то момент это все какой представляет интерес?

Развертывалась чужая жизнь. Куличенкина и Крекотеня жизни перед тем ушли. Эта — приходила. Была, наверно, даже интереснее его собственной жизни, больше нее. Давно Мещерякову хотелось ее узнать, а тут обстановка: пили!

Но только и хмель не мог заглушить в Мещерякове его настроенности, чуткого слуха, он все ждал продолжения прасолихиной песни. Такие подступали вдруг минуты — он больше ничего не ждал, ничего не хотел, кроме нее. Хмель?.. Не хотел ничего другого слушать, а все-таки спрашивал:

— В каком году бежал из плена?

— В семнадцатом.

— Родную революцию почуял?

— В ту же минуту.
 — И куда угадал? Сразу — в Питер?
 — Не сразу. Из Германии бежал в Бельгию. Бельгийцы наших военнопленных скрывали, помогали им дальше переправиться.
 — Как же объяснил бельгийцам, кто ты, откуда и куда?
 — На французском языке.
 — Знаешь?
 — Жизнь заставит — узнаешь.
 — Выпьем?
 — Черт с тобой — выпьем!
 И Петрович выпил, понюхал корочку, закусил холодным карасем.
 — А ведь можешь?
 — Могу...
 — Карточек у тебя нет? Свою жизнь ты на карточки не снимал?
 — Не сохранились. Полдюжины, может, и было-то...
 — Ты гляди — какого все ж таки я буду иметь комиссара! — вдруг обрадовался Мещеряков. — Хорошего, представь. Завидного! Ну вот что, комиссар, нужно нам все ж таки решить дело. Решить и скорее от него освободиться!

Мещеряков засмеялся громко, весело, потянулся, хрустнув суставами обеих рук, и неожиданно для Петровича, даже для самого себя неожиданно спросил:

— Видишь, какой он нынче у нас — комполка двадцать четыре? Видишь? Молодой, крепкий, по сю пору почти что трезвый! А теперь, комиссар, давай посоветуемся с тобой по вопросу. Окончательно!

— По какому?

— Комполка двадцать четыре! — вместо ответа позвал Мещеряков. — Подойди сюда, комполка.

И пьяные-пьяные, но все враз смолкли. Стали слушать. Стали ждать чего-то особенного. А комполка подошел, козырнул, сказал:

— Слушаю!

Высокий, стройный, сильно выпивший, но все еще трезвый.

— Комполка двадцать четыре! — сказал отчетливо Мещеряков. — От сегодняшнего числа ты будешь в нашей армии комдивом. Все части, бывшие под командованием товарища Крекотеня, объединяю покуда в дивизию, и ты — ее командир! После сделаем из одной две либо еще больше дивизий, чтобы она не была столь обширной и поскольку идет неслыханный приток в нашу армию, а пока что командуй, комдив один! Командуй, держись высоко, сколько подобает народному герою!

Было видно даже в сумраке, как вспыхнул комполка двадцать четыре, как Брусенков взглянул на главкома, что-то сообразил. Все остальные командиры сначала стихли, а потом бросились поздравлять комдива один, заодно и главнокомандующего. Разинул рот Гришка Лыткин, потом завизжал от восторга. А потом все стали ждать: что еще сделает нынче главком?

Петрович опрокинул сразу полстакана.

— Балуй, балуй, главком! Спешит! — Побурел еще больше.

Мещеряков ему не ответил.

— Брусенков! — позвал он тем же тоном, что звал уже комполка двадцать четыре. Даже еще строже.

И начальник главного штаба понял, что должен встать, подойти, козырнуть Мещерякову так же, как только что это сделал комполка, и он встал, подошел, козырнул, не сказал только «слушаю!».

— Товарищ Брусенков! Сопроводишь комдива один до места, поскольку ты был какое-то время за товарища Крекотеня. Сдашь, какие есть, дела, бумаги, все прочее.

— Когда исполнять?

— А сию же минуту!

Комполка двадцать четыре, ныне комдив один, вышел из амбарушки на крыльях.

Брусенков тоже отмаршировал военной походкой, хотя заметно уже пошатывалась его длинная плоская спина. Спешил. Мещеряков только подумал: каким все-таки начальник главного штаба может быть тихим, незаметным и послушным — как вдруг, уже перед самой дверью амбарушки, уже согнув свою плоскую спину, чтобы пройти сквозь, Брусенков снова выпрямился, резко обернулся:

— Ну и что же, товарищ главком, когда же мы с тобою встретимся теперь? — спросил он. Строго спросил.

Мещеряков насторожился.

— Или тебе такая встреча очень нужная?

— Мне — нужная.

— А мне — нет. Нужно сперва сильно побить белых сатрапов, после — можно встречаться для разных разговоров и воспоминаний. Раньше ни к чему. Устранимся на какое-то время друг от друга.

— Я думал... — сказал Брусенков, снова соображая что-то, снова становясь требовательным и строгим.

— Кр-кругом арш! — крикнул Мещеряков, чуть приподнявшись со своего чурбака и опираясь на него одной рукой. — Айн, цвай, драй!

Брусенков стоял прямо, строго по форме. По форме же сделал кругом арш, снова согнул плоскую спину, приподнял на спине лопатки и вышел.

Чуть спустя Петрович сказал:

— Так я тебе объясню, Ефрем, где между вами возникнет геперь разговор. Где и когда.

— Ну?

— На съезде. На предстоящем Втором съезде Освобожденной территории. И вот там Брусенков уложит тебя на обе лопатки. И ты — умный и храбрый — пальчиком не сможешь пошевелить. Потому что — виноват и с каждой минутой становишься все виноватее. И — глупее!

— Не угадал. Нет, не угадал! — засмеялся Мещеряков.

— Съезд потребует ответа — почему нас нынче бьют на всех направлениях? Почему расстрелян Крекотень? Почему главнокомандующий бросил армию, загулял в Моряшихе? Почему, почему, почему? И ты — не ответишь. Не сможешь!

— Даже ни в коем случае этого не будет, товарищ Петрович! Ни в коем! Никто ничего не спросит, кроме предстоящей победы. Слышал — комполка двадцать четыре, ныне комдив один, только что говорил? Он правильно говорил: нужна нам победа, и только она. А все остальное — заслонится одним необходимым и решительным сражением. Нас самих будто вовсе и не случится — случится только оно одно, будут требовать от нас победы, отчета — не будет. Война!

Глава тринадцатая

Все пили и пили в Моряшихе. Гуляли. Уже на вторые сутки шла гулянка.

А в амбарушке разговаривали.

И прасолиха все пела.

Под утро гулянка забылась коротким сном, но все равно Евдокия Анисимовна и в эти часы ходила туда и сюда по лому, по ограде, по опустевшим пригонам, а прасол следовал за ней. Как тень.

Только начали утром доить коров — бабы с прасолихиного двора уже побежали с ведрами по избам: снова собирали молоко и квас. Жарили свежих карасей.

Чуяли: гулянка не кончилась, начнут на прасоловой ограде опохмеляться — и по всей Моряшихе все начнется снова. Может, и не на один это день, может, завтра с утра опять то же самое. И послезавтра.

Вчерашние рыбаки заколели, охрипли и оглохли, разбрелись с озера по избам. Греться самогонкой и спать им теперь уже сам бог велел. Но тут же полезли в воду другие, эти в осенней воде надеялись отрезать, тягали вдоль берега огромный прасолов бредень, тоже дивились моряшихинским карасям, страшным уловам: как бредень притонишь, так и полпуда-пуд карасей. И все одинакового размера, и все — золотые, только иногда мелочь попадалась, так ту в рубахах и подолах тащили парнишки и девчонки для кошек.

Вода в озере сделалась черной от взмученного ила — деготь и деготь. Табуны диких уток метались над озером, потеряли покой. И домашние утки тоже галдели, махали крыльями, будто порешили убраться восвояси куда глаза глядят, но только убраться было некуда, летать им не дано, и доброму десятку уток и селезней, которые были пожирнее, рыбаки тут же свернули головы. Помимо карасей, захотелось рыбакам утятини.

В амбарушке воздух стал тяжелее, так Гришка Лыткин распахнул дверцу, и с улицы тянуло внутрь, заносило желтые березовые листочки в капельках росы, в белых жилках. Березы стояли тут же, за амбарушкой, высокие и тихие. Сыпали листвой на кровли, на пустынные нынче скотские загоны и конюшни прасоловской усадьбы, на почерневшую от заморозков картофельную ботву, на крапиву и самосевную коноплю.

Мешеряков, облизывая губы, время от времени припадал к стакану. Красный был. Потный. Ремень и португею сбросил, сапоги — тоже. Сапоги стояли в порядке — пятками вместе, носками врозь, сверху — портянки.

Утром приходила Дора.

Как раз в то время двое или трое командиров жгли в черепушке самогон, спорили — горит или не горит. Худенький самогончик сунул пьяным прасол или настоящий? В черепушке горел синеватый огонь, освещал серьезные, сосредоточенные лица. Самогон был без подвоха.

Еще вчера, после того как Дора заходила в амбарушку вместе с Евдокией Анисимовой, она зареклась смотреть на Ефрема, заперлась с ребятишками в горнице. Пусть Ефрем хоть сгорит в самогонке этой, ее-то какое дело? Но утром не выдержала, пошла и утрашилась:

— Погляди, на кого ты похожий, Ефрем? Погляди на себя.

Он ее обнял.

Дора постояла тихо и недвижно, потом сбросила его руку.

— Слышь, Ефрем, от белых больше спасать тебя не буду. Когда белые тебя схватят, будут убивать — пусть убивают!

— От белых нынче меня не спасай — сам уйду...

Тут встал и в пояс поклонился Доре комполка двадцать два, протянул кружку, стал просить, чтобы выпила хотя бы глоток.

Комполка двадцать два был старше, чем вновь назначенный комдив один, и воевал он на своем веку много больше, и вот — завидовал товарищу. Все об этой зависти догадывались, он и не скрывал ее, а как только вновь произведенный комдив ушел — он тотчас занял его место на теплом еще чурбаке. Все как бы признали место за ним. И Мешеряков признал. С тех пор комполка и сидел на этом чурбаке, а теперь вдруг вскочил и кланялся Доре, подавал ей выпить.

— Все ты сдурел! — сказала она комполку двадцать два. — Все

уже пьяный, что к чему — не понимаешь! Я грудью кормлю, а ты с кружкой со своей тыкаешься! Уйди! Не касайся!

Но у того был свой резон. Пьяный ли, трезвый — но резон, и, ухватив Дору за локоть, он дышал ей в лицо душным самогонным паром.

— Как бы Ефрем-то Николаевич был твоим мужиком, а партизанским командиром — не был? Тогда и дело твое, пить за его либо не пить! А нынче, если благодаря его выходит наша победа, ты что же, брезгуешь? И за дальнейшее водительство над нами нашего Ефрема Николаевича — брезгуешь? Да твой младенец, кабы слово мог произнести — так сию же секунду и благословил бы мать тем единственным словом на чарку!

— Отстань! У меня — дочка. Девочка. Не ваш мужичий толк — женщина родилась!

— Как понять? Женщине-то правое дело и вся жизнь менее милы? Как понять?

Она вырвала из рук комполка двадцать два кружку, коснулась ее пересохшими губами.

Ефрем кивнул — будто доволен остался. А потом кивнул еще раз — показал, чтобы она ушла.

Она ушла.

* * *

Вчера Дора за общим столом была, но недолго — куда от детишек денешься, от Ниночки? Девчонку бы какую кликнуть, чтобы та с Ниночкой час-другой поводилась? Не смогла, застеснялась в чужом доме приказывать. И платья не было, чтобы выйти, сидеть с гостями. Раз-другой показаться можно, а пировать в кофтенке штопаной? Не для этого ехала, не пировать. Но все равно упрекала себя: можно было догадаться, прихватить из Соленой Пади голубенькую пару, была у нее одна, в сундучке вместе с войсковым имуществом повсюду следовала...

В горнице с подушки ей протянула ручонки Ниночка. Наташка с Петрунькой спали тихо, мирно.

А вот вчера был случай — покуда Дора так же на короткое время отлучалась, Петрунька успел, побил Наташку, поцарапал ее рыбьей костью.

Что их мир не взял? У Наташки рука в крови, она в рев, Петрунька злой, нет чтобы сестренку пожалеть — еще грозитя побить. Одна только Ниночка и тогда всем была довольна, так же лежала на чужой подушке, глядела-глядела куда-то, губки цветочком.

Дора же на Петруньку рассердилась, поддала ему. Тот — хныкать. Тогда Дора отошла к окошку, стала глядеть.

Окошко выходило в переулок — видна была какая-то постройка, еще дымившаяся, совсем недавно потушенная. Один угол сгорел, и крыша тоже, но в стены постройки вделаны были кирпичные столбы, вот постройка и сохранилась, не сгорела дотла.

Солома рядом валялась клочьями. Тоже — и горелая и свежая.

Дора сразу поняла, что здесь произошло: в постройке этой белые засели, отстреливались, а партизаны с тыла подползли, солому под деревянные стены подбросили и подпалили. Белые стали выскакивать, их стали стрелять, которых взяли в плен живыми.

Не первый день война, не первый день Дора войну видела. Только подумала так, а тут, огибая другой, лишь слегка тронутый огнем угол постройки, в проулок въехала телега. По бокам торчат простоволосые головы и босые ноги, ноги и головы... Убитые.

За телегой с лопатами, но тоже босые и в одном исподнем идут люди... Пленные. Сперва могилу выкопают, свалят туда убитых, а потом и сами в нее лягут.

Еще позади — вооруженные мужчины, часть верхами, а больше — пешие... Конвоиры.

А Петрунька к этой картине тоже пригляделся и сказал:

— Ты гляди, Наташка, сколь наш тятка белых настрелял? Когда будешь драться — я тебя застрелю тоже!

Дора закричала на Петруньку: «Ах ты, шенок паскудный!» — и со всей силы его ударила. Он от подоконника отпал и взревел во все горло.

Тут приоткрылась дверь, из горницы ворвались веселые голоса, потом показалась Евдокия Анисимовна — раскрасневшаяся, веселая. Прическа высокая, с перламутровой шпилькой, высокая же грудь под розовым, почти что красным атласом и яркие крупные капли бус рассыпаны по груди.

— Ах, какая тут беда?

— Никакой нету! — ответила Дора. — Никакой! Нету! Нету!

Дверь снова закрылась. Почти тут же, в тот же миг и раздался тогда в первый раз голос Евдокии Анисимовны:

— Бе-ежал бродяга с Сахали-ина-а-а-а...

А голос Ефрема ступил живо и звонко:

— Звери-и-ной у-зко-о-ю тропой.

А дальше Дора уже не слышала... Плакала.

Голоса она испугалась прасолихиного: голос тогда слишком громко, радостно и счастливо запел...

Мужчины, те от страха убивают. Испугается один другого, что тот его сильнее либо счастливее, — и убьет. Легкая жизнь! А женщине как быть?

* * *

Прасолиха пела, а Мещеряков в амбарушке слушал. Кончится это пение или никогда не кончится? Тронул Петровича за плечо, спросил:

— Ты вот что, товарищ Петрович, ты в разных бывал государствах, знаешь чужие наречия. Как сравниваешь: сильно мы дикие, мужики? Все-то нам можно — да?

Петрович удивился:

— К чему это тебе — нынче, в таком виде?

— Об этом в таком виде только и спрашивают.

— Разные мы. Слишком разные. Мы с тобой и то разные. Ты — и то.

— Ничуть не удивляюсь, — сказал Мещеряков, — не телята пришли в командиры, в главные и прочие штабы. Пришли те мужики, которые с норовом. Каждый со своим. Каждый устраивает самодельную советскую власть. Хотя она и побыла уже, и дала пример, но еще далеко не достаточный. Еще не настоящая у нас, не фабричная работа, а каждый делает на свой лад. Уже сейчас не жалко кое-что побросать как негодное. Вот так... — Вдруг совсем неожиданно спросил: — Слушай, а ведь я в Протяжном товарища Черненку заарестовал. Что с ней после было? Ты ее случайно не освобождал?

— Освобождал.

— Спрашивал об чем?

— Спрашивал.

— Так, может, тебе стало известно — зачем она тот раз на Протяжный ехала? И кто ее украл?

— Это пока еще непонятно. До конца.

— Вся она непонятная — эта товарищ. Вся!

— Что же — она мешает тебе?

— Кто ее знает...

Мещеряков все время будто о чем-то думал, что-то соображал, а

Петрович следил за ним. За его прерывистым, вдруг погрубевшим голосом. Потом Петрович и еще спросил:

— Ладно. Про Черненко Таисию ты этого не знаешь. Все может быть. А про Брусенкова?

Бурые живые глазки спрашивали и строго, и тревожно, и еще с каким-то живым любопытством, очень приятным нынче Мещерякову, веселым и задорным. «Нет, шельма, не купишь! — ласково подумал Мещеряков, заглянув в эти глаза. — Сперва ты сам должен мне сказать... Когда хочешь быть моим комиссаром, а я тоже хочу быть под твоим идейным руководством!..» И он усмехнулся, погладил Петровича по локматой, тоже бурой головке, теплой и толковой. Толковость эту будто Мещеряков почувствовал на ощупь...

— Про Брусенкова я вчера все сказал. Как заменил он Крекотеня, что и как у него из этого получилось. Или мало тебе?

— А еще? Дальше?

— Дальше, я начальнику главного штаба не судья.

— И дурак! — сказал вдруг Петрович совсем строго и сердито. — Точно — дурак! Не пришло в твою голову — в трезвую и пьяную, — что я за этим за судом, по крайней мере за арестом, Брусенкова к тебе и привозил? Когда он сам взял на себя обязанности Крекотеня. И тем самым полностью стал тебе подчинен, полностью перед тобою ответственным и — подсудным.

— Ты скажи — интересно-то как! — воскликнул тут Мещеряков, отставив стакан в сторону и обеими руками хлопнув себя по кожаным наколенникам галифе. — Ей-богу, интересно! И ведь было дело — догадывался я об этом! Только не до самого конца. Не веришь, что догадывался? Нет?

— Догадывался и отпустил Брусенкова живого-невредимого. И он уже снова — не военный человек, а полноправный начальник главного штаба. Как таковой имеет теперь все, чтобы тебя судить. И будет судить.

— Это очень интересно! — согласился Мещеряков. — Очень! — Спустя время вздохнул и спросил: — Что за умолчание еще существует, товарищ Петрович? С твоей стороны.

— Ошибаешься, товарищ Мещеряков. Нету такого. И не может быть. Иначе я не ругал бы тебя вчера вместе с Брусенковым. Не разоблачал бы тебя и его.

— Ты и под Малышкиным Яром хотел меня заарестовать.

— Нельзя было. Хотя и жалко, что нельзя.

— Почему бы это?

— А толк? Расстрелять тебя — армия останется без настоящего и любимого главкома. Арестовать временно — после этого ты уйдешь с должности сам. И получается — результат один и тот же, плачевный... Вот ведь как получается с тобой...

— Точно рассудил.

— Кроме этого, я тебя люблю, Ефрем. Без умолчаний.

— Почему же сразу и не объявил, зачем привез ко мне Брусенкова? С какой целью?

— Ты сгоряча тут же его бы и хлопнул. Мог бы?

— Сгоряча — все может быть.

— А нужен ревтрибунал. Нужен революционный порядок. Нужно, чтобы ты сам размыслил, пришел к необходимому выводу, осознал обстановку.

Тут Мещеряков протянул руку, еще потрепал Петровича по голове, подождал и слегка обнял его за плечи.

— Сильнейший товарищ! — сказал он тихо и доверительно, а по-

том крикнул в голос: — Ребята! Выпьем за вновь произведенного комиссара всей нашей армии! За настоящего! А то до сей поры было — одни только разговоры, а ничего такого настоящего не было!

Сильно пьяные ребята выпили еще. Которые вчера хотели вывести Петровича за амбарушку, те пили с особым старанием.

Мещеряков спросил:

— Еще вопрос, товарищ Петрович. Самый последний.

— Слушаю, Ефрем.

— Почему ты прибыл ко мне далеко не один? С цельной ротой спасения революции? Почему?

Тут Петрович снова вытаращил бурые глаза, теперь они были до крайности удивленными. Часто заморгали.

— Господи боже мой! — проговорил он негромко. — Так ведь это же был конвой! Я-то считал — как ты этот конвой увидишь, так сразу же поймешь, в чем дело. И уже сам это дело продолжишь. Как полагается!

Мещеряков снова и торопливо хлебнул из стакана, даже плеснул при этом на гимнастерку, снова ударил себя по кожаным коленям, потом тоже вытаращил на Петровича круглые голубые глаза, а тогда и заржал — прерывисто и округляя красный, чуть припухший рот... Верно, что смех его был похож на ржанье — не очень громкое, не взрослое, а жеребячье.

— Это над кем же? — спросил Петрович.

— Ну, ясно — над собой! — ответил Мещеряков, просмеявшись. Потом заговорил неожиданно тихо и недоуменно: — Ведь я об чем только не думал? Что ты намерен меня заарестовать, что желаешь сместить с главного командования либо силой на это самое командование враз вернуть! Одного не мог представить, будто для единственного Брусенкова конвой требуется — цельная рота! И какая рота — красных соколов, спасения революции! Нет, скажи, из какой okazji Брусенков этот обратный вышел? Целый и невредимый! Фартовый мужик! И не военный, а фартовый. — Обождав еще чуть, Мещеряков вытер воротом расстегнутой гимнастерки рот и с сожалением, даже с обидой вздохнул. — А ведь я, товарищ мой Петрович, комиссар мой, судить нынче не могу. Сам виноватый и подсудный. И — немало. Какой же это судья, которому седни же возможно сделать перемену — самого посадить на подсудимую скамейку? Это невозможно, немыслимо. Нет и нет! Тем более когда дело касается Брусенкова — так он плюс ко всему гражданское лицо, значит, гражданские же лица только и могут его судить. Для меня это слишком легкое дело — его стрелить. Слишком легкое!

— Невиновных нынче нет, Ефрем. Что же, и судей тоже нет?

— Судей слишком даже много. В этом — беда. Брусенкову просто стрелить в Крекотня, а когда мне столь же просто будет с Брусенковым? Нет, это не годится, где-то должен быть конец положению. Боремся за советскую власть и перед ней же успели все замараться. Она придет, она и рассудит людей великим умом и справедливостью. Лично я от этого суда устраниюсь. Что-нибудь иное придумаю...

— Что? Что — иное? — спросил Петрович. — Говори.

— Вопрос, мне кажется, нынче уже совершенно ясный. Сейчас поеду в Соленую Падь обратно и разгоню главный штаб. Непонятно? Тогда поясню: кто от меня пуще всех требует победы? Главный штаб, товарищ Брусенков. Кто более других мешает в этом? Главный штаб, товарищ Брусенков.

— И вот Брусенкову ты при таких условиях не судья, а всему главному штабу — да? Ты что — с ума сошел? Р-р-р-революционное дятко!

— Штаб — это служба. Она нынче плохо служит, и за это ей расчет. Разгону Брусенковых и Черненко. Пушай Черненко в окошко прыгает. Со второго этажа, с помещения начальника штаба и прямо в палисад. На кусты. Разгону, чтобы они все вместе не были, а каждый по отдельности они несколько не вредные, а тихие и незаметные, как нынче был уже товарищ Брусенков, когда исполнял команду «кругом арш!». Всероссийскую учредилровку разгнали и то не постреляли ведь заседателей? И я тоже — на уничтожение выбранных народом личностей не перехожу, а лишь устраняю некоторых от должности.

— Главный штаб я под разгон не отдам. Запомни, друг мой Ефрем. Под Малышкиным Яром я тебе уступил. Хватит. Все!

— А может, ты вернешься в Соленую Падь? Со своими ротами спасения? Я же останусь и не сходя с места сделаю Моряшихинскую республику. Временную, военно-революционную, независимую?!

— Преступление.

— Победим — посмотрим.

— Немыслимо!

— Сделать... Тогда будет мыслимо.

— В чем ты прав — это скорее бы тебе, товарищ Мещеряков, дожить до советской власти!

— В этом спасение. И мое и твое. И всех нас. Начать мы и в Негорной и в Понизовской степи начали, но кончить своим умом не знаем как.

— В революции ты не много умеешь, Ефрем, нет!

— Что умею, то и сделаю, товарищ Петрович. И еще тебе скажу: напрасно ты про себя думаешь, будто сделаешь более того, как можешь. Напрасно! Ни к чему это.— И тут Мещеряков стал пристально глядеть в приоткрытую дверцу амбарушки. Долго-долго глядел. Сказал: — Женщины иной раз мечтают, будто они самой кромочкой пройдут и голова у них сохранится. Не получается по-ихнему. Не получается, да и только!

По ограде шла Евдокия Анисимовна. Прямо — в амбарушку. Принесла вазу с печеньем, поставила вазу на пол.

— К чаю...

А самовара-то еще не подавали.

— Ты все ж таки, Евдокия Анисимовна, партизанов остерегалась бы! — сказал Мещеряков.— Меня — особенно.

— Почему это? Разве страшные вы?

— Украду.

— Для чего?

— Хотя бы для песен....

— А жена ваша?

— Единственно...— вздохнул Мещеряков.— Хотя еще есть и прасол твой. Чернобровый, чернобородый.

— И строгий очень. Сурьезный.

— Ну, нынче на всякую сурьезность — война.

Теперь вздохнула Евдокия Анисимовна, сложила руки на груди. Проговорила:

— Война не для женщин... Война началась, да и кончилась.

— На наш век хватит, особенно если не ждать чего-то там, чего сроду не дождешься. А то другие ждут и ждут. Всю жизнь. Ожидание им даже важнее самой жизни! Смешно! Подумай, как смешно! — И засмеялся Мещеряков.

Смех был — словно он совсем не пьян. Будто только что не спорил с Петровичем. Он смеялся звонко в самое лицо прасолихи.

Дослушав этот смех, она вышла из амбарушки, но прической задела за притолоку. Поддержала разбившиеся волосы обеими руками, обернулась в дверях:

— Так война-то давно в нашей местности — и ничего? Ничего же не случилось по сей день?..

Скрылась в доме.

А Мещеряков весь изменился вдруг, стал приподниматься, стал слушать, слушать. Потом сказал:

— Та-ак... Ты скажи-ка, что между тем произошло — пропили мы Моряшиху! Понял? — Но не дал Петровичу вслушаться и пояснил: — Винчестера бьют! Белогвардейские!

В самом деле, пальба была уже заметно погуще той, которая не умолкала все это время по селу, раздавалась то там, то здесь, отмечая победу. Просто так она не умолкала, безо всякой причины, — потому что в Моряшихе было захвачено нынче вооружение и великое множество патронов.

— Гришка-а-а! — вскрикнул Мещеряков, за уши поднял вестового с пола.

Тот заорал, вмиг пришел в себя. Мещеряков крикнул еще:

— Беги, скажи эскадронцам — умчать Дору с ребяташками! Живо! В Соленую Падь!

Хватаясь за оружие, вскакивали и командиры. Заржали где-то кони. Коровы замычали, надрывно взвыла собака за стеной амбарушки.

Пьяный и угарный, неожиданный начинался бой. Натягивая сапоги, Мещеряков приказывал:

— Эскадрон — в обход противника, через бор, через бор! Раненых, пьяных — в телеги! Двадцать второй полк! Эвакуируешь трофейное оружие, держишь оборону повдоль озера! Быстро!

Комполка двадцать два, не то отрезвевший, не то еще нет, пожилой, небритый, растрепанный, с наганом в одной руке и поясным ремнем в другой, лаял батальонного командира, требовал коня, оглядываясь на Мещерякова, кричал ему, из-под пестрой щетины сияя красным и потным ртом:

— Мы — сейчас, товарищ главком! Сейчас мы им покажем, товарищ главком!

На обширном прасоловом огороде, топча еще не убранные овощи, строилась рота спасения революции.

Гости, толкаясь, выбегали из прасолова дома, прыгали по скользким от рыбьей чешуи ступенькам крыльца, кто-то вынес и поставил на средней лестнице дымящийся самовар, он там стоял, пока его не уронили.

За углом ограды сразу двое запрягали тарантас — в тарантасе лицо Доры с закрытыми глазами, испуганное Наташкино личико, любопытная и даже веселая улыбка Петруньки и спокойная Ниночка. Четверо вмиг представились, в следующий миг исчезли.

Метнулась по ограде Евдокия Анисимовна — с рассыпанными волосами, с черной шкатулочкой в руках...

Мещеряков был уже верхом. Из седла указал на прасолиху нагайкой:

— Связать! — Кто-то кинулся к ней, но замешкался, он еще громче крикнул: — Связать — в телегу бросить!

Евдокия Анисимовна тяжело опустилась на землю, а к ней подбежал прасол, выхватил шкатулку, бросился перед мещеряковским гнедым на колени:

— За что? Сроду не были виноватыми перед народом, за что? Сроду не совершали — за что?

— Дурак! — ответил ему Мещеряков, тронул коня и чуть не стоптал прасола, но остановился, только встал в стременах, чтобы лучше видеть, что происходит на улице. Глядя через ограду, выкрикивал: — Дурак и есть, хотя и торговый человек! Оставить тебя невредимым — что белые с тобой сию же минуту сделают — догадался? Тебя увезти — что они с хозяйства твоего оставят? От супруги? Спасая тебя, дурак! Посторонись!..

В улицу, от крайних изб, противник вел огонь, хотя еще и не сильный, оружейный. Но уже кто-то был убитый, кто-то раненый, жители закрывали ставни и ворота. Старики представители тягали вдоль плетней и заплотов, не быстро, но умело перебегаю от избы к избе. Не надеялись на свои ноги, больше соображали головами. Обузданный, но не оседланный ярко-рыжий конь метался поперек улицы, из блестящего крупы текла кровь.

Петрович, тоже конный, подскакал к Мещерякову.

— Командуй, главно! Командуй! Ну?

— Придержи героями своими, сколь можешь, белых. После отступай в бор. Людей береги! Все!

— Ты что же, не будешь оборонять Моряшиху?

— Ни в коем случае! Ее всегда в десять разов легче взять обратно, чем оборонять. Будь здоров!

Петрович бледный, будто был уже ранен, сказал глухо, спокойно:

— Ну, Ефрем, все-таки никому, как мне, придется тебя расстреливать. — Тронул, поскакал прочь.

* * *

Где-то впереди мчался тарантас с Дорой, с ребятишками, а только чуть отставая от Мещерякова, звенела бубенцами упряжка со связанной прасолихой.

Пьяных, оружие, захваченное вчера в Моряшихе, и раненых везли на телегах. Все боеспособные двигались в арьергарде, но белые и не преследовали — Петрович их задержал или они сами в Моряшихе задержались, обратно захотели в ней погулять?

Припомнить — так это было первое настоящее отступление Мещерякова за всю нынешнюю войну.

В красивом виде явится он нынче в Соленую Падь! И все равно не тревожился уж очень-то сильно, не переживал — стихия! Когда на этот путь нынче ступил, все могло случиться.

На пути к Соленой Пади в селении Старая Гоньба народ хотя и видел, что Мещеряков отступает всем своим наличным и пьяным войском, но упрека ничуть не показал. Встретил хлебом-солью, просил сказать речь.

Пришлось сказать хотя и коротко, но по порядку: о революционном моменте, призвать под победоносное знамя, хорошо отматерить мировую буржуазию, тем более что женщин было почти что не видать — старики и ребятишки.

Говорил Ефрем с коня, привстав в стременах, вытирая то и дело пот на лице. Все слушали, никто не мешал говорить, и единственно заметил Ефрем, что было встречено с неодобрением — так это тарантас Евдокии Анисимовны. Не поверил никто, будто она — плененная за контрреволюцию или еще по какой-то причине. Грамотный нынче народ — с первого взгляда все понимает.

В Соленую Падь въехали не с Моряшихинской дороги, на которой стояли партизанские части — с ними Ефрем до поры, хотя бы до завтрашнего дня, встречаться не хотел, — а через знаменские ворота. Через эти же ворота Ефрем впервые вступал в Соленую Падь со своими эскадронами.

И солнце-то нынче было точь-в-точь, как и в тот раз — на закате, и так же ошупывало красноватым светом зеленые кровли кузодеевских построек. Только теперь день был уже заметно короче и на площади — никого. Тихая стояла площадь, безлюдная.

Вот он и главный штаб. Тоже вроде бы притихший. В окне второго этажа — дырка.

Мещеряков спешился, оставил при себе полуэскадрон, остальным велел разместиться в селе. Оставаться в полной боевой готовности и вырезывать все еще сильно пьяных.

Распахнул дверь, резво вбежал в коридор штаба.

— А-а-а, товарищ главнокомандующий! Здравствуй, здравствуй, голубчик! Что-то тебя не видно? — встретил Мещерякова старый учитель, заместитель заведующего отделом народного образования.

— Дела!.. — Мещеряков пожал руку с прокуренными желтыми пальцами, а тогда уже посмотрел и на самого заместителя, на лохматые его брови.

— Спасибо тебе! — сказал тот. — Спасибо большое!

— Вовсе не за что!

— Ну как же это — а учителей-то ты освободил от воинской повинности! И — правильно. Это и есть высшая сознательность с твоей стороны.

Как Мещерякову представлялось: летят бумаги главного штаба, сотрудники отделов разбегаются, схватившись руками за головы, а товарищ Черненко, вслед за ней товарищ Струков один за другим прыгают через окошко со второго этажа. Через то самое и прыгают, в которое влетела недавно граната-бутылка, стукнулась в союшку мещеряковского сапога.

Не то получалось.

И дальше было не то: нигде ни души, бумаг как-то совсем мало. Побегав по отделам, Мещеряков распахнул дверь в комнату начальника главного штаба.

Светло еще было, но предметы освещались как бы по какому-то выбору — одни ярко и выпукло, другие оставались почти в тени. А мелкие-мелкие осколки стекла в разную силу, но все с одинаковым и каким-то прозрачным блеском глянули на него из щелей между половиц, из-под черной, засиженной табуретки, с подоконника и даже со столовой горки.

Окно тоже тарачилось круглым отверстием, и Мещеряков подумал, что граната летела тот раз как-то странно — не прямо, а вращаясь поперек. «Или это безрукие так гранаты бросают?» — удивился Мещеряков и вспомнил Толю Стрельникова в момент, когда Толя по какой-то неведомой случайности остался жив: он ведь уже был на мушке пистолета. Как раз растрепанная белая голова была на прицеле.

Постоял Мещеряков. Приблизился к столу, повернулся спиной и плотно к нему прижался. Пошел обратно к дверям, считая шаги. От стола до порога было шесть шагов и еще чуть-чуть — вершка три-четыре. На пороге обернулся, приподняв левую руку на уровень груди, положил на нее дуло нагана.

Целился тщательно.

Выстрел был громкий, а чернильница пикнуть не успела. Осколки и капли брызнули в стороны, каждый осколок, куда бы ни упал, везде сочился, каждая капля потекла струйкой, и не фиолетовой, а почему-то черной.

Мещеряков еще постоял, поглядел и захлопнул за собой дверь. В коридоре эскадронцы потрошили мешки с бумагами. Он велел им занятие прекратить.

— Больше от вас не требуется!

Пошел на улицу.

Нет, что-то не то было...

На этом он и бросил бы дело — скучное, неполучившееся, — но у выхода встретился вдруг Довгаль.

— Лука? Здорово!

Довгаль шагнул навстречу. Здороваться не стал. Спросил:

— Теперь — куда пойдешь? Кого и как громить? Сходня вот еще есть, не тронутая по сей день ни белыми, ни красными. Не подходит тебе? Церква тоже целая по сю пору. Да об чем говорить — тут в любого стрелить, любую постройку пожечь — и не промахнешься: все народу, советской власти принадлежит. Что же ты стал, как пень, не жгешь, не убиваешь? — Довгаль повернулся и пошел прочь... Но уходил все медленнее, медленнее, вот-вот повернется к Мещерякову снова. И ведь повернулся. Приблизился к нему опять, опять заговорил: — Слышь, герой, мой-то сельский штаб — он же работает. Нормально справляет дело. Как ты можешь оставить его в целостности и невредимости?

Довгаль схватил Мещерякова за руку, а тот как раз набивал трубку. Трубка упала на землю, высыпала коричневую горку табака.

Говорил Довгаль тихо:

— Чего белье не могут сделать — народному герою раз плюнуть! И это я, Мещеряков, ездил к тебе представителем в Верстово на предмет объединения наших восстаний? Это я привел тебя в Соленую Падь? Я — сам?

Мещеряков нагнулся, не спуская глаз с Довгалья, поднял трубку, на горку табака наступил ногой.

— У меня нынче табачок настоящий, магазинный. Сыпать его повсюду — вовсе ни к чему!

— Ну? Пойдем в сельский штаб?

— Не балуй!

— Пойдем?!

— Не балуй!

— Так я же тебе — не просто так, я же — дело говорю! — заложив руки за спину, сказал Довгаль. — Дело! — Засмеялся, вздрагивая усиками. — Ведь главный-то штаб нынче только что в сельский перемещен! Только что! Впереди же твоей банды товарищ Петрович взвод латышей выслал и записку — как сделать. Мы и сделали. Успели. Они еще, латыши, предупредили в Старой Гоньбе — встретить тебя хлебом-солью, речь от тебя просить на митинге, одним словом — задержать твой геройский полет, сколь можно. Ну, как — говорена была тобою речь перед народом? В Старой Гоньбе? А теперь я тебя призываю — пойдем бить латышей, которые мой штаб охраняют и главный — тоже! Пойдем — они же насмерть будут стоять!

— Ты лжешь-и! — удивился Мещеряков. — А я-то думаю: что это бумаг такое малое число в главном штабе, куда подевались? И люди тоже? — Он одернул на себе гимнастерку, крикнул эскадронцам, толпившимся у палисадника: — Ребята! Приглашают нас на дело!

Пешие эскадронцы построились было в колонну, но некоторые среди них все еще до конца не протрезвели, баламутили, мешали строю. Конные — человек пятнадцать, — те построились по три в ряд.

Мещеряков шел рядом с Довгалем, говорил:

— Не военный ты человек, Лука. Нет, не военный! Не понимаешь силы оружия — да разве со мной, с моими ребятами, разве можно с нами шутить? Плохо ты придумал. Пеняй на себя.

— Ну, почему же плохо? По крайности вся Соленая Падь, вся ны-

нешняя Освобожденная территория поймут, кто такой истинный Мещеряков. Рано ли, поздно — это надо было людям узнать. Всем.

— Взрослым людям — тем необходимо разбить Колчака, — будто бы нехотя отвечал Мещеряков Довгалю. — Настолько необходимо, что они и на разгон главного штаба сквозь пальцы нынче поглядят.

Довгаль приостановился.

— Ну, сейчас спор запросто решится. Я, Мещеряков, не совсем напрасно тебя под огонь латышей веду. К роте спасения революции. Ведь сколько раз бесконечно и упорно мне товарищ Брусенков предсказывал, что ты в конце концов пойдешь разгонять главный штаб! Не поглядишь, что штаб этот сделан для великой пользы трудового народа, для советской власти, которая уже вот-вот и придет к нам! Я Брусенкову не верил, не мог. Каждому его слову противоречил. А теперь кому мне противоречить? Самому себе? Ну, так пойдем же к латышам, пойдем!

Мещеряков шел в ногу с Довгалем.

— И товарища Петровича подводишь, — говорил он, вздыхая. — Тот придумал, а ты — насмарку. Ведь он же хорошо придумал. С латышами, с перемещением главного штаба, с митингом в Старой Гоньбе! Я-то старался речь произнести! Нет, что ни говори, Довгаль, а ежели руку на сердце — правильно будет сделано, что товарищ Петрович комиссаром армии назначится, а не ты! Правильно! Это не надо глядеть, что он махонький и с волоса — бурый. Редкого упрямства, и голова на плечах, и побывал не знаю где — в самых разных государствах! Умница!

Сельский штаб Соленой Пади был не так далеко: нижней улицей и чуть в проулок. В бывшем поповском доме.

Когда в проулок этот свернули, увидели: на крыльце — два латыша, на подоконнике — один, и в раскрытую дверь видно — внутри еще вооруженные.

Бывший поповский дом стоял под горкой и поперек проулка, замыкая его. Сверху хорошо было видно все, даже что внутри дома делается, тем более окна-двери распахнуты.

Мещеряков скомандовал эскадронцам остановиться, сам, не сбивая шага, быстро пошел вперед. Довгаль чуть от него отставал.

Латыши наизготовку не взяли, но сделались все как вкопанные — замерли.

Правильно было сказано Довгалем: главный штаб весь тут и был, разве одного отдела народного образования только не хватало.

И юрист был знакомый, бородатый; и крохотный финотдел с очками на веревочке; и тощий завотделом агитации-информации. Знакомые все люди. Все были заняты — на новом месте приводили в порядок свои бумаги. Глаз не подымали.

Только финансист и вступил с Мещеряковым в переговоры. Подергал на коротком своем туловище длинную блузу, на носу — очки, спросил:

— Ну, как с золотом-то, товарищ Мещеряков? Куда его все ж таки определили? В Знаменской которое было конфискованное, у гражданина Коровкина?

— Золото? — вспомнил Мещеряков. — А его от памяти вовсе отбило. Некогда им было заниматься. Вернее всего — в армейском штабе находится по сю пору. Где же ему еще быть? Ненужное оно нынче никому.

Вдруг явился откуда-то из дверей Струков.

Мещеряков глянул на него и положил на кобуру руку.

— Прощу! — улыбаясь и резво козыряя, сказал Струков. — Прощу, товарищ главнокомандующий! — Распахнул дверь, из которой только что появился.

— Чего просишь? — спросил Мещеряков, а Струков не ответил, отпустил руку, моргнул глазами. Мещеряков крикнул во весь голос: —

Чего просишь, спрашиваю? — Ему нынче крикнуть на кого-то хотелось, и вот — представился случай.

— Так я же тут за товарища Брусенкова оставленный! — сказал Струков. — Вот и прошу.

— Чего просишь за него? Ну! — Ответа не было, и Мещеряков сказал: — Вот что — когда ты не знаешь, чего просишь, так скажу тебе я: сию же секунду собирай бумаги все до единой, сотрудников своих — тоже всех и тотчас же явись в штаб армии к товарищу Жгуну за новым служебным назначением. Понятно? Повтори приказ!

Струков живо повторил, спросил еще:

— А чей это будет приказ, товарищ главнокомандующий?!

— Товарища главнокомандующего.

— Так точно — будет выполнено! — Скрылся с глаз.

Довгаль сказал:

— А кто тебе, Мещеряков, дал право...

— Непонятно мне — Струков оставлен здесь Брусенковым за самого главного. И он мои приказания хорошо понимает и признает. Повторяет слово в слово — четко, ясно. А у тебя ясности нету, товарищ Довгаль, в уме — хаос, товарищ Довгаль!

— Что совершаешь, Мещеряков? Что и как? Подумай! Еще не поздно, еще есть у тебя минута, но за ней не будет уже ничего, кроме позора, бездны контрреволюции и тягчайшего преступления. Ничего!

— Так ведь я очень просто делаю, Лука, — как же тебе и многим другим непонятно по сю пору? Когда главный штаб сильно повредил армии, сорвал ей победоносное сражение, то армия уже не может в долгу оставаться. Не может — иначе ей веры не будет. Никакой и ни от кого. Хотя бы — и от самой себя. Хотя бы — от товарища Довгалья Луки. Какая же после того это будет армия?

С бумагами под мышкой, перевязанными мочалкой и бечевкой, промаршировал Струков. За ним — еще трое его сотрудников. Довгаль хотел Струкова остановить, тот ухитрился, хотя руки были заняты, и ему козырнуть, четко отбивая шаг, прошел в двери...

-- Дальше — что? — спросил Довгаль.

— Сейчас глянем, — ответил Мещеряков.

Стал заглядывать в одну дверь, в другую. И наконец увидел Тасю Черненко. Он и хотел ее увидеть: все еще представлялось, как Тася прыгает в окно второго этажа, хотя бывший поповский дом и был одноэтажным. Он ее для этого искал — чтобы она прыгнула.

У Таси Черненко лицо все такое же бледноватое, с глубокими ямочками и серьезное. Она как сидела за одним из столов, которыми вся комната была заставлена, так и продолжала сидеть, перелистывать свои бумаги.

— Здорово, товарищ Черненко! — сказал Мещеряков. — Здорово, товарищ мадам!

Тася резко обернулась.

— Здорово, товарищ Мещеряков! — сказала она и смолкла, но ненадолго. Вздохнула, еще больше вытянулась лицом с глубокими ямочками на щеках и заговорила снова: — Давно не виделись. С Протяжного, с тех пор, как ты меня у бандитов отбивал. Помнишь? Я еще сказала, что ты трусливый, как заяц! И ведь угадала! С белыми не воюешь, воюешь со своим же штабом. И то — покуда здесь нету товарища Брусенкова...

— Молчать! — крикнул Мещеряков и выхватил наган. — В окно — шагом арш!

— Ты и в Моряшихе товарища Брусенкова боишься, и здесь испугался бы, это точно! — продолжала Тася спокойно, чуть даже наклонясь

к Мещерякову.— Но товарищ Брусенков скоро вернется, а зайчишек он не любит — имей в виду!

Мещеряков и в самом деле переживал страх... Боялся, что Тася и еще будет говорить, боялся, что она сию же секунду замолчит, минув его, выйдет из комнаты, оставит его ни при чем.

Крикнуть эскадронцам, чтобы они схватили Тасю, утащили к себе в казарму? Ни крикнуть, ни выстрелить не мог, а почувствовал, что вот сейчас, сию минуту, может раз и навсегда проклясть все женское сословие. Опять страшно испугался: «Испакостит этакая стерва всю мою жизнь!»

Но у Таси вдруг стали вздрагивать губы, она стала искать и произносить уже ненужные для нее, жалобные слова, а чтобы скрыть жалобу, стала говорить громко и отрывисто, спрашивать Мещерякова:

— Ты что же, Мещеряков, на себя уже не надеешься, нет? Уже буржук мобилизуешь в армию? В Моряшихе прасолиху мобилизовал, это верно?

— Верно! — подтвердил тогда Мещеряков.— Прасолиха — она же женщина, мимо нее просто так не пройдешь. Это есть другой случай — когда украдут женский пол, после — поглядят на его и бросят за ненадобностью. И кто найдет — то же самое, бросит!

Мещеряков говорил, сам тревожно глядел на Тасю — на тонкую, злую и вздрагивающую всем телом. И тут он замер — на столе перед Тасей стояла чернилка. Фиолетовая. Он вздохнул с облегчением, вскинул наган, и в тот же миг и эта чернилка тоже стеклянно пискнула, а Тася Черненко — ее лицо, шея, руки, гимнастерка — покрылась текучими пятнами и пятнышками.

Мещеряков выскочил на крыльцо. Там стоял Довгаль, делал латышам какие-то знаки. Он на эти знаки не обратил никакого внимания, рассеянно глянул на Довгалья, а про себя свирепо подумал: «Бабы, эти бабы — с ними смертная отравка, и без них ничего не бывает! Войны и той не бывает!» Еще побоялся своего невысказанного проклятия женскому полу и крикнул на взгорок громко, во весь голос:

— Лыткин!

Гришка скатился под уклон.

— Передай командиру, Лыткин: приказал Мещеряков эскадронцам немедленно же расходиться. Сами же мы с тобой — на заимку. Быстро!

А на Звягинцевскую заимку, еще не доезжая Соленой Пади, Мещеряков распорядился увести Евдокию Анисимовну.

Глава четырнадцатая

Выселок Протяжный долгое время был пуст.

Оставляли его хозяева — закрыли избы, амбары, все другие строения на замки и засовы, двери заколотили горбылями.

После появился штаб Мещерякова и другие военные службы, все было пораскрыто настежь, все избы и строения заняты людьми. Но ненадолго.

Мещеряков ушел, командир красных соколов Петрович эвакуировал из выселка в Соленую Падь лазарет, лабораторию для заправки гильз, все другие тыловые службы, и захлопали, заскрипели на ветру двери, ставни изб, желтая осенняя листва, паутина, поздние бабочки-капустницы, коричневые, с рисунком вытарщенных, немигающих глаз «павлины» влетали теперь в окна осиротевших изб, липли к стеклам. Тараканы шарились по столешницам, в щелях между половницами. По коротенькой

улочке в полтора десятка дворов бродили оглушенные тишиной, растерянные куры, почему-то без единого петуха...

Замер выселок. Будто бы навсегда...

И вдруг снова прибыл в Протяжный главком Мещеряков. Прибыл вместе со штабом — с пишущей машинкой, с круглой армейской печатью, с наштабармом товарищем Жгуном, с разведкой, со связными, с полевой телефонной станцией, которая еще верстовскими партизанами была захвачена вместе с другими трофеями.

Мещеряков водворился в ту самую горницу, в которой он мечтал не так давно. О настоящем сражении за Малышкин Яр. О настоящей, правильной победе. О настоящем, правильном контрнаступлении.

Вот и прошел он по кругу, и круг замкнулся — только нету больше в избе прежнего ржаного и жилого духа.

Он снова на тех же некрашенных досках скрипучего пола расстелил карту театра военных действий, измятую, с обратной стороны склеенную по швам потрескавшимися узкими бумажками, которые смазаны были тестом, крахмалом, столярным клеем и еще какими-то клеями.

Он эту карту давно уже в полный разворот не рассматривал. Не нужно было. Одна восьмая всего листа с селом Моряшиха посередине только и была ему в последнее время необходима. Тем более что эта осьмушка оказалась как раз поверх всех других.

Местность, лежавшую перед ним на карте, — села и выселки, большаки и проселки, озера, ленточный бор — он за это время изучил во всех подробностях.

А собственные мысли?

Лежа на полу, вглядывался в карту, думал о том, что вот и началось все сначала, все — обратно, все — по новому, строгому счету. Возвращаешься к прежнему, своему же собственному плану правильной войны, а счет новый...

Теперь уже нельзя сорваться на партизанщину — нет этого резерва, использован резерв. Нет лишних надежд. Тоже использованы, тоже сослужили, какую могли, службу. И противника Мещеряков тоже пытался понять по-новому — что с ним случилось за это же время? Или он сохранил прежний план захвата Соленой Пади, или короткие, но почти повсеместные и отчаянные партизанские налеты этот план расстроили?

С утра Мещеряков издал приказ: нужно было подтвердить, кто и какими частями командует, перед каждым полком и дивизией поставить ближайшую оперативную задачу. Приказ исходил из неизменного замысла: нанести противнику возможно большие потери на маршах, потом принять оборонительный бой под Соленой Падью, потом как можно скорее и решительнее перейти в контрнаступление.

Однако приказ только по части строевой его не устраивал. Не отвечал моменту и обстановке. По новому счету — его было мало. Мещеряков это понял и тотчас велел Гришке Лыткину принести чернила, ручку с пером. Строевой приказ можно было и химическим карандашом писать, тут требовалось другое.

Чернилка была та самая, что стояла на красном столе в его одиночном кабинете в штабе армии, когда штаб помещался в доме бывшего Кредитного товарищества. Как две капли воды, она была похожа и на те, которые были им расстреляны в главном и в сельском штабах Соленой Пади, в комнате товарища Брусенкова.

Что было, то было...

«Славной крестьянской армии, солдатам и командирам за победы на Малышкином Яре главнокомандующий товарищ Мещеряков со штабом шлют сердечное приветствие, — написал Мещеряков медленно-медленно, а потом уже дело пошло у него попроворнее. — Вам, боевым, чест-

ным орлам, поднявшим пику и знамя в защиту крестьянства и советской власти, шлют также сердечную благодарность революционные комитеты ваших сел и ждут новой и новой победы от вас».

Параграф был самым первым, важным и, несмотря на потери партизанской армии, вполне своевременным, потому что прошлой ночью Петрович взял-таки Малышкин Яр.

Произошло это быстро и неожиданно: один из двух белогвардейских полков — сорок первый — за сутки до этого вышел из Малышкина Яра на Моряшиху, а Петрович тотчас же повторил ночную операцию, в которой его люди уже участвовали однажды.

При поддержке полка неполного комплектования, снятого с оборонительных позиций Соленой Пади, соколы разгромили оставшийся в селе сорок пятый полк.

Мещеряков, тот сделал бы по-другому: разбил бы колонну, вышедшую на Моряшиху. Разгром на марше несомненно подействовал бы на другие белые гарнизоны, они стали бы отсиживаться по селам. А сковать маневренность противника — дело нынче очень важное.

Но и Петровича Мещеряков тоже понимал: Петрович хотел освободить хотя бы одно крупное село, закрепиться в нем прочно, то есть сделать именно ту победу, которой особенно дорожили в партизанской армии, а еще больше — среди гражданского населения.

Так или иначе, а параграф первый приказа соответствовал. Соответствовал обстановке, отвечал нынешним требованиям.

Теперь надо было написать параграф второй. «Замечено, — начал Мещеряков, сосредоточившись, закусив нижнюю губу и четко выводя букву за буквой, — что некоторые товарищи крестьяне-армейцы и более всего кавалеристы позволяют тащить и навьючивать. То есть идут по пути белогвардейцев и казаков-мародеров. Разве из дома их отпускали добывать одеяла, подушки и тряпки?

Вменяется командирам осматривать вьюки, вещи отбирать и выгонять вон из частей армии недругов социализма. Будем все вместе очищать страну от насильников, паразитов и тунеядцев!..

...Замечено допущение паники среди солдат и даже командиров как при наступательных, так и при оборонительных операциях. За допущение подобного явления в среде борцов за освобождение трудового народа от рабства и гнета — предавать виновных суду по строгости военного времени»...

Покрепче закусил губу, а тогда уже и еще написал: «Замечено допущение пьянства в среде солдат и даже командиров. Замеченных привлекать к суду как за неисполнение боевого приказа в военной обстановке».

Перечитал параграф и сказал:

— Так.

На минуту припомнил Моряшиху, опять сказал себе: «Что было, то было». Вдохнул, решил позаботиться о гражданском населении и принялся за параграф третий: «Замечено, что крестьяне-армейцы производят самоличные аресты. Объявить, что без согласия ротного или батальонного командира аресты не производятся».

Что еще было замечено им в последнее время? Стал вспоминать...

«Некоторые сапожники призываются в строй. В ответственный период осени все мастера-сапожники должны заниматься своими прямыми обязанностями, то есть обеспечивать обувь и обувным ремонтом.

Также строго требую от всех военно-революционных комитетов не прекращать работу по заготовке пик».

Далее Мещеряков вменил в обязанность комсоставу армии выделить самых сознательных, идейных и честных крестьян-армейцев в особые роты спасения революции. Роты спасения существовали уже не первый

день, это Мещерякову было очень хорошо известно, но теперь следовало во всеуслышание объявить об этих ротях. О высоком их назначении.

Он и объявил.

Потом утвердил новый районный революционный штаб в Медведке, в составе волостей Медведковской же, Угловой, Облепихинской и Бураковской.

Сведения о появлении нового РРШ доставила среди военной информации армейская разведка, и, должно быть, этот факт стал известен ему даже раньше, чем главному штабу.

И хотя никогда прежде Мещеряков гражданским устройством не занимался, не касался его ни с какой стороны, но тут решил приложить руку. Ко времени это было — приложить.

И наконец последний параграф гласил:

«В должности комиссара Объединенной Крестьянской Красной Армии окончательно утверждаю товарища Петровича Павла Ивановича».

А затем уже и подписался: «Главнокомандующий ОККА — Мещеряков».

Давненько таким образом он не подписывался.

«Хватит партизанщины и неразберихи! Хватит ее навсегда! — подумал он, закончив приказ. — Мало ее, что ли, когда ты сам вокруг себя тоже ее делал и создавал! Ну, теперь уже все! Да здравствует новая и правильная жизнь! Новый счет! Новый счет — это же как новое рождение!»

И приказ, который он только что подписал, тут же зажил самостоятельную жизнью, обязывал, требовал, внушал.

Легко было этому приказу подчиняться, для начала — еще и еще перечитывать его, еще дополнять в деталях.

К параграфу о ротях спасения революции Мещеряков приписал: «Вышеуказанные роты ни в коем случае не должны быть создаваемы при полках и даже при дивизиях, кроме как непосредственно при штабе армии. Штаб армии уже по своему усмотрению придает их тому или иному подразделению или использует самостоятельно». Очень правильное было дополнение.

А все равно параграф оказался не исчерпан. «Кого же назначить командиром этих рот? — подумал Мещеряков. — Хорошо бы Гришку Лыткина, но слишком еще молодой». Во всяком случае руководство ротами спасения следовало возложить на одного из тех командиров, которые прошли вместе с главкомом недавние бои под Моряшихой и оказались в курсе реорганизации главного штаба, которую Мещеряков почти что осуществил.

Слова «реорганизация главного штаба» ему сильно понравились. Может быть, не раз еще придется говорить эти слова и про себя, и даже вслух?

И Мещеряков вошел в соседнюю комнату, а там на широченной деревянной кровати без подушек и одеял прямо поперек потрескавшихся черных досок лежал Жгун.

Не то спал, не то не спал. Как только Мещеряков к нему вошел, поднялся, протянул за приказом руку...

Прочитав параграфы, Жгун длинным сухим пальцем указал на бумажке:

— Вот сюда... о том, что ты призываешь к решающему сражению. Вот сюда!

Мещеряков кивнул. Он и сам все еще подозревал, что в приказе не хватает каких-то слов. Он вернулся, снова и очень старательно обмакнул ручку в чернилку.

«Призываю всех и каждого солдата и командира на подвиг. Победы, до сего времени нами одержанные,— это лишь начало решающих сражений, которые в настоящее время будут разыгрываться на истерзанных наших полях и нивах,— писал он снова.— С верой в правое дело, в мировую справедливость человечества, с желанием победить или помереть каждый из нас вступает нынче в эти грозные сражения. Наша победа — неизбежна! Светлый день соединения с непобедимой Красной Армией — неизбежен!»

И с каждым словом все больше волновался, все больше чувствовал, как снова становится главнокомандующим, как по новому счету будет воевать с противником. Одернул на себе гимнастерку и строевым шагом вернулся к Жгуну, громко прочитал ему и этот параграф.

Жгун встал, тоже слушал. Стоял «смирно». Потом сказал:

— Безотлагательно разошли по армии. Сейчас же!

После того, как Мещеряков уходил под Моряшиху, они со Жгуном встретились сегодня впервые. Жгун глядел на главкома пристально, то и дело подтягивая на перевязи руку. Должно быть, все еще сильно болела у него рука. Он будто бы решил сказать что-то новое, неожиданное, а сам повторил еще раз:

— Пошли по армии безотлагательно. До начала совещания.— Серdito опять посмотрел на Мещерякова. Такого взгляда у своего наштабарма Мещеряков не видел, не приходилось.— Так вот, товарищ главком, нынче спросят с тебя ответ. И всем нам тоже необходимо понять — что мы делаем? Иначе — как же делать дальше? По чести и совести?

— Одержу победу — вот мой суд, мое оправдание. Все, что касается приказа,— пойдет срочно, экстренно, строго секретно,— ответил Жгуну Мещеряков.

И нынешний суровый взгляд Жгуна был даже мил ему.

* * *

В полдень стали собираться в Протяжном представители районных и главного штабов. Мещеряков рассматривал людей.

Были лица известные — все тот же Брусенков, Довгаль, Толя Стрельников, Тася Черненко. Были Петрович и бывший комполка двадцать четыре, ныне — комдив один. Он уже сделал несколько небольших, но успешных сражений, успел. В самом деле — расторопный был парень.

Появился краснолицый представитель какой-то вновь восставшей местности, расположенной на севере, в самом урмане, после — начальники и комиссары отдаленных районных штабов, их в разных местностях называли тоже по-разному.

Всего человек двадцать — двадцать пять.

Представители Луговского районного революционного штаба были нынче в центре общего внимания.

Почему-то вдруг вспомнили все разом, что и восстание загорелось именно в Луговском, потом пошло и пошло по Нагорной и Понизовской степям, осенью прошлого года перекинулось в Верстово, а ранней весной — в Соленую Падь; что Луговской РРШ — самый крупный по числу волостей.

Представителей Луговского РРШ было двое, ни того, ни другого Мещеряков никогда прежде не видел. Один из них — высокий, лысый — подошел к нему:

— Кондратьев!

Поговорили.

Кондратьев — из питерских, из рабочего продотряда — оказался в курсе военных событий на Освобожденной территории.

После Мещеряков спросил:

— А напарник твой?

Он подумал, что если Кондратьев — человек пришлый, так помощником у него обязательно должен быть кто-нибудь из местных мужичков. Может, известный Мещерякову не в лицо, так снова понаслышке.

Но и второй представитель оказался не кто-нибудь, а матросик. По веселому синему рисунку, выползающему из-под рукава на кисть правой руки, это было видно. Напирая на «о», матросик сказал:

— Говоров Андрей...

Пороховой. Через огонь, воду, медные трубы проходил не раз. Невысок, двигается, говорит будто бы с ленцой. Кое-что от матроса образца 1917 года и до сего дня оставалось: татуировка, сердитый вид.

— Балтика? — спросил Мещеряков.

— Черное море.

— А-а-а... Черное.

— Не нравится?

— Черное — оно в пятом году хорошо себя показало. А в семнадцатом, при полном одобрении тогда еще морского Колчака, посылало делегацию в Питер. Триста человек. Агитировать за продолжение войны до победного конца.

— А ты — знаешь?

— Знаю. Видел, делегатов этих в Питере таскали по нужникам. Макать. Смотреть не ходил, дошло ли дело до конца — говорить не могу. Мещеряков хотел пошутить, а матросик в лице переменялся.

— Говоришь по-чалдонски. А в Питере бывал! Уже не с той ли пехотой, которую временщики к себе на помощь вызывали?

Вот так пошутил! Познакомился!

— Не с той... Был делегатом от фронтового солдатского комитета к Питерскому Совету.

После этого Говоров вздохнул, нехотя признался:

— Прореха имелась у нас на флоте. Не распознали обстановку. Хотя вскоре и для нас Питер сделался столицей революционных идей. Как для магометанцев — город Мекка. — И вдруг громко, отрывисто крикнул: — Ну? Начали, что ли?

Открылось чрезвычайное совещание.

Первым заговорил Брусенков. Тотчас, хотя и тихо, его перебил Довгаль:

— Ты? Опять?

— Я.

— О чем? О каком предмете?

— Обо всем...

— Как?

— Мы по сю пору говорим один об одном, другой об другом. В результате — нет ни у кого настоящего взгляда. Не хватает. Поэтому надо сказать в целом. Пора!

Говорил Брусенков не просто так — речь красиво написана черными чернилами; писала Тася Черненко, ее рука.

Бумажку за бумажкой прочитывал Брусенков. Из одного пиджачного кармана их вынимал, в другой бережно складывал.

— Повсюду идет разложение колчаковской армии, — излагал он. — Белые солдаты и даже казаки дезертируют, много случаев убийства офицеров, многие переходят на сторону партизан. Чехи, поляки, другие легионеры неохотно идут в бой, больше беспокоятся, чтобы вовремя эвакуироваться на восток...

В этих условиях можно отдавать колчаковцам села и деревни, пусть берут. Это — ненадолго. Даже наоборот — чем больше противник будет

проводить карательных экспедиций, больше рассредоточиваться на мелкие отряды — тем разложение его изнутри будет сильнее. Правильной войны вести с противником не надо, такая война только поддерживает его организацию, заставляет солдат и впредь оставаться в полном подчинении офицерства.

Дальше Брусенков уже должен был перейти к партизанской армии. И перешел.

Он считал, что объединение соленопадской и верстовской армий ничего полезного не дало. Объединенная армия еще не одержала ни одной серьезной победы, а если и одержит — так это будет успех тактический, а не стратегический.

После объединения вооруженных сил и начались измены заеланских полков во главе с комиссаром бывшей верстовской армии, карасуковцев, а нынче на совещании присутствует представитель северной самостоятельной армии, которая к Соленой Пади не примыкает и примыкать не собирается.

Брусенков глянул на представителя этой ничейной армии, а тот — круглолицый и краснолицый — поправил на боку огромный кольт.

— Зачем нам примыкание?..

— ...Армия расшатала и гражданскую власть, много замечается нынче злоупотреблений на местах со стороны следственной, конфискационной и других комиссий, районных и даже чрезвычайных при главном штабе. Тяжелое и мрачное наступило время, завоевания революции в опасности...

И это было не все, не весь новый брусенковский счет.

— Это говорено мной в общем и морально, — чуть передохнув, сказал он. — Главный штаб обвиняет главнокомандующего в том, что он до сих пор не перешел к надлежащим действиям против белой армии, что покинул свой пост перед самым важным сражением за Малышкин Яр, что самоустранился с поста главкома, полностью переключившись на партизанские действия только в одном моряшихинском направлении, что совершил попытку разогнать главный штаб, что незаконно арестовал члена главного штаба товарища Черненко, что совершил проступок, несовместимый с положением главнокомандующего, — увез насильно из села Моряшихи гражданку Королеву. — И только здесь Брусенков закончил свою речь: — Главный штаб предлагает отстранить Мещерякова от занимаемой должности главнокомандующего и ликвидировать на время эту должность. Предать его суду революционного трибунала.

Мещерякову же гражданка вспомнилась... На Звягинцевской заимке. Какие двое — просто чудо! Какой мужчина, какая женщина! Даже не сразу догадался, что это он о себе так подумал. Потом еще раз удивился: «А Брусенков-то — как может об этом говорить? Он-то что понимает? Рябой, злой? Такого же ни одна истинная женщина не полюбит, тем более не захочет, чтобы он ее украл. Ведь это же страшно, подика, когда тебя живого крадут? И приятность при этом обязательно должна быть даже выше, чем страх. Это Черненке Таисии все равно, кто ее крадет! Нет, куда ему, Брусенкову, — голодный сыгого не разумеет! Несчастный он все ж таки, Брусенков!»

Вслед за тем он пожалел и все чрезвычайное совещание: трудное положение — и простить человека неловко, когда он сильно успел натворить, и обвинить невозможно, очень нужен человек — главнокомандующий!

«Тут — какой выход? — соображал Мещеряков. — Кто-то должен сказать: «Товарищи! Когда не из-за баловства с Колчаком воюем, а всерьез, то нам ничего другого не остается, как пройти мимо баловства

нашего товарища Мещерякова». Самому — неудобно это сказать, но кто-то должен догадаться».

Не догадывался никто. Даже товарищ Жгун. Как человек военный, как наштабарм, который один только и знал о новом приказе Мещерякова, о том, что приказ этот идет, идет сейчас к армии для воодушевления каждого командира, каждого бойца. Для победы.

Для победы истинной, человечной. Для победы в народной, а вовсе не в чужой какой-то и капиталистической войне.

Тут представились Мещерякову окопы прусского фронта.

Мокрые, вшивые, вонючие, голодные. Без табака и без патронов.

Это до какой степени озверели капиталисты, что загнали живых людей в такие окопы? До чего и эти люди тоже дошли, если который раз сами мечтали вылезти из окопа по грязи на брюхе, миновать колючую проволоку и броситься в другой такой же окоп — рубить там, и колоть, и стрелять в упор... Если уже не получилось войны, а получилось одно грязное убийство — надо было кончать, посылать парламентариев с белыми флажками, но у капитала ведь и на это не хватило человеческого духа?

Нынче война вольная, на истинное геройство, на человеческую сознательность. А Брусенков? Ему этого не понять. Он хочет, чтобы война была такая, какая ему и его главному штабу нужна...

И белых Мещеряков тоже чувствовал — их отчаянный поиск еще какого-то, уже невысказанного шанса. Чем шанс становился невысказаннее, тем больше становился их ужас и страшная сила в этом ужасе... Ее-то он и должен был нынче сломать — ужасную силу.

Спокойно, даже с любопытством ждал Мещеряков — что будет дальше?

Первый спросил Кондратьев:

— Товарищ Брусенков, сколько ты сам, лично, принес урону нашему делу хотя бы одним поповским расстрелом?

Вопрос был далеко не для всех понятным, но Брусенков объяснять его не стал, передернул плечом, и только. Стал рассказывать Довгаль.

Неделю назад человек двадцать священнослужителей собрались в солонпадском приходе. Брусенков взял сотрудников военного отдела и ревтрибунала, пошел их арестовывать. Те стали разбегаться, Брусенков стал стрелять. Был убит местный священнослужитель, двое ранены. Уже после установили — служители церкви собрались, чтобы написать в главный штаб прошение, просили не препятствовать отправлению религиозных обрядов.

Мещеряков подвинул табуретку ближе к Брусенкову и спросил у него:

— Убитый-то попик, это который горячился в главном штабе, в отделе народного образования? Насчет отделения церкви от государства? Он?

— Он... — кивнул Брусенков.

— Молоденький такой... Трусливенький. Розовенький. Надо же слушаться? Бабам, тем особенное горе — церква, поди, стала им не мила? Слушай, Брусенков: я партизанщиной занимался, ты — строгой властью, а результат один — убиваем людей. Это — как? Скорее бы уже победа, да и кончить с этим делом. Раз и навсегда.

— Тебе этого всего не объяснишь. Бесполезно.

— Может, попику объяснишь? Ему — полезно?

Брусенков оставил свою табуретку в сторону.

А в самом деле — попик, что ли, был особенный? Так хотел жить, так хотел, ну прямо как сам Мещеряков! Еще тогда, в отделе народного образования, глянул на главнокомандующего с тоской, с жалостью, наверняка подумал тот раз про него: «Отпетая голова! Царствие небесное! Аминь!»

И ведь получился «аминь», только наоборот: нету попка в живых, теперь с попка, как словно с козырной карты, ходят против Брусенкова. Недаром Брусенков этого попка еще живого невзлюбил!

— Через это какие мы несем потери? — спрашивал тем временем Кондратьев. — Страшно подумать! Ведем идейную борьбу среди населения месяцами, доказываем идею справедливыми действиями, а тут является Брусенков и первого попавшегося попа — бах! Старики и старухи манифестации устраивают, протестуют. В Малой Крутинке обстреляли наш разъезд. Когда схватили, расследовали — оказались свои, но только — верующие. За попов сделали отместку! И по всем другим селам и деревням, особенно где нету твердых большевиков, чтобы пресечь тебя, — как ты действуешь, товарищ Брусенков? — И Кондратьев стал еще рассказывать о действиях Брусенкова, а потом вдруг остановился, прервал сам себя. Не сразу продолжил речь. — Товарищи! — продолжил он чуть спустя уже медленно и глядя на одного Мещерякова. — Товарищи! Если бы у нас происходил суд, мы — хотим того или нет — а предъявили бы обвинения товарищу главкому. Суровые, законные. Но мы сейчас хотя и судим, но мы — не юристы, не присяжные заседатели. Мы — революционеры! Мы имеем цель — победу революции. Это на сегодняшний день — наши устав и кодекс, наши закон и мораль. И вот в то время, как Брусенков этой цели, то есть победе революции, мешают, нет даже надежды, что и дальше мешать не будет, — без Мещерякова, без его влияния на армию мы скорой победы не одержим. Если начальник главного штаба товарищ Брусенков перед лицом революции сам себя судить не может, не способен к этому, то мы надеемся и уверены, что наш главком рассудит свои собственные поступки, сделает правильный вывод по самой высшей честности, не уронит, не запятнает, а высоко понесет наше победное знамя!..

Может быть, Кондратьев говорил бы и еще, но вскочил с места круглолицый представитель северной неприсоединившейся армии.

Еще до начала совещания к нему обращался то один, то другой, но фамилии его, должно быть, никто не знал — каждый называл, как вздумается, чаще «северным» и «урманным» главкомом.

Урманый главком почему-то все время держал руку на деревянной кобуре кольта, а когда заговорил — тотчас начал расстегивать на ней ремешки, будто сию же секунду собирался открыть пальбу, тем самым подтвердить свои слова. Или она у него пустая была, кобура?

— Товарищи! — говорил он, взмахивая свободной рукой. — Мы к такой армии, к такому главнокомандующему, как товарищ Мещеряков Ефрем Николаевич, ни в коем случае присоединиться не можем — идеалы не позволяют. И к такому главному штабу — тоже не можем: обои они, как две капли, одинаковые! Мы у себя, в собственной местности, давно стали выше всего этого, ибо у нас всякие распри пресечены в самом корне и после того их уже не может быть в природе. А чтобы они все ж таки помимо нас самих не произошли — так мы и не делаем ни главных, ни районных, ни сельских и никаких других штабов. Комиссий — тоже никаких. У нас полная ясность: революционная армия, и больше ничего. У нас в каждой деревне обязан иметься народный комиссар. Он беспрекословно и дает в армию, сколь положено по раскладке, продуктов питания, обмундирования, конского поголовья и солдат-добровольцев. С остальными же призывного возраста ополченцами уже сам этот комиссар полностью и самостоятельно управляется со вверенным ему населением. По военной, гражданской и по любой линии. Когда какая деревня выбрала себе негодного комиссара, даже деспота либо пьяницу, то и пусть сама на себя пеняет, а мы — центральная военная власть — нисколько не вмешиваемся... Как хочут, так пусть и делают,

вплоть до того, что устраивают вооруженный переворот против одного комиссара и делают выбор другому. Откуда всем присутствующим должно быть ясно, что мы ближе стоим к всемирной революции, чем вы. Призываем: подумайте, самораспуститесь и переходите к нам, под центральную революционную народную власть. Или, ежели все ж таки будете судить, устранять и даже стрелять своего главнокомандующего товарища Мещерякова Ефрема Николаевича, то лучше не стреляйте его, а отдайте нам. Ясно, что белая сила после вас пойдет к нам, на урман, и нам будут совершенно необходимы военные спецы. Вы же со всеми своими властями все одно не управляетесь, двух людей и то одинаково судить не можете, а ежели у вас в один момент пятеро или того больше будет подсудных?

И урманский главком снова подергал на кобуре ремешки, а Мещеряков снова подумал: «Однако — пустая!»

Все молчали.

Наконец Петрович обратился к урманному главкому:

— Хочу выяснить некоторые подробности.

— Мы с удовольствием поясним!

— Если в вашей местности сельский комиссар не посылает в армию продовольствия, солдат или конское поголовье, что вы с ним делаете? Какие меры воздействия у центральной военной власти?

— Мы такого немедленно же расстреливаем! — ответил урманский главком. — Именем военной центральной народной власти!

Кто-то засмеялся, главком сердито оглянулся на этот смех, еще проговорил, подумав:

— Хотя, сказать по правде, это не сильно нам удастся, потому что у каждого комиссара имеются свои люди, они его своевременно оповещают о приближении представителей центральной власти, и он тоже своевременно скрывается.

Тут уже засмеялся Брусенков, а Петрович еще спросил:

— Кто же у вас идет при таком порядке в комиссары? Кто дает свое согласие?

— А никто и не идет. И — правильно! Надо делать, чтобы власть — несладкая была, тогда никто до ее добровольно дорываться не захочет, и никаких расприв из-за ее сроду не случится! Вот — поглядите на себя. До чего вы тут дошли, товарищи? Поглядите! Ну?

И опять этот представитель с маху хватил рукой по кобуре и, вытащив глаза, стал глядеть на всех по очереди, потом взгляд надвинулся на Мещерякова, остановился на нем. Мещеряков даже как-то неловко ему улыбнулся.

А урманский главком сделал тогда шаг, у него одного спросил:

— Власть делите, властелины, да? Смешно, да?

Вскочить бы и, словно ты все еще партизанишь на Моряшихинской дороге, крикнуть в голос: «Смир-р-р-на-а!» Все чрезвычайное совещание тотчас зашаркало бы ногами по полу, вскочило бы тоже, руки по швам, а тут крикнуть еще громче: «Все на фронт — ша-агом арш!»

Партизаном Мещеряков уже не был, уже вернулся с Моряшихинской дороги. Сам вернулся, по собственному усмотрению.

Но, вернувшись, еще не стал настоящим главкомом, и ни при чем вдруг оказалась его строгость, его готовность воевать по новому счету.

Не мог он сделать и по-другому — тихо-спокойно, по разуму, приказывать как высший командир: «Товарищи! Прошу каждого, здесь присутствующего, заниматься своим делом, то есть — войной с противником! Прошу покамест разойтись! До скорой победы!»

Он и в самом деле был здесь подсудимым. Был! Как положено — его здесь и обвиняли, и защищали, и допрашивали: «Смешно, да?»

Теребил свою пеструю бородку представитель Панковского районного штаба. Из того самого Панкова, в котором придуманы были мучные рубли, откуда родом был заведующий финансовым отделом главного штаба — крохотный и в очках. В котором первую советскую власть разгонял скорый на руку Громыхалов, ныне боевой командир роты штрафников в составе полка красных соколов. Еще и еще подробности вспомнил о Панкове и Панковском штабе Мещеряков, а представитель этого штаба уже говорил:

— Я от себя предлагаю — на собственную мою должность как начальника революционного штаба поставить товарища Власихина Якова. У нас народ, многие, этой постановкой будут довольные. А солонпацкие — те сроду-то своего старца не уважали, довели до суда над ним и чуть ли не до всенародного расстрела.

— Панковские — за Власихина либо за советскую власть? — спросил Брусенков. — Ну!

— Я — за то и за другое, — ответил панковский представитель.

— А тебе не приходит, что это невозможно — то и другое?

— Нет, не приходит. Что он, Власихин-то, бесчестный человек или как? Это не напрасно было, что товарищ главнокомандующий Мещеряков освободил товарища Власихина от суда и смертной казни. Герой, он знает, кого надобно до конца защищать. Потому и его нынче тоже предлагаю не казнить и не судить за безрассудное партизанство, а внушить, чтобы занимался победным сражением над Колчаком, больше ничем посторонним... Когда он не до конца еще сознательный — внушить.

И тут Мещеряков поднялся со своего места у окна, где он просидел так долго и так неподвижно, вглядываясь в короткую осеннюю улочку выселка, на которой запоздало и робко зеленилась травка-топтун, сусливо бегали сметанно-белые, мелкие, похожие на цыплят куры с пунцовыми гребешками.

Ужасно тоскливо, ужасно не по себе стало ему сидеть здесь. Он и встал, пошел к двери.

В дверях оглянулся, подхватил еще какое-то слово панковского представителя — опять о Власихине — и вспомнил обширную площадь Соленой Пади, всю переполненную народом.

И себя он вспомнил на гнедом, в серебряной мерлушковой папаше с красной лентой. Он указывал вытянутой рукой на Власихина, был судьей ему. А может быть, и всем людям, которые на площади в тот миг оказались, еще теснились из улиц, из проулков. Всем. Только себе самому не был он тогда судьей. И ему — никто.

Потом, с порога же, он перехватил взгляд Таси Черненко. Не левичий, не женский, не мужской. Непонятный.

Эту — хлебом не корми, только б ей судить и осуждать!.. От кого такая растет? И — куда?

Очень переживал нынешнее чрезвычайное совещание Довгаль, не знал, как обвинять, как оправдывать. Довгалью трудно, он слишком хороший человек, не бывает никогда ни перед кем виноватым и не знает, что это такое — вина.

Луговские представители — Кондратьев и Говоров — тихо беседовали между собой. Кондратьев что-то объяснял своему товарищу-матросику, а тот, не вынимая сигарки изо рта, кивал головой...

Кто задал Мещерякову загадку — это бывший комполка двадцать четыре, ныне — комдив один: тот глядел куда-то в сторону, хотя миновать взглядом своего главкома не мог, потому что сидел как раз против двери.

«Вот так, дорогой мой комдив! — сказал Мещеряков про себя. — Может, тебе еще неизвестно, что в новом приказе, изданном сегодня утром

по части строевой, дивизий в армии уже не одна, а три? И, значит, не ты один второй человек в армии, сразу же за главкомом. Вас, вторых, теперь уже трое!»

В кухне Гришка Лыткин старательно учился курить трубку, двое партизан учили его, но сами толком не умели, умели только показывать, как это делается, на сигарках-самокрутках.

Еще какие-то вооруженные и безоружные сидели на прилавке под образами, не скидывая папах, шапок-ушанок и картузов. Некоторые спали на полу.

Мещеряков сделал Гришке знак, миновал полутемные сенцы, спустился по ступенькам крыльца, пересек ограду и вошел в добрую, бревенчатую, с побеленным потолком конюшню...

Приблизился к гнедому, пощупал у него раны в мякоти передних ног, одну почти у самой груди, другую пониже, примерно в четверти от коленного сустава. Эту, другую, гнедой заработал совсем недавно, под Моряшихой. Обе раны он ощупывал, как на себе, — нисколько не искал, рука сразу же их находила.

Гнедой тыкался в плечи Мещерякова, в одно и другое, отвислой от ласковости, расслабленной нижней губой, черной, мягкой и нежной, а верхняя губа, закапанная розоватыми пятнышками, тоже оттопыривалась, вздрагивала, набухала изнутри мелкими чуткими пупырышками.

Раны не кровоточили больше, а затягивались плотной шероховатой коростой, и гнедой — должно быть, за это — благодарил хозяина, глядел собачьими глазами, прижав уши к гриве, разбросанной по голове, переступая задними ногами, напрягая мышцы передних ног.

Потом гнедой вздумал заржать, вскинул голову на тонкой блестящей шее вверх, под кожей разом проступили крупные жилы, и тоже вверх, к самой глотке, по ним кинулась кровь... Гнедой зажмурился, но только раз или два всхлипнул — тут же снова и ткнулся в мещеряковское плечо.

Мещеряков резко отвернулся, шлепнул коня по губам, а сам спросил у Гришки Лыткина, который, прислонившись к косяку, стоял в дверях конюшни, внимательно смотрел на главкома и на коня.

— Ну, Гриша, — какая жизнь?

Гришка не сразу поднял взгляд.

— Жизнь, товарищ главнокомандующий, жизнь, она...

— Ну? Ну, что она? — потребовал Мещеряков. Но крикнуть ему не хотелось, нет. Только показалось, что хочется. — Ты не стесняешься ли меня, Гриша? — спросил он чуть спустя.

— А почто?

— Прасолиху-то я увез? Евдокию Анисимовну? Пьянство сделал в Моряшихе. Да мало ли что еще? Смешно сделал. Да?

— Вам — все это можно, товарищ Мещеряков.

— Как же так?

— Вы — герой, товарищ Мещеряков. И главный над всеми партизанами. А сказать, так и для любого гражданского жителя главнее вас нынче нету. Более, как на вас, он ни на кого не надеется.

— Ты откуда же это взял?

— Возьмешь, когда все говорят. В каждой избе только и слов, что об вас. Как воюете, как уже в самом скором времени совершите победу на счастье народа. Что там — вас кони и те любят до бессознательности, не говоря о людях.

— Победу сделает армия. И прежде всего — рядовые ее герои.

— Рядовые герои без героического вождя не смогут. Нет, для их это невозможно...

— Все ж таки ты очень сильно хвалишь меня, Гриша. Не к моменту.

— Только вам и простительно. Больше — никому и никогда.

— А я, наверное, Гриша, не сильно мучаюсь, в том-то и дело. Я знаю — женщина может быть другая. Бывает. Ну, а другой жены мне нет и не будет.

Гришка подумал и согласился по-своему:

— Вы — страшно фартовый, Ефрем Николаевич! И не просто так — сами фарт себе добывали, а теперь хотя бы и за это, и за все другое вам от людей простится. Только одно уважение, а больше ничего.

Мещеряков сел на конюшенную подворотню, стал закуривать. Стал показывать Гришке, как правильно из трубки нужно затягиваться, и Гришка, стоя перед ним, слушал внимательно, у него тоже начало получаться — дымок потянулся из трубки ровными колечками, эти колечки радовали его несказанно.

Вдруг Мещеряков резко, не оглядываясь, взмахнул рукой и ударил гнедого в левую заднюю, как раз с обратной стороны колена.

Гнедой тревожно и по-человечьи жалобно охнул, простонал, припал на задние, вздрогнул сильной дрожью всем телом, а Гришка побледнел и выронил изо рта трубку. Постукивала кровь в жилах всех троих — Мещерякова, Гришки и гнедого. После, когда все успокоились, Гришка смахнул с лица пот и не заговорил, а застонал:

— Судьбу пытаться, Ефрем Николаевич? Да разве можно? Это — вам-то? А когда бы он обеими задними вас в хребтину? Либо — в голову? — Гришка отвернулся и еще раз сказал: — Через минуту гнедой уже и сам бы прослезился, но ведь он же кованый, на шипы кованный? У меня вовсе дыхание зашлось. Ефрем Николаевич, не надо! Не могу я этого!

— Нет, Гриша, — ответил Мещеряков. — Когда я на коне поездил верхним или в упряжи, когда покормил коня со своих собственных рук — он меня уже сроду не сможет ни ударить, ни обидеть. Вот это я знаю. Опять же конь, Гриша, это не человек. Коня, особенно боевого, я, как главнокомандующий, выберу себе из тысячи. Чтобы он подходил ко мне, я — к нему. А людей человек не выбирает, нет, даже когда он самый верховный. Разве что только жену. Остальные все люди — какие вокруг тебя есть, с такими и живи, с такими воюй.

И Мещеряков быстро поднялся на ноги, ткнул свою прокуренную трубку-коротышку в карман... Прошелся вдоль ограды, бросил взгляд на гнедого. Еще раз прошелся.

Вдруг приказал, словно в бою, строго и быстро:

— Запряги тройку!

— Поехать куда?

— Поехать.

— Далече?

— Порядком. В Верстово ехать.

Теперь глазенки у Гришки, серые с зеленым, вылупились. На один глаз опустился из-под шапки белый клочок волос, на розовом, еще с лета обожженном ярким солнцем носу нависла капелька.

Парнишка!

Мещеряков на него поглядел, даже сбоку зашел, чтобы увидеть, и сказал:

— Вот так, мужик! Чужим занятием сколько-то побаловаться можем, и даже сильно побаловаться, а свое — оно одно-единственное! В чужом надо свой край знать и не пропустить. Куда от своего? Мужики мы, Гриша! Поедем, Гриша, зябь подымать. Покуда еще не поздно, не окончательно застыла почва.

— Ефрем Николаевич...

— Не хочу я что-то, Гриша, и дальше с чужого хлеба кормиться! Не хочу с чужого, хватит!

— А война? Она же — идет! Кто вас с нее отпустит?

— Не отпускают — возьмут в красные соколы. В громыхаловскую в штрафную роту.

— За главнокомандующего кто будет воевать?

— Комполка двадцать четыре. Ныне — комдив один.

— А парад? Кто его будет устраивать?

— Переживем как-нибудь. И не это переживали.

— Он же будет по случаю полной победы над кровавым Колчаком, парад! По случаю нашего окончательного соединения с Красной Армией! По случаю самого первого дня нашего светлого будущего!

— Много насчитал случаев... Не слишком ли?

— Их еще можно без конца насчитывать! Неужели — запрягать?

Мещеряков долго не отвечал. Гришка ждал.

— Кончим войну, Гриша, откуда мы пришли, туда и вернемся! Это наше слово борцов за мировую справедливость! — А когда сказал — резко повернулся, пошел.

Оглянулся уже с крыльца:

— И все ж таки — исполнять! Поставь тройку за конюшню, поближе к стенке. Супонь на кореннике распусти, не держи его до времени в твердом хомуте. Исполнять!

Снова распахнул дверь в помещение штаба.

Глава пятнадцатая

Снова сидел Мещеряков на табуретке у окна — на подсудимой скамье. Глядел в улочку, на белых крохотных босоногих и беспокойных кур.

Подошел к нему Петрович.

— Что-то не узнаю тебя нынче, Ефрем. А ну — держись!

Мещеряков же подумал: «Хорошо, что вышел я на волю, за коня подержался. Мужичья склонность — она не подведет!..» Вскоре тройку стало видно за стеной конюшни, особенно правую пристяжную и коренника — гнедого с рассупоненным хомутом...

Еще сильнее было накурено в избе. И голоса людей стали поглуше, и лица суровее. Урманый главком хотя и цеплялся за кобуру, но не улыбался уже несколько. Вытаращив глаза, слушал.

Панковского представителя потеснили, он сидел теперь с краешка стола, терял бородку, на добреньком его лице был испуг не испуг — какое-то недоумение.

И если с самого начала совещания заспорили Брусенков и Кондратьев, так теперь они будто шли один на один. Пощады друг другу не давали и не ждали ее.

Изредка взмахивая огромным сильным кулаком, а другой рукой по-прежнему опираясь на плечо своего товарища-матросика, Кондратьев разворачивался лысой головой в упор на Брусенкова:

— Народ повсюду поднялся на Колчака! Ни на что уже не смотрит, даже — на урманых главкомов. И в этот момент партизанской армии преступно оставлять народ на произвол. Но к преступлению толкает товарищ Брусенков! Народ нынче убеждается, способны мы защитить его или — не способны? Мы хотя и самодельная, ненастоящая, а все-таки — советская власть, и, глядя на нас, народ судит о настоящей рабочей-крестьянской советской власти. О подлинной! А товарищ Брусенков? Он сегодня советскую власть предает, а завтра — сам хочет ею называться! Присвоить имя — не дадим! Ты власти хочешь, больше ничего! Армия тебя не поддерживает — и она тебе не нужна! Съезд при-

помнит тебе конфискации и расстрелы, поправление районных штабов — и съезд тебе уже не нужен! Ты — кто?

— Вот именно! — кивнул Брусенков, тоже поднимаясь. — Необходимо понять, кого защищаешь ты, кого — я! Для всеобщей ясности вопроса прочитываю документ... — И Брусенков вынул из кармана еще одну бумагу, разглядел ее, как всегда, когда он читал на людях, положил на картуз. Откашлялся. — Письмо изменника и предателя комиссара Куличенки своему другу-единомышленнику, а нашему главнокомандующему, — объявил он громко. — Написано таким образом: «Товарищ главнокомандующий, Мещеряков Ефрем Николаевич! Мы с тобой парнишками вместе были, а также солдатами революции — ты меня пойми. Я ушел с двумя полками в Заелань, ибо выполняю волю революционной массы. Когда ты массе отказываешь в защите ихних детей и крова, а белые гуляют в Заелани в свое удовольствие и тебя сильно хвалят — кто же об их позаботится, как не они сами, заеланские, и не тот командир, который еще не оторвался от народа, не гонится за службой среди других таких же служащих, а готовый в любую минуту отдать свою жизнь за народ? Но ты оторвался, не слышишь голоса массы и полностью находишься в услужении деспота Брусенкова. Чем он тебя купил — даже непонятно. Просим тебя — ты пойми это еще покуда чистым сердцем, не пятнай себя и свою честь народного героя — завтра же разгони мадамов и самого Брусенкова в его главном штабе, а без его пагубного влияния тебе снова станет доступным голос массы и ее светлая любовь и ты будешь выполнять ее святую волю. Самая большая анархия — когда закон есть ничто, как собственный произвол и насилие, а ты нынче брусенковскому произволу подчиняешься, служишь рабски. Преданный тебе друг, а ныне командующий независимой заеланской народной партизанской армии Л. Куличенко».

Брусенков положил письмо в карман пиджака, он туда нынче складывал все свои бумажки. В тишине стал ждать, кто и чего теперь скажет. Не дождавшись, спросил:

— Каждому ли понятно, с кем заодно находится Мещеряков, когда идет разгонять главный штаб? А когда это понятно, предлагаю поглядеть, кого поддерживает Луговской штаб? Когда он тоже становился против главного штаба — не заодно ли он с Куличенкой? И не на службе ли у вас у обоих Мещеряков, не по вашей ли указке главный штаб им разгонялся? Тебе Соленая Падь с главным штабом, товарищ Кондратьев, уже давно поперек горла. А почему? Потому что они не под тобою, а над тобою! Единственно! Но я покуда не тебя нынче в первую очередь виню, товарищ Кондратьев. И для твоего поведения существует причина — она в Мещерякове заключена, в нем и в нем. В его появлении среди нас. Вот что мы должны окончательно и безоговорочно понять!

Кондратьев поглядел на матросика, пожал плечами.

— Он что же — нас пугает, а? Сам пугал — не вышло. Мещеряковым пугал — не вышло. Теперь — Куличенкой и Мещеряковым, вместе взятыми! — Помолчал и крикнул: — Не выйдет!

Матрос подтвердил негромко:

— Не выйдет, нет...

И Кондратьев еще сказал:

— Не пугай никого и с другого края — будто мы, Луговской штаб, уже слишком самодельный, слишком кондратьевский! Мы выбраны не тобой, а съездом делегатов Луговского района. Их представляем и поэтому — нам съезд всей Освобожденной территории не страшен. Страшен он тебе: власть еще у тебя в руках, и немалая, а ты уже никого, кроме самого себя, не представляешь.

— Так! — кивнул матросик Говоров.

А Брусенков снова усмехнулся:

— Вот-вот! Я тебя с Куличенкой и сравниваю. И твою роль. Пойди в заеланские полки, с которыми он вместе совершил измену, — они тоже все как один за своего вождя проголосуют!

Тут Кондратьев поднялся из-за стола, прошелся по комнате.

— Как ты измену правому делу с делом путаешь? Умеешь?!. Я тебе летом посылал для сведения бумагу, у контрразведчика взятую, там о Луговском говорилось. Напомню! — Кондратьев положил крупные волосяные руки на лысую голову, медленно стал говорить: — «Образец, притом самый вредный, советской партизанской власти, это так называемый Луговской район, потому что там повсюду выбраны на посты большевики и осуществлен наибольший во всей так называемой Освобожденной территории порядок...» Помнишь? Или не помнишь? «Они-то и являются главным злом и рассылают своих тайных агитаторов под видом торговцев в благонадежные волости, разлагают их...» Тоже не помнишь? Нет?

— От ребячьего ума исходит. Своими глазами не видишь, что плохо, что хорошо, — от белогвардейцев научился понимать?

И Брусенков встал рядом с Кондратьевым.

— Ты против главного штаба. А что такое главный штаб? — спросил он от окна у всех присутствующих. — Не покладая рук по великому желанию трудятся для народа люди из народа же, а не просто так — за жалованье от буржуазии, за подачки от нее. И когда тот же Мещеряков посетил главный штаб, его отделы — народного образования, финансовый, юридический, агитационный, — он все эти отделы понял, признал их подлинное значение. Признал? — обратился он к Мещерякову. — Если честно?

Мещеряков вспомнил главный штаб. Большую комнату с осколками стекла на полу. С окном, в котором было большое и круглое отверстие.

— Признал... — сказал он.

Брусенков кивнул ему и подтвердил:

— Правильно и честно ответил. И я так же честно скажу за Мещерякова дальше: не признал он лишь один отдел. Военный. На один отдел он поимел личную обиду, но она ему уже превыше всего. И он пошел разгонять весь главный штаб, всю народную власть и бескорыстных тружеников народного дела! И каждый из вас, кто против главного штаба, тоже в чем-то в одном на его в обиде, но нет чтобы сказать себе: «Это обида вовсе не идейная, а за собственную личность!» Нет, не так вы все говорите, а по-другому: «Разогнать к чертовой матери весь главный штаб! Веры ему нету! У меня в Луговском — лучше, у меня в дремучем урмане — лучше, у меня в армии — лучше, а я сам — гораздо лучше Брусенкова!» А дальше? Кто пошел на разгон главного штаба — тот уже среди вас герой народного дела! Вот как вы между собою нашли всеобщий язык! И, может быть, ты, Кондратьев, будешь наверху. Вполне может быть! Но правым — никогда! Я весь главный штаб от начала до конца делал. Хорошо ли, плохо ли, но только никто другой не делал этого. Другие — оглядывались, боялись совершить неправильно, жертв боялись, идею считали не до конца созревшей, поддержки в людях не видели. Луговские обнюхивались с соленопадскими, панковские — с верстовскими, верстовские — с луговскими. А я ни на что не глядел. Белые сколь раз меня чуть ли не задавливали и расстреливали — я делал. Луговские почти начисто отделялись — я делал. Революцию совершали все, на восстание шли все, но власти сделать никто из вас не смог. Ни один! Революционную власть — ее надо делать уметь и успеть. Покуда контрреволюция народ по морде бьет, а тот от ее удара отворачивается — успевай! После — поздно будет! А когда наша власть была успеш-

но сделанная — тогда уже луговские со своими ячейками, панковские с мучными рублями, верстовские с армией — все пришли ко мне в Соленую Падь! Все и каждый прислонились к власти, схватились за нее! Почему же, спрашиваю, если главный штаб плохой и Брусенков плохой, почему верстовское восстание и самая сильная армия во главе с самым хорошим командиром Мещеряковым пошли в Соленую Падь, а не Соленая Падь пошла в Верстово? Мещеряков шел — не ребенок малый, не за ручку был приведенный, а ясно знал — к чему и к кому идет. А когда так — почему тотчас стал поперек того, к чему сам же пришел? Какое на это у него право?! У кого оно — у его либо у меня? — Брусенков протянул руки, пощупал ими кого-то. Мещерякова пощупал, сжал до костяного хруста. Вздохнул. Огляделся по сторонам, спросил: — Играем? Да? Урманный главком играет в собственную самостоятельность, а я готовый порубить себе правую руку, если через месяц, того меньше, он не будет у нас. Но ведь я не уговариваю, сроду нет. Власть — она не для уговора, она — опять же для власти. Ты это знаешь, товарищ Кондратьев, как начальник районного штаба. Я тоже знаю, как начальник главного штаба. Будешь ты на высокой должности — будешь действовать так же, как и я, а не то — уйдешь с позором и еще пошатнешь общее дело. Это здесь место говорить по-интеллигентски. А дома у себя? Знаю, какой ты интеллигент у себя в дому! Там тебе известно, что нам, мужикам, уговоры — тьфу! Что они есть, что их нету!.. Еще не постесняюсь спросить: почему ты, Кондратьев, когда белые к тебе близко — за Брусенкова, когда далеко — ты против его? Ведь он, Брусенков-то, тот же остается — это ты почто-то другой делаешься. И особенно — ты против после того, когда товарищ Мещеряков объединил наши армии? Догадался, что силы стало у тебя больше, а власти меньше, и хочешь пропорцию навести? Не в этом ли твой лозунг мировой революции? И чем ты отличаешься от дорогого тебе товарища Куличенки? Чем?

Как раз в это время Мещеряков спрашивал себя: «Уехать? Коренника засупонить?»

Кондратьев ответил:

— Я, подобно Куличенке, за полками, когда они изменяют делу революции, не побегу. И подобно тебе, Брусенков, из нее, из революции, одну только власть делать не буду. Не для этого она. Мы с тобой, когда скрывались в кустах, поднимали народ на борьбу, не для этого начинали и поднимали!

— Смешно! — ответил Брусенков снова. — Конечно, смешно! Эти слова о себе самом на то и годные, чтобы раз один ими попользоваться, после — выбросить куда подальше, забыть навсегда. Может быть только одно, а не два: либо ты, подобно Куличенке, побежишь за полками, либо, подобно Брусенкову, будешь держать твердую власть в твердых руках. Выбери! Это нетрудно — выбрать. Для честного революционера.

И тут поднялся Петрович, сказал громко:

— Дальше — я!

— Куда же — еще-то дальше? — не спросил, а с каким-то даже восхищением проговорил урманный главком.

Петрович, вытянувшись в небольшой свой рост, протирал очки, будто писать собирался или разглядывать через эти очки Брусенкова. Спокойно протирал, стоя прямо, требуя, чтобы все дождалось, когда он с очками кончит. Кончил, сказал:

— Сейчас — только одни факты.

Уже что-то подозревая, какую-то неожиданность, Брусенков как будто даже с интересом согласился:

— Ну и что? Факты так факты! Высказывай!

— Высказывать будешь ты.. Самый первый вопрос: когда Стрель-

ников бросил гранату в окно главного штаба — для чего это было сделано? Испугать Мещерякова? Или — схватить его?

Все стали глядеть на Брусенкова. А тот оглядывал каждого. Глядел и думал, глядел и думал.

— Что делал — на все были соображения, — ответил после долгого молчания Брусенков. — Лучше сказать — было ясное подозрение, а когда так — я и делал, как мне подсказывала моя революционная совесть, бдительность и обязанность. Я сейчас — начальник главного штаба и тогда им же являлся. И когда бы я тот раз не применил мер, то сию минуту я был бы уже действительно перед всеми вами виноватый. Но я уже тогда подозревал измену — то ли Куличенки, то ли самого Мещерякова, это все одно. Подозревал, что при удобном случае главком бросит армию на произвол, как в действительности после и было, когда он ушел на Моряшихинскую дорогу. И только ты, товарищ Петрович, не щадя своей жизни, смог в его логово поехать, уговорить его... И то — заплатив цену. Цена немалая — разгон главного штаба, хотя и не удавшийся до конца, опять же благодаря другому истинному революционеру — товарищу Довгалью. Кому обстановка все еще не ясная? Кому не ясный ответ?

— Не ответ. Хотел ли ты Мещерякова устранить? Своею единоличной властью?

— Хотел выяснить истинные мещеряковские намерения, свои единоличные подозрения.

А Мещеряков уже знал, что следующий вопрос Петрович задаст ему. Имел на это право. Обязан был задать. Не мог не задать вопроса комиссар своему главкому, и ощущение подсудности, острое и тревожное, снова охватило Мещерякова. Судили его. Судили Брусенкова. Судили их вместе, заодно.

— Товарищ главком, было ли тот раз на тебя совершено покушение? — спросил Петрович.

— Настоящих фактов нету.

— Какие есть. Честно и откровенно. Ну? Ну, Мещеряков!

— Откровенно — это было покушение...

Тася Черненко уставилась на Мещерякова.

Брусенков захохотал, и тогда Тася Черненко обернулась к нему.

Кондратьев и Говоров привстали вместе. Вместе и снова опустились на лавку.

Брусенков хохотнул еще раз:

— Чем доказываешь?

— Ничем... Тот день в главном штабе было четверо вооруженной охраны. Они и прибежали, когда ты, Брусенков, крикнул: «Граната!» До того случая было всегда двое.

— Пятеро! — заметил Брусенков. — Пять человек было назначено. Одного не сосчитал. Накануне того дня новый порядок был введенный в помещении штаба. И существует по сей день. Я ошибку сделал — не предупредил тебя заранее, чтобы ты не опасался входить в главный штаб. Ну, а когда ты все ж таки заметил это — и не входил бы. Вернулся, взял бы для охраны взвод. Либо — эскадрон!

— Не вернулся... — вздохнул Мещеряков. — Надо было, но не вернулся. Хотел испытать тебя. И — себя.

Теперь захохотал урманый главком. стал глядеть вокруг, будто ожидая себе похвалы. Не дождался.

— Скажи ты, товарищ Довгаль! — спросил Петрович, когда этот смех наконец замолк. — Что известно тебе?

Довгаль молчал все нынешнее совещание. И сейчас трудно было ему говорить.

— Утром того дня в избе Толи Стрельникова было нас пять человек,— сказал наконец он.— Пятеро членов главного штаба. Обсуждали — убрать либо нет товарища Мещерякова. Не договорились ни на чем, хотя постановили — поставить вопрос на собрании, свести лицом к лицу товарища Брусенкова с главкомом. Я и поехал собрать на Сузунцевской заимке партийцев, все остальные — в штаб. Там и произошло... На собрании же не произошло ничего, тем более что на обратном уже пути Брусенков обещал мне не принимать против главкома негласных и единоличных шагов.— Довгаль вздохнул, а Мещерякову стало чуть полегче от этого громкого, непомерно тяжелого вздоха.

— А теперь — расскажи, товарищ Довгаль, как главком разгромлял и твой собственный и главный штабы? — попросил Брусенков.— Ты и этому — тоже свидетель.

— Свидетель...— подтвердил Довгаль. Опять вздохнул, и опять Мещерякову стало как будто легче, но только — очень почему-то жаль Довгалья.

Однако Петрович не послушал Брусенкова.

— Стрельников? — спросил он так же громко.

— Ну и что — Стрельников...— отозвался тот.— Ну и что? Мне велено было с улицы бросить гранату, я и бросил! Тем более она без капсюля! Все.

— Черненко! — вызвал Петрович. Потом поправился: — Таисия Аполлоновна Черненко..

Поднялась Тася, побледневшая по желтому загару. Встала прямо. Встала и стояла молча. Ее ждали, но не дождались — вдруг вскочил Кондратьев, взмахнул рукой:

— Да вы в Соленой Пади — одни только заговорщики, да? Брусенков признается в заговоре против Мещерякова, а Мещеряков — осведомлен и молчал! И Довгаль — полностью в курсе? Вы все — одна шайка, одна круговая порука?

За всех ответил Кондратьеву Брусенков:

— Тебе не все наши обстоятельства ясные и понятные. Ты армиями не сливался, не знаешь, что это такое. У тебя штаб — районный, а не главный. Отсюда — твои ошибки. Ты Мещерякову нападение на главный штаб в вину не ставишь, а когда я хотел поступок заранее пресечь — у тебя рот до ушей: «Заговор!» Какой заговор? В чем? Скажу: с целью была брошена граната, но без капсюля. Отсюда сразу видать, какое это было покушение — я хотел говорить с главкомом в присутствии военной силы. Тех пятерых человек с оружием, которых Мещеряков хотя и считал, все же среди их одного недосчитался. Хотел показать, что когда у его есть армия, то у нас — какое-никакое, а ополчение. Тем самым сбить у его хотя бы отчасти партизанскую замашку на главный штаб. Все — абсолютно верно.

Но Кондратьев не успокаивался, хотел узнать:

— Может, и ты, Петрович, был полностью в курсе? И ты — во всем участвовал?

— Товарищ Черненко! — снова вызвал Петрович и снова поправился: — Таисия Аполлоновна!

Через небольшие оконца на бревенчатые стены, на некрашенный пол, на людей, которые сидели по скамьям и табуреткам и прямо на полу, падал пестренький осенний свет не пасмурного, но и не погожего дня, пробирался сквозь махорочный дым.

В одном углу еще не остроенной до конца, но уже заброшенной и нежилой избы проступала густая паутина. Изукрашенная в неожиданно веселые и яркие краски, она тянулась от потолка к полу и к двум стенам, отгораживая темноту угла; в другом месте этот свет падал на

травинки, кем-то занесенные сюда, поблеклые и стоптанные; на столе, вокруг которого тесно сидели люди, проступали следы клеенки — белые, расплывчатые и, должно быть, липкие, еще — зеленая бутылка без горлышка лежала на полу, у самого плинтуса, а на потолке отчетливо проступали два следа белильной кисти... Или когда-то хозяева прилаживались белить потолок прямо по доскам, без штукатурки, или просто кто-то баловался известкой — только остался этот след из двух белых полос крест-накрест.

Тася смотрела на эти полосы...

— В чем дело, товарищ Петрович? — спросила она наконец.

— Правильно ли говорит Брусенков?

— Он говорит правильно...

— Все ли он говорит?

— Не считаю нужным что-то добавлять. К его словам...

Тогда Петрович вдруг улыбнулся. Мило улыбнулся, ласково, почти засмеялся и спросил:

— Ну, вот что, девочка, тогда расскажите — кто вас украл? И почему? В ночь перед боем за Малышкин Яр.

— Я уже рассказывала тебе об этом, товарищ Петрович. Когда ты меня допрашивал. Опять допрос?

— Вы не все рассказали.

Тася пожала плечами, и стало видно, что отвечать Петровичу она больше не будет.

— Слушай, главком, — спросил тогда Петрович, — ты приказывал товарища Черненку арестовать, потом — поручил мне допрос. В чем ты ее подозревал? Подозрение было?

— Было... Когда приказал допрашивать, значит, было.

— Объясни.

— Она знала, кто ее похищал. Но вот так же, как сейчас, не хотела сказать. Это и есть мое подозрение.

— Ну, а ты знаешь, кто был в этом замешан? В похищении?

— Может, это не вовсе нужные подробности? — спросил Мещеряков.

— Кто был замешан, — повторил Петрович, — кто?

— Одного я будто бы признал: Юрнев Антоха, племяш моего хозяина Никифора Звягинцева. Ему я и крикнул тот раз ночью через овраг, чтобы бросил Черненку с тарантасом в целости и невредимости. Если не бросит — пригрозил сжить со свету всех его родственников. На родственников сделал упор. Он понял. И бросил. Но если я признал человека в темноте, товарищ Черненко не могла не признать его при свете, когда он ее похищал. Она не могла его не признать — он при Брусенкове в былое время кучерил. Давайте, товарищи, считать случай до конца исчерпанным. Черненко не хотела на Брусенкова слишком грешить, его обвинять, так и я тоже не хотел этого. Я ее арестовал. Было. Но — все мы за справедливость готовы жизнь отдать. Как бы нам при этом друг на дружку не замахатьсья?

Все в том же пестреньком, неярком свете, в густом дыму, клубившемся длинными клочьями, снова поднялась Тася, посмотрела на Мещерякова. Гимнастерка была ей великовата, свисала с нешироких, чуть приподнятых кверху плеч.

— Ты что же, Мещеряков, все еще мальчик? — сказала она. — И не понимаешь, что все может быть? Может быть, я слишком многое знала и Брусенков хотел убрать меня. Может быть, он не доверял мне больше. Может быть, я сделала уже все, что должна была сделать. Может быть, может быть, может быть... Их — сколько угодно, и каждого «может быть» достаточно, чтобы главный штаб, товарищ Брусенков убрал меня.

Это его право. С этим я пришла к нему. Он не обманывал меня, я — его. Если же кто-то из нас к этому не готов в любую минуту — тогда ему не надо начинать то, что начали мы. А если без этого убеждения он все-таки начал — он преступник. Рядовой или главкомандующий — он преступник!

— Девка-то! А-а-а? — вздохнул урманый главком.

...Больше суток Тася Черненко провела под арестом в кладовой — вот этой же протяжинской избы, а потом был допрос — и опять в этой самой комнате с белым крестом на темном дощатом потолке. Разбитая зеленая обувь-то и тогда лежала на полу. А нынче Тася Черненко с новой силой почувствовала свою решимость — всю жизнь, всю смерть принадлежать единственному. Она хотела научиться и научилась принадлежать до конца.

Она пришла в Соленую Падь городским ребенком, но решительность разрушила ее ребячество. Она начала с какого-то мелкого и вздорного случая, бросив родителей, Высшие курсы, сестер и, кажется, даже любимого человека... Но случай не мог быть случайным: не в тот, так в другой какой-то день, не как девчонка, а как женщина, как человек, как человечество — рано или поздно она поступила бы так же! И чем нелепее, нескладнее, смешнее могло показаться ее бегство в Соленую Падь, тем значительнее было то, к чему она пришла. Если уж детский порыв привел ее сюда — значит, сюда вели все дороги, значит, борьба, в которую она вступила здесь, была всеобъемлющей, единственной в своей значительности и неизбежности. Была тем, что позволяет человеку жить без страха хотя бы сто, двести, тысячу лет или умереть сию же секунду...

Об этом и сказала Тася Черненко на допросе в первый и в последний раз в жизни — это не произносится дважды. Сказала, не обратив ни малейшего внимания на интеллигентность Петровича, не убоившись сцены излияния одного интеллигента перед другим.

И Петрович слушал и слушал ее тогда, поглядывая на нее чуть наивными темными глазами из-под белесоватых бровей и дешевеньких очков. Не спорил, не возражал — понимал ее, и больше ничего. Допроса не было.

И только непонятым, удивительным было тогда его поведение — выслушав Тасю, он заговорил о Мещерякове.

Тася засмеялась над ним, над его наивностью и сказала, что Мещеряков — кажущийся герой, озабочен тем, чтобы сохранить свою собственную жизнь и тоже свою собственную мерлушковую папаху!

А следователь согласился: «Он этим озабочен. Очень!»

Командир полка красных соколов — шахтеров и штрафников, недавних контрреволюционеров, — отчаянно смелый, искал близости с Мещеряковым. Смешно!

А допрос все-таки был. У нее что-то выведывали и выведывали... Тася насторожилась, собралась. На этот раз она хотела разглядеть Петровича. Ей это было необходимо. Без этого она почему-то не могла.

А у того появился новый противник.

— Я тоже! Тоже! — крикнул вдруг Толя Стрельников, как будто кто-то не давал ему говорить. До сих пор он произнес лишь несколько слов — бросил гранату без капсюля, и все. Но после успокоиться уже не мог — заглядывал в красноватые, почти зажмуренные глаза Коломийца, смотрел на урманного главкома, на панковского представителя, а потом как будто остановил взгляд на самом себе и вот — заторопился сказать. — Мне просто удивительно, — говорил он теперь быстро, размахивая единственной рукой, — просто удивительно, как происходит? Как ровно в волостном суде старого режима! Заклеывают товарища Бру-

сенкова со всех сторон. Начать хотя бы с попов! Ну и что? Стрелял в их товарищ Брусенков. А они сколь разов стреляли хотя бы в меня своими песнопениями? И в моих детей? Стреляли обманом, живого закапывали в могилу темноты и невежества? Они песни пели, блины и пельмени жрали без конца и без края, собственных деток в городских и семинарских училищах учили, чтобы они тоже любую проповедь начинали с «Боже, царя храни», затыкали порабощенные глаза и уши, чтобы в их обратно не попало нисколько правды. А я? Я, как дурак, в пасть ему глядел, и свой лоб крестил, и ручку ему целовал. Все! Срок настал, пожил — все! Дай другому пожить! Он меня до смерти не убивал, нет. А почему? Жалел? Я ему живьем нужен был, с живого он с меня больше выгоды имел — деньгами, яичками, куличами, овечьей шерстью. А когда я ему был бы выгоднее мертвым — он ту же минуту убил бы меня божьим именем в божьем храме. Я их знаю до ногтя — у двух батрачил, у одного — так уже после фронта без руки страдал. Всем известный был в Понизовье случай: в одиннадцатом году маслоделщик Харлампиев убил батрака, не хотел ему долг платить и убил, в колодец бросил, а поп — тестем приходился Харлампиеву — урядника смазал, скрыл убийцу своим саном. А Брусенков стрелял в попа — мы делаем скандал! Да он что — по личному делу стрелял, что ли? Он сроду-то, Брусенков, безбожник, единого разу ни лба, ни брюха не перекрестил, сроду ни один поп его обмануть был не способен, а делал он это — из-за меня! Из-за порабощенного и попом, и кулаком, и царем, и каждым другим хоть сколько грамотным и хитрым! А когда так — стреляй! Стреляй гадов при каждом случае не божьим именем, а моим! Я благословляю! Я сам много чего не умею, меня не учили, а порабощали, а Брусенков вырвался из-под гнету, научился, за что же ему упрек? Хотя бы он неправильно делал с Мещеряковым, опять же — ну и что? Другой из нас на его месте во сто раз сделал бы больше неправильностей, так, может, нам обратно попов звать, когда они грамотнее нас? Или — товарищ Черненку хулигане сперли. Скажу — я об этом знал, и товарищ Брусенков знал, что они хотели сделать. Антоха Юрнев — он известный жиган, он вслух похвалялся — украдет товарища Черненку. Ну и что? И пусть крадет, когда сумеет. Мы с товарищем Брусенковым не сторожа при ей, и она нам никто, чтобы за ей углядывать. А то — простую, народную бабу спереть можно, а интеллигентную уже нельзя? То же самое и товарищ Петрович нынче на суд лихой, так я и о нем скажу: он еще до революции был хорошо грамотный, и ныне по этой причине ему обидно — не он, а Брусенков в главном штабе. Брусенков — мужик, а освободил от Петровича главный штаб!

Толя Стрельников стал прятать пустой рукав за ремень. Тяжело дышал.

Петрович спросил:

— Так, значит, ты, Стрельников, был порабощенным?

— Это каждому видно. Кроме тебя!

— А мне еще видно — ты им и до сих пор остался! Через два года после революции. И через десять им же останешься — это для тебя хорошо и просто! Вот и Брусенков — а может, он на тебя очень похож? Тоже — порабощенный? И тот же у него на все ответ: «Пожил — дай другому пожить!» Не признаешься, Брусенков? Нет? — Тут же Петрович резко потребовал: — Письмо!

— Какое? — не понял Брусенков.

— Куличенкино! Ну?

Пока Брусенков искал письмо в карманах, Тася Черненко следила за его рукой, как Брусенков вынимал руку из одного кармана, как

опускал ее в другой, и среди множества бумажек, тщательно написанных ею для начальника главного штаба, никак не мог найти еще одну...

Измятая бумажка оказалась наконец у Петровича, он тщательно ее расправил, рассмотрел.

— Написано через два дня после того, как Мещеряков пошел разгонять главный штаб... Возьми, Ефрем! — протянул бумажку Мещерякову. — Тебе послано... Хотя и оказалось у Брусенкова.

— Ну и что же? — удивился Брусенков. — Только это и видеть через твои очки? А еще до письма они не могли между собой договориться — Мещеряков со своим собственным комиссаром? Никак не могли?

— Вот так же, товарищ Брусенков, вот так же раньше, чем главнокомандующий, ты узнал об уходе заеланских полков. И не сообщив об этом никому, даже главному штабу, срочно поехал к товарищу Крекотеню. Ты хотел воспользоваться моментом, хотел, чтобы Крекотень начал действовать независимо от Мещерякова. Даже — вопреки ему... Он — и начал, дал приказ об отходе от Малышкина Яра, после — кончил полным провалом, и что ты с ним тогда же сделал? Это знаешь, кто мне объяснил? Всю эту ситуацию? Мещеряков объяснил. Мне объяснил, а тебя отпустил с миром из Моряшихи... Слишком мягко он с тобой обошелся. Слишком! Теперь это наглядно видеть...

— Мягко или твердо — это вовсе не имеет значения, — отозвался Брусенков. — Именно! Меня с моей линии не свернешь, миловать меня либо казнить, со штабом я или без штаба — не свернешь никакими силами! Уничтожить меня — это можно. Свернуть нельзя! Нет — я вам неподсудный, нет и нет! Никогда!

Тут за столом поднялся матросик Говоров. Вынул трубку изо рта и пыхнул дымом. Улыбнулся, переспросил Брусенкова:

— Не свернуть тебя?

— Ни в коем случае!

— Только и можно с тобой сделать, что — уничтожить?

— Только.

— Благодарствую, товарищ Брусенков, за подсказку! Очень! Нам с тобою, товарищ Брусенков, еще не один день предстоит быть рядом. И мне это очень даже полезно знать. Благодарствую!

* * *

Спустя еще время Брусенков был уже за созыв съезда, от которого он отказывался час назад. Говорил сипловато:

— Первый съезд начальника главного штаба выбирал, Второй только и может его устранить. Если нужно — расстрелять.

Урманный главноком держал в это время Мещерякова за оба плеча, потом обеими руками широко так размахнулся, будто собираясь обнять.

— Как-никак, а мы же тебя оправдываем? Оправдали ведь? А с этим куда? Куда денемся? — кивал в сторону Брусенкова. — Никуда не денемся — оправдаем тоже. Помяни мое слово!

— Ты меня в свою центральную власть не примешь ли? — спросил Мещеряков. — Только мне должность меньше, как главнокома, не годится. Меньше — ни в коем случае!

— Взаправду? — Урманный вояка задумался, стал серьезным, хотя это к нему вовсе не шло. — Ну, вопрос надо во всех сторонах обмозговать. И — решить.

За окном видно было тройку... Коренник ступал с ноги на ногу, и его теплые напряженные мышцы Мещеряков опять почувствовал под рукой. Правая пристяжная, положив голову на прясло, норвила дотя-

нуться к серенькому стволу уже опавшего, с редкими листочками на самой вершине тополя. Хотела погрызть горьковатой коры.

Обязательно кто-то должен был сейчас же удерживать Мещерякова в Протяжном. Сильно удерживать, умело и строго. Сделать — как сделали когда-то солдаты саперной роты: не выдали, хотя все до одного знали, что никто, как он, порубил портрет его величества.

Не сделает никто — и загремит тройка, запылит осенней перемолотой пылью, а где выпали дожди — поднимет брызги жирной радужной грязи. После — снова люди, снова привезут ему Брусенкова. И, должно быть, тогда, вовсе не сейчас, откроется настоящий новый счет.

В это время Мещеряков заметил взгляд — Жгун смотрел на него так же сердито, как и утром смотрел.

Седая голова Жгуна только немного не доставала досок потолка с белыми полосами крест-накрест. Он был худ, чисто выбрит, стоя, одну руку держал строго по шву гимнастерки, другую — на перевязи — поперек груди.

Заговорил, и тотчас суд, который только что здесь происходил, перестал даже казаться Мещерякову судом, потому что до сих пор в нем не участвовал Жгун.

Заговорил же он о заеланских полках.

Полки не ругал, Куличенку — тоже, только один раз и сказал слово «измена», потом стал доказывать, почему это слово сказано им: потому что заеланцы ушли в критический момент, потому что, уйдя, даже не попытались разрушить железную дорогу, прервать движение белых по восточной ветке и тем самым оказать поддержку партизанской армии, потому что не сообщили о своем уходе, потому что потеряли с армией всякую связь, в то время как и сейчас еще так или иначе с заеланскими полками можно было бы взаимодействовать.

— В партизанской войне нет дисциплины регулярной армии, — объяснял Жгун. — И не может быть. Нет устава боевой службы. Но ошибается тот, кто подумает, будто нет воинского долга, нет суда за его нарушение... Прошу совещание издать документ по поводу заеланских полков, назвать этот документ: «Тягчайшее преступление против революции». Разослать по армии.

— Прошу поднять руки! — объявил Петрович.

Подняли единогласно.

Жгун чуть склонил голову, поблагодарил:

— Спасибо... Прошу также внести в документ имена виновных военачальников... Мещерякова и мое. Все согласны? — спросил Жгун.

Никто не ответил. Встал, по-военному четко сказал Мещеряков:

— Все!

А тогда и Брусенков воскликнул:

— Все! Все!

Жгун посмотрел на него, опять чуть склонил голову.

— Спасибо... — Откашлялся. — Заеланские полки завтра могут стать бандами. Банды могут отвергнуть от нас гражданское население. Прошу чрезвычайное совещание откомандировать с упомянутым выше документом начальника штаба Жгуна в Заелань. Для предотвращения возможных последствий указанного события. Все согласны?

— Все... — опять ответил Мещеряков, а потом еще сказал: — Слушай, Жгун, а ведь они тебя растерзают, заеланские. Им другого выхода не будет!

И он это не зря сказал.

Никто, как Жгун, был самым настойчивым сторонником объединения армий.

Никто, как Жгун, был за переход верстовских вооруженных сил в Соленую Падь.

Армия это знала, лучше других знал Куличенко. И чем больше за это время каратели совершили в Заелани — выпороли, убили, сожгли, ограбили, — тем труднее было представить себе, как Жгун явится к заеланцам? Лично к главкому Куличенке?

Отчаянно храбрый и будто бы добродушный, будто даже с ленцой, Куличенко страшен в злобе: глаза наливаются кровью, на бороду обильно течет слюна.

Видел однажды Мещеряков, довелось увидеть, что тот — кривоглазый, мокротородый — сделал с пленными карателями!

Остановить Куличенку могли только ужасные мольбы — когда падает перед ним человек ниц, хватается за ноги, с земли молит о пощаде. Но ведь Жгун на землю не падет!..

Панковский начальник РРШ, нагнувшись к Тасе Черненко, вполголоса спрашивал:

— А детки есть? Товарищ женщина, есть у товарища Жгуна детки?

Тася повела плечом, отвернулась. А Мещеряков опять знал: детей у Жгуна двое. Еще жена и мать. Все на белой территории. В Забайкалье. Под атаманами Семеновым и Калмыковым...

— Поманивает к своим-то? К своим — поманивает, а нас обходишь маневром? — И еще что-то хотел сказать Брусенков Жгуну, но остановился.

Проголосовали. Жгун опять сказал:

— Спасибо... У меня — все.— И сел.

— Да...— сказал Кондратьев.— Да-а... Вот так. Армия что же, будет без начальника штаба?

Жгун ответил ему:

— Главкому нынче необходим не столько наштабарм, сколько настоящий комиссар. Комиссар есть — это товарищ Петрович. Поскольку не все полностью в курсе дела, прочти, товарищ Мещеряков, последний приказ по армии. Прочти весь — от начала до конца.

— «Славной крестьянской Красной Армии главнокомандующий товарищ Мещеряков со штабом шлют сердечное приветствие...» — стал читать Мещеряков. Он читал, Жгун на него смотрел, а он читал все громче и громче... Приказ снова оживал перед ним, снова он этому приказу подчинялся с тем необыкновенным желанием, которое было пережито им нынче утром.

О сапожниках очень громко прочел.

О ротах спасения революции, об окончательном назначении комиссаром армии товарища Петровича.

Петрович, когда о нем читалось, встал, тоже руки по швам... И Жгун опять почему-то встал в это время, и Кондратьев с матросиком Говоровым...

А Брусенков сидел, молчал со странным каким-то и не сразу понятным ожиданием. Но потом Мещеряков понял: Брусенков ждал, нет ли в приказе чего-нибудь и о нем. Не упоминается ли и он? Нет, Брусенков не упоминался. Ни хорошо, ни плохо — никак.

— «Наша победа — неизбежна! Светлый день соединения с непобедимой Красной Армией — неизбежен!» — закончил Мещеряков. Подошел к Жгуну, протянул приказ: — Передашь заеланцам.

— Будет сделано.

Они четко козырнули друг другу, стоя «смирно», и Мещеряков вышел в ограду, тотчас направился к Гришке Лыткину.

— Ну, Гриша, какая жизнь? — спросил строго и как будто все еще глядя в лицо Жгуна.

— Распрягать? Распрягать, Ефрем Николаевич? — вместо ответа спросил Гришка и тут же тронул коней. А супонь на кореннике так и не затянул, дуга болталась в гужах туда-сюда. Подъехал к побеленной конюшне.

— Ай-ай, Гриша! Ай-ай! — пристыдил Гришку Мещеряков. — Супонь-то! Дуга-то!

Распрягали вместе, поставили гнедого обратно в конюшню, под беленый потолок... «Что за хозяин жил? — почему-то спрашивал себя Мещеряков, распрягая. — У себя над головой дома так только один белый крест и поставил, а в конюшне на два, а то и на три слоя потолок покрыл известью, даже будто бы с синькой? Что за кони жили под белым потолком?»

Опять похлопал гнедого по теплым губам и сказал ему:

— Ты гляди, негодяй, гляди, гнедой, что мы с тобой едва не сделали? После доказывали бы, что мы — не Куличенки.

Вышли в ограду Довгаль и Петрович.

— Слушай, Мещеряков, — сказал Петрович, уже снова шутка природы, не строгий, не похожий на судью, удивленно помаргивая желтыми ресницами, — слушай, а урманной-то главком просит у тебя бумагу!

— Какую?

— Что его армия — это твоя армия. Что назначаешь его командующим северной группой своих войск.

— И все еще за кольт держится?

— Представь.

— Пустая ведь кобура-то... А что ты в ответ?

— Сказал — вряд ли он такую бумагу получит.

— Постеснялся? Больше сказать постеснялся?

— А ты? — вдруг снова осердившись, спросил Петрович. — А ты?

— Я?

— Просидел все чрезвычайное совещание, проморгал. Будто дело тебя не касается, будто не о тебе речь! Ушел в себя, да? А лучше выхватил бы пистолет да в потолок — раз, два! — пальнул. По-партизански! Поставил бы вопрос перед всеми присутствующими: либо ты, либо Брусенков! Поставил, вот мы бы все и задумались. Понимаешь ты Брусенкова, знаешь его. Но нету тебя против него! Почему?

— Не умею я на подсудимой скамье сидеть, Петрович. Не получается.

Тут вмешался Гришка Лыткин:

— Он-то, Ефрем-то Николаевич, выходил ко мне со штабу, велел запря...

— Гришка! — перебил его Мещеряков. — Мигом в штаб, принеси мне трубку. На подоконнике лежит.

Гришка кинулся, Мещеряков его вернул.

— Отставить, Гришутка! Трубка-то вот она, в кармане оказалась!

Довгаль сказал:

— Это Жгун нас многих ныне обезмолвил. Это он сделал, и многие примолкли.

И они все снова замолчали, потом так же молча Петрович прошел обратно в избу с ответом к урманному главкому, а Мещеряков, поглядев ему вслед, сказал:

— Это — окончательный комиссар! Не обижаешься, Лука, что окончательный он, а не ты? Не обижаешься?

Довгаль вопроса будто и не заметил. Присел рядом на конюшенную подворотню.

— Вы бы, товарищ Довгаль, маленько в сторонку,— опять заговорил и тронул его за плечо Гришка.— Ефрем Николаевич может просто так гнедого по берцу вдавить. А он, гнедой, может с этого слягнуться знаете как? Живого человека вообще не оставит!

Сказал это Гришка заботливо. Он уже похлопотал, задавая коню сенца, из кармана вытащил кусок ситного, подставил ситный под теплые и мягкие лошадиные губы.

Довгаль и Гришке не ответил, заглянул Мещерякову в лицо.

— Ты его должен понять, Ефрем,— сказал Довгаль, и Мещеряков догадался: Брусенкова он должен понять.— А он — тебя. Обоим понять друг друга во что бы то ни стало. Обоим. Вы же одной веры. И когда народ поднялся на вершину своей вековой идеи о счастье и человечестве, а мы, идейные, спустя два года после революции, после всей пролитой крови, всё еще не умеем понять друг друга,— разве это допустимо? Разве можно, чтобы каждый только свою собственную надежду и мысль считал за самую главную? Тогда что же человек может? На что он в таком случае способен? В чем тогда сила и решительность к новой жизни заключается? Хотя бы и ты, Ефрем? У тебя все от самого себя, ни от кого другого! А он, Брусенков? Это же великой силы человек, но только от кого ученый? От врагов! От врага тоже необходимо ученье, но надо помнить — ученье это ядовитое. Он — не помнит. Нет! Как враги с им, так и он с ими и даже со всеми другими... Отчего бы это, Ефрем? Может, оттого, что от врага не уйдешь, не откажешься, хочешь не хочешь, на его глядишь, его разгадываешь, а вместе с тем — учишься его хитрости и повадке, а друзей — что же? — друзей выбирают сами, ну, а когда так, то и легко от их самому же отказываться. Нынче что я от его услышал? Ужасные слова: не он к луговским, а луговские к нему пришли, ему обязаны! Или он забыл, как Луговское истекало кровью, принимало удары изверга рода человеческого? Оно истекало, а мы благодаря этому успели сделать штаб в Соленой Пади, после — объявить его главным. Или забыл он, как братский памятник ставили в Луговском нынешним летом: он сам же торжественно, со слезами на глазах, говорил имена павших героев, клялся — они вечно будут жить в наших сердцах? А сегодня уже как попало пинает мертвых! Стелет их под себя! И это — при свидетелях, при товарище Петровице, который несравненно больше всех нас организовывал и создавал главный штаб! И это — в своей же идее? Но ведь идея — она даже в самую долгую жизнь сроду не укладывается? — Довгаль помолчал, спросил: — Понимаешь ты меня, Ефрем?

— Я нынче, Довгаль, всех понимаю, кто идейно говорит. Не имею уже права не понимать! Хватит — не понимать!

— Хватит, Ефрем... Давно уже хватит! Ведь подумать только, до чего хотя бы и ты дошел: до разгона главного штаба! До того, что даже не явился на Сузунцевскую заимку, на собрание... Подумать только!

Настрадался Лука Довгаль. Его никто не обвинял, не судил, не упрекал. Упрекнуть его было немислимо. Но Довгалью ничуть не легче. Может быть, тяжелее. Может быть, больше всех он страдал, исходился в тревогах и мыслях? И сейчас тревожно и тихо говорил Довгаль:

— Мы в подпольях скрывались, в кустах и борах, призывали массы следовать за собой, как за передовыми борцами справедливости. Ждали той счастливой минуты прозрения масс. Они — прозрели. Пошли за нами. А мы? Что у нас оказалось за душой, кроме имени? Мало. Либо — вообще ничего. А может, Ефрем, у нас все есть? Только пользоваться мы не умеем этим всем? Того гляди — все испортим окончательно. Вот ты — понимаешь ли меня? А тебе надо понять. Понять раз и навсегда — у нас мозоли от истинного трула, у нас — готовность любую минуту помереть за справедливое дело. У нас — ни корысти, ни роскоши. Ни желания по-

ставить себе в личное услужение другого человека, кухарку, подметалу какого — только равенство! Вот что у нас! Теперь спрошу: или этого все еще мало для истинной сознательности? Когда ты снова не ответил, то скажу я: мне мало всего этого. Оказалось — мало! И потому я не сделал подлинного партийного собрания на Сузунцевской заимке. Не сумел! Хотел сделать, собрал партийцев, а партии все одно не получилось, получился один лишь разговор. Одни слова. И не услышал я тогда товарища Петровича, не понял его упрека и требования. Опять не хватило сознательности. И сколько через меня произошло впоследствии урону общему делу — немыслимо сказать! Тебя и Брусенкова нынче обсуждали, я молчал: искал подхода к самому себе, чтобы и с меня спросили бы по всей строгости, по всей ответственности перед будущим светлым человечеством. Искал — не нашел. Но по крайности я теперь знаю: когда она у меня будет, сознательность, — прежде всего другого я скажу, за что и как я подсудный перед партией! Скажу... И все ж таки не до конца тяжело у меня на душе, Ефрем! Нет! Ибо нынешнее наше собрание было уже партийным. Не я, так товарищ Петрович, товарищ Кондратьев с товарищем Говоровым его сделали — надумали и осуществили наше совещание. Они уже смогли. И коряво, а все ж таки было у нас нынче, как должно быть во веки веков, то есть идея пошла впереди власти! Впереди всего другого! Запомни этот день, Ефрем! Он — первый с прошлого году, подобного не было, не могли мы сызнова партийно восстановиться. Нынче — произошло.

— Я, Довгаль, понял. Хотя и не сразу, а в ту минуту, как товарищ Жгун сказал свое первое слово.

— Тогда, Ефрем, ты понял нынче все! Все на свете! И — навсегда! И не напрасно я верил, что твоя идейность в решительный миг станет превыше всего. Хотя и не буду зря говорить: снова и снова боялся за тебя. Зря либо нет?

— Нет, — сказал Мещеряков. — Нет, не зря!

— Ну, теперь это уже прошлое! Теперь — делать победу над врагом до соединения с Красной Армией и российской советской властью. А тогда уже не останется в нас заблуждений. Тогда сразу будет видно, кто советской власти служит, кто делает из нее службу себе! Тогда и сделаем — окончательно, раз навсегда, разберемся между собою.

Глава шестнадцатая

Сама-то степь и та сбилась нынче с пути: косые, просвеченные тусклым солнцем дожди набегали и тут же уходили — ни ведро, ни ненастье; солнце было видно при дожде, а без дождя оно скрывалось в пестрых тучах. Последнюю листву с березовых колков сорвали и понесли необычайные в осеннюю пору южные ветры, в урман понесли.

В засохшей былс траве прозелень появилась, в зеленых камышах вокруг озер — желтые пятна. На сизых шапках стогов — бурые лоскутки.

А ведь она и всегда-то была необычная, эта степь, — непонятная, неузнанная...

Уже сколько тысяч лет лежали степи — Нагорная и Понизовская, — лежали под небом среди других степей, гор и болот, глядели, немые, в небеса пресными, чуть солеными, солоноватыми, слезно-горькими озерами.

Жадные, истомившиеся по земле приходили в степь люди. Земли было — из края в край. Без межей, без запретов, без законов. Разной земли — черноземной, болотной, песчаной, плоской, бугристой...

Были на земле места голые, как пасмурное небо — в один тон, в один цвет: не на что глянуть, нет ничего, обо что бы споткнуться. Земля для незрячих.

Были леса — березовые, поразбросанные вперемежку с озерами, а по невысоким грядам золотисто-желтых крупных зерен песка были ленты сосновых боров с редким подростом. Вековые сосны в бурой коре от века изрыты глубокими трещинами.

Были займища с глухими, стебель к стеблю, камышами, без прогляда, без луговинки, была чуть припорошенная типчаковой травкой землястая пыль.

Земля из края в край...

Как жить на этой земле? Как начинать?

И земля ли это была, степь ли это была? Кто и когда назвал ее землей и степью? Почему назвал?

Что найдешь на ней на разной — не до конца степной, не до конца лесистой, не до конца болотной и травяной? Как угадаешь взять ее в руки, какой скот водить по ней, какой сеять хлеб? Какого нужно пота этой земле, какой крови и веры?

На севере лежали болота, жили в болотах татары. Не сеяли, водили мелкоту-скотину. Коровы ростом чуть более собак, бело-черные, черно-белые, лохматые, зимами копытили снег, летом, сторожко ступая по хлюпкой земле, уходили в травы с головой.

На юге степь вся была в ковыльной поволоке, по холмам там и здесь из глубины земли проступал замшелый гранит, в древней пыли являлись вдруг отары овец, за ними — киргизы с кибитками. И отары, и киргизы, и кибитки возникали и снова исчезали из века в век — им ничего не надо было начинать.

И долгое-долгое время пришельцы срединной степи разгадывали: отчего не стерегут ее ни татары, ни киргизы, глядя в ее просторы через узкие щелки глаз, уступают землю без слова, сворачивают то ли на север, то ли на юг?..

Отчего беглые демидовских заводов и рудников, каторжники и раскольники не сдаться на землю — идут то ли на восток, то ли на запад?

Железные дороги и те обошли степь с запада, с севера, с востока...

Полвека, не более, как задымили там и здесь по степи поселения дровяными, кизячными, соломенными дымами.

Полвека.

И потому, что недавним здесь было и неустроенным жилье и вся жизнь людей, — должна была миновать эту степь война, тоже обойти ее стороной с востока или с запада. Откуда войне здесь было взяться, из чего возникнуть?

Но все равно — ни один год не распаханый, даже не стравленный скотом увал стал нынче огневой позицией; в березовом колке, в который однажды только и забрел отбившийся от косяка необъезженный конь, скрывалась кавалерийская засада; в темных камышах, усыпанных утиным пером, тайно жгли костры остатки чьих-то войск.

А может быть, на нераспаханной, на неузнанной, непонятой этой земле с домами-временками, без монастырей и памятников, без дорог и путей не могли люди, не воюя, начинать жизнь?

Мещеряков, Петрович, Струков, Гришка Лыткин, еще несколько всадников рысили с Семенихинского на Моряшихинский большак.

Молчали.

В водянистом горьковатом воздухе — тишина, степь клонилась в зиму. Длинными неровными полосками молочно-белого снега заштопаны были кое-где низинки, разъемные борозды пашен. Снег выпал позавчера, стоял, только эти заплатки и застал нынче вновь пришедший сумеречный

холодок. В тусклое небо тоже тускло и бесконечно глядели стылые озера, кое-где курились паром, в других местах в густой неподвижной воде тонули блики неяркого, низкого солнца, иные озера были густо усыпаны черным семенем утиных табунов, утка кучно облетывала озера, видимые справа от проселка, стаи то рассыпались по озерному коричневому прибрежью и по дальнему горизонту, то свивались в черные клубки... Падала в озеро одна стая — тут же где-то вздымалась другая.

Утиный предотлетный гомон несильным ветром сносило на сторону, заглушало похрапыванием коней, перестуком подков по мерзлой земле, но время от времени гомон этот вдруг накатывался на всадников, и кони поводили острыми ушами, а Гришки Лыткина кобыла почему-то всякий раз откликалась ржаньем.

Ехали в Старую Гоньбу, в нынешнее расположение полка красных соколов. Спешили.

И в этой спешке, и в чуть горьковатом пасмурном воздухе, и в его пасмурной же тишине, и даже в утином прерывистом гомоне слышался Мещерякову запах войны, уже близкого сражения.

Начинало все чаще казаться, будто вся война в это сражение уложится. Вся — в одно. Победить в нем — и все победы, сколько их есть, — в твоих руках... И серое небо, по-осеннему глухая степь, вся жизнь — все раз и навсегда отступится от тебя со своим судом, который начался над тобою в выселке Протяжном, да так и не кончился. Нет, не кончился: тихо и незаметно, а все еще тянется за тобою след в след, за пешим и за конным, и днем и ночью.

Нынче утром, постучавши в дверь, к Мещерякову в его штабную комнату вошел Струков — он был теперь адъютантом при главкоме, доставил сводки.

Выглядел бодро, и только на лице красовался у него синяк. На всю левую скулу.

— Это кто же тебе врезал? — рассеянно спросил Мещеряков. Присмотрелся. — И ловко врезал-то!

Струков было замаялся, потом сказал начистоту:

— По зависти сделано. Своим же. Штабным.

— Как так?

— Просто!

— Все ж таки?

— Ну, вы, Ефрем Николаевич, свое взяли? Погуляли, да? И мы тоже захотели, хотя, конечно, не в том самом уже мировом масштабе. А все ж таки. Тут и вышло.

Мещеряков почуял — кровь бросилась у него к лицу, но Струков сказал еще:

— Это ничего, Ефрем Николаевич. Вы сводки читайте!

Мещеряков стал читать.

Сообщалось — на полустанке Елань сгрузились голубые уланы — крупная часть, и еще одна — анненковских казаков-добровольцев. Численность той и другой пока неизвестна.

Сообщалось — на западной ветке появились бронепоезда, при одном — две, при другом — три платформы с артиллерийскими орудиями. Противник приступил к восстановлению разрушенного пути на подступах к станции Милославка.

Сообщалось — перебежчик слышал приказ генерала Матковского, зачитанный перед строем полка: села Соленую Падь, Луговское, Моряшиху и Панково взять любыми средствами, затем сжечь, жителей уничтожить. На месте сел поставить по черному столбу.

Мещеряков забыл о Струкове, о его синяке.

Черный столб представился ему. Высокий, круглый, наверху — пере-
кладина.

Потом, в одну какую-то минуту, он мысленно перебывал на всех
дорогах, их тоже представил — с перелесками, с мостами и низинами, с
деревнями, которые вдоль дорог растянулись улицами, а переулки эти
дороги пересекали поперек.

Карасуковская дорога — та была в стороне. Сутки-двое в конном
строю нужно было добираться к ней с полустанка Елань. Открытая и
с редкими населенными пунктами, она удобна для кавалерийского рей-
да в самом начале, после — вступала в топкую местность, пересекала
несколько оврагов и выход обеспечивала прямо на оборонительные со-
оружения Соленой Пади... Нет, это было не то.

И Убаганская — не то. И Знаменская. И Семенихинская.

А Моряшихинская?

До сих пор, пока противник действовал пехотой, Мещеряков не опа-
сался этой дороге: ее легко было контролировать, делать на нее налеты
из бора. Теперь положение менялось. Теперь представилось — из Моря-
шихи кавалеристы углубляются в бор, пересекают его... Скрытный бро-
сок — сорок верст — и с противоположной стороны боровой ленты каза-
ки и уланы снова пересекают бор, теперь уже в обратном направлении,
и вот она — Соленая Падь с юга. Открытая, беззащитная, лежит перед
ними на склоне, падающем в сторону озер. Линии обороны можно рас-
смотреть только в бинокль, глядя прямо на север... «Если теперь согла-
совать рейд с моментом решительного удара на Соленую Падь с других
направлений...» — подумал Мещеряков и позвал комиссара Петровича,
а также нового наштабарма Безродных.

Безродных состоял помощником при Жгуне, держался всегда в тени,
может быть, потому, что в прошлом тоже был офицером. Однако Жгун
оставил его вместо себя, этого было достаточно, чтобы относиться к нему
с полным доверием.

Новый наштабарм сунул руки в карманы потрепанных галифе, сня-
тых, должно быть, с какого-то юнкеришки и слишком узких ему в коле-
нях, прошелся по комнате туда-сюда, а подойдя к карте, молча, точь-в-
точь как делал это Жгун, ткнул в нее пальцем.

Показал не куда-нибудь, показал Моряшиху.

И Петрович понял, и все трое они окончательно поняли, пережили
одинаковую боль: придется снова брать эту постылую Моряшиху! Ни-
кому — ни белым, ни красным — до нынешнего дня всерьез не нужную
и все-таки уже не раз переходившую из рук в руки. Придется. Немед-
ленно.

В отличие от Безродных комиссар Петрович говорил громко, доволь-
но долго, без конца допытывался: а что будет, если противник постара-
ется свой рейд совершить, но Моряшиху — обойти?

А что, если из Моряшихи кавалерия пойдет не в самостоятельный
рейд, а вместе с пехотой? Что должны в это время делать луговские?
Что — главный штаб? Самая большая группа партизанских войск под
Знаменской? И та, которая поменьше, — под Семенихиной?

Струков сказал:

— Все одно белый сделает, как товарищ главком говорит, — пойдет
с кавалерией бором, бором от Моряшихи!

И Петрович вопросы закончил, стал тереть очки. Подтвердил:

— Так...

Уже за полдень прибыли в Старую Гоньбу.

Полком соколов командовал теперь Громыхалов, помощником у не-
го был мадьяр Андраши.

Бывшие однополчане встретили Петровича ликованием. Были ему благодарны, что приехал не один — с самим главкомом.

Мещерякову же представилась ночь, когда он шел с красными соколами на Малышкин Яр, когда ставил перед ними задачу этого налета, а часом раньше — преследовал жиганов, Антоху Юренева и с ним еще каких-то двоих, похитивших Тасю Черненко.

И все это был уже давний, совсем устаревший счет...

Провели рекогносцировку, спросили разведчиков и перебежчиков и установили: Моряшиху-то брать теперь совсем не просто!

Белые заняли оборону и в самом селе и вынесли позиции на гребень увала, к поскотине. Оттуда простреливались оба склона и вперед и назад — на подступах к окраинным улочкам.

Внизу, в междугривье, белые тоже понарыли окопов и опять-таки выдвинули их за цепочку небольших, заросших камышом и набитых карасями озер. Со стороны бора сожгли десятка два окраинных изб, образовали открытое, хорошо простреливаемое место.

Тут не то что одним — двумя полками управиться нынче невозможно против такой обороны.

Еще недавно Малышкин Яр такими же силами Мещеряков и не думал брать, сделал ночной налет и ушел. Нынче складывалось — уходить нельзя.

И подкреплений ждать нельзя, вот-вот могла объявиться белая конница, признаки были к этому все: белые под конвоем посылали моряшинских мужиков за сеном на луга, на пашни — за овсяной соломой.

Закручивалась война; все больше и больше требовала риска, отчаянности.

Стали думать.

Решили — поджечь камыши в тылу низинных позиций.

Сделать ложную атаку со стороны бора.

Еще решили, что самое главное — это огневые позиции белых на увале, их надо уничтожить, суметь обойти.

От мыслей, даже от самых хороших, число штыков в полку красных соколов не прибавлялось. Ни на один.

И тут Громыхалов, новый командир полка, вздохнул, засопел, сморщил все свое заросшее плотной черной щетиной лицо.

— Призывать надо арау...

Мещеряков промолчал.

Еще говорили, думали, а потом уже мадьяр Андраши, будто пережевывая во рту «ер», тоже сказал:

— Ар-ра-р-ра? И нас — вперед. Да?

Мещеряков промолчал, а тогда Петрович сказал ему:

— Решай, главком. Иначе нельзя, и лично я — за!

Арау делалась так.

В засаде где-нибудь, скрытно, собирали партизаны вершних ребятишек и стариков. У передних — две-три берданы, заряженные дымным и вонючим порохом, у остальных — обыкновенное дреколье.

В решающий момент лавина эта мчится на противника, оружие у нее одно: «Ур-ра, ур-ра!» Кони — топчут, ребятишки — визжат, старики — рыкают, из всего этого получается другое: ар-ра-ра-а-о-о.

— Мы в Верстове так не воевали, — сказал Мещеряков. — Не было!

Взглянул на Петровича. Вдвоем принимать решение легче, чем одному. Их теперь было двое.

Призвали старика — главного по этому делу во всей Старой Гоньбе.

Расстегивая гимнастерку, чтобы легче дышалось в немислимой жарнице штабной избы красных соколов, Мещеряков глядел на всклокоченную бородавку, в голубенькие глаза.

Старик стоял, заметно стесняясь, будто пришел просить главкома о каком-то одолжении. Перекладывая из руки в руку драный треух, говорил:

— Ну, ить что — надоть, значит, надоть...

— Боязно? — спрашивал Мещеряков.

— Бегали мы в арару в эту, сказать, так не один раз. Ничего. Бог милостив. Обходилось.

— Ни разу не случалось? — спросил Мещеряков уже веселее, с надеждой.

— Ну, то ись не так чтобы вовсе не случалось. Тут в последний раз постреляли двоих мальцов. Большой-то пальбы они, белые сатрапы, не могут сделать, не выдерживают — нервы у их не хватает. И бегут оне в степ. Нам того и надо.

— Тут и весь-то счет — на нервы, — согласился Мещеряков. — Ребятишек — куда бы все ж таки в сторонку. А? Либо совсем позади. Только для виду. Поскольку у них жизнь впереди.

— Да ведь мы и все в то время — только для виду. Тольки для его. Ну, а за ребятишек мы нынче не в ответе. Нет! Ребятишки, они — дар божий, вот пушай бог за их в эту пору и отвечает. Это ему предстоит принять на себя, когда он такую войну затеял. А мы — мы еще и в Соленую Падь успеем сбегать за престарелыми и за детками. Чтобы у нас хорошая масса получилась у всех вместе!

Уходил старик безо всякого желанья — ему хотелось еще с главкомом поговорить. С порога все еще доказывал:

— Хорошо богу-то наверху — един! Единственный! И шкуры с его никто не спускает, и он пальчиком никого не трогаит! Но ты гляди, товарищ главнокомандующий силами, — противники тоже могут выдумать. Они — слезную стенку из моряшихинских детишек и женщин запросто могут выдумать! Нам встречу!

— Ну — хватит, отец! — вдруг крикнул Мещеряков. — Договорились же обо всем — и хватит!

Старик пугливо и недоуменно глянул кругом, накинул шапчонку, хлопнул дверью...

Спустя чуть время Мещеряков спросил:

— Что за стенка? Слезная — что за стенка? Это я уже вовсе не знаю! Не в курсе...

— Просто! — объяснил Громыхалов, слегка зевнув и кое-как перекрестив черную поросль на лице. — Белые идут в атаку, а наперед себя гонят все тех же стариков и ребятенков! Опять же их!

Как-то уж очень незаметно и легко получилось это решение — пустить в дело арару. Слишком простая отчаянность, и, должно быть, от этой простоты так сильно волновался нынче Мещеряков.

Непривычно волновался...

* * *

Камыши в тылу низинных позиций загорелись спустя каких-нибудь полчаса после начала боя. Подожгли их моряшихинские — еще накануне удалось с ними на этот предмет договориться.

Дым клубился сразу в нескольких местах — густой, коричневый и тяжелый. Наполнял междугривье, а вверх по склону, к избам Моряшихи, полз медленно, неохотно.

Белые отступили в село — не понравилось, что у них сразу же за спиной горит и полыхает, они заняли оборону повыше, в огородах, в крайних постройках.

Вывалявшись в грязи и в пепле, шахтеры Васильевских рудников — два взвода при одном пулемете системы «кольт» — под покровом дыма

тоже пробрались в село, почти до первой улицы, и стали простреливать ее в обе стороны. Однако и сами через эту широкую голую улицу, без кустарников и палисадников, даже без обычного придорожного бурьяна, перейти не могли — ее белые тоже простреливали.

Еще одна рота партизан оставалась на возвышенности по другую сторону коричневого смрадного дыма с багровыми и ленивыми языками огня... Дым непрестанно множился из клубка в клубок, колебался по всей низине, застилая узкие озера; багровые огни медленно, но жадно и упорно жевали сыроватый высокий камыш, а поверх этого дыма и этого огня рота вела с возвышенности свой ружейный и пулеметный огонь — поддерживала васильевцев, не позволяла их окружить, на худой конец — обеспечивала им выход из села, обратно в дым.

Бывшие громыхаловские роты штрафников находились в бору, в непосредственной близости от церковного увала, почти не стреляли, но делали вид, что их очень много, и держали против себя тоже немалые силы противника. Настоящее же наступление со стороны бора оказалось бессмысленным: противник укрепил церковный бугор, поставил на нем орудия и пулеметы, еще пожег постройки вокруг площади и надежно прикрывал фланг, как наиболее опасный во всей его обороне.

Это все было по одну сторону села.

По другую же сторону, примерно в полутора верстах от крайних изб, в сосновой рощице с густым зеленым подростом, которая откололась от основной, уже потемневшей к зиме ленты бора, сосредоточено было конное подразделение соколов... Эскадрон не эскадрон, что-то вроде того. Время от времени конники выходили на выгон, вытоптаный и ровный, как стол, а здесь их встречала артиллерия противника.

С наблюдательного пункта, расположенного в кустарнике, еще чуть в стороне от рощи, эта артиллерия отлично была видна Мещерякову.

На церковной площади — прямо на бугре, на котором красовалась и сама церковь — великолепный божий дом, уже при временном сибирском правительстве снизу доверху заново покрашенный в небесно-голубое по случаю изгнания большевиков за пределы губернии, как раз против паперти, — стояло два трехдюймовых орудия. Как только конники появлялись на выгоне, появлялись на этой церковной голубизне короткие вспышки огоньков и легкие дымки, заслонявшие эти вспышки, а когда дымки, поднимаясь, почти достигали колокольни, к наблюдательному пункту Мещерякова подкатывались и размеренные орудийные удары; они пошевеливали тонкие ветви опавшего кустарника и уши лошадей, которых чуть в стороне держал коновод...

По желтому выгону под низким сереньким небом слонялось несколько скотин — овец, телков, стреноженный коняга, заморенный до последней степени, а еще — лохматый бурый пес. Всякий раз, когда от церкви раздавался артиллерийский выстрел, скотина бросалась в противоположную сторону, а когда впереди, почти на самой опушке сосновой рощи, гулко и тряско падали снаряды, подымая вверх черные комья земли, — и телки и овечки останавливались как вкопанные, чуть спустя кидались обратно... Артиллерия замолкала, и, покругившись на месте, первым начинал тыкаться мордой в желтый выгон заморенный коняга, за ним овцы и телки тоже начинали щипать — война для них уже кончалась, и только по-медвежьи бурый пес задира морду кверху — должно быть, выл...

В бинокль хорошо видно было все — весь выгон, весь увал...

Мещеряков ждал, что противник наконец замолчит, кончит стрельбу, а тогда и эскадрону волей-неволей придется прекратить свои вылазки, и станет ясно, что у партизанской кавалерии и сил-то для атаки нет никаких, но пока бог был милостив: конники то и дело энергично выска-

кивали из роши, делая вид, будто строятся для броска на деревню, орудия били, рассеивали их, заставляли уходить обратно, а Мещеряков убеждался, что беляки всерьез опасаются конной атаки с этой стороны — из небольшой и немудрой рошицы — и плохо следят за другим склоном, заметно уже подернутым дымом от горящих по ту сторону Моряшихи камышей.

Здесь будто бы все было в порядке...

Самое же ответственное и решающее направление — со стороны, противоположной бору и лучше всего видимой с мещеряковского наблюдательного пункта, — ничего хорошего не сулило: мадяры и латыши залегли на открытом со всех сторон гребне увала, против них, саженьх в двухстах с лишним, была скособочившаяся, порушенная поскотина и тут же мощные огневые позиции противника с продольными и поперечными окопами, с гнездами для пулеметов, с ходом сообщения к деревне. Маневрируя огневыми средствами, белые простреливали отсюда оба склона и вперед и назад, прочно уложили на землю мадяр и латышей и теперь еще усиливали огонь, лишая их возможности отхода или подхода к ним подкреплений из резерва.

Спасала мадяр крохотная западинка поперек увала. Глазами даже в бинокль усмотреть ее нельзя, можно только прощупать собственным брюхом.

Вдруг почувствовалось, что сражение вошло в какой-то порядок.

Даже в какую-то неизменность. А из этого порядка и неизменности стал уже чувствоваться и перевес на стороне противника, но только противник еще боялся немедленно же использовать этот перевес... Полагал — партизаны вот-вот, сию минуту сделают еще неожиданный маневр, введут резерв. Может быть, главный резерв для главного удара, ради которого до сих пор они только прощупывали оборону.

Научили их мыслить партизаны. Остерегаться — тоже научили.

Наштабарм Безродных, послушав стрельбу, только и сказал:

— Боятся... — Сразу же замолк. Должно быть, все понял.

Или он действительно был приучен Жгуном к такому вот короткому разговору, или самостоятельно, от природы, родился молчаливым?

Зато Струков говорил:

— Потому и боятся, что знают: сами Ефрем Николаевич нынче ведут на их наступление!

А у Ефрема Николаевича в тот миг уже оставалась за душой одна только арара. Все сражение клонилось к нему, к этому резерву. Вся надежда к нему же. Весь риск. Все на свете. Без стариков, без ребятишек Моряшиху не взять — вот что становилось ясно.

Но даже и для того, чтобы старики с ребятишками начали воевать за Мещерякова, не все было у него готово: нужно было выманить белых из окопа на увале. Подальше выманить и чтобы они кинулись вперед азартно, не сильно позаботившись, сколько в окопах у них останется сил. И время уже истекало. Хотя арара до поры скрывалась надежно, и дисциплину поддерживал там не кто-нибудь, а Петрович, но рано или поздно она себя выдаст, покажется на глаза противнику либо застучает в ожидании и попросту разбредется кто куда.

Перекреститься бы сейчас — не за себя, даже не за мадяр либо васьильевских шахтеров, а за стариков с ребятишками...

Пожалеешь о боге — с ним все ж таки иной раз несравненно легче жить... И приподняв на голове мерлушковую папаху, которая с наступлением прохладной погоды была полностью на месте, но что-то не радовала Мещерякова, он смахнул со лба пот, а потом положил руку на плечо Гришки Лыткина. В лицо же Гришке не глядел.

Так они постояли, еще послушали уравновешенный, негромкий, но

тяжкой бой; Мещерякову стала передаваться еще и дрожь Гришки Лыткина.

— Готовься, Гриша... Ничего не поделаешь. Другого не выдумаешь — готовься... — Сосчитал про себя: «Раз! Два! Три!!» И ничего другого уже не осталось, как снова, но уже вслух повторить: — Раз!.. Два!.. Три!

Гришка Лыткин взмахнул рукой — поднялась зеленая ракета. Они на все случаи были у партизан зеленые — других не имелось.

И тут на мгновение, даже на какое-то время, притих бой: белые притаились, подумали, что так оно и есть — сейчас-то и рухнут партизаны на Моряшиху новой какой-то силой, а партизаны на всех позициях замерли, потому что со всех направлений стали смотреть на мадьяр. Мадьяры же и латыши встали в рост из своей неприметной глазу ложбинки, крикнули отчаянно-громкое «ур-ра!» и кинулись на окопы противника, но пробежали какой-нибудь десяток сажен — неожиданно стали поворачивать назад.

Они бежали, бежали, спиной к огню, падали серыми, бесцветными фигурками на землю, падали за пулеметы, огрызались огнем и, волоча пулеметы за собой, бежали снова...

А белые все стреляли и все из окопов не выходили — они могли уничтожить мадьяр и латышей огнем в спину, покуда те не достигнут ближайшего березового колка... Им для этого только и надо было, что чуть перенести свои пулеметы на правый склон.

Нет, не воевал еще так Мещеряков, никогда не воевал отступлением, а ведь впереди ждала его арара — ребятишки со стариками!

А белые все стреляли, но не выходили из окопов, и тогда мадьяры бросили один из своих пулеметов. Они бросили его на виду, на самом бугре, и сами бросились от него прочь, петляя туда и сюда... Такой картины еще не видели белые. потому что за потерю пулемета в партизанской армии расстреливали, покрывали позором — это известно было всем.

Такой картины они не видели, должно быть, она их потрясла, воодушевила, и кто-то из них выскочил из окопов, потом другой, третий... Офицеры размахивали шашками, некоторые будто прямо из рукава палили огнем — эти были с наганами... Дымчатые, будто прозрачные шинели подоткнуты под поясные ремни; выбрасывая вперед тонкие ноги, они бежали в рост — по ним никто уже не вел огня. За офицерами беспорядочно, но плотно начали перекатываться серые шинели со штыками наперевес, с негромким, но непрерывным воем. Позади — опять были офицеры, еще позади — в опустевших окопах — только кое-где мельтешили фигурки пулеметчиков, но и те огня не вели — свои заслонили перед ними партизан.

По самой верхней, увальной и широкой улице села, то скрываясь за постройками, то снова показывая головы и плечи над плетнями, неожиданно промчались конники. Немного — с полсотни, не более того. Эти хотели завершить удар.

А мадьяры и латыши все бежали, все бежали, а потом легли редкой цепкой и снизу вверх по склону повели огонь из своего единственного пулемета по наступающим пехотинцам и еще успели полоснуть чуть в сторону, прижали конников к избам той и другой стороны улицы, из которой они готовы были уже вырваться на простор увала.

Тут Мещеряков снова положил руку на плечо Гришки Лыткина, снова затряслась у него рука на этом плече, снова он сказал:

— Ну, Гриша... — А плечо под рукой уже не дрожало — тряслось, билось крупно, шаталось туда и сюда.

Мещеряков, сощурившись, закусив губу, еще ждал... Мгновение

рвалось вперед, а он не пускал его, сдерживал его, самим собою его заслонял. Сосчитал снова: «Раз, два...» Гришка стонал:

— Ефрем Николаевич, това...

— Давай! — крикнул сипло Мещеряков, и вторая ракета поднялась в воздух...

Только что вырвались из села на увал на чистое место белые конники. Только вырвались — и остановились. Несколько коней на дыбках загребли передними ногами под себя, потом кони эти резко пали на землю, другие пали с места — носом вперед. Это мадьяры снизу вверх опять полоснули-таки из единственного пулемета. Но не от этого огня повернули конники назад, дико нахлестывая лошадей. И пехота противника поняла этот их испуг и тоже остановилась в недоумении. Ей еще ничего покуда не было видно: преследуя мадьяр, она была теперь по правому склону увала и могла только слышать... Она могла слышать, как на левом склоне раздался будто бы чей-то одиночный, протяжный вопль, тотчас раскололся на высокие и низкие голоса, потом и высокие и низкие вместе вдруг прервались тяжелым конским топотом, потом опять вырвались человечьи вопли, опять топот, и наконец ровно так, непрерывно взялось по всему увалу, и по тому и по другому его склонам, и по всему выгону, по всей округе: ар-ра-р-а-о-о-о, ар-ра-р-а-о-о-о...

От сосновой рощи, уже не обращая никакого внимания на артиллерию и не скрывая своих истинных сил, оторвался партизанский эскадрон, рассыпавшись в редкую цепь, наметом пошел прямо на церковь.

С той стороны, из-за увала, тоже поднялась ракета, тоже зеленая. — значит, и васильевские шахтеры тоже встали и пошли.

Еще каких-то несколько мгновений Мещеряков неподвижно слушал «ар-ра-р-а-о-о», им же самым вызванное из-за увала, подвешенное на тонкую зеленую нить ракеты в серенькое небо, а потом уже покотившееся по земле, все захватившее и затмившее.

— Ну, хады, — сказал он вздрагивающими губами, — сейчас вам будет! Вот сейчас и за все!

Злоба возникла в нем еще в тот час, когда он призвал в жарко натопленную штабную избу старикашку с детскими глазками. Он хотел тогда воевать, хотел как никогда страстно, а вместо этого призвал на помощь старика, велел ему собирать арару...

— Ну, хады — за все! — И ни думать, ни вспоминать, как будто ничего ему уже не осталось и не останется никогда.

Ничего другого ему не было, как только скакать вперед, навстречу ар-ра-ро-о-о-о...

Он тоже задохнулся криком и кинулся со своим крохотным отрядиком в несколько человек, избивая нагайкой гнедого.

Когда же открылось ему все то, навстречу чему он помчался, — бесседельное и безоружное, пестроконное, исходящее в топоте и криках, смешанное в одно огромное пестрое пятно лошадиных шкур, разметанных грив, раскрытых ребячьих и стариковских заросших бородами ртов, и даже нескольких простоволосых женщин — он пошел на гнедом чуть поодаль и правее, чтобы мять и рубить еще не смятое, а только отброшенное всем этим в сторону.

Он увидел латышей — на руках они тащили раненых товарищей, может быть убитых — и взял еще правее, чтобы своим отрядиком наступить замешкавшихся белых конников...

Это были казаки с блестящими в крупах, тяжеловатыми конями и с десяток-два мужиков в зипунах, на конях-самоделках, истертых рабочей упряжью, — они все не рассыпались по огородам, а кучей вошли обратно в улицу и опять скакали не по всей уличной ширине, а только посередине, потому что сторонами рос густой бурьян. Эту кучную и пеструю, при-

никшую к седлам кавалерию, уже потерявшую кавалерийское обличье и стремившуюся только согнуть с глаз партизан, Мещеряков и преследовал по пятам.

Огромный казак без папахи, лежа на луке и не то уже раненый, не то убитый, вдруг обернулся к нему неожиданно маленькой, живой и ощербленной головкой, сосредоточенным лицом... Лицо лежало в разметанной конской гриве, смолистой и кудлатой, и вместе с нею, будто уже оторванное от человеческого туловища, вздымалось вверх, падало вниз, а из этой качки глянули на Мещерякова неподвижные, подернутые слезой глазки... Чуть изогнувшись грудью, казак быстро просунул правую руку под себя и выстрелил почти в упор, так что в следующий миг Мещерякову показалось, что лицом он пересек теплую струйку выстрела. Почему Мещеряков не был убит — он не подумал, а спустил шашку на эту головку, с которой еще раньше слетела папаха. Убил ее.

Еще пришпорив что было сил за следующей портупеей и за следующим мужицким зипуном — сразу за двоими, и не зная, кого же он будет рубить первым, он увидел, что впереди этих двоих, которых он преследовал, упал третий казак.

Невероятного усилия стоило Мещерякову вырваться из собственного хриплого, заглушающего сознание воя, с которым он шел, должно быть, с самого начала атаки, вырваться из стона и гула арары и вспомнить, что он — главнокомандующий, что он — ведет сражение. Он стал замечать и заметил, как свалившийся с лошади казак пополз боком вперед по земле, хватаясь за этот передний бок обеими руками, продвинулся на несколько шагов в обнимку с самим собой и опрокинулся, приподняв вверх оба сапога, а гнедой, шедший наметом, кажется, ступил на него, и тут еще раз Мещеряков сделал усилие и спросил себя: кто же казака убил? Кто в него стрелял? Откуда?

А тогда он понял, что впереди, поперек движения всей лавы, лежит вражеская цепь, что кто-то один из этой цепи не выдержал, выстрелил раньше времени и угадал в своего.

Мещеряков сорвал с себя папаху, повернул гнедого резко влево и крикнул:

— За мной! Ур-ра! За мной!

Ринулся в проулок. Не оглядывался. Не оглядывался, но знал, чуял, что арара устремилась за ним через тот же проулок, через смежный огород, через открытые ворота какой-то ограды, и выстрелы, которые раздались наверху, были уже запоздалыми.

— Все — на землю! Ложись! Падай! — крикнул он еще, а сам кинулся низом в сторону уже другого «ура!», других частых и звонких выстрелов: там шли и, должно быть, выходили уже к церкви васильевские шахтеры.

Еще спустя каких-нибудь полчаса толпу конных и пеших ребятишек и старцев, бывшую арару, партизаны теснили с площади, с церковного бугра, кричали на них: «Стар-ранись! Стар-ранись!» — а на площадь вели пленных, тащили по площади, раскручивая руками грязные колеса, зарядные ящики; посылали мальцов собирать по всей Моряшихе и вокруг патроны и оружие, сердились на них, что мешаются под ногами.

Кто-то смотрел в зубы трофейных коней, кто-то, громко ругаясь, сожалел, что зарядные ящики есть, а орудий нет — успели уйти.

Успели уйти в направлении на Семенихинскую дорогу орудия, штаб и еще немалые силы противника. Преследовать их не было ни сил, ни возможностей, но победу все равно переживали все, и уже не раз то тут, то там раздавалось «ура!» Мещерякову, и ребятишки — моряшихинские, выскочившие прямо с изб кое-как, в рубашонках, и старогоньбинские в зипунах, с конями в поводу, еще не остывшими от арары, — все стара-

лись окружить его, взять в круг и даже потыкать его пальцем. Любова-лись им.

И моряшихинские ополченцы, которые в этом бою действовали частью вместе с партизанами, а частью изнутри деревни, в решительный момент открыв стрельбу по белым с вышек и огородов, опять же приветствовали его, как в тот раз, когда он впервые брал село.

Тот же лохматый командир ополченцев, который гулял вместе с ним в доме прасола Королева, тоже приветствовал его громко и радостно. Все еще и несмотря ни на что, был живой.

Подошел Петрович...

На Петровича Мещеряков лишь мельком глянул один раз, когда тот шел на пестреньком коньке впереди арары. По самому увалу шел. Теперь он снова и с каким-то облегчением поглядел на него — буровато-го и, как всегда, встрепанного, понятливого; Петрович победе не улыбался, только сказал серьезно:

— Ну вот — сделано!

Мещеряков кивнул. И увидел, что Петрович-то не один. Поодаль от него, но вместе с ним была Тася Черненко.

Как раз две сестры милосердия из полка красных соколов — одна совсем еще подросток, деревенская неуклюжая Акулька, а другая из городских, высокая и стриженная, с добрым-добрым лицом, как и должно быть у милосердной сестры, — везли на пароконной телеге нетяжело раненных и в голос окликнули ее:

— Черненко! Это ты?

Тася Черненко ничего им не ответила, пожала плечами и отвернулась. Тотчас попала взглядом в Мещерякова и не так заметно, но отвернулась еще раз. В поводу у нее был пестренький, еще горячий конь, и Мещеряков догадался: она тоже была в араре. Она была там рядом с Петровичем.

— А эта почему здесь? Эта! Не знаешь? — спросил Мещеряков у Петровича, показав в Тасину сторону нагайкой.

— Товарищ Черненко теперь в главном штабе не работает. Товарищ Черненко теперь служит в полку красных соколов. Нынче я поручал ей собрать арару.

— Как так? — снова удивился Мещеряков. — Бабам-то это зачем? Из стариков и ребятишек делаем войско, а туг еще — из баб? Тоже -- можно?

— Ей — можно. Товарищу Черненко. Ей это нужно, если она ушла из штаба, от Брусенкова.

А Тасе было неудобно. что говорят о ней, а она стоит тут же и молчит, что со скрипучей телеги ей все еще машут милосердные сестры, особенно — городская сестра с добрым лицом, которую Тася и видела-то всего один раз, когда направляла ее из главного штаба в полк красных соколов, выдавала письменное предписание за подписью Брусенкова и своей собственной...

Она быстро подошла к главкому.

— Здорово, Мещеряков! — Но руки не протянула.

— Здравствуй, товарищ Черненко! — И Мещеряков хотел идти, но Тася его задержала.

— Учишься воевать, товарищ главком?

Мещеряков не ответил. Петрович молча глядел на Тасю, на главкома. Покусывал ноготь на пальце правой руки. Из-под ногтя сочилась кровь, где-то он покалечил палец.

— Слушай, товарищ Черненко, — сказал наконец Мещеряков, — все ж таки лучше, когда ты в главном штабе. Гораздо лучше! Уж поверь мне.

— Хочу воевать. И смотреть на тебя в бою. Когда народ идет в такой момент на жертву, то остается ее принять. И сделать настоящую пользу тому делу, которому жертва принесется!

Петрович перестал грызть ногти, вытер кровь о шаровары. Глянул на Тасю, но не сказал ничего — задумался.

В такое время — сразу же после боя, после отчаянного боя — дел было по горло: еще надо было распоряжаться, командовать, торопиться, еще — переживать.

И снова надо было сказать Тасе Черненко что-нибудь. Обидное.

Мещеряков обратился будто бы к одному Петровичу:

— Учти — всякое в жизни бывает, товарищ комиссар! Другая женщина и через войну пройдет, а — женщина. Но может случиться, берешь ты себе жену — а это бесстрашный солдат оказался, очень смелый и даже героический. Вот радость-то! Ты это учти! Особенно, ежели тебе необходима надежная защита при нападении всяческих жиганов и хулиганов.

А Тася опять не моргнула глазом. Как стояла, с усмешкой глядела на Мещерякова — так и продолжала глядеть. Может, и в самом деле не сильно зло сказал все это Мещеряков. А вот Петрович, тот вспыхнул. Веснушка пошла по нему сильнее, глаза заморгали, на щеках выступили пятна. Значит — все-таки нельзя было этого говорить. С Тасей с этой правда что лучше всегда молчать. Правда что без баб войны — и той не бывает... Значит — допрос, который Мещеряков приказал сделать Петровичу над Тасей, вот как обернулся... Кто бы мог подумать!

Тут подошел Громыхалов, показал глазами:

— Как с ими?

А показывал Громыхалов на пленных офицеров.

— Сперва допросить толком! — ответил Мещеряков.

— Для допросу у нас имеются другие.

— Тогда дело ваше!

И Мещеряков рассеянно поглядел по сторонам... А чуть в стороне от площади, в первую улицу, было пепелище, обширное, с обгорелыми столбами, там и здесь торчавшими из земли, с огромной русской печью. По всей верхней кромке печи сквозь копоть можно было разглядеть узор, поделанный красным.

Ведь это была когда-то, и еще совсем недавно, ограда прасола Королева! И жены его — Евдокии Анисимовны! И совсем недавно прасол Королев интересовался: будет ли ему польза в не слишком далеком будущем?

Еще до начала нынешнего боя Мещеряков пользовался слухом, будто прасол в великой тоске искал свою супругу, нашел ее на Звягинцевской заимке в одиночестве, а оттуда ночью, чтобы никто не видел, они скрылись в неизвестном направлении. Белые же пожгли прасолову бесхозную ограду. Это ненароком Струков рассказал. Струков знал все на свете.

И, должно быть, все верно было в том слухе: вот они, останки прасоловой ограды, ничего нет — ни избы, ни подворья, ни фотографических карточек, на которых отражена жизнь. Где-то и как-то начнется теперь она, другая жизнь, для этих людей?

Народу все прибавлялось — самого разного. И знакомые были лица: Мещеряков даже удивился, сколько он здесь людей знает и помнит.

Вдруг пошел по площади Власихин Яков — его издали было видать.

Высокий, бородатый, с заржавленной берданой за плечами — бердана казалась на нем совсем какой-то крохотной, — он шел, смотрел

кругом себя, на всю площадь, на всех людей. На партизан, на ребятишек, на пленных.

И этот тоже был в араре? Кого она только не собрала здесь нынче? И моряшихинских, и старогоньбинских, и соленопадских...

Тут поглядеть — нет ли где Петруньки? Тоже ведь мог прискакать из Соленой Пади! Отцу на помощь. А что? Всего-то на год-другой постарше Петруньки встречались вояки среди нынешней арары.

Проходя мимо, Власихин снял шапку, поклонился.

Мещеряков поманил его, протянул ему руку:

— Здорово, отец. Воюем?

— Воюем... Когда начали — довести надо дело.

— Трудно? В твои-то годы трудно доводить?

— Ну, почто же трудно? — удивился Власихин. — Даже наоборот. Лёгко. Совсем лёгко. Как все, так и я. Как я, так и все. Это вот когда ты один, один не такой, как все, вот тогда гораздо труднее становится житье. Ты неужели, Ефрем Николаевич, этого не знаешь?

Мещеряков кивнул, но не ответил.

А в это время подошел и еще один старик. Мещеряков глянул — это тот, которого он вызывал к себе в селении Старая Гоньба. Главный по араре.

Старикан тот же самый — глазки детские, сам шуплый и невзрачный. Небольшого росточка.

Бой прошел, после боя как будто всегда что-то меняется вокруг, и люди тоже изменяются сильно. Но этот не поменялся ничуть, точь-в-точь прежний. По-прежнему стеснялся главкома, обходил его стороной.

— Папаша! — окликнул старика Мещеряков. — Ты что же это, герой победы, старых знакомцев минуешь? Не узнаешь ни единым глазом? А?

Старик тотчас сбросил треух, и в том и в другом глазу у него мелькнуло любопытство, он с охотой приблизился.

— Ну как же можно — мы очень сильно вас признаем, товарищ главный командующий! Только ить...

— Чего это — только?

— Только ить все ж таки... Энтю я об вас подумал — может, вы меня не признаете.

— Не может быть. У меня — память.

— И память, а быть — может. В тот же раз, в Старой-то Гоньбе-то, мы беседовали с вами в избушке на предмет арары — не признали же вы меня? Ничуть! Запомятавали старое наше знакомство!

— Постой, постой! Какое еще старое? Нет, ты не говори, я тотчас и вспомню. Самолично, без подсказки. Если было — обязательно вспомню!

— Ну-ка, ну-ка! — заинтересовался старик и стал перед Мещеряковым, распахнув зипунишко и упершись руками в тощие бока. Показывал себя, чтобы легче было его вспомнить.

Мещеряков, как-то сразу повеселев, бодро сделал обход, со всех сторон рассматривая вылинявшую и встрепанную головушку и опорки, которые еще только один день и согласились подержаться на кривоватых ногах.

— Ну как же — действительно, было такое дело! Встречались! — сказал он. — И объясню тебе, где и когда: окопы ты копал, папаша, под Соленой Падью. На оборонительных позициях. Вместе со всем народом. И вместе с ним же стоял в круге, когда зашла наша беседа. Я еще спрашивал у тебя, как будем решать: чтобы Колчак нас бил либо чтобы мы его? Но только тот раз я и не подумал, что ты этакий воин-герой! Что верно, то верно — такого в голову нисколько не приходило.

— Это, товарищ главный командующий, не только вам, мне самому не враз выяснилось. Ну, а когда война всем миром зашлась, то и пришло! — И старикан развел ручонки в стороны, поглядел на них — налево и направо — с удивлением. — Вот так!

Мещеряков тоже поглядел и снова увидел весь плотный, дышащий человеческий круг, в котором он стоял по самой середке, только теперь приметным стало у него сопровождение: два старика. С одной стороны стоял безмянный этот вояка, мелкий ростом, с другой — высокий Власихин.

Опять человечья густота — любопытный, вопрошающий и даже жадный ее взор — его чуть смутила. И взволновала, как волновала всегда. Надо было точно угадать, что от тебя в этот миг требуется. Надо было сделать как раз то, что требуется. Что же требовалось?

А надо было похвалить народ за несказанное его геройство. За нынешнюю победоносную арану. Обязательно надо было. Ничего не вспоминать — ни недавнего своего отступления из несчастной этой Моряшихи, ни пожженного королёвского подворья, никаких военных жертв, а просто взять и пережить еще раз нынешнюю победу. Только ее. Пережить момент, а тогда и все, что случится когда-нибудь впереди, само собою представится только победным.

Мещеряков поднял руку.

Человечий круг тотчас замер. Смолк в ожидании речи. Он же речи не сказал, опустил руку на старикашкино плечо и заговорил будто с ним одним, к нему обратился:

— Герой и победитель, ты не сильно зазнавайся своим поведением! Ибо даже самому храбрцу победа не принадлежит, а принадлежит одному народу. Ему и еще раз — ему же! У нас в партизанской армии нынче наравне со всеми борется один человек. Из мужиков, но очень способный к разным красивым и стихотворным словам. Так он о народе высказал нынче следующее:

...Навеки историк подчёркнет на память
Храбрость и славу твою!

Навеки... то есть никогда и ни при каких обстоятельствах нынешний день полного и окончательного освобождения от ига, от всякого притеснения и несправедливости не исчезнет из человеческого сознания. Это — истина! И в ней нет и даже не может быть никакого обмана, почему весь трудящийся народ в целом, и в том числе каждый честный человек, и идет нынче вперед, хотя бы на самую верную смерть. Идет с гордо поднятой головой!

Все-таки получилась речь. Была...

И старик слушал ее как бы за всех, чуть приоткрыв рот и даже встав на цыпочки. А все слушали за старика.

Молчание миновало, кто-то первым откашлялся, кто-то переступил с ноги на ногу, старик тоже откашлялся и переступил своими обутками. Мещеряков, чтобы закончить дело, еще сказал:

— Сильное вы, араны, нанесли моральное поражение противнику. Можно прямо сказать — решающее для всего сражения. А сами обошлись без потерь.

— Какая там потеря! — живо отозвался старикан. — Бог милостив! Оне, поди-ка, хотя и знают этот аранинский секрет, белые, а все одно — редко кто противу его выдерживает. Редко! Вот и нынче — успели стрелить в правую нашу руку, правильно сказать — так в наш правый хвланг, но вовсе мало. Подстрелили, слышно, старикашку, одногодка мне, да ребятишек двоих. Да пятерых коней. А больше не успели.

— Кого, кого? — переспросил Мешеряков. — Насмерть?

— Энтих — насмерть. Ну, есть еще и другие, раненые. Только все одно, едва ли не в любом случае идти на белых варваров арарой имеется расчет. Когда бы они и еще оставались в селении, не убежали бы прочь, сколь они мирного населения уничтожили бы? Притом — навсегда?

Мешеряков оглянулся. Оглянулся еще раз.

Никто не спросил, какой же это солдат, какой главком, который сам не управляет, а посылает в бой стариков и ребятишек? За что и за кого война? За ребятишек она, за ихнюю жизнь и свободу, а когда так — кто же имеет право командовать ребятишкам идти в бой?

Он снова вдруг представил себе пестроконную лохматую арару, плотную — конь к коню, лицо к лицу, — из которой, казалось, невозможно было вырвать ни одного коня, ни одного лица. Но вот — вырваны были... Один старик, двое ребятишек, пять коней. Притом — навсегда.

Тихонько Мешеряков повернулся к Власихину.

Зачем-то он стоял здесь, Власихин? Зачем-то был? Но даже тот не упрекал, не спрашивал, спокойно, а все-таки чувствовал победу. Совершенно никто не упрекал. Правду сказал нынче Власихин о себе: он был, как все были. Ни от кого не отличался. Своего добился — отстранил родных сынков от войны, одержал победу. А самим собою перестал быть, стал, как все, и только. И некому было понять нынешний бой... «А кто бы это мог понять? — подумал Мешеряков. — Довгаль? Даже он и то — навряд ли... Брусенков? Даже думать нечего. Ни в коем случае... Жгун — вот кто мог бы...»

Тут Гришка Лыткин уже заметил, что он сейчас, сию минуту нужен своему начальнику.

Протиснулся сквозь народ, что-то такое доложил главкому, поглядел, туда-сюда. Вытаращил глаза.

— Товарищ главком, а у вас в папахе-то, однако, дырка образована! Однако — пулей?

Мешеряков скинул папаху — правильно: сквозь прошита двумя дырками, с той и с другой стороны... Не очень заметно, Гришке Лыткину с его вострым глазом только и видно сразу, остальные никто не хватились.

Гришка протянул руку, послонявил палец, стал мерлушкин завиток направлять, чтобы он прикрыл переднюю дырку. Завиток не направлялся.

— Ничего! — сказал Гришка. — Вам супруга, Дора Александровна, с изнанки прихватит ниткой — вовсе незаметно будет. Она сделает — комар носу не подточит!

Глава семнадцатая

Второй съезд начал свою работу в десять часов утра 2 октября 1919 года.

Погода была удивительная: теплая, снег, выпавший несколько дней назад, теперь уже растаял без следа, небо было синим по-летнему, тени на земле отпечатывались густо.

Солнце перебродило за нынешнее жаркое лето, прошло сквозь знойный июль, сквозь осенние заморозки и одну-другую ненастную неделю припозднившейся в здешней местности осени, а теперь было ровным, мягким, жилым и печным.

Стояла на пашенном взгорке, за озером копна, кем-то брошенная, необранная, — так видать ее было далеко-далеко со всех концов села. Какой-то нехристь бросил ее, одинокую, в подчищенном под гребенку

поле, она и торчала, словно прыщик. Потом кто-то догадался — сметал и увез копешку, а тогда и еще глубже открылись дали. В бору можно было различить коричневые стволы сосен, снизу прикрытые яркими пятнами кустов боярышника.

Проходил съезд в огромном амбаре бывшей кузодеевской торговли, но и амбар оказался тесным, и делегаты мигом разобрали торцовую стену, соединили амбар с завозней, которая была под одной с ним кровлей.

Тяжелые двери амбара с крестами железной поковки на каждой створке были распахнуты, сумрачное помещение рассекали полосы света. Вверху, на стропилах, гомонили воробьи, кое-где висели клочки рожи, пакли, овечьей шерсти — когда-то кузодеевское добро сложено было здесь под самый верх, там и болтались его остатки.

И под ногами, на крепких деревянных половицах, скрипело и похрустывало — там, в разных местах, рассыпано было пшеничное, конопляное, гречишное зерно, кусочки комковой соли, битого стекла, еще чего-то.

Около тех и других дверей стояли кадушки — делегаты пили и в перерывы, и во время заседаний, черпали ковшами, облупленными эмалированными чашками и одной деревянной, обкусанной со всех сторон поварешкой. Но и этой посуды не хватало на всех — у кадушек толкалась очередь.

В ограде перед амбаром крутились ребятишки, играли в чехарду; притомившись, забирались в делегатские тарантасы.

Большая часть приезжих из других деревень и сел делегатов была Довгалем Станционным по списку распределена на постой по дворам Соленой Пади, но были и такие, что опоздали к началу съезда или считали, что съезд продлится день, не больше, на постой не пошли, а поставили свои тарантасы у коновязи обширного торгового двора.

Теперь эти бездомные делегаты и почевали здесь, разжигая костры, тут же кормились кони, помахивая торбами с овсом. А другие кони, которым хозяева торбы не подвесили, переминались с ноги на ногу и то грустно и часто мигали на счастливых, то совсем закрывали глаза.

Над табором час от часу гуще становился воздух — пропитывался запахом конского навоза, и ребятишки все больше и больше млели в тарантасах.

Ребятишки торчали здесь не просто так: караулили скамьи и табуретки, которые были собраны нынче в кузодеевский амбар чуть ли не со всей тысячи изб Соленой Пади и ближних к ней выселков. После окончания съезда они должны были в тот же миг ухватить имущество, доставить его по домам.

Съезд шел третий день, и третий день караульщики несли свою вахту.

Открыть съезд было поручено Довгалю, и он произнес приветствие, встреченное бурными овациями.

В последний момент, только Довгаль кончал речь, пришло неожиданное сообщение: в Моряшихе, сызнова освобожденной от белых, открылся другой съезд — созданный земскими деятелями. Оказывается, были села, даже целые волости, которые выбирали делегатов сразу на два съезда, а были и такие, которые съезд в Соленой Пади бойкотировали.

Собрались в Моряшихе кооператоры, торговцы, кулачество, некоторая часть учителя, священники, а еще делегаты трудового крестьянства, такие же, как в Соленой Пади. И Довгаль тотчас снова взял слово — как мог, разъяснил положение.

Тут была своя история.

Земство всегда стояло за временное всероссийское, а после свер-

жения советской власти — и за сибирское временное правительство: это привело его к сотрудничеству с Колчаком.

Однако вскоре колчаковцы начали преследовать даже своих союзников, анненковцы — те вообще ничего и никого не признавали, кроме нового монарха на святой Руси. Колчака и того обзывали «левым» за то, что он в своих воззваниях обещал Учредительное собрание, в эсерах же видели виновников революции и свержения монархии, сводили с ними старые и новые счеты — тоже вешали, тоже убивали.

Тут эсеры снова и сделались друзьями народа. Друзьями по несчастью.

Их бьют, разгоняют подлинных избранников народа, и тут они вспомнили списки, по которым их выбирали в учредилку еще осенью семнадцатого года, и про брусенковские местные приказы тоже не забыли, объявили себя народными страдальцами.

Слова известные.

Не объясняют только одного: какое правительство — такие и избранники. И когда буржуй правил, так он не допускал небуржуя к подлинной власти. Но до этого земству нынче дела мало, твердит одно: «Народ и его святая воля!» Кто только под покровом этой святой воли не желает погреться!

Отнимали ее у Николашки, святую волю, и отняли. А поделить между собой до сих пор не могут. И с семнадцатого года болит от дележа голова трудящегося человека, и всё в то время, как делить ее совсем не надо, надо прямо и честно объявить диктатуру труда — рабочею и мужика! Честно, на весь мир, раз и навсегда!

Так Довгаль нынешнее положение обрисовал. Прения по сообщению Довгалья не открывались, а сразу же вслед за его речью военный гарнизон Соленой Пади в полном составе приветствовал съезд.

Разномастные партизанские подразделения — в пиджачках, в шабурах, в полушубках и меховых треухах — выстроились за коновязью на ограде бывшей кузодеевской торговли, кричали «ура» и «да здравствует!».

Когда же делегаты высыпали на улицу, их встретил духовой оркестр: луговские расстарались, прислали из Милославки две трубы, корнет-а-пистон, валторну, кларнет и барабан.

Под музыку и обнимались кто с кем придется, бегали по двору, выкликали друг друга по именам. Кто кричал отца, кто — сына, кто — брата, кто — соседа, кто — хотя бы односельчанина.

Съезд вручил представителям армии знамя. По кумачу синими буквами на нем было: «Да здравствует коммуна!»

Армия в память об одержанных ею победах подарила съезду трехдюймовую пушку без замка, недавно отбитую все под той же Моряшихой, и одиннадцать возов мануфактуры, тоже трофейной, — по возу на каждый районный штаб, для распределения среди неимущих.

Были речи, были приняты резолюции.

«Съезд от лица трудового крестьянства благодарит народную Красную Армию за мужественные и храбрые подвиги в деле освобождения от гнета. Благодарит за героическую стойкость в борьбе с приспешниками мирового капитала, в достижении намеченного советской властью пути всемирной социалистической революции и конечной цели — мирового социализма!»

«Армия от лица каждого ее члена приветствует съезд своих отцов и братьев, а также страдальцев за правду. Съезд еще и еще должен подчеркнуть и объяснить ту великую идею социализма, за которую мы боремся. Объяснить не только нам, но и колчаковским солдатам. всем сословиям и национальностям, населяющим Сибирь, всю Россию и весь

мир. Мы все — трудящиеся крестьяне и рабочие — взяли в руки оружие, чтобы построить наконец новую и счастливую жизнь для обездоленного народа, и на нашей обязанности лежит до края разрушить старый строй и построить совершенно новый, стереть с лица земли всех, кто встанет поперек священного и единственного пути!»

Первый день съезда был объявлен днем манифестаций и митингов. Иначе и нельзя было сделать.

В улицах и переулках Соленой Пади толпился народ, слушал речи, слушал духовой оркестр, удивлялся своим же ораторам — за кем сроду ничего такого не замечалось, и тот произносил нынче речи, призывал.

Все перемешались: мужики, бабы, девки, старики — все ходили вместе, кричали в один голос, приветствуя ораторов. Такого мира еще никто и никогда не видывал.

Ошалевшие ребятишки — кто еще босой, а кто уже в зимних полушубках, в отцовских пимах — метались из края в край села, никак не могли понять, где происходит самое интересное.

После среди ребятишек пошел слух, будто бы один музыкант позволил какому-то Ванятке — не то с Озерного, не то с Нагорного края села — три раза дунуть в трубу, после того ребячья орда уже ни на шаг не отступала от оркестра, теснила его, молча и жадно заглядывая в таинственные медные пасти.

Смолкала музыка, притихали на минуту-другую ораторы и манифестанты, теснясь все плотнее и плотнее, спешили высказаться друг перед другом кто о чем и как мог.

— Справедливость — до края! На другом не помиримся!

— Завтре же провозгласим на съезде окончательную советскую власть! Хватит нашим штабам неизвестно как называться!

— Товарищ Брусенков будто бы товарища Мещерякова будет снимать с должности! Правда, нет ли?

— Кто там против Мещерякова товарища? Кому жизнь не милая?

— А напротив Брусенкова речь скажет Власихин Яков. Напротив его расстрелов. Обратного делает суд.

— У нас большего ума нету, как Брусенков. Уберем — пожалеем. Нас никто стрелять не будет — еще хуже постреляем друг дружку. Как ноне происходит: кто кого стрелил, тот и правый.

— В Европе сильный революционный пожар. Государства пылают, как одно.

— Давно пора! Давно пора всех колчаков со всего земного шару собрать и спалить. Навсегда!

— Европа — Европой. В Соленой Пади ладиться надо. Давайте Кондратьева на место Брусенкова выбирать!

— Моя платформа: пушай главный штаб между собою разбирается. На то оне и главные. За кого они разберутся, за того и я голосую.

— Оставить как есть. Подлинная советская власть придет — скажет, как сделать!

— Все ж таки сила — народ? Сколь жили — не знали!

В толпу несколько раз замешивался и Мещеряков. Некогда ему было, но миновать все эти шествия и речи тоже невозможно, нельзя было не вспомнить семнадцатый год, военный, окопный, но такой же вот митинговый. Между делом он выбегал из штаба армии, отрывался от донесений разведок, от сводок наштабарма Безродных.

На площади Мещерякова тотчас окружали люди, а он будто бы окружал их, смотрел на людей со всех сторон...

«Правда что — истрадался народ за века по человеческому, — думал он. — Нынче — человеческое учуяли, хотим его все больше и больше, все сильнее и сильнее!» Вслух же говорил кому-то:

— Уже вовсе немного осталось — свалить Колчака. Свалим. Есть еще разные трудности, но все одно, народом свалим!

А в ответ слушал песни, речи, голоса медных труб.

Поблизости от этих труб он тоже остановился послушать, а они как раз в тот момент замолкли, и мордастый, с тонким простуженным голоском трубач подозвал из жадной кучи ребятишек одного тощенького, сказал ему:

— А ну — дуны! Испытай!

То прикасаясь к мундштуку губами, словно к горячему, то заглядывая его, парнишка старался изо всех сил, но валторна только сипела, и трубач стукнул неудачника по затылку, вызвал следующего:

— Кто еще храбрее? Ну?

Храбрецы подходили один за другим, поднимались на цыпочки, невозможно раздувались щеками, все как один расплывались, но толку не было — не запевала труба.

Музыканты уже заходились от смеха, парнишечье племя на глазах у всех покрывалось позором, краснело, вот-вот и взвоят от обиды в голос.

— А ну, — сказал тогда Мещеряков, — дай-ка попробую!

Трубач икнул, торопливо протянул ему валторну, и оркестранты примолкли, и ребятишки, и какие были вокруг взрослые — все стали смотреть на Мещерякова.

Для этого множества людей надо было повернуть случай на шутку, но шутки не нашлось, и очень серьезно, как будто даже с тем же самым испугом, с которым парнишки один за другим дули в трубу, дунул в нее и Мещеряков.

Она всхлипнула и смолкла.

Он чуть отодвинулся в сторону, примерился, отер мундштук рукавом и быстро припал к нему снова.

Труба повздыхала и смолкла снова. Тут он заметил Брусенкова.

Брусенков стоял, заложив руки за спину, серьезный и молчаливый — приготовился ждать. Сколько главком будет дуть в трубу, столько и он будет находиться здесь, ждать, чем кончится.

Глубоко вдохнув, Мещеряков снова и плотно приладился колющими губами к мундштуку. Стал дуть то сильнее, то слабее, чутко слушая и себя и трубу. Наконец она отозвалась — слабенько и невнятно, а он тут же крепче вцепился в нее руками, а ртом сделал ей нежно, но настойчиво. Пиа-пиа-а-пиа-а-а... — на самом высоком пискнула труба, а Мещеряков уже как будто держал этот голос в своих руках и, чуть повернув трубу, пропел ею протяжно и звонко, голос выплеснулся на площадь, а он даже поглядел вверх — хотел увидеть, куда же, на какую высоту голос поднялся.

— Вот так! — сказал он важно и серьезно очередному храбрецу из мальчишек, которые смеялись вокруг весело, как будто навсегда избавившись от позора и стыда. — Вот так!

Сам пошел не торопясь прочь. К нему приблизился Брусенков, совсем рядом они шагали. Потом Брусенков положил руку на плечо Мещерякова. Потом заговорил:

— Ликует народ. Но только, помимо всего вот этого веселья, нам надо решать. Не только принимать лозунги и разные речи, а решать практически дело революции. Кому и что в этом деле доверить. Кому не доверять вовсе. С глубоким умом надо это сделать.

Мещеряков все глядел вверх.

«Чуточный случай с этой трубой, — думал он. — Совсем чуточный, а для жизни почему-то годный. Потому что опять-таки произошел на народе, на глазах у всех? Или потому, что трубный голос вознесся очень

высоко, очень был громким?» А Мещеряков давно уже громко не говорил? Так случилось в последнее время, что громко не приходилось.

А Брусенков еще вел свою беседу. Доверительно так, уверенно.

Как будто он был уже переизбран съездом и дальше руководил главным штабом Освобожденной территории. Как руководитель, кажется, даже прощал почему-то Мещерякову все его заблуждения и неправильные действия.

Кажется — прощал?

Но тут как раз Брусенков приостановился и сказал:

— Погляди-ка, Ефрем Николаевич, кругом себя. Погляди на народ. Конечно, вся сила нынче в народе. В нем. Хотя и в гражданской, хотя и в военной нашей деятельности. Взять последнее твоё сражение за Моряшиху. Прямо-то и честно сказать, как и полагается нам говорить: ведь если бы не арара, не брошенный тобою в кровавый бой народ — старики и ребятишки, — разве вышла бы тот раз наша победа? Да никогда! Точно ведь я говорю, товарищ Мещеряков. Неопровержимо!.. Утвердимся нынче голосованием съезда. Я в этом уверен — утвердимся окончательно. А тогда и рассмотрим допустимость этой самой арары. И все вопросы — тоже рассмотрим. Ведь по сей день мы как их рассматривали? Хотя и в Протяжном, хотя и в других случаях? Рассматривали в полсуда. Того меньше — в одну его четверть.

Вот кто, оказывается, понял последнее моряшихинское сражение! Вот кто! Не был там Брусенков, и не видел ничего своими глазами, и не пережил того серенького дня под низким, пухлым небом, а понял.

И как понял!

* * *

На другой день, такой же ясный и светлый, по-летнему теплый, съезд продолжил работу, расширив повестку дня с двадцати одного до сорока девяти вопросов.

Ждали, что первым выступит Брусенков. Однако произошло иначе: стали отчитываться заведующие отделами главного штаба, Брусенков же оставил за собой заключительное слово по этим отчетам.

Завотделом призрения товарищ Коломиец сообщил, какая в целом была оказана помощь семьям пострадавших во время русско-германской и нынешней классовой войны. Назвал огромные цифры — кубические сажени дров, пуды хлеба, возы сена, деньги в тысячах рублей. После поделил их на неимущие души, и цифры во мгновение стали до того крохотными, что вслед за ними даже сами-то души как бы измельчали у всех на глазах в четвертинки и осьмушки.

Отчет товарища Коломильца был утвержден со строгим наказом — увеличить помощь остро нуждающимся за счет конфискации, самообложения, справедливого распределения трофейных материалов и продуктов.

Все с нетерпением ждали докладчика от земельного отдела. На это были особые причины.

Еще летом по деревням и селам Освобожденной территории встречалась кое-где листовка, подписанная профессором Новомбергским. Не погнушавшись мужицких словечек, профессор разъяснял земельную политику Колчака: земля нынче принадлежит тому и в таком количестве, в каком кто сколь ее, родимую, вспахал, полил ее трудовым потом. Так и будет вплоть до окончательной победы над большевистскими комиссарами, после которых окончательно вопрос решит грядущее Учредительное собрание, как избранное народом ради пользы народа.

И вот перед съездом листовка вдруг довольно часто снова стала встречаться то в одной деревне, то в другой.

Устроители съезда, главный штаб задумались. Надо было провести разъяснение. Думали — и сделали.

Собрали сотни две этих листовок, на оборотной стороне в милославской типографии отпечатали другое колчаковское воззвание — с призывом «дружин святого креста». Эти карательные дружины из поповских сынков, из разоренных партизанами богатеев, из уголовников, из бывших урядников жестоки были неизмеримо, разве только анненковцы могли с ними по жестокости и насилиям сравняться.

Отпечатали точно так же, как было в подлинном воззвании: расположили слова по кресту.

И вот на одной стороне листовки профессор разъяснял мужикам земельную политику, снова обещал учредилровку, а на другой — красовался крест:

СИМ
ПОБЕДИШИ!

Да воскреснет Бог, да расточатся враги Его. Два года Святая Русь истекает кровью и слезами под игом бесовским. Труды и кровь верных сынов ея, сила оружия и золота не смогли одолеть твердыни сатанинская. Православные! Оружие против

сатаны есть
Святой Крест, «его же бесы трепещут». Возложите на себя Святой Крест. Не украдкою под одеждой, а открыто, во

Славу Божию, сверх воинского снаряжения Вашего. Водруйте крест над Домом Пресвятыне Богородицы Русь Православной. Восьмиконечный белый крест прослужит Вам путь от Святынь Московских. Нашивайте белый крест на грудь и на правую руку Вашу, которую Вы творите Божье дело. Да освятятся крестом двери домов Ваших, и жены и дети Ваши. Молитесь! Пусть каждая церковь едва вмещает верующих, пусть со всех концов окровавленной, разоренной, распинаемой Матушки

Нашей России протянутся крестные ходы на Москву; пусть звон колокольный заглушит погон бесовский. Единными устами, единым сердцем воскликните: «Господи Иисус Христос, Сын Божий, помилуй нас, грешных».

Уже от главного штаба под крестом еще было написано:

Никто не даст нам избавленья —
Ни бог, ни царь и не герой,
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой!

Настал этот час — делать собственной рукой.

Выступил один, другой, а потом слово по вопросу взял делегат, очень похожий на покойного Крекотеня: огромный, косая сажень, с глубоким и глухим голосом, с тяжелым шагом и с тяжелой рукой. Он медленно взошел на трибуну, сложенную из деревянных ящиков, подвигал ногами — выдержит ли, — а тогда поднял тяжелую свою руку.

Дождался тишины, стал спрашивать:

— Товарищи делегаты трудящегося крестьянства! Товарищи делегаты пролетарской массы города Милославка! Товарищи делегаты! Народные избранные! Все ли из вас помнят слово, данное Колчаком? Про справедливую жизнь? Все ли помнят обещание его про землю и прочие бесконечные обещания? Теперь еще спрошу: а сроду была ли она когда, эта земля, колчаковская, чтобы он ее кому обещал? Он же чужое мне обещает! Он мне мое собственное обещает! Он, адмирал его величества, мою корову уводит, после обещает ее обратно отдать, и я за это должён быть раболепным рабом, да? Он меня порет, бросает невинного в каталажку, после обещает перестать, и я ему опять должён, премного благодарствуя, провозглашать славу и многие лета? Должён быть — предатель против самого себя? А когда я хотя бы чуть с им не согласен — он мне крест: «Сим победиши! Да воскреснет бог, да расточатся враги его!» Это когда же кончится испытание трудовому народу, вечному гнету и обману его? Не в веках капиталу искать среди трудящегося мужика своего вражину, расточать и обманывать — дай и мне расточить тебя до основания! Позволь, голуба, кряжистой рукой сделать над тобою, припомни за все времена моего рабства! Предлагаю постановить, чтобы навеки было запрещено капиталу прикасаться к земле, и только на единственный случай делать ему поблажку в три аршина... — Расправил бумажонку на огромной ладони, прочел: — «Первое. Принять закон о социализации земли, выраженный в Декрете Совета Народных Комиссаров, как основу основ. Проведение закона отложить впредь до окончания рабоче-крестьянской классовой борьбы... Второе. Немедленно принять неукоснительные меры к охране всех народных угодий и недр земли... Третье. Запретить лов рыбы во время икрометания».

Возражение раздалось только одно:

— Не так записано: угодья — они земельные! Земельные, а не народные. Народ на них не пасется!

На это оратор повторил громко:

— Истинно — народ пасется на их, на своих собственных угодьях! Это Колчак Ленские прииски продал англичанке, да еще пол-Сибири продаст какой-нибудь другой... А народ — он свою землю не продает! Земля — народное угодье, ее из-под себя не вырвешь, как ровно половицу в избе!

Резолюция принята была единогласно, без всяких поправок.

С особым вниманием был выслушан заведующий наработом. Старый плотник и школьный попечитель, в последнее время заметно ссутулившийся, отчего руки стали у него как будто длиннее и даже узловатее, смотрел снизу вверх добрыми ребячьими глазами и делал отчет тихо, то и дело покашливая, как бы прислушиваясь к еще какому-то внутреннему смыслу своих собственных слов.

Он и не говорил о том, как отдел работал, а только указывал, что нужно сделать: сколько отремонтировать школ, сколько найти учащихся.

— Нельзя строить новую жизнь без правильного и всестороннего образования. — говорил завнаработом, придыхая. — Это все одно, что ставить сруб без окон и без дверей; снаружи — новый, внутри — тёмно и непонятно. Образование — самое главное в жизни человека в смысле его прогресса и благоустройства на земле и в обществе. Когда взять нашу Освобожденную территорию, то для нее самое главное — это начальное образование, оно дает толчок ко всему будущему развитию человека, определяет способность к дальнейшему обучению. Отсюда предлагается — сделать как можно более для обеспечения учителя, чтобы оно заботилось бы не об себе, а об учащихся. В противном случае вся душа

учащего будет оставаться при нем самом, а детям не останется ничего, кроме обыкновенного урока азбуки и счета...

Съезд принял решение об обязательном четырехклассном образовании. Вопрос о жалованье учителям был передан на рассмотрение главного штаба, чтобы тот изыскал средства и доложил о проделанной работе следующему съезду.

Где много случилось споров—это по докладу о порядке нового самообложения.

Споры нарастали, споры уже грозили скомкать вопрос, и тогда выступил Брусенков.

— Правильно было уже сказано на нашем съезде,— начал он, как обычно, одергивая черную рубаху под черной же опояской,— правильно было сказано, что самое главное для нас — это образование! Ибо мы по темноте своей даже не знали как следует о Декрете Совнаркома, который с самого начала гласил, что крестьянские хозяйства стоимостью не свыше десяти тысяч рублей во всех случаях считаются личной, то есть неприкосновенной собственностью. И это, сказать,— в ценах одна тысяча девятьсот тринадцатого года, то есть при стоимости коровы тридцать рублей, а порядочной рабочей лошади — шестьдесят, от силы — семьдесят рублей! Но мы — по той же невероятной своей темноте — позволили советский закон извратить все тем же капиталистам, которые хотели любой ценой спасти свои не то что тысячи, а цельные миллионы от того декрета. И как же оне иезуитски сделали? Оне мужику, который имел даже меньше своих допустимых десяти тысяч, мужику, ради которого советская власть и конфисковала тех миллионщиков,— оне крикнули ему: «Нас обоих — грабят! Бей грабителя-узурпатора! Тебе еще добренький интервент — чех либо итальянец — поможет, выйдет со своего эшелона на железной дороге для бескорыстной помощи!» И были случаи — одурманенный мужик большевика весной прошлого года бил, а миллионщика с чем встречал хлебом и солью! Это ли не урок, товарищи? И я одного только не пойму — или он и по сию пору малый для нас, этот урок? Еще нам надо? Когда отымают Колчак, мы ему шлем проклятье и всеми силами и всею жизнью хотим от его избавиться, а когда самооблагаться в пользу противуколчаковской жизни, то нас нету? Нам легче в войне гибнуть, чем по-мирному отдавать от себя же и для своей же пользы картошку и моркошку? Как понять?

Вот как спросил, как выступил для первого раза Брусенков.

И споры прекратились, и нормы самообложения были приняты следующие.

Зерно и мука:

при наличии в хозяйстве от ста до пятисот пудов — пять пудов с каждой сотни;

при наличии от пятисот до тысячи пудов — шесть пудов с сотни;

при наличии от тысячи до двух тысяч — семь пудов;

при наличии от двух до десяти тысяч пудов — десять пудов;

при наличии свыше десяти тысяч пудов — конфискация половины всего наличия.

Скот:

три головы с каждой сотни голов.

Денежное выражение:

два рубля с каждой тысячи рублей от стоимости всего движимого и недвижимого имущества.

Ремесленники облагались по шесть рублей с каждой тысячи дохода. Рабочие — в размере однодневного заработка.

Когда нормы были приняты, на короткий миг снова поднялся Брусенков.

— Вот так! — сказал Брусенков громко, всему съезду. — Вот так! Теперь — все ясно и понятно!

Однако споры, возникшие при обсуждении этих норм обложения, как-то приглушили духовой оркестр, до того времени неизменно сопровождавший почти каждое выступление, тем более — каждую резолюцию, когда она проходила голосованием.

Оркестр замешкался, и тут же слово взял Глухов.

Глухов Петр Петрович — представитель карасуковской делегации и ее руководитель.

Нынче нельзя было в нем узнать того ходока, который в драной-рваной рубашонке месяц с небольшим назад являлся в Соленую Падь: поверх черной плисовой рубахи — пиджак с длинными, почти до колен, полами сшит совершенно по-крестьянски, а между тем фабричной работы, вовсе не домотканый. Борода аккуратная, волосы на голове не куцлаты, а расчесаны, смазаны обильно.

Он был торжественный, Петр Петрович Глухов, и торжественно сделал съезду заявление:

— Именем народа создается Карасуковская народная же федеративная республика! В этой республике, — пояснял он далее, — законы самые демократические, а именно: земля закрепляется за тем, кто ее обрабатывал последних три года, то есть при всех государственных режимах не покидал ее. Вся остальная, необработанная, — объявляется достоянием народа, передается в каждое сельское общество для распределения в последующие годы между теми хозяевами, которые обязуются ее возделывать без потери земельного плодородия. Это соответствует правилу: кто работает, тот ест и владеет.

Налоги взимаются в порядке прямо пропорциональном доходу, а не прогрессивно. Это соответствует условиям, при которых ничто не сдерживает развития производственных сил — каждый заинтересован как можно более создать ценностей и для себя, и в равной степени для государства народного.

Конфискации у трудового населения отменяются раз и навсегда. Это соответствует первому условию справедливости, ибо изъятие плодов труда у человека, эти плоды создавшего, есть надругательство над человеком, над самой идеей труда и худший вид эксплуатации человека человеком, а экономически это есть подрубание сука, на котором развивается государство, какую бы политическую платформу оно ни осуществляло.

Тут Петр Петрович Глухов помолчал. Стало понятно, что все это были цветочки, о ягодках он скажет сейчас.

И Глухов в самом деле поднял обе руки, еще утишил слушателей, а потом пояснил, что:

— Карасуковская республика твердо стоит на платформе советской власти. Однако она учитывает, что любая партийность — это прежде всего утеснение, причем утеснение прежде всего трудящегося — крестьянина и рабочего. Служащего партийность не касается, даже наоборот — он от нее получает жалованье. Нетрудовому элементу, тунеядцу, — тому тоже наплевать на все; как всегда, страдает в первую очередь производитель материальных ценностей. Интерес трудящегося — это непартийный интерес. Отсюда Карасуковская республика торжественно и провозглашает советскую власть, только без коммунистов.

И Глухов сошел с трибуны и сел в президиум, в котором сидели старейшины всех делегаций, члены главного штаба и еще целый ряд лиц, выбранных в результате голосования при открытии съезда.

Однако прежде чем сесть, Глухов обернулся к слушателям, крикнул громко, ясно, по-молодому:

— Советской власти — ур-ра!

«Ура» закричали довольно громко многие, хотя и очень быстро замолкли, а Глухов учтиво поклонился делегатам, тогда уже окончательно и сел на свое место.

К нему посыпались вопросы.

— Почему Карасуковская республика желает называться федеративной?

— Потому что к ней могут присоединяться все другие желающие! — ответил Глухов, привстав.

— Хотя бы и Соленая Падь?

— Хотя бы и она.

— А кто-нибудь уже присоединился к федерации?

— Ближе к присоединению стоит Заеланская степь.

— Иначе говоря, тот самый Куличенко?

— Тот самый. Народный герой.

Брусенков сидел рядом с Глуховым, смотрел на него, не спуская глаз. Смотрел, слушал, слегка все время бледнея.

Потом он подвинулся к Глухову, выбрал момент и успев его тоже спросить:

— Я всегда говорил, Петро Петрович, — зря мы тебя выпустили тот раз живым из Соленой Пади. Вишь, каким ты к нам уже вернулся! Жизнь-то подтверждает, а?

— Правильно, — тоже торопливо ответил ему Глухов, — она подтверждает, что я обязательно должен быть живым и здоровым! — И стал отвечать на следующий вопрос, поступивший из сумеречной глубины амбара.

Тогда Брусенков разыскал глазами Кондратьева, его лысую голову.

— Ну, как? Как, товарищ Кондратьев? По-прежнему будешь откладывать провозглашение нами советской власти? Еще будешь ждать? Может, подождешь, куда вместо нас это сделает товарищ Глухов? — И он еще продолжал вопросы, но матросик Говоров, который всегда был с Кондратьевым, и сейчас тоже не изменил своему правилу, ответил за своего товарища:

— Спокойно, товарищ Брусенков, спокойно!

— Как же это — спокойно? Это Мещеряков может быть нынче спокойный — у него с Глуховым дружба! А моей спокойности откуда взяться? Когда этого Петра Петровича убить мало! Мало сию же минуту принародно уничтожить!

— Зачем же? — пожал плечами и опять пустил дымок матросик Говоров. — Он, гляди, как хочет с других шерсть стричь, шкуры снимать, товарищ Глухов! Очень хочет! И с ним надо так же — остричь догола, после — содрать шкуру, ну, а после — видно будет. Мещеряков с ним хорошо начал. Очень правильно начал! Учти. Ты излишне беспокойный, Брусенков.

— От них, от Глуховых, вреда больше, чем шерсти. Всегда и несравненно!

— И все ж таки сначала его следует оголеть!

Между тем вопросы к Глухову все продолжались.

— Почему делегация карасуковцев присутствует в Соленой Пади? Не лучше ли было бы ей на съезде в Моряшихе?

— Нам хорошо хотя здесь, хотя и там. Мы всех понимаем, и нас тоже все. Это потому, что партийная грызня — нам чуждая по духу, а истинная народность у нас ближе всего к сердцу.

— Все ж таки — присутствует ли ваша делегация в Моряшихе?

— Все ж таки присутствует.

— Кто будет за главного в Карасуковской республике? Не товарищ ли Глухов?

— Очень может быть, что он. Но только в начале самом надо договориться в отношении платформ. Личность же — это дело махонькое.

— По какому списку голосовал в семнадцатом году, товарищ Глухов, в Учредительное собрание? По списку номер два? По эсеровскому?

Тут кто-то еще крикнул:

— Или по номеру четвертому — казачьему?

— Или по пятому — кадетскому?

— Я не голосовал, — ответил Глухов, — не принимал участия. Сказать прямо, так за меня голосовали. То есть за мой взгляд на всю жизнь и человеческую судьбу.

Уже стал заметно волноваться и Глухов. Однако все еще отвечал бойко, уверенно.

— Значит, ты был членом учредилочки?

— Не успел. Покуда ехал в город Питер, учредилочки уже не оказалось. Вся вышла.

— И сильно ты жалел по этой причине?

— Не сильно. Там ведь, правда что, засели слишком эсеры, слишком правые. Они-то и разозлили большевиков. А надо было по-хорошему, то есть сказать за советскую власть полностью, но опять-таки не сильно большевистскую, а на началах народности.

— Ты, Глухов, значит, за то, чтобы свято место было пусто?

— То есть?

— Или ты не понимаешь — в революции пустоты не может быть? Не будет большевиков — будут эсеры. Не будет эсеров — будет монарх. Не понимаешь либо ищешь себе дивиденду?

— Я от революции дивиденду иметь не могу: в ей нету середины, а есть одне только партийные крайности! И какой бы край ни взял верх, он все одно будет не по истинному смыслу и разуму, а лишь по силе обстоятельств, сложенных революцией. Отсюда — я не против, чтобы революция голосовала за тебя, дорогой товарищ, лишь бы за меня голосовала мирная жизнь!

А тут как раз кто-то в этот напряженный момент закричал, что на съезде присутствуют казаки — шесть человек.

Все стали глядеть кругом, где они такие, не с Глуховым ли вместе прибыли?

Председатель мандатной комиссии сделал разъяснение, что казаки являются делегатами от станиц, уже не первый день присоединившихся к народному восстанию, выбраны по закону, присутствуют по закону, к Глухову и ко всей карасуковской делегации никакого отношения не имеют.

Однако все равно пришлось поставить вопрос на голосование. За оставление казаков на съезде и признание их делегатских прав с решающим голосом было подавляющее большинство, как раз карасуковцы только и голосовали против. С перепугу, должно быть...

Им и в самом деле ничего хорошего ожидать сейчас не приходилось. Уже чувствовалось — им надо искать спасения. И тут как раз выступил представитель северного района — урманый главком.

Делегатом он не был, гостем — тоже, явился сам по себе, но слово взял и заговорил, налившись кровью в круглом лице, снова и снова хватаясь за огромную кобуру.

— Товарищи! — кричал он. — Братья и сыновья! Власть и начальство — оно есть власть и начальство! Все одно, какое и с какой платформы взятое! И царь-инператор может быть хороший, и мужик, нами

же избранный, может оказаться плохой, во сто крат хуже! Как, скажем, материнство для женщины: императрица—мать, и крестьянская баба — мать,— оне одинаково любят свое дите, так же император или мужик и рабочий у власти: они одинаково же любят сперва свою собственную власть, а уже после — все остальное на свете! Взять и ваш избранный на Первом съезде главный штаб — да он грызется внутри себя из-за власти убийственно! К чему это говорю — что он худой, надо избрать других? Ну, выбирайте другого, так и другой зачнет тотчас же уничтожать тех, кто его выбирал, ставил на должность! И чтобы не было ошибки, вообще не надо власти! Долой ее к чертовой матери и во веки веков! Напишем этот истинно революционный лозунг на знаменах и пойдем по всему миру. Не сразу добьемся истины, но пойдем раз, и два, и три, а до своего конца дойдем. Ура!

Встал Брусенков, подошел к Довгалю. Наклонился к нему:

— Лука! Бери свое слово, Лука! Бери сию же минуту!

— А ты? Ты сам?

— Бери сию же минуту, Лука! — повторил Брусенков.

И Петрович, который вел нынешнее заседание, уже объявил:

— Слово имеет товарищ Лука Довгаль!

— Это чего же ради проливается кровь? — начал свою речь Довгаль с вопроса. Спросил — замолчал. Замолчал упрямо, будто бы ничего не хотел больше сказать. Ни одного слова. Потом сказал: — Неужели мы — человечество — настолько уже бессмысленны, что страдаем, уничтожаем друг дружку и не понимаем — чего все это ради? Безвластие, да? Так в ту же минуту явится самое нечеловеческое насилие. И не напрасно из северного урмана раздаются к нам в главный штаб вопли: «Спасите нас от Колчака и от нашего же собственного главкома!» — то есть только что провозглашавшего здесь апостола! Еще скажу — на Елани выгрузились с вагонов казаки, у них на знамени: «С нами бог и атаман Анненков!», череп и две косточки! Давайте перед лицом ихнего знамени откажемся от своей власти! А если власть — она непременная, сделаем же ее сами и для себя, сколь у нас есть ума и справедливости. И если она обязательно должна находиться в руках — пусть находится в трудящихся руках: их числом более всего на свете, они заслужили этого за века страданий и унижений, на их истинно держится мир! Трудящийся класс уже не может больше томиться, он уже слишком хорошо знает, что такое чужая власть! А когда власть должна быть у класса, то у него должна быть и партия, ибо класс без партии все одно, что народ без класса: людей много, а идею нести некому. Товарищ делегат Глухов сильно беспартийный, так вот он-то как раз по причине своей беспартийности и представит себя самым справедливым правителем. Он сам себе — светлое будущее, сам себе — великая идея, сам себе — непорочная справедливость и светоч разума! Но его светоч — собственная его выгода. Это он, эсер, требовал продолжения братоубийственной войны, и когда заключен был Брестский мир, он сказал: «Неблагодарно!» Загнул грязное дело, ему нужны были Дарданеллы, чтобы беспощадно возить через их свой хлеб и наживаться на этом, вот он и был патриотом войны, и когда кровавую грязь и страдания народ захотел с себя смыть, он говорит народу: «Неблагодарно!» Ах ты гад благородный, да мне даже все равно, кто тебя разорит и повесит: советская власть или Колчак!

Рукоплескал Довгалю съезд. Громко аплодировали ему Брусенков, Петрович, матросик Говоров и Кондратьев, все делегаты.

Еще громче, чем прежде, прогремел оркестр: две трубы, кларнет и барабан. Корнет-а-пистон молчал, у него случилась поломка.

Глава восемнадцатая

Белые, неуклонно приближаясь к Соленой Пади, теснили партизанские полки, а в то же время комдив один, бывший комполка двадцать четыре, все еще нападал на них с флангов, даже с тыла.

Хотя приказом штаба армии было создано несколько дивизий, сам штаб свои приказы и распоряжения все еще посылал непосредственно командирам полков, потом — комдиву один, и в последнюю очередь — комдивам два и три. Не упрочились до сего дня дивизии, и комдив один как бы занял место Крекотеня.

Мещеряков же снова перенес свой штаб в Соленую Падь, снова целиком и полностью был занят подготовкой к оборонительному сражению. Он сам располагал полки в обороне, с командным составом — вплоть до ротных и взводных — лично прорабатывал сигналы связи, устанавливал пристрелочные ориентиры, разыгрывал примеры по взаимодействию.

И комиссар Петрович тоже день и ночь неустанно готовился к сражению — на него были возложены обязанности вести агитацию в партизанской армии и в армии противника, подготовить лазареты, патронные лаборатории.

Подготовить арару.

В крайнем, только в самом крайнем случае арара могла вступить в дело. Но ведь и этот крайний случай тоже мог случиться?

А желающих бежать с арарой было не счесть — все старики, все ребятишки. Но странно — стояла она перед глазами Мещерякова нынче все время. И даже когда он забегал на съезд, слушал речи и воззвания, видение это — как выметнулись пестренькие кони, безоружные люди на увал, под серенькое небо, под Моряшиху — все время возникало перед ним. Неотступно.

Он вглядывался в ряды делегатов, в лица... То и дело ему приходила мысль — тот вот, бородатый, в посконной рубахе и с грудью настежь, с медным большим крестом среди кудрявого грудного волоса, вполне мог быть в араре под Моряшихой... Это Мещерякова сильно смущало.

А между тем съезд главному всякий раз, как появлялся он в президиуме, провозглашал «ура!» и «да здравствует!», ораторы то и дело упоминали его в своих речах: «бесстрашный главному».

И Довгаль и Петрович, который тоже лишь время от времени забегал на съезд, даже Брусенков — все подсказывали ему, чтобы он сказал речь.

Но речей он говорить нынче не мог...

Уберегал себя для предстоящего сражения, для самой главной и всеобщей надежды, о которой даже здесь, на съезде, и то стеснялись очень-то громко говорить. Опять и опять на эту надежду вдруг надвигалось видение арары, а то с минуты на минуту начинал Мещеряков ждать еще какого-то известия, которым сражение о себе подскажет...

Он так долго и трудно к этому сражению приближался, так много о нем думал, что и оно должно было подумать о Мещерякове — высказать о себе какой-то намек...

* * *

И ведь дождался...

Гришка Лыткин поманил его, явившись в распахнутых воротах амбара. Гришка был в новых сапогах, в портупее, с биноклем на черном ремне.

Он стоял в воротах — многие делегаты на него глядели, он тоже на многих глядел, но по тому, как был подан Гришкой знак, Мещеряков

сразу же понял, что дело срочное и вполне серьезное, отлагательства не терпит.

Когда шли в штаб армии, переходили через площадь все с теми же, еще больше, чем прежде, побитыми лавчонками торговых рядов, Гришка пояснял:

— Перебежчик, товарищ главнокомандующий, к нам прибыли. Желают говорить только с вами и с товарищем Петровичем, более ни с кем. Товарища Безродного, того даже нисколько не признают за начальника. Предъявили пропуск, нами же заброшенный на белую территорию для прохождения к нам, более — ничего.

В штабе, в собственной мешеряковской комнате с чернилкой-непроливашкой на столе, уже были Безродных и Петрович.

А в углу, у самого входа, сидел этот перебежчик, по званию — старший унтер. Вид почти что справный, одет по форме и со знаками различия. Вместо поясного ремня шинелка перехвачена мужицкой опояской, это уже кто-то из партизан не смог вытерпеть — погоны на унтере оставил, а ремень снял.

И лицо — не так давно бритое, настоящее унтерское лицо кадровой службы, со строгостью и с готовностью. А еще — с какой-то отчаянностью.

— Садись! — кивнул Мешеряков унтеру, потому что тот моментально вскочил, как только распахнулась дверь.

— Унтер сорок первого полка Лепурников Федор Козьмич! — в ответ сказал перебежчик, откозырял. Унтер был без подделки..

Мешеряков отложил все обычные вопросы — как пришел, кто привел, кто командир полка и сколько в полку солдат, офицеров, пулеметов, — а спросил сразу же:

— Зачем явился?

Лепурников смешался. Он, должно быть, тоже допрашивал пленных, знал порядок. Порядка не было, он и смешался.

— Ну?

— Явился сообщить... Явился сообщить, — повторил он снова тихо и медленно, уставившись небольшими сощуренными глазками в окно, а потом крикнул громко и глядя прямо на Мешерякова: — Сорок первый полк во время предстоящего боя готов перейти на вашу сторону!

Мешеряков не ответил. Сел. Стал набивать трубку и унтеру протянул кисет. Тогда уже и спросил:

— В полном составе желаете перейти?.. Куришь?

— Так точно! В полном... Курю. Но, верите ли... верите ли — не тянет нынче на куриво. Не могу.

— Да ну-у?

— Точно так. Сам не знаю, почему могло случиться. Непонятно.

— Сорок первый полк в разное время нами был сильно побитый. И в Малышкином Яру, и в других местах. Но все одно в нем, надо думать, не одна сотня живых людей еще остается. От чьего имени говоришь?

— От имени всего, можно сказать, личного состава, шестьсот человек. Кроме лишь офицерского. Но есть и офицеры, и даже половина, как не более, тоже пойдут к вам. Один командир батальона среди таковых. Поскольку он же состоит в тайном комитете по этому делу.

— В каком комитете? У вас что — они тоже имеются в достаточном количестве?

— Комитет — для перехода на вашу сторону.

— Имеешь ли что от этого комитета? Какую бумажку?

— Это невозможно.

— Почему?

— Схватят и найдут бумажку! — Унтер вытер лоб, опять уставился в окно. — Не говоря о себе — постреляют половину полка. И не ошибутся, тех постреляют, кто в комитете. Вообще — кто настроен в пользу красных.

— Как же это смогут догадаться?

— Не надо догадываться. За каждым из таких когда-нибудь, а услышано слово, либо письмо просмотрено, либо неуважение к старшему замечено. Всем таким и сделают список, потом скомандуют три шага вперед.

— Не получается у тебя, унтер Лепурников: полк готовый чуть ли не весь перейти на красную сторону, а одному перебежать нельзя — схватят? Кто же схватит, кто расстреляет, когда едва ли не все в одном сговоре состоят?

— И состоят, и схватят, и расстреляют... — сказал унтер снова, буд-то в первый раз оглядев Мещерякова. — Все под страхом. Всё сделают. Что прикажут, то и сделают.

— А кого же бояться? Самих себя?

— Именно! Именно! — обрадовался вдруг унтер. — Самих себя — это обязательно! Колчака мы боимся, чехов — боимся, красных — боимся, но больше — самих себя! Каждый же на тебя может донести, наступать, себе благонадежность приобрести. Потому что без благонадежности тебя тут же пошлют под самый смертоносный огонь, и вы меня убьете. Того и убьете в первую очередь, который об вас сказал хорошее слово. И всюду так. Самые благонадежные полковники и генералы — оне при самом же Колчаке в городе Омске, а здесь — в ихних глазах уже чем-то замаранные.

Мещеряков перестал курить. Молчаливый наштабарм Безродных вдруг пожился, сказал торопливо:

— Дальше?

— Иду к вам, а отчего? От страху! Перейти — больше шансов, что живой будешь! — сказал дальше унтер.

— И вот так вы каждый божий день думаете? — спросил Мещеряков.

— Вот как.

— А ночью?

— Еще более того. В самом бы деле — будьте любезные заку- рить, а?

Свертывая сигарку, унтер просыпал махорку на пол и на колени — мимо клочка потертой газетной бумаги.

Мещеряков протянул ему еще, но и у него табачок тоже вдруг заморосил из щепотки куда-то в сторону, а Петрович, не сказавший до сих пор ни слова, спросил:

— Ты что же это, Ефрем?

— Страшно... — помотал вдруг туда и сюда головой с прикрытыми глазами Мещеряков. — Неужто не страшно — под таким ежеминутным страхом жить?.. Ты погляди, какое существо это — человек! И на съезде нынче он провозглашает воззвания, и в страхе ежеминутном перед своим товарищем — он же? Непонятно. Ты вот что, Лепурников, ты все ж таки под страхом пошел или еще и под правдой шагнул сколько-то шагов?

Унтер долго затягивался, покуда ответил:

— Не знаю. Но только вот сейчас будто бы свободнее мне. Дышу. Курю.

Еще подумал Мещеряков и спросил:

— Хорошо: после допросу я могу тебя отпустить обратно? Вернешься, объяснишь как-никак начальству свою отлучку.

— Этого нельзя. Невозможно, нет! — воскликнул унтер, опять забыв про курево, зажал сигарку в кулаке. — Уже лучше вы меня стреляйте, чем они. Гораздо лучше! — Резко наклонился к Мещерякову, спросил: — Ну, так спрашивайте! Спрашивайте — за тем и шел!.. Ну!

Оказался унтер писарем полковой канцелярии. Через него проходило множество самых разных и самых секретных бумаг, он сам еще недавно подписывался как «чиновник военного времени» и только недавно — опять же за какую-то провинность, за какие-то неблагонадежные слова — был послан в строй.

Он знал много.

Сказал, что сорок первый полк будет наступать с правого фланга, вдоль бора, что все колонны белых уже послезавтра на рассвете будут под Соленой Падью и тогда же вступят в бой, что для подкрепления ожидается еще кавалерийская часть, только навряд ли она успеет к началу боя, что броневики на железнодорожной ветке под Милославкой должны, по всей видимости, не столько действовать, сколько отвлекать силы партизан на другое направление.

Он говорил, захлебываясь, торопясь, то об одном, то о другом. Писали допрос и Безродных и Петрович — едва успевали записывать. Потом унтер, схватив Мещерякова за руку, спросил:

— Живого меня оставите? Все ж таки?

— Когда не делаешь нам провокацию, когда сам по себе не будешь такой страшный — оставим... — сказал Мещеряков и поспешил крикнуть Гришке Лыткину в коридор, чтобы перебежчика отвели в арестное помещение. Под строгую охрану.

В комнате в табачном дыму на столе отсвечивали бумажки только что снятого допроса.

— Покудова надо исходить из того, — сказал Мещеряков, — что все здесь сказано было правильно. Перед самым же началом боя постараться выяснить положение. Чтобы не было ошибки.

— Как выяснить? — спросил Петрович.

Безродных повторил:

— Как?

Мещеряков, стоя посреди комнаты, закинул руки за спину.

— Ну, когда сами не придумаем, дело подскажет!

И тут захотелось Мещерякову снова быть на съезде, страшно захотелось в помещение бывшей кузодеевской торговли. Но уже позднее было время, и Мещеряков остался в штабе, так и провел там всю ночь без сна. Все думал и думал.

* * *

От длинного стола президиума, составленного из коротеньких столиков, открывалась сумеречная глубина амбара с ломкими рядами скамей и табуреток, с поднятыми кверху оглоблями и жердями по углам бывшей завозни, с распахнутыми воротами, через которые падал в амбар неяркий свет зачинающегося осеннего рассвета.

Было шесть часов утра, наступал последний день работы съезда.

Президиум — так уж было принято — занимал свои места раньше, чем все другие делегаты, уже был в полном составе.

Пришел и сел с края длинного стола, поближе к выходу, Мещеряков. Усталый был после бессонной ночи, после встречи с унтером Лепурниковым, которая и до сих пор не давала ему покоя.

Сидели — курили... Не то чтобы совещались официально, но и не без дела сидели — обсуждали вопросы.

Мещеряков пригляделся — все известные лица: Брусенков, Довгаль, Стрельников, Черненко, Кондратьев с Говоровым, Петрович — да

мало ли еще знакомых? Начальников районных штабов, заведомыми главного штаба?.. Мало ли вот так же все эти люди собирались, заседали, судили друг друга, подписывали разные протоколы и решения? В Соленой Пади? В Протяжном?

Только теперь Таисия Черненко неизменно сидела подле Петровича. Рядом с ним сидела, Брусенкова же разглядывала издали. А еще — все эти люди были нынче не сами по себе, были на народе. На съезде. Съезд в каждом из них по-своему присутствовал.

Сколько спорили они между собою, сколько друг друга судили, а нынче, должно быть, предстоял спор над спорами, суд над судами...

И ждали все какого-то особо решительного момента, и Мещеряков впервые подумал, что сражение, которое он ждет послезавтра, может, по-своему начинается сегодня. Может быть, уже вот здесь и началось?..

Это его удивило, это прежде никогда ведь не приходило ему. А тут как раз в тот самый момент заговорил Брусенков, обратился к Кондратьеву:

— Так что же, ты и сейчас против, товарищ Кондратьев, чтобы нынче же нам образоваться в советскую власть? Объявиться ею? Или тебя вчерашние слова товарища Довгалья не трогают? Или ты чисто по-мелкобуржуазному ждешь, куда советскую власть возьмет в свои руки Глухов Петро Петрович?

— Круто ставишь вопрос, товарищ Брусенков,— стал отвечать Кондратьев, закинув волосатую свою огромную руку на лысый затылок.— Как и всегда, не очень хорошо, но круто! Одно — это объявить себя частью Российской Советской Республики, признать все ее законы и распоряжения. Как мы сделали нынче уже с законом о социализации земли. Другое — самим о себе объявить, что мы-то и есть уже советская власть! Мы — больше никто!

— Так... Когда так — сегодня же и будем голосовать вопрос на съезде. Ему оттуда,— махнул Брусенков в глубину амбара,— виднее, чем нам отсюда. Я просто хотел выяснить отдельные мнения здесь.— Слегка потопал ногой по деревянному настилу.— Иначе советская власть придет — не сильно похвалит нас, что мы ее по сей день стеснялись.

Обернулся Довгаль.

— Ну, а тогда я тоже и еще раз мнение говорю: мы, может, и самые истинные борцы за Советы, но это еще не обязательно, что мы ее истинные же представители! Хочу с ней, с настоящей, держать совет — достойный ли я ее? Могу ли ею быть? Я этого не знаю. А ты, Брусенков, знаешь об себе? Ты не боишься нашу победу покалечить на глазах у всех, как было уже в восемнадцатом годе?

— Ты, верно что, Довгаль, ровно мальчик...— удивленно и сердито развел длинными руками Брусенков.— Да разве ты правильно ставишь вопрос? Разве дело во мне? Дело нынче в обстоятельствах! Не сделаю я — сделает Глухов. Слышал ты Глухова либо не слышал?

— Я слышал. И все принимаю — краевой Совет вместо главного штаба, инструкцию по организации советской власти на местах, только лишь с одной заметкой: личный состав наших Советов — он должен быть временный, впредь до прихода российской Красной Армии. И Реввоенсовета. А теперешнее единогласие, когда его добьется товарищ Брусенков при голосовании вопроса, оно мне вовсе ненужное. Зачем мне «за» товарища Глухова? К чему? Чтобы он им после похвалялся? И цеплялся бы за его?

— Ну что же, заканчиваем разговор,— сказал тогда Брусенков.— Вопрос, значит, за тем, кто будет избранный нынче председателем крае-

вого Совета. Это и будет истинное голосование — не столько по личностям, сколько по принципам. Ибо невозможно бороться за власть и от нее же уходить, ее бояться. Нет, невозможно! Поглядим... — И Брусенков поглядел на лица членов президиума, на ряды делегатов, уже заполнивших помещение, на свои руки, вытянув их перед собою... — Между прочим, — сказал он, — вот и решатся все нерешенные недоразумения, бывшие среди нас в течение уже долгого времени. Тем самым — предстоящим голосованием — они непременно уже решатся, равно как и все наши прошлые действия. Народ в лице нынешнего съезда — он решит все и вся.

— А ты демократ, товарищ Брусенков! — ответил Брусенкову Петрович. — Сильный демократ...

Первым взял слово опять Глухов. Опять поднялся на трибуну. Съезд слушать его не хотел, свистел и шумел, а он все равно поднялся, руку поднял кверху, борода у него тоже приподнялась вверх, и он объявил об уходе карасуковской делегации со съезда.

— Мы, карасуковцы, — гласило его заявление, — есть крестьяне. Крестьянин есть хозяин. Пусть встанет тот крестьянин и заявит гласно, что он не хочет быть хозяином! Таких нету. И не может быть в природе. Потому — мы блюдем хозяйский интерес, а когда совершаем революцию, то она ничто без того же интересу. Одне слова, и только. Уходим на моряшихинский съезд. Встретимся через год либо два, когда вы все — деятели нынешней словесной нивы — придете к нам за хлебушком и даже, может быть, за всей прочей жизнью!

В молчании оторопевшего собрания карасуковцы и еще два человека из числа шести казачьих делегатов прошли между рядами, прошли через распахнутые ворота. Совсем ушли...

Только спустя минуту раздался свист и крик, и даже ругань понеслась им вслед.

Кондратьев вел нынешнее заседание, он объявил:

— Продолжаем работу! От нас ушли кому с нами не по пути! Это для нас к лучшему. Продолжаем работу!

Брусенков кивнул на ряды, даже показал в амбар пальцем, сказал Довгаль:

— Вот хады! Восприняли этого хозяина! Этого Глухова! Он-то ушел, а делегаты теперь уже не столь слушают речи, как каждый видит себя хозяином... Коней на ограде своей видит, телушек разных... Оглушил он их, Глухов.

Довгаль — потому что он, хотя и мельком, хотя и глубоко где-то в себе, только-только подумал о делегатах то же самое — рассердился на Брусенкова, покраснел, глядя на него.

— Ну? Так ведь Глухов-то ушел? Ушел, тем самым уже ничуть не угрожает, что сделается властью. Или тебе опять все равно? Ни твои недавние действия тебя нисколько не учат, ничто другое не способно на тебя влиять?

— Что же он меняет, глуховский уход? Ничего не меняет, Лука, — тихо, сдержанно отвечал Брусенков. — Глухов — тот не постеснялся в Карасуковке объявиться твердо и окончательно. А мы у себя станем ждать и ждать? А народ — тот начнет искать твердости и кинется уже не к нам — к нему! А придут Советы — все может быть, — посчитаются уже больше с ними, когда они сумели, а не с нами, не сумевшими ничего. Какое мы можем создать заблуждение! Через наше мальчишество!

А события шли. Вмешивались в этот спор, в работу съезда.

По примерзшим уже колеям застукали-застукали перед амбаром колеса, много колес, много копыт. Съезд замер, прислушался: что случилось, откуда стук? Оказалось — чуть ли не половина моряшихинского

съезда прибыла в Соленую Падь. Земская затея рассыпалась в прах и окончательно неизвестно стало — куда и к кому отправились карасуковцы во главе с товарищем Глуховым. Должно быть, на пустое место.

Вновь прибывшие еще стеснили ряды, а когда приутихли горячие объятия, бурные приветствия, один из них поднялся на трибуну, объяснил мотивы разрыва с моряшихинским съездом и прочитал следующую «декларацию в принципе»:

— «Товарищи трудящиеся, крестьянство и рабочие — делегаты Второго съезда республики Соленая Падь!

Мы, первоначальные участники съезда в Моряшихе, порываем с ним и приходим к вам.

Мы порываем с политической платформой, которая по сей день ищет союза со своим поработителем — буржуазией. Мы приходим к лозунгу пролетарской революции как к мировой, победоносной и единственно правильной идее.

Мы раз и навсегда порываем со всеми формами буржуазного правления, а торжественно обещаем поддерживать советскую власть.

Еще в 1906 году моряшихинский волостной съезд выработал и принял наказ членам Государственной думы первого созыва с требованиями политических свобод.

Тогда же большинством голосов мы приняли платформу социал-революционеров, но — увы! — это чуть не привело нас к гибели. К дорожному нам старинному знамени «Земли и воли» все больше подползало врагов, которые хотели вырвать у нас красное знамя, созданное из пота и крови рабочих и крестьян. И зашли мы в тупик. Но явилась партия мирового пролетариата, и снова пошли трудящиеся, униженные и оскорбленные, торжественно водружать обновленное красное знамя на самой вершине счастья всего трудового народа.

За два с половиной последних года мы перепробовали всякое: белое, красное, голубое, черное, разноцветное! Анархистов, монархов, буржуев, земство, эсеров, областников, временных, постоянных, верховных, местных, союзных! Никто нам не власть, а только — истязания, побор и предательство.

И нас на зубах перепробовали все, но не нашлось зубов, по которым мы пришли в самый раз.

И осталась среди этого хаоса одна надежда — советская власть, Совет Народных Комиссаров. И за нее, последнюю эту надежду, мы пойдем хотя бы на край света!»

Бушевал съезд, приветствуя «декларацию в принципе», громыхала в помещении бывшей кузодеевской торговли буря.

Перед самой трибуной, справа от президиума, басовито, нестройно и не сразу вступал в эту бурю оркестр: о-о-о... у-у-у... а-а-а... Каждая на свой лад выводили трубы, а потом все, как одна, вдруг выговорили:

...из-бав-лень-я!!!

А тогда уже и человеческие самые разные голоса стали присоединяться к одному медному голосу:

...ни бог, ни царь и не герой...

Пели все: кто умел петь, кто не пел никогда в жизни:

...своею собственной рукой!

— Вот! — сказал Брусенков Довгалю, наклонившись к нему близко и перебивая его непривычный к пению, но вдохновенный голос. — Поешь?

Поешь, а сам же страшишься своей собственной руки? Как же это ты так, товарищ Довгаль? Как же?

Довгаль пел. Когда же пение смолкло наконец, Брусенков уже обращался к моряшихинским товарищам с вопросом.

— Дорогие друзья! — спрашивал он. — По каким пунктам вы раскололись на своем съезде, в Моряшихе? Прошу дать нам разъяснение!

Разъяснение было дано.

Раскол в Моряшихе произошел при обсуждении «мирной ноты» колчаковцев и ответа на нее.

Нота, направленная губернскими властями партизанской республике, была опубликована во втором номере газеты «Серп и молот», в номере же третьем помещен редакционный ответ с примечанием: «Вместо ранее обещанной нашим читателям статьи «Уроки прошлого и настоящего».

Правозсеровская группа моряшихинского съезда считала ответ газеты на «мирную ноту» совершенно недопустимым, большинство же горячо его поддержало. Так произошел раскол в Моряшихе.

«Мирная нота к повстанцам» была следующего содержания:

«С каждой загубленной жизнью земля лишается пахаря, завод — работника, школа — учителя, семья — кормильца, государство — гражданина. Чем больше мы, русские, обескровим наше государство, нашу мать-родину, тем большее историческое преступление мы совершаем против самих себя.

Наши неурядицы радуют наших иностранных врагов. И наши заграничные «друзья» только выигрывают: мы у них покупаем обмундирование, снаряжение. Россия опускается в глазах других народов, своими руками мы вырываем себе могилу...

Чем дальше продолжается кровавый пир, тем дальше мы отходим от намеченных революцией идеалов — равенство, братство, свобода, тем дольше тормозим созыв истинного хозяина русской земли — всероссийского Учредительного собрания... Хищные волки рыскают в поле и гложут трупы лучших сынов России, черные вороны клюют их застывшие глаза. Люди тоже становятся хищными зверями, преступниками в силу злого исторического рока, и наряду с нашим экономическим обнищанием открывается неизмеримая бездна нашего падения.

Русские люди, очнитесь!

Оружием друг друга мы не убедим и не утешим, а только обессилим на радость наших иноземных «друзей» и врагов. Приступим к мирному улаживанию нашего семейного спора. Поговорим о задачах и делах. Поговорим как люди, а не как звери. И, может быть, есть еще возможность объединения и сплочения всех нас вокруг непартийных программ и воссоздания великой демократической России через Учредительное собрание. Взаимно мы должны быть снисходительны друг к другу и друг друга строго не судить...

Уже объявлена полная амнистия всем повстанцам, добровольно сложившим оружие. Можете верить в искренность и высокие побудительные причины этого шага. Кого же это не удовлетворяет, кто не желает договориться по политическим вопросам объединения вокруг лозунга воссоздания великой России, те пусть посылают делегатов к командующему войсками в полной уверенности, что ваши делегаты будут выслушаны и беспрепятственно пропущены обратно.

Если вы пожелаете, будут посланы к вам наши делегаты, если начальники ваших повстанческих отрядов гарантируют им неприкосновенность и свободный возврат.

Ответ газеты «Серп и молот» на эту ноту категорически отвергал «мирное» предложение. «...Мы слишком хорошо знаем, с кем имеем де-

ло! — писала газета. — Не вам говорить об историческом преступлении — это лицемерие, плохо прикрытое фиговым листком. История для вас представляется в виде продажной женщины, которую можно углизировать за медный грош. Что же касается упоминания о государстве, то у трудового народа свой государственный идеал — идеал советской, народной, трудовой социалистической республики, но не ваш растленный идеал государства-паразита и денежного мешка. Культурные варвары, зоологические звероподобные типы, вампиры земного мира! До каких пор вы будете кощунствовать? Палачи! Остановитесь! Вы уже произнесли себе смертный приговор!..

Ха-ха-ха! Учредительное собрание! Мы не караси-идеалисты, чтобы добровольно снова идти на вашу сковородочку! Мы прекрасно видим, что под именем вашего лозунга готовится петля всему трудовому народу.

Не обманете!

Вы повторяете собою историю Римской империи в последний ее период. Вот с чем можно сравнить положение мировой буржуазии, в частности российской. И современный русский Нерон — Колчак подтверждает это своими действиями на каждом шагу. Недаром богомольные крестьяне называют его антихристом...

Господин управляющий губернией! Вы изучили социальные науки во Франции, знаем также, что вы участвовали в вооруженном восстании в декабре 1905 года, знаем, что вы были убежденным террористом. Следовательно, вы прекрасно знаете, что революционный пролетариат и трудовое крестьянство, с одной стороны, и буржуазия, с другой, — такая же семья, как сожительство волка с овцами. Но вам приходится лгать на каждом шагу, толкуя о «семейном споре». Ренегат, вы предлагаете нам переговорить о «наших» задачах и целях! Наши задачи и цели, как небо от земли, далеки от ваших грабительских, и объединение, да еще на основе так называемых «непартийных лозунгов и программ», представляет из себя жалкую улыбку. Что касается до «великой демократической России», то она осуществится только через труп Колчака. «Мы должны быть снисходительны друг к другу». Что за жалкие слова! В этих словах видна фигура пресмыкающегося гада, который молит о пощаде. И это вы делаете попытку войти в мирные переговоры после всех сделанных вами чудовищных злодеяний, перед которыми бледнеют ужасы средневековья?! Все повстанцы отвечают вам решительно — слишком поздно! Поздно! Повстанцы, все как один, говорят вместе с замученным крестьянством: будьте прокляты!

Мы делегации не пошлем. Уже слишком много делегаций погибло в ваших кровавых лапах.

Присылайте вы делегата. Гарантируем ему неприкосновенность и свободный возврат».

«Ответ» был принят Вторым съездом Освобожденной территории как резолюция с некоторыми дополнениями. После слов о государстве денежного мешка были внесены строки:

«Ваше «государство» задушило всю самостоятельность трудового народа: свободу слова, собраний, печати и союзов, которые необходимы как главный стимул гражданственности для совершенствования народной нравственности. Это государство опирается, должно быть, на майора-дворянина Полюнина, начальника карательного отряда, который, лично застрелив партизана, кормил его теплыми мозгами армейского попугая!»

После же слов: «Повстанцы, все как один, говорят вместе с замученным крестьянством...» — было записано:

«Вы знаете отлично, что в Сибири более сорока крестьянских фронтов. Красная Армия не сегодня-завтра овладеет Омском. И вот разбойники и авантюристы вздумали миловать честных людей! Пользуйтесь — казните еще все благородное, все, что способно строить для страны и народа. Вам недолго осталось! Спешите! Обращайтесь с вашими приказами и воззваниями к тем, кто пресмыкается перед вашими погонами и кошельками, но мы — свободные граждане, а не рабы!»

Когда эта резолюция с дополнениями была принята, еще раздались требования:

- Воззвать к иностранцам!
- Ответить земству!
- Обратиться к бывшим фронтовикам!
- Обратиться ко всем на свете! Всем объяснить! Всему миру!

Было и еще множество предложений, но тут встал Брусенков для внеочередного заявления о порядке работы съезда. Заявление было: немедленно приступить к перевыборам главного штаба. Главный штаб в большинстве нынешнего состава и он, Брусенков, лично считают момент вполне для этого созревшим. Безусловно назрело и другое решение: новым органом власти на Освобожденной территории может быть только краевой Совет крестьянских и рабочих депутатов. Только он.

Новый краевой Совет будет продолжать работу главного штаба. А главный штаб работал до сих пор в двух основных направлениях: укреплял внутренний порядок на Освобожденной территории и оказывал всемерную поддержку крестьянской Красной Армии в ее героической борьбе с врагом.

— Как мы, главный штаб, делали помощь героической народной армии? — спросил Брусенков. — Мы очень просто и всесторонне делали ее. Когда не было надежды одеть армейцев к зиме в овчинные полушубки, то главный штаб взял и сделал по всей Освобожденной территории заготовку собачины, и нынче армия сплошь будет одетая в собачьи шкуры. А когда проводили людскую мобилизацию, то в прифронтовой полосе призывали мужские возраста в самую последнюю очередь. Результат — отнюдь не плачевный. Результат оказался вполне положительный. Во-первых, в этих районах все мужское население и без призыва, добровольно вступало в армию. А во-вторых, поскольку белые проводили усиленную мобилизацию, а красные — нет, мужчины призывных возрастов перебежали на красную сторону, а потом — куда им было деваться, перебежчикам? Да опять же в нашу партизанскую армию, только уже в качестве добровольцев. Больше вовсе некуда!

Съезд одобрял действия главного штаба, лично Брусенкова.

- Ну и Брусенков — лис двухголовый!
- С им не пропадешь, хотя и сильный стрелок по попам, даже — по гражданскому населению.
- И конфискатор знаменитый!

Возгласы с мест закончились, закончил свое заявление и Брусенков.

— И это уже будет та истинная советская власть, за которую мы нынче боремся и впредь будем так же героически бороться! — заключил он. — Должна уже на практике осуществиться наша мечта и надежда! Пора! И когда придет российская Красная Армия, то она уже встретит в Соленой Пади не Глуховых, не урманых главкомов — встретит свой собственный орган власти, которому только и останется сделать, что в действительности влиться в РСФСР. Пора! — опять повторил Брусенков, а потом неожиданно для всех и как будто для самого себя тоже неожиданно еще продолжил выступление. — Хотя, — сказал он, переждав овации, которыми делегаты тут же и выразили свою поддержку этому предложению, — хотя должен еще сказать съезду. Это мнение еще не

единогласное среди членов главного штаба. Еще имеется другое положение, по которому хотя и выбирается уже не главный штаб, а краевой Совет, но и Совет этот — тоже временный, поскольку он должен будет самораспуститься с приходом российской Красной Армии. Я лично в таком случае разницы между нынешним главным штабом и краевым Советом не замечаю, но вот, как мне это известно, товарищ Кондратьев и вообще весь Луговской РРШ, товарищ Довгаль и некоторые, хотя и немногочисленные, другие лица держатся такого мнения. Я полагаю, что не столько всевозможные слова этот вопрос решат, сколько самые выборы тех либо других лиц в новый орган власти... Предлагаю этот важнейший вопрос и поставить сейчас же...

Замолк съезд. В первый раз с тех пор, как он открылся, тихо вдруг стало под зеленой крышей бывшей кузодеевской торговли, под негустым сумраком, под которым сидели на скамьях люди.

И Брусенков встрепенулся в этой тишине, еще что-то хотел сказать, еще воззвать, еще громко потребовать, но замешкался. Не сразу пришли к нему слова и воззвания.

А в это время внес свое предложение Петрович — тоже по ходу работы съезда.

Сказал, что он не понимает товарища Брусенкова: куда тот торопится? Делегаты съезда предлагают принять воззвания и обращения съезда к земству, к бывшим фронтовикам — ко всему свету, ко всему миру, — почему же их не принять? Почему сразу же бросаться к выборам? Сию же секунду? И Петрович поднял небольшой свой кулачок и предложил текст обращения к товарищам военнопленным.

— Вы сами были очевидцами жизни освободившейся России, товарищи военнопленные! — провозгласил он, как будто обращаясь к кому-то, кто был далеко за деревянными стенами кузодеевского амбара. — Так неужели же вы хотите видеть Россию снова порабощенную? Неужели такого же порабощения вы ожидаете и для себя, когда возвратитесь к своим отцам, детям и женам? А если вы не хотите порабощения для себя, почему же хотите его для нас?

И Петрович спросил еще раз: «Почему?» — а потом подсел к Довгалю, стал с ним разговаривать, обращение же, которое он произнес, тотчас было принято без обсуждений, единогласно, и еще пошли и пошли на трибуну старейшины делегаций, делегаты с мест, каждый со своим воззванием, и съезд их слушал затаив дыхание, и голосовал, и принимал единогласно.

К крестьянству:

— Братья! Если мы теперь попятимся назад, что нас ожидает? Проклятье наших будущих поколений, так как на них наложат тяжелое рабство, их будут продавать на базарах, как безмолвный скот. Об нас нечего и говорить — нам один конец...

К бывшим фронтовикам:

— Вы, шедшие умирать под палкой Николая Второго! И не зная, за что гибли в Августовских лесах, Пинских болотах, в Карпатах и на Кавказе, — неужели теперь вы грудью не станете на защиту крестьянских прав?

К иностранцам в Сибири:

— Вы, французы свободной республики и англичане ограниченной королевской власти, вы, чехи, поляки, итальянцы, румыны, сербы, — неужели вы позволите себе поддерживать самодержавие Колчака и заковычивать русский народ в рабство? Все избранные нами учреждения при малейшем поползновении на самоуправление Колчак разгонял и расстреливал. Чего же желает трудовое крестьянство? Оно же-

лает принять участие в государственном строительстве через своих представителей, избранных на основе прямого, равного и тайного голосования. Оно желает прекратить братоубийственную войну. Оно желает завязать дружественные отношения с иностранными народами, дабы навсегда избежать войн между ними. И мы, крестьяне, заявляем для сведения всех-всех иностранцев в Сибири: разговаривать с Колчаком будем только с оружием в руках!

Мещеряков слушал. Воззвания слушал и себя тоже — свои мысли, разные свои заметки...

Никто как будто не обратил внимания, а вот он заметил, что на съезде появились еще два человека. Делегаты не делегаты, гости не гости, просто два лица — представители от Заеланской степи... Это его обрадовало несказанно — значит, Жгун жив, делает свое дело. Это не без его участия Заелань послала своих представителей на съезд.

...Среди воззваний и обращений мелькнуло одно, тоже как будто никем не замеченное: делегация северной восставшей местности вопреки выступлению своего урманного главкома попросила присоединить ее к Освобожденной территории.

Унтер Лепурников все время занимал Мещерякова. Нельзя ему было не поверить, а доверить можно ли?

Сражение, вот оно — остается сорок восемь часов, может, и того меньше. И ошибаться уже нельзя, некогда. Все ошибки и всегда делаются через нельзя, но уже совсем невозможно, совсем немисливо было ему уйти нынче со съезда с ошибкой. После воззваний, после музыки — уйти и тут же сделать ошибку...

К земству:

— Может быть, земство объяснит нам: за что мы вели войну с Германией? А если не может объяснить, почему же до сих пор подерживает тех, кто в эту преступную войну нас толкнул? Довольно нас дурачить! Где было земство, когда в Томске арестовывали думу? В Омске — вашу же эсеровскую директорию? Его тогда было не видно и не слышно, зато слышно теперь, когда надо уговаривать нас, наше честное возмущение и восстание. Где было оно, еще спросим мы, когда Колчак арестовал и расстрелял тех земских деятелей, которых мы действительно выбирали? Иуды, защищайтесь от Колчака сами, а не защищайте Колчака от нас! Уйдите с дороги!

К интеллигенции:

— Все, у кого в груди бьется сердце, а не простая мочалка, кто сохранил хоть каплю чести, у кого не совсем умерли лучшие порывы — все идите к нам!

К правым эсерам:

— «Террор! Насилие!» — кричите вы громко, боги и ангелы террора, стараясь заглушить грохот истинной борьбы трудящегося за свободу и независимость. И за тридцать сребреников служите своим недавним врагам, в которых сами стреляли. Если бы убитый вами царский министр Столыпин — жесточайший враг трудящегося крестьянства — восстал из гроба, он был бы вам теперь покровителем, а вы ему — верными и пресмыкающимися лакеями...

И только когда воззвания кончились, к съезду снова обратился Петрович. Маленький и торжественный, снова поднялся на трибуну.

— Товарищи делегаты Второго съезда Освобожденной территории! Навсегда останется в памяти каждого из нас день, когда мы смогли обратиться со своими прямыми, честными, правдивыми и громкими словами ко всем! Ко всем партиям и сословиям, ко всем сомневающимся и все еще заблуждающимся, ко всем друзьям и вра-

гам. Всем сказали мы слово о своей невиданной борьбе, о своих целях и задачах...— И умолк на минутку Петрович, на ту же минуту с ним вместе умолк и съезд, а потом Петрович спросил: — Дальше? Что дальше? А теперь мы должны обратиться к самим себе, самих себя спросить: истинная ли мы советская власть? Мы — это то самое и есть, за что идет наша борьба, или еще не то? Или нам лучше объявить себя властью временной, подождать ее, настоящую, сформироваться окончательно с приходом Красной российской Армии и Реввоенсовета? Чтобы ни в коем случае не противопоставить себя ей, как это уже ошибочно и трагически случилось на некоторых партизанских фронтах? Пусть каждый задумается над этим вопросом всею силой своей души, своего ума и пусть выскажет здесь и сейчас свое решение!

Снова первым на вопрос откликнулся Брусенков.

— Что нам, товарищи, более всего нынче необходимое? — спросил он. — В нашей борьбе и в повседневной жизни? Единство нам совершенно необходимое! Не было единства у трудящегося — из-за этого он и терпел скольких веков унижение и рабство. Без него народ не мог подняться и пойти как один к единой цели, а поднялся и пошел — оно ему стало еще нужнее. Единство — это все одно что главная цель. Нету одного — нету и другого, потому что когда каждый видит цель своей борьбы как ему вздумается, то это уже начинается несерьезная блажь. От единства — и дисциплина, и храбрость, и организованность, а в результате — конечная и полная победа. С единством все можно, все видать — кто какой человек, на что годный: идти вперед либо бежать позади всех. Это строй, в котором у каждого свое место, в котором каждый черпает свое доверие друг к другу, черпает силу, чтобы перенести любую невзгоду, не заплакать, когда больно... И, товарищи, мне вовсе не понятно, почему по главному вопросу всего нашего существования и всей нашей борьбы некоторые товарищи стараются внести в трудящуюся среду раскол, сомнение, недоверие друг к другу и неверие в свои собственные силы? Подчеркиваю свое предложение — немедленно приступить к голосованию краевого Совета, и не какого-нибудь там временного, а подлинного и настоящего, с которым нам не стыдно уже будет встретить власть Совета Народных Комиссаров и слиться с ним воедино! Предлагаю голосовать за кандидатов в этот подлинный Совет!

И опять съезд приветствовал Брусенкова, однако когда появился на трибуне Довгаль, стихли аплодисменты.

Довгаль сказал коротко:

— Высказываю личное свое мнение. Я — за выборы краевого Совета. Но безусловно и только временного. Впредь до прихода подлинной советской власти, до того момента, когда можно будет держать с ней совет и человеческий разговор. И когда моя кандидатура в штаб будет нынче выдвигаться на голосование, то я заранее должен предупредить: не могу я еще сказать, будто она — это я и есть. Не могу! Нету на это права, не позволяют мне этого моя совесть и мой долг. Никогда в жизни не позволю я себе забегать вперед ее!

— Слово имеет товарищ главнокомандующий Объединенной Крестьянской Красной Армии товарищ Мещеряков Ефрем Николаевич! — объявил Кондратьев.

А до того даже и не предупредил Мещерякова, что будет его слово. Хотя разобраться, так какое же нужно ему предупреждение? Или он не знал, что нельзя уже больше молчать?

Кивнул Петрович в ответ на его растревоженный, даже чуть испуганный взгляд. Сочитал про себя: «Раз, два, три!»

После сказал:

— Есть ли у кого сомнения, будто наша партизанская армия борется за подлинную советскую власть? Нету таких сомнений и не может быть, а ведь не объявляет же наша армия сама себя Красной и российской? Не делает этого самозванства. Та придет, и придет уже скоро и неизбежно, и мы своими вполне боеспособными силами, призывными возрастами вольемся в нее для окончательной победы над ненавистным врагом во всей Сибири, во всем Дальнем Востоке, когда потребуется, то и во всем мире. Так будет. И я считаю, что это есть правильный и единственный пример и для нашей гражданской власти. Считаю, что истинное выступление и в полной справедливости сделал только что с этой же самой трибуны товарищ Довгаль. По высокой славе и славе нашей борьбы сделал он!.. — Еще раз сосчитал мысленно: «Раз, два, три!..» — А когда так, то я и выдвигаю его кандидатом на предстоящее сейчас голосование. Еще разрешите заверить съезд в предстоящей победе нашей армии над врагами сибирского крестьянства и всего человечества. Ура!

И четко повернувшись на каблуках, взяв под козырек, Мещеряков пошел к своему месту за столом президиума. И стоял там строго, неподвижно и очень долго, пока куда окончательно не умолкли приветствия.

* * *

На том же заседании съезда открытым голосованием председателем краевого Совета депутатов трудящихся был выбран товарищ Довгаль. Заместителем его по гражданской части — товарищ Брусенков, по части военной с оставлением в должности политического комиссара ОККА был выбран товарищ Петрович.

Уже в темноте закончился съезд.

Ребятишки разобрали по домам скамьи и табуретки.

Захлопнулись огромные ворота кузодеевского амбара, снова тишиной и мраком наполнился внутри огромный амбар.

Позже других шли со съезда Брусенков и Довгаль.

— Вот так... Так вот... — медленно-медленно выговаривал слова Брусенков. — Да-а... Ну, я думаю, Лука, дела ты будешь принимать от меня уже после сражения. Конечно, после. Да и какая тут предстоит особая сдача? Ты и всегда-то был в курсе моих дел, Лука. Так вот... Вот так... Мы же с тобой сработаемся, Лука? Раз и навсегда?

Довгаль слушал растерянно.

Глава девятнадцатая

Накануне сражения за Соленую Падь Дора ждала мужа в звягинцевском доме.

Светила керосиновая лампа — Гришка Лыткин расстарался, достал где-то полную четверть керосина, и теперь освещалась в своей горнице не только Дора, но и весь звягинцевский дом стоял в свету, попахивая керосинным запахом.

Наташке не спалось, она лежала на койке, глядела в потолок или еще куда-то ослобелыми глазенками. Косички на ночь не распустила, они обвились круг запрокинутых за голозу ручонков вместе с неяркими полосками света.

Ниночка посапывала в люльке, иногда вздрагивала тельцем — ей в тот миг, может быть, снова мерещилась темная и душная глубина стога, — а то вдруг чему-то она во сне смеялась. Тихо, но явственно.

Петрунька спал на сундуке, голова вся развихренная, кулачки сжаты... Будто бы бежал куда-то и со всего разбегу споткнулся о сундук, пал на него и тотчас беспробудно уснул. И во сне — вояка, и все еще мчится куда-то, кого-то догоняет.

Мать глядит на него...

Отцов сын, и она же сама час от часу, день ото дня воспитывает в нем отцовское и все то, от которого сама больше всех страдает. Сама страдает, а для какой-то другой растит следующего Мещерякова, и где-то, в какой-то избе, вот так же, как сейчас Наташка, может быть, тоже не спит еще одна крохотная женщина с разметанными на стороны косичками, уже не спит, но еще не знает, отчего ей не спится... Или они в самом деле глупые создания, эти женщины, — не могут хотя бы между собой раз навсегда условиться, чтобы друг другу-то не делать зла? А если глупые, отчего же как раз от них — вся жизнь?

Пахло детишками, их сном и снами. Пахло матерью — ее бессонницей.

Перед наступлением белых наступала темная осенняя ночь: в окно еще недавно брезжил свет, но минул час — и уже ничего не видать, ни зги.

Уже многие жители Соленой Пади забились в подполья. Узлы и сундучишки стояли наготове и у Звягинцевых в сенцах, лежали в телегах... На случай, если противник сделает прорыв, ринется в село. Или — зажжет его артиллерийским огнем. Или — главноком Мещеряков отдаст приказ эвакуироваться...

Стукнула дверь — одна, другая, скрипнули одна за другой половицы, огонек мигнул в лампе и чуть упрятался вниз, а потом снова скочил наверх, и вот он сам на пороге — этот главноком...

Наташка шевельнулась, выпростала было ручки из-под головы, мать торопливо жинула на нее первую попавшуюся лопатинку, закрыла с головой.

И та, уже накрытая, резко повернулась на бок, замерла.

— Здравствуй, Дора! — сказал Ефрем тихо и ласково. — Здравствуй! — повторил еще раз.

Дора молча отошла к темному окну, опустилась подле него на табуретку.

Ефрем тотчас раскрыл Наташку, зажмуренную, погладил по голочке, прижал к подушке и строго наказал:

— Спи! — Закрыл всю до пяток снова.

Подошел к Петруньке — этого тронул за нос. Подошел к Ниночке, оттопырил у себя на левой руке мизинец, осторожно и удивленно шевельнул им губки, сложенные бантиком...

Он самым крохотным всегда удивлялся, особенно когда они спят. А когда не спят — боялся крохотушек, подолгу и осторожно рассматривал. Единственно, кого и боялся — так это младенцев.

Дора ждала, что он еще скажет. И себя ждала — что скажет, что сделает она.

Ефрем встал от люльки, раскинул руки в стороны, зевнул, потянулся всей грудью и ногами тоже, привстал на носки уже заметно поблекших, но все еще поскрипывающих сапог.

— И устал я, слышь, Дора-а-а...

Растянул тело туда и сюда, быстро и круто поворачиваясь, закинув руки за голову.

Когда замер, внимательно еще раз оглядев ребятешек и Дору, приказал серьезно, строго:

— Принеси-ка краюшку! Чесноку спроси у хозяев. Когда не окажется — луковичу хотя бы обыкновенную. Еще — воды холодной.

Дора знала, к чему все это нужно. Встала молча, пошла. По тем же половицам, которые только что под ним скрипели, под его сапогами.

Покуда ходила — он опять глядел на Ниночку то с одной стороны, то с другой стороны люльки, подвешенной низко, у самого пола. чтобы Наташке легче было водиться с сестренкой. Сгибался, закинув руки за спину. За этим Дора и застала его, вернувшись.

Ел он и пил молча.

Огромным складнем нарезал куски, цедил, булькая, воду через край стеклянной кринки, ухватывая ее поперек будто бы и не очень большой рукой в самом широком месте и не роняя ни капли ни на грудь, ни на лицо. Кое-когда давил большим пальцем на чесночную луковицу, выдавливал из нее один зубок, обшелушивал и кидал в рот.

Ополовинил все — половину краюхи, половину кринки. половину луковицы.

«Сейчас — крошки сметет со стола...» — подумала Дора.

Он смел ладонью быстро-быстро.

«Сейчас — уже все и составит на столе...»

Он составил — краюху прижал к зеленоватому потному стеклу кринки, стекло от этого будто еще позеленело; на хлеб сверху приладил поблескивающую обнаженной середкой чесночную луковицу. Обернулся и спросил:

— Сердитая? Еще?

Дора не ответила, обернулась к стене.

— Не забыла?

— Нет. Не забыла.

— Ты скажи — долго как. А — забудь!

— Не в силах.

— Да-а-а... — задумчиво и медленно сказал Ефрем. — Да-а... Это кто же нас, мужиков, будет прощать? Кому мы признаваться будем?

— Не знаю... Возьму вот и уйду с ребятишками. Навсегда. Куда-нибудь. В стог обратно. Во тьму! В глухоту! Верить ли — мне там было легче, как здесь, с тобой!

— Да-а-а... — задумчиво и медленно повторил Ефрем. — Да-а. А все ж таки кто нас, мужиков, будет прощать? За все? Я многих осудил, и меня — тоже судили, и война — тот же суд люди делают друг другу. Убьют — это не страшно, для мертвого даже смерти нет, а прощение? От кого оно будет?

— Так ничего и не боишься по сю пору, Ефрем? Неужели?

— А вот — боюсь. Сильно боюсь. Ужасно.

— Кого же? — спросила Дора, встrepенувшись в полутьме, спросила с надеждой и со страхом. — Кого же?

— Боюсь я, Дора, — вдруг опять придется не солдатами, не мужиками, а бабами и ребятишками воевать? Боюсь арары! И клянусь, клянусь уже на сколько разов, что ни за что на свете больше на это не пойду — а вдруг? Это и есть — страх... С мужиками мне и после того будет житься, я все ихние суды прошел, а с тобой? Как дальше буду с тобой? С детишками? — Кивнул в сторону Ниночкиной люльки, вздохнул тyжко.

— Жалеешь? Женщин и детишек жалеешь, да?

— Пуще всего — самого себя. Какой я главком, солдат и мужчина, какой отец после бабьей и детской войны? Их побьют, а я останусь после того живой, а?

— Чужая кровь на тебе застывает, Ефрем, это верно. Не то что на других. Но — я все могу, я смою с тебя все, только жалей меня,

бойся вот так же боли моей и печали. Не то — возьму и уйду от тебя вовсе. В стог в темный обратно. Куда глаза глядят уйду. Оставайся один.

— Этого не может быть. Не сделаешь, нет!

И вздохнул Ефрем длинным-длинным, скорбным вздохом. Скучное стало у него лицо, тоскливое. Теперь он устал весь, и руки у него устали по-настоящему, он положил их на стол, на них положил голову. Ту самую, за которую Колчак назначил большие деньги.

— Все из-за прасолихи, да? — спросил Ефрем.

— Из-за нее... И еще — за штабную Черненку тоже обижаюсь. За которой ты ночь прогонялся, сражения не принял.

— Это ты зря! Вовсе ничего не было, вовсе ничего не могло быть. Там, наоборот, — тьфу! — и больше ничего! Хотя сказать — это все одно... Единственный был случай или нет — не все ли одно? Сильно ты задетая?

— Ефрем, будет ли у тебя когда время понять меня?

— Я, что же, по сию пору беспонятливый был?

— Ефрем, это, может, от войны все происходит с тобой?

— От нее — тоже...

— С каждым божьим днем все меньше и меньше меня становится в жизни, Ефрем. Там мелькну, здесь мелькну, только и есть — мелькание одно. Ехала, в стог маялась в сennom, в глухоте — едва не прокляла и себя, и тебя, и детишек наших... Чего ради?

Спросила, но ответа не ждала. Даже боялась ответа.

Ей всего обиднее и горше было бы, если бы он сказал: «Я тебя не звал! Я тебя уговаривал в Верстове оставаться. Глупо это было — ехать, ребятишек маять до полусмерти, мне мешать в военных моих действиях!» И еще, и еще он мог бы ей отвечать точно так, как Дора не раз и не два от его имени самой себе отвечала, как упрекала самое себя... Страшно забоялась, что эти знаемые слова он ей сию минуту и скажет. Но он не сказал. Ничего не сказал, не ответил. Догадался, что так ответить невозможно. Он всегда-то обо многом догадывался, но только все равно все делал по-своему. Словом же никогда ее, ни разу в жизни не обидел. И сейчас вздохнул.

— Действительно, какая жизнь?

И вот — много ли ей было надо — она уже была ему благодарна за то, что он не обидел ее снова, еще раз.

— Так ты же сам в этой жизни виноватый! Сам. Воюй, убивай, пускай тебя убивают, а я — при чем? Я — из-за чего? Меня — за что?

— Тебя — не за что. Не за что совершенно и вовсе!

— Убило бы, что ли, тебя, Ефрем? Либо меня?

— Ну, это ты напрасно... Все ж таки жизнь — куда лучше, как смерть. Ведь не в плену же мы, и не нищие ходим, и не украли ничего. Делаем победу. И сделаем ее, а с нее — новую жизнь.

— Мне свое нужно, Ефрем. Свое, не чужое.

— Конечно... — согласился он. — Правильно: мужику, ему надо все чужое, все — всеобщее. А женщине — ей свое и свое.

— Завтра тебе сражаться. Отдыхай. Ты сейчас вот ляжешь, уснешь. Уснешь ведь?

— Усну... В этот раз — даже перед сражением усну. Необходимо.

— Завидная жизнь...

Спал он, как ребенок, — на спине, разметав руки. В шароварах и без гимнастерки. Гимнастерка, наган, трубка, бинокль, шашка — в головах. В ногах — сапоги, пятками вместе, носками врозь. Часы отдал ей в руки. Дышал ровно, спокойно, шевеля на груди желтый цыплячий пух.

Дора глядела на него — боялась, что убьют его завтра. Что не убьют и на всю жизнь он останется такой, как есть. Что не сможет его бросить. Что бросит его. Не знала — разбудить его, броситься перед ним на колени, просить прощенья или — проклясть, чтобы он ужаснулся, наконец почувял бы однажды в жизни страх и бессилие, узнал бы, что это такое...

Разбудила его в назначенный час, минута в минуту, долго перед тем и напряженно глядявываясь в стрелки часов.

Разбудила и прильнула к его губам — коротко, для самой себя неожиданно и страшно.

Он протянул к ней руки.

— Все, Ефрем, — сказала она, отстранившись. — Не спрашивай с меня нынче ничего больше. И не говори ничего. Все!

Тогда он быстро вскочил, быстро оделся, опять подошел ко всем трем ребяташкам, опять каждого коснулся.

Нет, нету таких напутствий, таких проклятий, таких мужчин и женщин, чтобы пригасить в нем напряжение хотя бы одной его жилки, одного мускула на лице, на руке, на длинных его пальцах с узкими ногтями, уже посветлевшими без мужицкой работы, тоже пронизанными тонкими жилками... Мужики из многих-многих тысяч выбрали вот этого одного, главного над собою, командира и повелителя, если дело пошло о жизни их или — о смерти...

Положил на плечо Доре эту свою напряженную, быструю руку. Наказал:

— Будь здоровая, Дора! Не вздумай скучать! Не вздумай!

Наклонился, поцеловал в лоб и ушел, еще улыбнувшись из дверного проема.

* * *

Еще рассвета не было, еще стояла глухая, застывшая темь без ветра, без звука... Загрести в ладонь эту тьму, смять, бросить под ноги или размазать по лицу и то можно было. Можно было в нее входить, чувствовать, как в это же время она входит в тебя, можно было угадывать в ней шею и голову гнедого, свою руку с поводом, обмотанным во круг кисти.

В Соленой Пади — ни огонька, собаки и те не лаяли, затаились. И кони не ржали. Начали было голосить петухи — поперхнулись, не получилось у них.

А ведь людей было в Соленой Пади и под нею, в окопах, — тысячи...

Молчали партизаны. Молчали белые. Все молчали.

Ехал Мещеряков, вспоминал: когда же это было в последний раз, чтобы не он напал, а ждал бы нападения на себя? На германской было. В нынешней войне не случалось, и вот отвык он от этого, и томительным, тягостным было для него ожидание.

Грохот орудий скорее бы, и атака противника на линию окопов, и контратака его эскадронов с Большого Увала, и переход сорок первого белогвардейского полка на сторону партизан — все-все скорее бы!

Медленно двигалось время, почти не двигалось, а все равно не давало Мещерякову послушать самого себя перед сражением, как это обычно бывало, когда он сам назначал и час и место начала боевых действий.

Приблизившись к позициям все в той же кромешной тьме, он выслушал разведчиков: белые заняли исходные рубежи верстах в трех, в пяти и еще продолжали подходить их колонны и отдельные отряды с разных направлений. Сильно жгли деревни. Сгоняли людей.

Наконец едва-едва забрезжило чем-то белесым, сизым, капля за каплей.

Звезда погасла. Покуда горела, ее и совсем было незаметно...

Корова мыкнула.

Потом на стороне белых, на порядочном расстоянии, выстрел раздался.

Тут в партизанских окопах произошел шорох, шевеление, кто-то закашлял, кто-то сказал: «Ну, с богом!», а другой голос не очень громко стал понужать белых разными словами.

Мещеряков тоже ждал, ждал напряженно, но скоро понял, что выстрел ничего не значил. Так просто какой-нибудь солдатишка-новобранец нечаянно пальнул. Ему за это фельдфебель или взводный успел уже по морде, он уже объяснил: «Нечаянно, вашбродь, больше ни в жизнь не буду!», уже батальонный, а то и сам полковой командир присылал узнать, что за случай, почему пальба без приказа, и посыльный вернулся и тоже доложил по форме, что это просто так, но все ждут и ждут еще чего-то. Не верят, будто выстрел одиночный, ни в кого.

Зыбко стали просматриваться березовые рощи, земля в чешуе из инея и мелких ледовых лужиц; все стали глядеть — не подобрались ли все ж таки белые к окопам, минуя дозоры и передовое охранение... Нет, опять не было ничего.

— До какой степени боится тьмы проклятый этот беляк! — сказал Мещеряков, кивнув в ту сторону. — Шага не шагнет, покудова темно!

Еще ждали.

В десять ноль-ноль противник беглым артиллерийским огнем по очереди — с одной, с другой, с третьей закрытой позиции — обстрелял окопы. По порядку: начал с левого фланга, со стороны бора, кончил на Большом Увале.

Снаряды все, как один, сделали перелет, все угадали в ту низину, на дне которой лежали соленопадские озера — пресное, подернувшееся тонким ледком, и соленое, чуть посиневшее с холоду, но даже без заберегов...

Мещеряков снова представил себе: теперь белые артиллерийские офицеры сидят на деревьях, коченелыми от холода руками держат бинокли, цепляются за сучья и сильно, по-барски, матерятся: им разрывов в низине не видать, недолет они засекут, перелета нет как нет! Вот и скорректируй тут огонь, сделай вилку! Нет, не просто так, не без ума окопы сделаны у партизан как раз на линии перелома местности. И единственное орудие партизанской армии Мещеряков тоже приказал установить на взгорочке между двумя оврагами. Взгорок и вовсе не пристреляешь: там и перелет и недолет будут прятаться в оврагах и маскировку не скоро различишь. Орудие это хотя и одно-единственное, но похоже, что повоеует нынче хорошо.

По селу противник пока что не стрелял. Воздерживался. Однако чем меньше у него будет успеха в стрельбе по окопам, тем скорее воздержание это может кончиться...

Противник еще побил по Большому Увалу. Господствующая высота, он, конечно, был заинтересован захватить ее поскорее. Но там — и оборона была крепче, и подступы потяжелее, и на случай контратаки стояли три мещеряковских эскадрона.

Опять Мещеряков с облегчением подумал, что артобстрел — это начало наступления. Но нет, ничего не началось, ничем кончилась стрельба.

Не очень даже скрываясь, он проехал вдоль линии окопов.

Пока ехал, раза два или три на той стороне, вне досягаемости прицельного ружейно-пулеметного огня, проскакали небольшие конные подразделения, потом приближались тачанки, открывали огонь из пулеметов и, не причинив потерь, уходили снова.

Партизаны молчали.

Только в полдень они впервые открыли огонь, это когда белая кавалерия — сотни две — пошла на Увал, за кавалерией — с батальон пехоты. Этот бросок отбит был тоже легко, белые сначала залегли в ближайшем колке и в кустарниках, после отступили на исходный рубеж, кавалерия их, оставив на земле убитого казака, ускакала.

Не понятно было, чего ради они все это делают? Или хотели выманить партизан с Увала? Или помотать нервы?

Мещеряков двинулся на свой левый фланг. Там, в бору, около лаборатории для заправки гильз, он застал Петровича, и тот будто бы несколько не нервничал. «Не может быть?» — подумал Мещеряков. Не поверил Петровичу.

Они сели на пенек, закурили. Разговора не было, но потомились вместе.

Посидели рядом два человека. Хотя один из них уже не раз и не два сильно выручал другого, хотя один другому не уступит ни в храбрости, ни в идейности и оба солдаты одной армии, — до сих пор вот так молча они еще не сидели, плечом не чувствовали плеча... Больше ругались между собою.

Иней не таял, морозец крепчал, небо прояснилось. Все это было для партизан вовсе неплохо: они могли за сутки и раз и другой в окопах сменить, отогреться в крайних избах села — там бабы кипятили самовары, в чугунах варили щи и кашу. Не избы, а питательные армейские пункты, даже самогонка запрещена строго-настрога.

А белым в это же время серый волк — ближний друг, и синяя прозрачная покрывка над головой.

Принимая все это в расчет, Мещеряков рассуждал, что навряд ли все-таки беляки отложат штурм хотя бы до завтра. Как только подтянутся все их силы, так и бросятся в бой. Ночевать под открытым небом им сильно не захочется...

И он поделился мыслями с Петровичем, а тот коричневыми глазами на него глянул радостно, окончательно выдал себя, свое беспокойство. Спросил Мещерякова:

— Надеешься на срок первый ихний полк? Все-таки?

— Все-таки надеяться страшно. Не надеяться, упустить случай — глупо. Нельзя унтера Лепурникова не принять в расчет. Будто его и вовсе не было.

Тогда Петрович спросил, известно ли ему, что белые сгоняют людей со всех сел. Мещеряков вздохнул, ответил, это ему известно, но такие известия сплошь и рядом бывают сильно преувеличенными.

— Устрашают беляки народ... И — сильно устрашают, не думают, как это против них же обернется.

И с тем и с другим замечанием главкома Петрович согласился. Как было не согласиться, когда еще вчера они вместе поставили перед своим левофланговым двадцать вторым полком задачу — сразу же, как только белые — сорок первый полк — сдадутся, обезоружить их, вдоль бора быстро двигаться во фланг и тыл противника, продемонстрировать прорыв, потом и в самом деле нанести удар с тыла... В это время с другого фланга, с Увала, кавалеристы и красные соколы под командованием Громыхалова и Андраши тоже должны были сделать прорыв и охват.

Так замышлялось...

А Петрович-то опять был не один, опять поблизости от него была Таисия Черненко.

Это как же так могло случиться? С каких-то пор, с тех самых, как Петрович допрашивал арестованную Черненко в Протяжном, она вдруг стала следовать за ним. Как тень Сердитая и неизбежная. «Когда бы

сам этого не видел — не поверил бы сроду! — удивился Мещеряков. — Но верь не верь, а так оно и есгь!»

Тася Черненко, видать, смущала комиссара Петровича, смущала сильно, но он держался со всей силы, будто бы ничего за нею не замечал. Правильно делал — после сражения можно будет заметить, выговорить ей, но только после сражения.

На Тасе был мужской, сильно потрепанный полушубок, слишком длинные рукава она отогнула шерстью вверх, на голове — тоже мужской треух, на ногах — пимишки и кожаные залатанные чуни. Не сразу узнаешь... То была тоненькая, гибкая, злющая хворостинка, а стала широкой. Но злость осталась в ней прежняя, на Мещерякова поглядела ненароком, а злость успела этим взглядом высказать.

Мещеряков нынче замечал все... Быстро замечал, но как-то мимо себя.

В окопах было множество партизанского войска — пестрого, овчинного и домотканого, бородатого, берданного и дымокурного... Поблизости от Мещерякова оно стихало, стеснялось своего главнокомандующего, поодаль било в ладоши, рассказывало побасенки, скалило зубы, но не могло скрыть, что отступать ему больше некуда.

Белая артиллерия и еще несколько раз примеривалась к позициям, пристреляться не пристрелялась, но так как местами огонь был густой, кое-кого из партизан подранило.

У белого командования оставались в нынешнем дне считанные часы...

Жалко было Мещерякову этого дня: ни за что сгинул, ни войны, ни жизни — одно бесконечное ожидание.

Посматривал то и дело на часы, вслед за ним всякий раз глядел в огромную луковицу с серебряной цепью адъютант Струков, так же нетерпеливо, так же щурясь глазом глядел на солнце, не очень соображая, почему это делает главком.

Гришка, тот морщился на солнце без конца. А вот комдив один сказал толково:

— Часа через два, может, греться пойдем? По избам?

Мещеряков пожал плечами.

Все кругом уже заметно блекло в ясном и погожем дне, солнышко поторапливалось за Большой Увал, за бурюю речку Падуху; с земли стал подыматься морозный дымок — пожалуй, первый в этом году. Стал звонче воздух.

«Ну, все на сегодня! — подумал Мещеряков. — Однако все!» И только хотел произнести слова вслух, как в этом воздухе, далеко-далеко на горизонте, что-то появилось, проступило сквозь предвечернюю даль...

Он вскинул бинокль.

Шли белые цепи, медленно всплывали в промежутках между берзовыми колками — где гуще, где реже, но по всей местности, от бора и до Увала... Гуще на флангах, реже в центре. Не завязав еще ни одного частного боя, не прошупав партизанской обороны, шли.

До сих пор не сделав серьезной артподготовки, теперь они начали оглушительно рвать снарядами склон позади окопов, взбаламучивать воду озер. А сами шли...

И Мещеряков затаился в догадке: почему же идут? Все сразу?

Стал глядеть в бинокль и тут понял: впереди себя белые гнали «слезную стенку» — стариков, женщин, ребятишек... Сами ехали на крестьянских подводах, мужиков заставляли править конями. Кони старательно перебирали крохотными, едва видимыми ножками, поторапливались в сторону партизанских окопов, затаившегося в этих окопах винто-

вочного и берданного огня... Кони рабочие, пахотные, войны не понимали.

Трудно было понять и отдельных людей: действительно шла чело-вечья стенка — тусклая, уже не живая, еще не мертвая. Можно пред-ставить, как это все задыхалось сейчас и рыдало, но бинокль показывал людей беззвучных, безучастных.

Вот как начали сражение белые — с самой крайности, с крайнего конца!

Вот как заставили своего солдата сражаться — на глазах у всех сде-лали его извергом, палачом, и каждый солдат теперь узнал, кто он, и ни один из них уже не мог ждать от партизан милости, ни одному не оста-валось ничего, как только убивать, убивать кого и как попало либо самому быть убитым.

Вот к чему они шли, белые, выступив против Соленой Пади по раз-ным дорогам еще месяц назад, еще — в военном строю, в полках, батальонах, ротах и взводах, при знаменах, боевых уставах и полковых священниках!

Самая страшная догадка осенила Мещерякова: рухнуло нынешнее сражение.

В один миг!

Окопы, вся оборона, дислокации, все его планы и замыслы — все рухнуло, все теперь не на месте, все ни к чему: военного сражения так и не случится, случится побоище.

И главнокомандующий тоже рухнул со всеми своими обязанностями, со всеми задачами. Зачем он теперь, когда белые подрубили настоя-щее сражение на корню, подрубили и честь, и военное умение, сделали своих солдат бабами, баб — солдатами, рабочих коней в телегах пустили в атаку, детишек погнали впереди себя?

Испокон веков солдата учили, что он воюет ради счастья детишек, чтобы детишкам жилось легче и светлее, чем отцам, а тут вот что сде-лано: солдат это самое счастье понуждает прикладом перед собою!

Задохнулся Ефрем. Заплакал Ефрем. Дико взвыл и бросил свою мерлушковую папаху обзъем, на ледовые искры инея, покрывшего рыже-ватую стерню, а Гришка Лыткин поднял папаху и подал ее обратно, а он опять бросил, а Гришка опять поднял, и глядели на эту бессмыслен-ность партизаны из окопов...

И что бы там ни было, на какой бы позор ни толкали белые Ефре-ма — ему надо было идти, принимать на себя бесславие и любой мучи-тельный суд хотя бы от самого себя, даже от своей собственной, а не чужой совести и чести... Надо было воевать против баб и ребятишек опять же бабами и ребятишками, то есть проклятой арарой.

Арара же была опять предусмотрена в партизанской обороне. Пет-рович взял на себя все заботы о ней, частично даже вооружил ее бер-данами, влил в нее работников главного и сельского штабов... Тася Черненко была все время при Петровиче — для связи между ним и арарой.

Тайно скрывалась арара в лесу — не только от глаз противника, но и от глаз главнокома, от своих отцов, братьев и сыновей, которые занимали окопы, хотели воевать по-солдатски, а видеть в своем войске стариков и ребятишек не хотели.

Избывая гнедого нагайкой, Мещеряков кинулся на свой левый фланг. Как в пропасть.

А еще через минуту-другую туда же, на левый фланг, на полоску земли, которая отсвечивала зеленоватым светом, отраженным от тихого и спокойного леса, стало смотреть и все партизанское войско, изо всех окопов. Там, по этой полоске, как по мостку, шел Мещеряков.

Он шел один, ведя в поводу гнедого. Когда Гришка Лыткин, а за Лыткиным Петрович, а за Петровичем Тася Черненко кинулись за ним, он выхватил наган и выстрелил, отогнал всех прочь, сунул наган обратно в кобуру и теперь шел быстро в папахе, плотно надвинутой на лоб, в кожаной куртке, в сапогах — тоже весь отсвечивая теми же смешанными оттенками леса, тусклого, заходящего солнца и леденистого инея...

Пули посвистывали, но не часто, унтер Лепурников, кажется, не обманул — по флангу шел сорок первый полк, даже мелькнула уже знакомая толстая фигура батальонного командира, которую Мещеряков приметил еще перед сражением за Малышкин Яр... Полк шел один, без слезной стенки, отступая от леса с полверсты, обеспечивая фланг, шел неровными цепями, которые как будто и хотели выпрямиться, но не могли: одни бежали вперед, другие отставали, грудились, снова рассыпались. Что-то там происходило сейчас, что-то происходило.

За Мещеряковым все-таки бросился Петрович — быстрая, отчаянная фигурка, — бежал, бежал, почти догнал, немного оставалось, но упал и не догнал. Мещеряков все шел, не оглядывался.

Потом и он остановился. Поднял руку, сорвал папаху и крикнул: — Р-ребята! Люди! Сорок первый! Кто среди вас за мировую справедливость? Кто за ее — все ко мне! Кто хочет под красное знамя — ко мне!.. — Прошел еще несколько шагов, еще приблизился к изломавшемуся строю: — Все ко мне! И всех уничтожу, кто не будет вместе со мною и с трудящимся народом!

Пахнущие чужой солдатчиной шинели окружили его, глядели почему-то сплошь зелеными глазами, хватали его, схватили, кинули в воздух, закричали кто и что, но громче всего «ура!», «да здравствует!», он вырвался и когда был уже в седле — кто-то выстрелил в него, а в того, кто выстрелил, в самую кокарду цевьем ударила винтовка.

Еще он увидел неподалеку Тасю Черненко — она плакала. На полушубке, на вывернутых шерстью кверху рукавах была кровь, густая, сочившаяся будто бы из этой шерсти... Она плакала, а раненый или уже убитый лежал перед нею в высокой стерне, но Мещерякова не пугала сейчас ни чья-то смерть, ни чье-то увечье, только этот Тасин плач — протяжный, не то бабий, не то ребячий, совсем детский — он услышал и дрогнул, хлестнул гнедого...

Нельзя было терять секунды.

В бору перед арарой опять нужно было обращаться к людям...

Члены бывшего главного штаба, ныне народные комиссары краевого Совета, и многие делегаты только что закончившегося Второго съезда смотрели на Мещерякова из толпы. Но все равно, арара была арарой и ничем другим: пестрые рабочие коняги, которых не жалко уже и запалить и покалечить, кое-где мужчины. Остальные — женщины, дети и старики.

И Мещеряков поднялся на холмик, крупный и сыпучий песок которого сплетали узловатые, будто мертвые корни огромных сосен, положил шапку на луку седла, поклонился народу.

— Товарищи! Товарищи женщины, дети, преклонные мужчины! Вы уже видели сами и поняли без меня — нынче вам необходимо не только испугать противника своим видом и со стороны, нынче вам надлежит врезаться в его живые порядки с фланга и с тыла, ибо там, среди врагов и во вражеской глубине, такие же матери, престарелые отцы, дочери и сыночки, как вы сами. Нынче без вашего подвига ничто невозможно — ни победа, ни дальнейшая война, ни самая жизнь, ни возвращение обратно нашей советской власти. Я прошу, товарищи, кто из вас вооруженные, а также и вовсе безоружные, но которые знают за собою смелость, храбрость и преданность идее, — прошу их быть впереди, вести всех осталь-

ных героев за собою! Я, дорогие товарищи, разбиваю вас всех на три лавы, и первые пойдут и врежутся в самый ближайший белогвардейский строй, а другие, чуть спустя, тоже выйдут из бору и тоже это сделают в середине наступающих... Третьих поведу я, далее других... Нас в тот же миг поддержит армия из своих окопов, выйдя нам навстречу и в лобовой удар противнику, и вместе мы сделаем великий подвиг и победу! Ура!

У Луки Довгалья, который повел первый отряд, была пика, он уже сейчас держал ее сбоку обеими руками справа и коня поэтому тоже держал все время вправо и вправо, конь ворочался по кругу, похрапывая, приселая на задние ноги... Мещеряков велел Довгалю держать пику покуда одной рукой и лучше править. Довгаль твердил свое:

— Все! Все, Ефрем... Знаю, Ефрем! Скорее, Ефрем!

Вторую лаву повел старогоньбинский старикашка... На маленьком лохматом коньке за этим старикашкой неотступно следовал Власихин Яков. Бородатый и безмолвный, он будто бы стал подслеповат и боялся потерять из виду своего поводыря. Сынов он скрыл от войны в урмане и будто бы даже одержал в этом победу, верх над людьми, только сам сделался крохотный — меньше того безымянного старикашки. Все в тех же никуда не годных опорках.

А потом пошел и Мещеряков...

Уже Довгаль достиг фланга белых, и там ржали кони, подводчики с белыми солдатами и порожние гнали в разные стороны; левофланговый двадцать второй партизанский полк вышел из окопов, бежал без выстрела.

Мещеряков шел все рысью, почти наметом, сбоку от него оказался Гришка Лыткин, а кто там был сзади — он не смотрел, не оглядывался.

Ему нужен был позади, за собою, конский топот, человечьи голоса и дыхание. Это было.

Армия без главнокомандующего и без выстрелов сама по себе выходила из окопов, полк за полком, с левого на правый фланг... Шла под красными знаменами. Уже и с Большого Увала бежали цепи пеших и конных — красные соколы, верстовские эскадроны.

Белые панически били из орудий по строениям Соленой Пади, пылали избы, из зеленой крыши бывшей кузодеевской торговли валил дегтярно-черный дым.

Единственное партизанское орудие молчало. Ничего другого ему не оставалось — только молчать.

Такое нынче было сражение. Такая война... И тут Мещеряков пронзительно увидел то место, ту белогвардейскую цепь и тех мужиков-подводчиков, в изломанный, исковерканный и смешанный строй которых он должен был врезаться с тыла, чтобы земля дрогнула под ногами белых солдат и офицеров, чтобы они кинулись кто куда спасаться, чтобы ужас охватил их, чтобы любой ценой и окончательно победить в этом невиданном сражении.

Круто повернул гнедого.



* * *

Простые люди узнать хотят:
а что великие люди едят?
А то и едят они, люди великие,
что подадут им простые, безликие.

Простые люди узнать хотят:
на чем великие люди спят?
А ведь сами они им на ночь стелют
и простыни ткнут для их постелей...

Еще загадка для простых людей...
Загадок у них — как у малых детей!
Ах, люди простые, простые люди,
когда же все вам понятно будет?!

Перевела Р. Казакова.

* * *

Косим траву — она не кричит,
она молчит отчаянно.
Мы начинаем крошить гранит —
тоже упорно молчание.
Такое ж молчанье, когда топором
мы в дереве сердце ищем,
когда мы за жабры рыбу берем
и бьем головой о днище.
У рыбы немой во рту вода...
Но если больно самим нам
бывает порой — и тогда
кричим мы криком надрывным
не только от боли своей — от нее
не было б крика такого, —
кричим мы от боли всего
мира земного.

Перевел В. Чекин.

АРКАДИЙ КУЛЕШОВ

★

Еще о друзьях

* * *

Три ветви — древом дружбы мы росли.
Но две из них срубил топор несчастья.
Ни в рай, ни в ад, однако, не попасть им —
Они, как прежде, жители земли.

Их ощущает, как безрукий руку
Или безногий ногу — старый ствол.
И помнят листья о жестоких муках
Тех павших, чьих следов я не нашел.

Они на смерть осуждены судьбою,
А все же не подвластны силам зла.
Есть корни у бывалого ствола
И семена с их жаждой вековой.

И тем ветвям не превратиться в прах.
Рождаясь, корни входят в грунт глубоко!
Деревьям новым добывая соки
И землю вновь держа в своих руках.

* * *

Один скончался от брюшного тифа
В неволе. Наспех похоронен был
Без граура, без некрологов — тихо
И без плиты надгробной, грузом лиха
Придавленный, среди глухих могил.

Другой на фронт из душного барака
Сумел сбежать. За валом огненным
Его солдатский штык вела атака,
Шел на смерть он под именем своим.
И в поле похоронен вместе с ним.

Потерян след безвестный, неприметный,
Но связь не потеряется с землей.
Земля для них не вечный упокой,
А место встреч, назначенных посмертно
Всей памятью моей, моей бедой.
Пока живу, они живут со мной.

* * *

Они в ночи ко мне являлись оба
(Тревожных сновидений колдовство!),
Их путь от колыбели и до гроба —
Теперь частица сердца моего.
Да и у них ведь, рассуждая строго,
Нет, кроме строк вот этих, никого.

Как без меня им быть, а мне без них?
Одна моя могила — на троих.
Но нет, я не хочу, чтобы со мною
Засыпали холодную землю
И память о товарищах моих.

Пусть кривдой вы покараны сурово,
Но память заглушить ничем нельзя,
Покуда над полынным тем покровом
Стою, с живым, а не с прощальным словом
К вам обращаясь, верные друзья.

* * *

Входили в сны друзья моей весны,
Пока не стали строчками моими.
Подходит время мне расстаться с ними,
И, как застолье, опустели сны.

И стерлись лица, и слова, и даты.
Я вновь один... И в разные концы
Страны, где схоронили их когда-то,
Разъехались погибшие бойцы.

Неужто им достаточно полыни,
Трех метров неприкаянной земли,
Листка бумаги, на которой ныне
Они скупой строкою проросли?

А может, сны, что нас томили долго,
Им все равно не облегчат невзгод?
Но мне такое исполнение долга —
Как позволение двигаться вперед.

Перевел Яков Хелемский.

ПИМЕН ПАНЧЕНКО

★

При свете молний

Весне, бессонной и торжественной,
По травам весело ступать.
Каштанов факельное шествие
Ей кружит голову опять.

Но ветер пролетел над крышами,
Смахнув испуганных скворцов,
И за клубилась туча рыжая,
И воздух пепельно-свинцов.

Прокатился тревожный грохот,
Ослепил перевозанным блеском,
И кривыми ножами молний
Распорол он мехи с дождем.

С весной мы в ливневом полоне.
В чужом подъезде я стою.
Прикрыл монашеской «болоньей»
Мальчишка спутницу свою.

Я рядом, внешне безучастен,
Не существую я для них.
Стою у самой кромки счастья,
Но мне тревожно в этот миг.

Мир для них создается заново,
Волшебство возникает всюду.
И при свете слепящих молний
К влаге тянется пламя губ.

А мне все мнится взрыв багровый,
Что на экране видел я,
И тяжело дышится, и снова
Сгорает молодость моя.

Но я готов к боям и мукам,
Готов не спать и голодать.
Чтоб нашим детям, нашим внукам
Не бомбы в руки передать —

А сверкание чистых ливней
И зеленое солнце леса,
Ярко-синее солнце моря
И янтарное море ржи.

* * *

Отплывает белый теплоход.
Он идет,
Все шире открывая
Горизонт ветров и непогод.
Вслед гляжу
И... сразу забываю.

Друга нет на палубе на той,
Женщины,
Что плакала, отчалив.
Солнце там или туман густой?
Никакой не чувствую печали.

Все огни далеких авеню
И сады роскошного Сорренто
Я сквозь память лихо прогоню.
Словно выцветшую киноленту

А бывало, тряский грузовик,
Весь в грязи, с отметкой пулевою.
На котором
Друг мой фронтовик
Уезжал,
Лишал меня покоя.

Перевел Яков Хелемский.



ЕВГЕНИЙ СНЕГИРЕВ

★

РОДИ МНЕ ТРИ СЫНА

Рассказ

У нас с ним тогда еще ничего не было; купались ребята, жара стояла, лето, пыль, мы отступали, а потом контратака, вышли на берег речки — не помню, кажется, на Березине, — на том берегу немец, а наш берег крутой, речка тут поворачивает, бухточка такая, от того берега обрывом заслонена. К обрыву пригнувшись шли, и я пошла, жара страшная, грязная вся, из-за кустов смотрю — ребята голые по берегу скачут, хохочут, в воду прыгают, как дети резвятся. А выплывать за обрыв нельзя, двое выплыли — тра-та-та-та, — пули по воде, один крикнул, кинулись к нему — плечо прошило, а другой сразу под воду ушел, уже по течению ребята его выловили, положили на песок, прикрыли нижней рубахой. Старшина матерился, из воды гнал — все равно в воду лезли. Димку я сразу узнала, он спиной ко мне стоял, я его до этого голым не видела, а сразу узнала: на затылке волосы черные, подбритые, мускулистый, стройный, плечи широкие и от плеч по груди к талии будто стесано. И стыдно мне, что подсматриваю за ним, хочу отвернуться, уйти, а не могу, ведь он же мой, хоть у нас с ним еще ничего тогда не было. Димка что-то крикнул ребятам, взмахнул руками, в воду прыгнул, тут как раз он из пулемета ударил, я все видела и пулемет слышала, а вот не испугалась за Димку, знала, что не с ним...

Потом они суетились, из воды тех двух выносили, я уже за ним не следила; жалко ребят было очень: вот так выкупались. Потом только увидела — он от убитого отошел, присел на корточки у воды, руки моет, уже в штанах он был, босой, вытер руки о штаны, достал папиросу, закурил, я повернулась, хотела уйти, а тут Оля идет, подружка моя, радистка, кричит: «Эй, старшина, гони мужиков, бабы тоже хотят купаться!» У нас хороший старшина был, Вася Солдатов, убили его потом под Минском, за нас, за девчат, всегда заступался.

Оделись ребята, поднялись по тропинке мимо нас, тех двоих несут, один стонет. Димка идет — волосы мокрые, сапоги и гимнастерку в руках держит. «Спускайтесь, я тут побуду, говорит, не бойтесь, не стану смотреть, за обрыв не высовывайтесь». Спустились мы к воде. Оля сразу разделась вся — голышом в воду, а я стою, оглядываюсь. «Давай, — Оля кричит, — раздевайся, залазь!» А мне стыдно. Димка там, знаю, что не смотрит, а все равно. Сапоги стащила, штаны, гимнастерку и в кальсонах мужских подрезанных и в рубашке мужской в речку полезла. Оля смеется: «Что прячешь, зада нет совсем!» И правда, мне же семнадцать было, — это я сейчас такая большая, а тогда худая была, длинная, тощая. Ну, окунулась, намылилась под рубашкой, помылась, выкрутила на себе, прямо на мокрое штаны и гимнастерку

натянула, вверх поднимаемся. Димка посмотрел — я во всем мокром, ничего не сказал, взял меня за руку и повел, — их разведчики уже блиндаж себе устроили, — он меня завел, ребята все меня знали и что мы с Димкой — тоже знали. «Ну-ка, говорит, выметайтесь». Кто чем занимался — поднялись, вышли, никто не усмехнулся, не сказал ничего. Димка вещмешок свой вытащил, выбросил оттуда тряпки. «На, переоденься, говорит, — чистое, ненадеванное; вот ножницы — подрежь, иглолка — пуговицы перешей, а то подштанники потеряешь» — и вышел из блиндажа.

Я тебе сейчас его карточку достану, хочешь посмотреть? Вот, он старше меня, ему уже двадцать пять было — высокий, волосы густые, глаза темные, не черные, нет, и не карие, а темные, глубокие. Красивый да сильный, смелый, любили его все: ничего не боялся, говорил: «Я только за тебя боюсь». Иногда месяца по три не видимся, знаем только друг о дружке, что он там, а я здесь. Я на «эрбеушке» сижу, рацию батальонную так называли, уже как-нибудь через ребят весточку ему передам, и он мне привет придет. Прощаемся — говорит: «Не бойся, ничего со мной в этот раз не будет, увидимся, я знаю», — приходит ночью весь в грязи, шестьдесят километров на попутных да пешком, посмотрит, по щеке рукой погладит — «жива-здоровая, спи-спи, не вставай, ухожу, к утру в роту надо», — под голову сунет сверточек, скажет: «Скоро опять близко, рядом будем», — еще по щеке погладит и уйдет. Утром проснусь, правда Димка приходил или приснилось, руку под голову — сверточек, чаще всего шоколад, в разведке доставали; один раз большой сверток принес. утром развязала веревочку — белье мужское шелковое, две пары. Димка потом рассказал: ворвались они в блиндаж, языка брали, взяли офицера и шмотки его прихватили. Долго я его не решалась надеть — противно, хоть оно и свежее, не стиранное еще, а мне от него ихним духом разило, — а потом пересилила себя и так хорошо себя чувствовала, берегла его, стирала осторожненько, долго в нем ходила, пока в госпиталь не попала — там уже забрали; и правда, не зря его ихним офицерам выдавали: не заводились вши, ну, заводились, но не так.

Помню, Таня, подружка моя, — вместе мы тогда зимой сорок первого под Наро-Фоминск прибыли, выручали не раз друг дружку — вызывает как-то, она в соседнем батальоне на рации была, в гости приглашает, а я уже слышала, что генерал, Корецкий такой был, к себе ее взял, приметил радисточку; никто не осуждал ни его, ни ее, да он и не старый был. Говорю: «Не смогу, не отпустят меня», — а она: «Жди. я за тобой приеду». Что ты думаешь? Через два дня генерал с обследованием по частям ездил, и она с ним, Танька моя; «эмка» черная в низинке остановилась, комбат наш, комбат-лейтенант — мы все его звали, Миша Лобанов подбежал, вытянулся, докладывает; смотрю — Таня из «эмки» выскочила, ко мне бежит. Я глянула и обмерла вся: каракулевая серая папаха на ней, шинелька по талии, сапожки на каблучках, новая портупейка через плечо, из-под папахи кудряшечки на лоб, вся розовая, чистая, сытая, а я из окопа вылезла, поверх шинели ватник грязнуший, мокрый, сапоги сорок первый размер кирзовые, на каждом по пуду грязи и рукавицы вот такие, брезентом обшитые. Кинулись мы друг к другу, обнялись, целуемся. Генерал кричит: «С ума посходили, место обстреливаемое, марш в машину!» — комбату говорит: «Отпустить на сутки». Миша Лобанов, наш комбат-лейтенант, хмуро смотрит: слышал уже, что Таня генералу приглянулась, может, думает, и меня кому другому сватают. Ну, я на него так посмотрела, что он сразу просиял, даже подмигнул мне. «Иванов, говорит, сменить!» Иванов, сменщик мой, потом до самого моего возвращения матерился, пока я ему из гостей

пачку папирос не вручила. Приехали, втащила она меня в дом, раздела, у печки посадила, ординарец Петя входит, юркий, черный, на цыгана похож. «Банька, говорит, готова, пожалуйста». Боже, баня, настоящая баня в садике за хатой, и Таня мне все чистое дала, моемся мы, одеваемся, а сами все говорим, вспоминаем, плачем, то она плачет — я утешаю, то она меня утешает, то вместе обнимемся и режем, две дуры. Пришли в дом, стол уже Петя накрыл, на мне платье простенькое, ситцевое, в горошину, мирное; тарелочки, рюмочки, скатерть белая, странно все, что-то мы ели, пирожки она испекла, вино пили, генерал с нами сидел; потом позвонили, он уехал, песни тихонько пели, опять вспомнили. Из подружек наших, с которыми вместе на фронт выехали, Катя и Галя уже погибли тогда, вот они — где же эта карточка? — вот она, вот Катя, Галя, Катя песни петь любила, хорошо пела. Вспомнили, опять поплакали, да и выпили уже ведь: жалко нам самих себя, молодость нашу; потом повела она меня, открыла шифоньер, платья показывает, белье, а я смотрю и прикоснуться боюсь, разрежусь опять, а она: «Бери это, возьми то, рубашку ночную, чулки, платок!» Зачем? Где я надевать буду? Чулки взяла все-таки, в сапоги под портянки, духи мне сунула, целый флакон — я их комбату-лейтенанту отдала, — папиросы, какие где лежали, печенья, консервов, конфет насовала, спирту фляжку. Петя помогал упаковать. Говорю: «Вата есть у тебя? Вату, бинты давай»; а ваты нет. Притащила Таня индивидуальные пакеты, несколько штук нашла, ну, такие, что каждому при себе иметь полагалось на случай, если ранят, — там бинт, тампон из марли. «Ищи, говорю, еще, девочкам надо»... Ой, знаешь, как это ужасно — ни бомбежки, ни контузии свои с таким ужасом не вспоминаю — в походе: перебрасывают куда-нибудь, отступление или наступление, идешь, отставать нельзя и никому не скажешь — тащишься, за телегу держишься, легче так, хоть руку положить, ноги стерты, каждый шаг как куски мяса отдирает, губы закусишь, смотришь на дорогу — красные круги; старшина рядом шагает, не выдержишь: «Дядя Вася, подвези немножко». Глянет на тебя с ног до головы: «Вот опять бабы, воюй с вами! Ну, лезь уже». Противно тебе это слушать, бабьи подробности, кому это надо? Не буду больше, милый, ничего, хочешь знать обо мне — знай и это, это жизнь, ты не воевал, да и кто воевал, многие тоже этого про нас не знают. Ох, как бы я хотела, чтобы я тоже не воевала.

Вот он, мой Димка. «У нас будет три сына» — «А если дочка?» — «Три сына. Закончим войну — и ты мне родишь три сына, а если меня убьют — ты выйди замуж и тоже роди мне три сына». — «И ты тоже, если меня убьют, женись, и чтобы у тебя было три сына». Так он говорил; не родила сыновей, один раз совсем уже собралась попробовать — не вышло, теперь уже поздно, что ты, милый, сорок скоро. Ты славный, мальчик мой, нет, ты на Димку не похож, таких, как Димка, не бывает, да, тебе тоже не двадцать пять, не в этом дело; Димка был такой, и все ребята такие были, а может, я сама была такая, не такая какая-то, не пойму.

Недавно в метро одного нашего встретила, майора Серова, артиллериста, я его плохо по тем годам помню, только одно в памяти: сапоги у него всегда сверкали, как солнце, грязь по шею, пушки ташат, а у него даже под грязью все равно видно, что с утра надраил ординарец до блеска, издали видно всем — комбат Серов шагает. Он меня первый узнал, сам в гражданском, приехал в Москву в командировку. «По снабжению работаю, ничего так, обходимся». Жена с ним была, беременная, некрасивая, и он щупленький, лысенький, весь мятый, улыбочка суетливая; я подумала: жена или больна, или злая очень. А герой, когда Неман форсировали, он первым со своей батареей на плотках пошел, на том берегу

закрепился и целый день продержался, а тут такой... Мне даже захотелось, чтоб я с ним не встречалась. Неужели те ребята такими же стали бы, и Димка мой, а я сама, — может, и я такая, только мне не видно? Нет, не мог он стать таким, мой Димка, в разведку уходил — брился, одеколоном щеки вытирал, в бой — как на парад готовился, подворотнички всегда чистые пришивал. Двадцать лет прошло, а стоит он все время и смотрит, и я разговариваю с ним; ты хороший, а он вон там, там где-то, нет-нет, его нет сейчас, я не вижу его, и он на нас не смотрит, а вот как бы тебе объяснить? Всегда он есть, не мешает он мне, и тебе не мешает, и не стыжусь я перед ним.

Вот смотри — Миша Лобанов, наш комбат, лежит, книжечку читает на солнышке, травинку покусывает. Какой был парень! Стройный, высокий, такой же, как Димка, прямо всегда ходил, не гнулся, в траншее только голову на грудь немножко свесит вот так, а плечи ровно, глаза грустные, а может, это я только их видела, когда грустные. Молодой был совсем, двадцать один, со второго курса института; Димка закончил институт как раз перед войной, университет кончал в Харькове, историк, в аспирантуру хотел поступать. Летом сорок второго Лобанов к нам пришел, комбатом его назначили, а я на батарее при комбате, в бою в ровике рядом с ним, рация в том же блиндаже, где комбат, по долгу службы рядом, с полуслова друг друга понимали, и какой ни бой, как ни тяжело, никогда я от него ни одного ругательного слова не слыхала, может, он и ругался там где-то, наверное ругался, а при мне ни разу, а я, хоть девчонка, уже ко всякому привыкла. Девчонки за ним падали, за нашим лейтенантом, радистки, из санбата, ни на кого внимания не обращал, а они на меня косятся, подначивают: тихоня, мол, а Димка как же, всякое такое. Я не отвечала, раз только санитарка одна, Нинка, пышная такая, кругом шестнадцать, крутила она со всеми подряд и на Мишу Лобанова нацелилась, и так и сяк, и вздыхает, и задом вертит, а он не видит, так она на меня набросилась, шпилечку сначала: «Сладкого лейтенантика себе подцепила», — а потом прямо: «Такая-сякая, тот рядовой в разведке погибнет, а тут уже и офицерик наготове!» А я говорю: «У меня завтра еще и генерал будет, а тебе ни рядового, ни офицера как все равно не отдам», — спокойненько так сказала, кто был — девчонки, солдаты, она при всех начала, — так и грохнул, а она матюкнулась и вылетела в дверь. Как-то я в блиндаже возле рации сидела, никого не было, он подошел, руку на мою руку положил, смотрит на меня, глаза грустные; я осторожненько руку высвободила, занимаюсь своим; сидел он тихонько, долго сидел, не прикасался больше, потом встал и тихо вышел, вернулся не скоро. Я уже спать устроилась в углу на сене под шинелью, он пришел, коптилку потушил, улегся, я прислушиваюсь — не боялась, нет, а так прислушиваешься все-таки, — он ни слова не сказал, не вздохнул, зачих, как нет его. И потом, часто-часто я на себе его взгляд замечала, сидит над планшетом или у стола за картой, что-то черкает, насвистывает, пальцами барабанит, вдруг замолчит и смотрит и не вздыхает, глаза грустные, а у меня от тех взглядов сердце сосет, и хочется сказать ему: не смотри так, я же Димкина. А Димка придет из самого пекла, за шестьдесят километров, прибежит ко мне, уведет куда-нибудь, сидим вдвоем, он гимнастерку мне расстегнет, руку на грудь положит, дрожит весь, руку отдернет, как от горячего, и вздохнет. Боже, какая дура была, идиотка, ну не знала, не понимала, как теперь понимаю, не позволяла, идиотка. Больше года, да какое больше года, весной сорок четвертого мы первый раз с ним были. И лечь-то решалась с ним в блиндаже или в хате где-нибудь на ночевке, только если не было никого, если одни; боже, какая дура была, идиотка, какая дура, что же ему от меня всего-то и досталось...

А потом наш комбат стал на меня иначе смотреть, другое в глазах появилось — улыбка, словно над собой немножко насмехается, над той своей грустью. Я это первый раз заметила — в Смоленск мы пришли, отвели полк на переформирование, зима была, дали нам с комбатом жилье на втором этаже в покинутом доме, мы пришли, холод собачий, стекла выбиты и печки нет, а печка была — в углу возле окна куча кирпичей черных в саже, куски трубы валяются. Пошел Вася Рыжиков, ординарец, искать буржуйку, приходит — нету. Лобанов говорит: «Давай сложи печку из кирпичей». А тот: «Не умею». Лобанов: «А ты не умеешь, гвардии старшая радистка?» Он меня так при других шутя называл, а когда вдвоем — Женей звал. Я говорю: «Попробую, товарищ комбат, не приходилось, а попробовать нужно, иначе околеем». Притащили мы с Васей еще кирпичей, ржавый лист железа на пол прибили, откопали под снегом во дворе глину, замесили в старом ведре, и давай гвардии старшая радистка печку строить. И что ты думаешь? Построила: притащил Вася кусок забора, порубили, часа два дымило, а потом разгорелось и дым вытянуло, окна фанерой позабавили, и так тепло стало, прямо жарко. Лобанов пришел, усталился на печку, потом на меня, спрашивает: «Что, в самом деле тепло, можно раздеваться?» — «Так точно, товарищ комбат!» Посмотрел он на меня как-то так прямо восторженно, с ног до головы оглядел; а что, печку построить — это не легче, чем в ровике пересидеть с рацией артналет: на печку решиться надо, а артналет сам явится, тебя не спросит. Потом опять грусть ему в глаза набежала, и вдруг он чуть-чуть улыбнулся, будто сам над собой насмехаясь, и с тех пор он всегда на меня с той усмешечкой смотрел, и у меня уже сердце не сосало.

Не помню, когда записки начались, много их у меня хранилось, на отдыхе мы стояли, лето было, да, в сорок третьем, сижу у рации, подойдет, положит треугольничек такой, как письма тогда слали, только крохотный, скажет: «Срочно шифровкой» — и отойдет; я развернула первый раз — ничего не поняла, а потом уже не разворачивала сразу, как одна останусь — прочту. Какие он слова находил, какие они слова говорили, божь, какие были ребята, какие Димка слова говорил, как он называл меня, вы сейчас таких слов не знаете; ты нежный, но ты таких слов не знаешь, нет их у вас, а у них были. Никогда не говори мне грубого слова, нет, ты хороший, добрый, но, пожалуйста, никогда грубого слова не говори, от тех ребят я их никогда не слышала, а потом, сколько мне потом их послушаться пришлось, какие были мастера, как умели сказать, в самую душу вернуть, чтоб не забыла, кто ты есть, и какая ты есть, и где твое место. «Приходи к речке возле двух верб в девятнадцать ноль-ноль, иди по азимуту, ориентир большое дерево на опушке, пойдешь по кленовой аллее, ветки кленов будут гладить тебя по лицу, это я их так просил, в конце аллеи поляна с цветами — это мой тебе букет». Это он так писал, комбат-лейтенант Миша Лобанов, нет, стихов не писал, то вот так свидание назначает, то распишет, какой я ему кажусь, то о детстве что-то вспомнит, светлое-светлое и радостное, только о будущем ничего не говорит.

Помню, пишет: «Моя бабушка всегда говорила, что я буду балованным и разболтанным, это потому что она меня баловала, ничем не заставляла заниматься и к порядку не приучила, а я видишь какой точный, что бы ни случилось, даже к начальству вызывают, а раз назначил тебе свидание — точно приду». Я те записки берегла, старая планшетка была у меня, за чехлом рации всегда лежала, и сгорела планшетка, уже не было Лобанова; засек немец рацию, я как раз вышла — взрыв, горит, бросилась в дом, схватила рацию, к двери сквозь дым, еще взрыв, отшвырнуло меня, оглушило, пришла в себя

уже на улице, лежу, дом догорает, сгорели записки вместе с рацией. Фиалки он мне приносил, подойдет, достанет из кармана на груди синий букетик, расправит, положит тихонько на рацию и уйдет, скажет: «Приходи к березке, постоим»,— это когда на отдыхе там стояли, березка у нас такая была, белая, тонкая, на поляне в лесу. Приду, он стоит, ветка в сторону чуть повыше его головы, он за ветку руками держится, покачивается на носках, листок губами ловит, как ребенок, и смотрит на меня и усмехается, говорит: «Прислонись к березке и молчи»— и сам молчит и смотрит на меня, кругом тихо, иволга кричит, глаза закрою, прижмусь затылком к березке— и гимнастерка на себе не чувствую, и сапоги ног не давят. Так стою, хорошо-хорошо. «Что ж, пойдем, пора, кончилась увольнительная»,— Миша говорит, и идем мы с ним, за руки возьмемся, как дети, так и на батарею придем, все видят, и никто ничего плохого не подумал. Димка знал про его записки, показывала я ему, он почитал, головой покрутил, говорит: «Хороший парень, вы его берегите». Не уберегли: кончился отдых, вперед мы пошли, страшные дальше бои, разбили батарею, и комбат-лейтенант тоже там остался...

Не все такие были, дрянной немало попадалось, на баб-фронтовичек как смотрели: ты разве воин— ты для нашей мужичьей потребности,— но я с такими не сталкивалась; Димка скоро у меня появился, знали о нем, не приставали. Один только раз— хам, псих какой-то, садист, не встретились мы еще с Димкой, зимой сорок второго взводного прислали к нам, черный, коренастый, кривоногий, как рак, руки длинные, клешни,— в каком-то мы селе стояли под Великими Луками, вызывает он меня к себе в хату, один был, что-то спросил, а сам все щупает меня глазами, и пальцы волосатые на столе лежат, шевелятся, как щупальца, говорит: «Будешь здесь со мной». Жутко мне стало, а что делать? Приказ— слушай и выполняй. Уже вечером дело, перебираюсь в его хату, там две комнаты было, одна большая, светлица, что ли, другая вроде кухни, я сразу к хозяйке на кухню, а он мне: «Будешь здесь спать». У меня похолодело все, а он впился в меня глазами, дышит с хрипом, плечи вздымаются, я к двери, он с места сорвался, схватил меня за руку, швырнул, я на пол упала, подскочил ко мне, ремень гимнастерки на себе рвет и хрипит: «Раздевайся!» Я вскочила: «Ни за что, вы с ума сошли!» Он меня за ворот, пуговицы посыпались, гимнастерка по шву до плеча, в другую сторону рванул, повисла на мне гимнастерка, как передник, карманы ниже пояса, одна рубаша осталась на груди, у него губы дергаются, хрипит, впиается мне в грудь клешнями своими и на кровать валит. Не знаю, как я выдралась, что дальше было, в синяках я вся была, рубаша тоже изорвана, пистолет он мне под нос тыкал: «Застрелю, я твой командир, выполняй приказ». Кричать я не решалась, и правда застрелил бы, не знаю, как я выдралась, наверное, обессилел он, не ожидал такого сопротивления, сидит, на стол спиной налег, пистолетом в кобуру не попадет. «Убирайся вон, пожалуешься, говорит,— пристрелю». Всю ночь я при копилке лоскуты на себе сшивала, хозяйка смотрит, допытывается, а я молчу, ничего не говорю, только носом хлюпаю от обиды. Хам, настоящий садист, и вот только один тот вечер, больше я для него не существовала, и внимания он на меня не обращал, и не мстил мне, не придирался, и отчаянный был человек...

Вот это один только такой мне за все пять лет и встретился, зато потом, когда война кончилась, были такие, что не стеснялись: «Чего ломаешься? Фронт прошла, строишь из себя, шлюха»; шлюха— это еще самое мягкое, столько наслушалась; ты, пожалуйста, никогда не говори мне грубого слова, ладно?

А на фронте не было этой грязи, может, у меня только не было, не приставала, что ли, сама не знаю — просто люди хорошие кругом были, берегли нас, девчонок, нам же по шестнадцать лет было, нас было шестнадцать и нам было по шестнадцать. Война когда началась, я на телеграфе работала и училась в радиошколе, как-то собрали нас, девчонок-радиоточек, приходит командир, танкист, голова забинтована, бледный, говорит: «Девушки, родина требует, нужна замена, многие радисты-мужчины вышли из строя, кто добровольно?» И мы все встали. Пять месяцев на курсах — и на передовую, в одну дивизию шестнадцать воинов с косичками и прибыли; ночью прибыли; помню, мороз жуткий, и в ту же ночь боевое крещение приняли, бомбежка, потом артналет, дрожали до утра, а потом уже не дрожали, не то что перестали бояться, а столько кругом навиделось, о том, что сама погибнешь, и не думала. Из всех нас шестнадцати, что под Наро-Фоминск тогда ночью прибыли, к концу войны осталось вползину меньше, нет, больше, чем вползину, человек шесть осталось, восемь я знаю точно, что погибли, остальных разметало кого куда, а пять на моих глазах, сама и хоронила: Галя, Катюша, что песни петь любила, Мария, Женя — я была Женя-длинная, а она Женя-малая, — Оля, вот они, смотри, Галя, Катя, вот я рядом с Марией, вот Оля и Женя-малая, Валя — она под Ленинградом потом воевала, не знаю, жива или нет, а вот Таня, та, что с генералом была, рассказывала я тебе, жива, здесь живет, муж хороший, двое детей, старший сын уже взрослый, видимся с ней часто, вспоминаем.

Страшное это для нас, для баб, — война, для всех страшное, а для нас особенно, было, конечно, и героическое и подвиги, а от некоторых мне и тогда, от баб, приходилось слышать: ну, война — та же тебе работа, зато свободна во всем, где такое на гражданке найдешь? А убьют — так все равно когда-нибудь подышать — раньше, позже, не один черт. По-всякому рассуждали и думали, а я тебе скажу: если б я не воевала, не надо мне ни медалей, ни орденов, ни этих газеток фронтовых с фотографиями, вот, смотри: «Гвардии младший сержант, радистка», вот еще, берегу их, сама не знаю зачем, а не уберегла бы, все равно на всю жизнь память и на теле рубцы, и в душе, не сотрется, не забудется. Меня часто приглашают: выступи в воинской части, выступи в школе, расскажи про дивизию свою, как воевали, родину защищали. Рассказываю — у меня это получается, — слушают, вопросы задают, смотря с уважением. А я рассказываю, а сама на них смотрю — молодые, особенно в школе девчонки, для чего я вам это рассказываю? Чтобы память хранили — это правильно, это святое, надо помнить, а чтобы опять война — нет, не хочу для этого рассказывать, сохрани вас господа от этого. Вот еще говорят: нынешние молодые, эти модные, с глазами подведенными и сигаретами, которые в шестнадцать все-все знают и на все плюют, мол, не дай бог что серьезное — война, какие из них там воины, как они будут родину защищать, у них нег ничего святого. Я не красилась, глаза не подводила, а до войны еще, помню, в волейбол в школе играем, велит тренер переодеться в трусы и майки, так и сами, девчонки, жмемся к стеночкам, и мальчишки к нам подойти стесняются, поэтому мы, выходит, лучше были? Ерунда все, и святое у них появится, и до последней капли крови и все такое, не хуже, чем мы воевали, а только рассказываю я им это все, смотрю на них, вижу себя на их месте такой же шестнадцатилетней, и сердце у меня кричит: не нужна им война, не надо им ходить на войну. Хотя, знаешь, не только для баб — мужики тоже разные попадались, смотришь другой раз — как ты сюда попал, да разве для тебя эта война, кто

тебя сюда послал? Зимой сорок третьего напарника мне прислали, сменный радист, ну, какой он там сменный, не умел ничего, рацию таскал за мной, Миля его звали, забыла фамилию, не могу вспомнить, недавно вспоминала — хотела рассказать о нем в школе — и не вспомнила. Длинный, худющий, волосы черные торчат во все стороны из ушанки, нос длинный, красный всегда от мороза, и под носом капелька блестит. Крикнешь ему: «Что сопли развесил?» — он потянет носом, рукавом утрется, и опять капелька висит, шинель на него велика, шейка тонкая, хлястик вечно на одной пуговице болтается, пришьешь — опять болтается, и ноги в сапогах болтаются, портянка из голенища торчит, черный, обросший, небритый, ни к чему не приспособленный, вши его всегда заедали. Мерз ужасно, скорчится, дрожит, слышно, как зубы стучат, устраиваемся спать где-нибудь в блиндаже, говорю ему: «Лезь ко мне под шинель, прижимайся, согрею», — кругом смеются, отхватила себе девка хахалю, он: «Да нет, я так, сам». Крикну: «Лезь, не нуди!» Укроемся вдвоем двумя шинелями, обниму его, прижму к себе, подожит еще, потом успокоится и уснет. Мальчик совсем, восемнадцать ему было, ну и мне восемнадцать, но я уже тогда настоящим солдатом была, а он ничего не умел, да он, наверное, и к тридцати ребенком бы оставался.

Талантливый он был, из консерватории, кажется из Минска, иногда, как согреется, сидит, смотрит куда-то сквозь стенку, глаза огромные, черные, лоб белый, чистый, шея тонкая и длинная и пальцы тонкие и длинные-длинные, я таких тонких и длинных пальцев никогда больше не видела. Как он говорил про музыку, про композиторов как рассказывал, про Шопена, так я никогда больше не слыхала. Сказал он мне как-то: «Я после войны о вас, о девушках, которые на фронте были, кантату напишу, такую кантату, чтобы вы, Женя, всю себя в ней увидели, так увидели, как только я вас, Женя, вижу», — на «вы» он меня звал, имя мое тоже произносить любил, только стеснялся. Не написал он кантаты; шли мы, ближние тылы подтягивали, немца из деревушки выбили, фронт вперед ушел, и мы к деревушке подходили, белое поле все в снегу, воронки чернеют и трупы немецкие. И вот он начал из-за деревни снаряды класть по полю, а когда сблизил бьет, свист слышишь уже после взрыва, упасть, в землю вжаться не успеешь, ну мы уже повадки немецкие знали — точность и любовь к порядку, — кладет первый снаряд, второй вперед ляжет, третий еще дальше, жди своего и не зевай. Вот так шли по снегу по полю — взрыв, еще взрыв, ближе, «ложись!», упали, я рацию таскала, а Миля вторую упаковку с питанием нес, хотел до воронки добежать, что ли, — взрыв, он схватился за плечо, остановился, оседает, клонится и уткнулся лицом в снег. Снаряды дальше за нами уже ложились, я подбежала, бросилась, глаза огромные, черные, в одну точку, схватила его за плечи, зову, плачу, ребята подошли, вытряхнули его из лямок, к дороге подвинули, меня оттащили и увели. Так и осталась я без кантаты...

Нравится она тебе? Анита Экберг, из польского «Экрана», вырезала и в рамку повесила, сама не знаю зачем, нет, что ты, я на нее ни чуточки не похожа, она же красавица, мировая кинозвезда. Мне ее взгляд нравится, не пройдешь мимо такого взгляда, так она смотрит на мир, будто мир ей должен дать все, чего она ни пожелает, только подумает — и должно все исполниться. Знаешь, ты не один это сказал, говорили уже, что я на Аниту Экберг похожа. Хотелось бы вот так на мир смотреть, как она, иметь право на это, знаю, знаю, скажешь, ты имеешь на это право, — нет, не то, я бы, может быть, смотрела так, если б не

воевала, если б не прошла через весь этот ад крошечный, не видела своими глазами, как просто и много гибло хороших людей, красивых, настоящих, что, мне ихнее должно достаться, этого требовать? Нет, кто был на фронте, так не сможет смотреть, она бы не смотрела так, если бы прошла все это, мы иначе смотрим, не требуем, мы видели этот мир с другой стороны, я не требую, ничего не требую лишнего: есть у меня моя работа, кормит она меня, в шкафу шуба висит в рассрочку, вот платье есть новое к празднику, костюм хороший, какой мне нравится, привезла в прошлом году из Венгрии, видишь, даже в Венгрию поехала, захотела — и поехала, два года деньги откладывала, в отпуск не ходила, с фронтовиками там встречалась, написали они обо мне в своем журнале. Комната моя есть у меня, если б ее только на отдельную поменять, без соседей, на любой окраине, черт с ним, чтоб можно было, когда очень захочется, побыть совсем одной, сколько ни пробую — ничего не получается. Вот проигрыватель есть, любимые пластинки, музыку слушаю, в театр хожу, в «Лебедином озере» Майю Плисецкую шесть раз смотрела, фильмов хороших не пропускаю, подожди, я тебе самую любимую пластинку поставлю, слушай. «Как ты могла не поверить, что я тебя найду, через пургу и метели я снова к тебе приду». «Песня о любви» называется, мне ее никто не пел. Вот ты у меня есть, ненадолго, а все равно есть, вот сейчас есть, нет-нет, мужем моим ты не станешь, не нужно тебе это, да и мне тоже, ты молодой еще, будет у тебя, все будет, полюбишь, и она будет тебя любить, вы молодые, и вы еще с ней должны родить три сына.

Он в сорок пятом погиб, восьмого марта тысяча девятьсот сорок пятого года, в Порт-Пилау, да, в женский день; из разведки они возвращались, обнаружили их, он прикрывал отход. Пришли ребята, товарищи его, я ничего не поняла; Коля, старший лейтенант, их командир, взял стакан, налил водку из фляги. «Пей», — протягивает. Спрашиваю: «Зачем?» Думала, это они с женским днем, я выпила, он положил передо мной Димкин планшет и часы Димкины, потом узнала — с оторванной руки сняли, и тогда только меня ударило, закричала, они в меня еще водки влили силой, уложили меня и не давали встать, пока я не уснула. Проснулась — Коля не отходил от меня, потом повели меня на могилу, я плакать не могла, села, земля под ладонями мокрая, дождь; как же, неужели Димка здесь, под этой сырой землей? Увели они меня, плакать я начала потом, ходила, молчала, а потом проснулась — и полились слезы, и льются все время, сижу и плачу, отупею, забудусь или усну, проснусь и опять плачу, увезли меня в госпиталь, нервное истощение, там и демобилизовали. Уже через полгода я его матери в Харьков написала, она знала обо мне, Димка писал ей, что вместе вернемся, фотокарточки мои ей посылал; она мне написала странное такое письмо: ты его не сохранила, почему ты осталась жива, а он нет, не хочу тебя знать — и изорванные карточки мои в конверте...



И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

★

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Исполнилось семьдесят пять лет Ивану Сергеевичу Соколову-Микитову, замечательному русскому прозаику, одному из славных представителей старшего поколения советских писателей.

Матрос торгового флота, еще в юности побывавший на многих морях и в разных странах, моторист первого русского тяжелого бомбардировщика «Илья Муромец», участник известных полярных экспедиций на Новую Землю, Таймыр и остров Колгуев, охотник, исходивший вдоль и поперек северную тайгу, горы Тянь-Шаня и зеленые леса Ленкорани,— Иван Сергеевич многое перевидал и пережил и о многом сумел рассказать в своих книгах. Но, может быть, самые замечательные страницы посвящены им родной смоленской земле, ее людям, среднерусской природе.

Исполненное душевного здоровья, проникнутое любовью к жизни, творчество Соколова-Микитова преемственно связано с классической русской традицией и неизменно находит себе широкий круг читателей.

Редакция журнала «Новый мир» сердечно поздравляет Ивана Сергеевича Соколова-Микитова, своего старейшего автора и сотрудника, с семидесятипятилетием и желает ему многих лет жизни и здоровья на благо родной литературы.

* * *

Вышел утром на крыльцо и ахнул: свет, тепло, одеваются березы! Так похоже на милую девичью улыбку. Лучший день, лучшее мгновение в русской природе. Именно — мгновение...

И на это смотрю уже как бы со стороны. А когда-то был праздник — так тянуло в далекий путь!

* * *

Помню: зеленый троицын день, возле деревенских изб натканы зеленые пахучие свежие березки, девки идут в лес с песнями заплетать венки. На лугу, возле реки, водят хоровод, поют старинные хороводные песни, как пели сто и двести лет назад.

По хороводу ходят пары. Когда кончается песня, парни и девушки церемонно целуются, платочками вытирают губы. Бабы в нарядных, расшитых повойниках с «рогами», в праздничных сарафанах.

* * *

Был молод, не замечал молодости, ею не дорожил. Все казалось: подожду немного, счастье придет. И вот позади долгий, долгий, ухабистый, очень неровный мучительный путь. На этом бесконечном извилистом пути мало радостного. Самые яркие радости в детстве: теплый свет домашнего уюта, материнской и отцовской любви, своя любовь к открытому, светлому миру.

* * *

Так памятно далекое утро, когда разбудили на рассвете в радостный праздничный день: «Погляди — солнце играет!» Я смотрю в окно: за деревьями дальнего леса восходит огромное, яркое, как бы расплавленное солнце. Оно распухает, раздувается, точно огненный пылающий шар: играет!

* * *

Как освещенная солнцем радостная зеленая поляна далекое видится детство. Рвем ландыши, цветет земляника. Под старым развесистым дубом выбивается из земли ключ, струится по скользким камешкам, прячется в траве, студеной ручеек. Над ним колеблется, шелестит качаемая прозрачной водою высокая жесткая осока. Трепеща прозрачными крылышками, присела на осочине, взвилась, растаяла в летнем солнечном воздухе стрекоза...

* * *

Чудесный, тихий первый весенний — по-настоящему — день. Слышно, как дышит земля. Появились бабочки. Звенят на солнце мухи.

Еще несколько таких дней — и все попрет. И это не во власти человека, и этому подчинен человек, но только лишь отвернулся — стал видеть в земле не свою мать, а свою батрачку.

* * *

У самого окна, под карнизом, две трясогузки вьют гнездо. То и дело прилетают с длинными травинками в клювах, повисают в воздухе, как умеют это одни трясогузки да пустельга. И, боже мой, — сколько в их веселой и дружной работе счастья! Можно смотреть час, другой, улыбаться. На улыбку похожа их жизнь, их заботы, веселая их торопливость.

* * *

В молодости и зрелом возрасте так волновала всегда весна. Неудержимо тянуло странствовать. И так сильны казались весенние запахи, запахи пробуждавшейся земли. На реке шел лед — любимое русское зрелище.

* * *

Стою, как старое дерево у дороги. Уж давным-давно выжжена вся сердцевина, — ветер подует и — капут. А все еще зеленеет веточка, теплится жизнь. Зачем и кому нужна эта зеленая веточка?

* * *

Способность любви так же редко дается людям, как и всякая одаренность. Как часто выдают за любовь — подделку. Основа любви — самопожертвование. Для матери нет разницы между ребенком уродливым и прелестным. Урода, несчастного она больше жалеет. Такова подлинная любовь. А какая цена любви, которая не имеет материнской основы? Так часто мы искажаем понятие любви.

* * *

Из всего, что потрясает, — это наш человеческий язык.

В основе искусства лежит чувство меры, «по-ученому» — ритм, то есть порядок.

Простой народ, живший в природе и с природой, этим чувством меры владел. Таковы народные песни, одежда, утварь, жилище. В народе умели владеть устной образной и яркой речью. Простые, неграмотные люди были творцами языка, на котором мы пишем и говорим.

Взгляни на деревянный поморский крестик или шатровую северную церковку. Какая совершенная гармония в полнейшей их простоте!

* * *

Сегодня первый осенний «золотой» день. Высокое небо, прозрачный воздух. Церковка на том берегу реки, как на картинке.

Третьего дня ходил в лес, на охоту. Присел под березкой на опушке. Чудесный пейзаж — такой грустный. Русские просторы, русская печаль. Вот откуда печаль русской песни, от которой хочется плакать.

Пролетели журавли, сбившись со строя, сделали в небе круг. И еще острее чувство утраты. Боже, как знакомо это с самого детства. Поколения русских детей прощались с отлетающими журавлями, таинственно манившими наши души в счастливые теплые страны. И я смотрю на отлетающих журавлей с чувством острой тоски.

* * *

На опушке березовой роши — поздние крепкие грибки, подберезовики. Из молодого частого осинничка вылетел молодой тетерев-петушок. У петушка спина черная, отросли косицы. Чувство жалости и стыда за совершенное убийство и погубленную красоту.

Жестокая страсть — охота. И эту жестокость давней привычки начинаешь понимать только в старости.

* * *

Осенние запахи: палый лист, мокрая земля и что-то горьковатое — осина.

* * *

Сегодня мороз, солнце. Возвращался с охоты, мерзли уши. В лесу под ногами хрустит мерзлый лист. Дорога белая, крепкая, шаг звенит. На зеленях мерзлая земля.

Сорока засуетилась в кустах.

Небо чистое, высокое. Одно облачко легкое и прозрачное. И днем — прозрачный серп месяца.

Вода в ручье прозрачная: на дне палый потонувший лист.

Снегу бы, порошу!

* * *

Никогда, никогда не должно быть праздным сердце — это самый тяжкий порок.

«Полнота сердца» — любви, внимания к людям, к природе — первое условие жизни, право на жизнь.



ОЯР ВАЦИЕТИС

★

ЭЙНШТЕЙН

С латышского

1

С кем сравнить его? С Галилеем?
Нет.
Хотя их обоих
поджаривали:

только тот,
кто это сам испытал,
знает,
как мысль твоя корчится
на вертеле лжи и низости.

С кем сравнить его?
С Джордано Бруно?
Нет.

Хотя инквизиция нашего времени
сожгла на кострах
сотни тысяч Эйнштейнов.
Было это на Унтер ден Линден —
это была инквизиция.

С чем сравнить его? Со звездой?
Нет.
Хоть и был он любим, как звезда.

Это не просто любовь.
Разве у кого-то из нас
жена или невеста — звезда?
Нет. И звездой никогда не была.

И все же мы любим звезды.
Какою любовью?
Вселенской.

С кем сравнить?..
К чему этот детский вопрос?
Все мы чувствуем
каждой клеточкой:

Эйнштейна можно сравнить
только с Эйнштейном.

Пушистое белое облако
прошло на горизонте человечества.
Облако белых волос
над Эйнштейновым лбом.

2

При чем тут его скрипка?
Какая теория относительности
могла в ней жить?

Попробуйте разломайте —
ничего не найдете,
кроме воздуха
в форме скрипки.

Но теперь
что-то есть в ней такое,
неизвестное человечеству,—
весомей всей ядерной физики.

Чем огромней душа человека,
тем он отчаянней борется
за нового человека
в самом себе.

Вспомните,
как неистово
уже в зените славы
за нового Ван Гога
бился Бан Гог.

Наука — тоже искусство
там, где она —
не ремесло, а наука.

3

Сделаем перерыв.
Соберемся на пресс-конференцию,
люди!

Неплохо,
если бы здесь присутствовал
разум.

Знакомьтесь:

Ян Майданек — чех,
Хильда Равенсбрук — немка,
Хайм Маутхаузен — еврей...

А сколько
из наших
Красных Республик.

Всех не назвать —
колонны теней.

На вопросы они не ответят —
тебе отвечать,
разум!

Чем это важным ты занят,
если твои пожарные
приезжают на пепелище?

Если ты со своей каланчи
ничего не видишь,
вот тебе
кости столетий,
пепел
и кровь.

Такого цемента хватит —
хоть строй до луны.

Ты обязан видеть — целятся в Лорку.
Ты обязан видеть — Бруно ведут на костер.
Ты обязан видеть — Моцарта отравляют.

Разум,
что с твоим голосом?

Уже металл ультразвуком режем.
Что же со звуком твоего голоса,
разум?

Твой голос опять заглох,
а это всегда
к беде.

Кончился перерыв,
пресс-конференция — тоже.
Мы созвали ее потому,
что еще недавно
мог Эйнштейн спастись
за океаном.
Теперь уже негде ему спастись.

4

Нет, я не о сверхчеловеках.
Представьте себе Эйнштейна
с крыльями —
вместо рук,
с прожекторами —
вместо глаз.

Но ведь за то,
что у тебя две руки,
два глаза,
что можешь упасть

и руку сломать,
что можешь ослепнуть,—
не миновать расплаты.

Столкнется с великим ничтожное,
изведенное с неизведанным,
и тут же:
— У тебя две руки.
И у нас две руки.
Почему же нашел ты больше?
Как посмел?

К стенке!

— У тебя два глаза.
И у нас два глаза.
Почему же видишь ты больше?
Как посмел?

К стенке!

И снова за это тело,
за брэнное это тело,
за руки, что могут сломаться,
глаза, что могут ослепнуть,
ты под пулями падаешь,
горишь на костре,
расползаешься дымом из труб крематория.

Вопят: ты против бога!
Вопят: служишь дьяволу!
Вопят: ты низшая раса!

А дело в том,
что ты — Бруно,
Лорка,
Эйнштейн.

Бесконечно похож на судей,
беспредельно огромней судей.

Величье твое равносильно измене.

Но ведь это — религия.
Становясь на колени,
вскидывая винтовки,
размахивая клинками,
угрожая ракетами,
человечество поклоняется
культу застоя —
неподвижности,
камню.

5

Когда же ты явишься, новое тяготение?
Сколько лет световых
тебя от нас отделяет?

И сколько это по земным часам,
Эйнштейн?

Дети рождаются в муках.
Должно так быть?
Не должно.

Но этой догме страданий
уже миллионы лет.

Просчиталась
первая клетка.
Видно, в шутку
решила делиться.
Больно?
Пускай поболит.
Это великий миг!

И вот миллионы лет
рождается новое в муках.

Просчиталась
первая клетка.

Прими, человечество, первый локомотив
с такой же радостью,
с какой он был создан.

Прими, человечество, музыку Паганини
в такие же счастливые руки,
в каких она родилась.

Это — величье твое,
твой разбег,
это жизнь твоя...
...не позор.

6

Пакет из Америки.
Толстый.

В нем — журнал.
А в журнале —
все — от сэндвича
до жареного поросенка.

Не за тем журнал мне прислан,
чтоб жрал я жирнее,
а чтоб увидел,
как скудно ем.

Чтоб мой желудок
восстал.

В пакете — газетные вырезки:
гляди,
что значит — свобода.

Все это, впрочем, бред.
Мой желудок — всего лишь желудок.
Может быть, он на что-то способен,
но только не на восстанье.

А свобода?
А я и пишу о свободе.

Но на конверте —
Эйнштейн.

Крохотный лилипутик,
перфорирован,
клеем намазан,
чтоб маркой служил.

Благодарю.
Я снова у телескопа.

Не пакет — а пакость.
Мне прислали его, чтоб я увидел во сне Гималаи.
Вижу.

Телескоп мой повернут к звездам.
Поворачиваю — к себе.

Буду есть хлеб,
лунную пыль процежу сквозь пальцы,
но жизнь в себе так пронесу,
что отнять ее смогут,
только разрезав меня.

А если никто не захочет отнять,
значит:
меня не было.

Перевел Ал. Ревич.



ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ

★

КОСТЕЛ В СКАРЫШЕВЕ

Рассказ

1

Когда бы ни случалось мне ехать в Островец Свентокшыский, где избрали меня депутатом, или в Сандомеж, в Тарнобжег, в Ланьцут или Жешув, я с особенным волнением проезжаю по дороге, что ведет из Радома через Илжу в долину Каменной речки. Не знаю даже, отчего эта дорога так много для меня значит. Пролегает она вдалеке от столичной цивилизации; до недавних пор начало ее красили старые деревья, но их срубили, когда спрямляли государственное шоссе. Дальше дорога ныряет в Стараховицкие леса, проходит мимо развалин замка в Илже, ведет через убогие села, где торчат подле нее то старый заезжий двор, то корчма или мельница, тянутся пустоши и чернеют ямы от выкорчеванных деревьев. Попадаются вдоль этой дороги и костелы. В Кшыжановицах здание эпохи Ренессанса окружено высокими кленами, они приклонились набок, совсем как на картине Панкевича; в Алойзове костел деревянный, не старый, но полный очарования; и наконец костел в Скарышеве, при виде которого у меня всегда теплеет сердце. У этого костела расходятся две дороги, одна на Одехув, а вторая на Илжу, а сам костельный дом, окруженный стеною, ничем не примечателен, костел как костел: построен давно, внутри невысокие барочные своды, под ними темно и полно хоругвей и дешевых бумажных украшений — гирлянд и цветов, но нет никаких произведений искусства. Завидев этот костел, я испытываю какое-то беспокойство и всегда стараюсь улучшить время, чтобы ступить за его порог. Я уже завел тут несколько знакомств — со стариком сторожем, с молодым органистом, с какой-то набожной старушкой. Немного смогли они мне рассказать об этом костеле, и со временем я убедился, что рассказывать они не хотели. Поначалу я только и узнал, что раньше в алтаре, там, где виднеется странная надпись «Mors malis, vita bonis»,¹ стояла деревянная статуя Скорбящего Христа, точно такая же, как в краковском Марьяцком костеле, довольно большая, сработанная в народном стиле; славная пелеринка из красного бархата с золотой вышивкой прикрывала его жалкую человеческую наготу. Теперь вместо этого Христа там находится дешевое изображение Иисусова сердца, на редкость безобразное. Все настроение, присущее здешним околицам, как бы сосредоточено в костеле и внутри его ограды. В своих знакомствах я не ограничивался только людьми, связанными со святым храмом. Я беседовал также и с обитателями

¹ Смерть дурным, жизнь хорошим (лат.).

невысоких домиков, выстроившихся по обе стороны вдоль дороги на Илжу. В их дворы ведут большие въездные ворота, потому что жили здесь когда-то еврейские ремесленники, каретники; они изготовляли знаменитые скарышевские брички и выкатывали их через эти ворота. Нынче и от ремесленников и от бричек не осталось и следа. Остались только рассказы о них, да и те нынешние жители вспоминают без охоты. Лишь постепенно, слово за словом, фразу за фразой, добывал я от них то, что составило мою повесть. Она представляет собою — в полном значении этого слова — легенду, хотя со времени событий, о которых тут будет рассказано, не прошло еще и четверти века. Еще удивительнее то, что в эти воспоминания — и не только у стариков, но и у людей помоложе — вкрались отголоски куда более давнего времени, связанные с событиями, происходившими лет сто назад. Для рассказчиков «лесные парни» были одновременно и повстанцами 1863 года, которых здесь, под Илжей, собралось немало, и партизанами времен последней войны. И тех и других окружило очарование тайны, потому что в свое время говорить о них не полагалось; и те и другие появлялись и исчезали неведомо как и когда, и ничего о них в точности не бывало известно. Они были тенями, воплощениями деревьев, леса, частью земли, олицетворением неких сил природы, и притом ее добрых сил. Они помогали сами и просили о помощи. Временами с ними связывались события и вещи совершенно необъяснимые. Из мозаики добытых мною фрагментов сложилась фреска примерно такого содержания.

2

Очевидно, время действия моего повествования в точности определить не удастся. Некоторые относили эти события к эпохе январского восстания 1863 года. Возможно, что были тут и очень давние факты, отнесенные к более близким временам. На эту мысль наводит нас то, что никаких записей о героях ни в костельных книгах, ни в городских актах отыскать не удалось.

Это был, вероятно, бродячий сюжет, и впервые я услышал его давно, потому что сразу же после войны написал драму, не сыгранную и не напечатанную, весьма похожего содержания. Естественно, что ни за точность, ни даже за правдоподобие описанных событий я не беру на себя ни малейшей ответственности. Скажу наконец, что в собранных мною на протяжении лет преданиях я не обнаружил законченного единства и потому, соединяя их, вынужден был прибегать к раствору собственного изготовления.

Итак, скажем, что это было при немцах. Быть может, под конец оккупации, потому что все евреи из местечка были уже вывезены в радомское гетто и почти все их жилища пустовали. Только каретник ариец, белокурый Алоизий, вселился в один из опустевших домов, и некоторые ставили ему это в укор. Изувеченное местечко почти обезлюдело. Отправлен был в Освенцим и местный приходский священник, оставался только викарий, набожный и добросердечный ксендз Конрад Р. Был это человек веры простой, но глубокой. С искренней болью наблюдал он несчастье вывозимых евреев, немало забот доставляли ему и оставшиеся в живых обитатели Скарышева. Несколько из них попытались спрятать у себя знакомых иудеев, и немцы расстреляли их у костельной стены, следы пуль видны там до сего дня. Молодежь вывезли на работы, остальные ушли в лес, а оставшиеся гнали самогонку, торговали, в базарные дни возили в Радом мясо и ссорились между собой. А после пьянок не раз доходило до драки. В своих проповедях ксендз обрушивал громы на

эти нравы, а потом возвращался в приходский дом, где отведена была ему квартира, и там предавался отчаянию из-за своего бессилия и бездеятельности. Он еще чувствовал себя молодым, и ему было горько оттого, что он не может делом помогать тем, кто находится в лесу. Например, так, как в давние времена воевал ксендз Бжузка, недалеко отсюда, в Люблинском воеводстве. Под вечер ксендз заходил в костел, усаживался в исповедальне или простирался крестом перед алтарем, перед фигурой Скорбящего Христа, и размышлял о страшных делах, что творились вокруг него.

В один осенний вечер, это было в октябре, он вошел в костел не через ризницу, но в главный вход и оставил двери раскрытыми. Теплый ветер веял в полях и заметал в двери листья кленов и грабов. Ксендз Конрад сел в исповедальне, задумался, и фигура его приобрела черты озабоченности, так свойственные крестьянину. А ксендз Конрад был крестьянином.

Вот тогда и вошел в эти широко растворенные двери вместе с теплым дуновением ветра щуплый и невилный собою молодой человек. На нем был длинный и широкий плащ, который скрывал всю его фигуру. Он приблизился к исповедальне и опустился на колени. Ксендз Конрад, слегка удивленный, увидел из-под плаща голые мальчишеские колени и нечто вроде скаутской формы. Это удивило его еще более.

— Чего ты хочешь, дитя мое? — спросил он.

— Исповеди.— отозвался тот, и голос его прозвучал удивительно спокойно и ясно.

— В такую пору? — спросил ксендз Конрад.

— Я пришел издалека,— ответил мальчик.— Из Скарышевских лесов.

Исповедь оказалась совершенно неправдоподобной. Паренька пригласила в Скарышев организация — ксендз Конрад даже не осведомился какая,— чтобы привести тут в исполнение смертный приговор, вынесенный одному из местных жителей, обвиненному в предательстве. Мальчик испытывает страх перед предстоящим ему поступком, но должен совершить его и пришел сюда скорее за советом, чем для исповеди. Заслуживает ли он осуждения, если некий человек будет им застрелен?

У ксендза Конрада волосы зашевелились на голове. Как за спасительную соломинку, ухватился он за мысль: какими доказательствами располагает этот мальчик в подтверждение того, что человек, которого он должен убить, действительно изменник народа?

— У меня нет никаких доказательств, есть только приказ,— сказал мальчик.

Ксендз Конрад вышел из исповедальни, сделал несколько широких шагов туда и обратно, наконец взял мальчика за руку и увлек его за собою. Он усадил его на скамью и сел рядом. Не отпуская его руку, он посмотрел ему в глаза. Взгляд молодого человека был смутен, небольшие светлые и почти прозрачные глаза скрывались в тени огромных ресниц и густых, черных, сросшихся на переносице бровей. Во взгляде этом затаилась какая-то тупость, обеспокоившая ксендза. Он не выпускал его руку из своей. Ладонь мальчика показалась ему холодной.

— Это уже не исповедь,— сказал он,— это беседа. Бога ради, не торопись, скажи мне, кто тот человек, который должен погибнуть.

Мальчик вырвал свою руку из ладони ксендза. При этом глаза его блеснули, будто он терял сознание. На то место, где он сидел, падало немного больше света. Ксендз намеренно посадил его так, чтобы легче было наблюдать за ним.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— В отряде меня называют Рысь¹,— сказал тот. Он усмехнулся пренебрежительно. При этом сверкнули его зубы — мелкие и очень белые.— Ведь я не могу вам сказать, кого я должен убить,— добавил он.

— Почему?

— Это тайна. А если вы меня предадите?

— Я? Предам? — возмутился викарий.— Как ты обо мне говоришь?

— Я пришел, чтобы получить от вас отпущение,— сказал Рысь.

— Отпущение вперед? Заранее? — переспросил викарий.— Что за чушь?!

— Значит, вы не можете отпустить мне грех, если я убью предателя?

— Откуда я знаю, что он предатель?

— А если я докажу вам, вы с меня снимете грех убийства?

— Как можешь ты мне доказать? Я даже не знаю, что это за человек.

— Он злой человек.

Рысь вытянул руку из-под плаща. Он был в скаутском мундирчике, на рукаве была лилия. Он указал надпись над алтарем.

— Смерть дурным,— сказал он,— жизнь хорошим.

Надпись внезапно сверкнула, словно рука Рыся мимолетно ее осветила. Но то был лучик закатного октябрьского солнца.

— *Mors malis*,— повторил ксендз Конрад.— Но я не знаю, в самом ли деле тот человек злой..

— Тогда я вам скажу. Это Алоизий, каретник,— с трудом прошептал юноша.

Ксендз перекрестился.

— Во имя отца и сына,— сказал он.— Мальчик, что ты плетешь?

— Я ничего не знаю, мне дали приказ.

Голос его прозвучал не так уверенно. Ксендзу послышались нотки наивности. Это обезоруживало. Ему стало жаль мальчишку.

Жалость усиливалась, как дуновение теплого осеннего ветра. И нашла себе выход в глубоком вздохе.

— Что же эти люди думали, посылая тебя на такое дело?

Мальчик возмутился.

— И вовсе это не «такое дело»,— сказал он с горечью.— Это очень важное дело. Это террор. Это на них действует.

— На кого?— рассеянно спросил ксендз. Он думал сейчас о другом.

— На кого? — удивился Рысь.— На немцев, на изменников, на всех. И нам самим это показывает, что у нас есть сила.

— Сила? — вздохнул ксендз.— Ты заблуждаешься, Рысь,— добавил он грустно.

Рысь оборвал его:

— Я не за тем пришел.

Выражение его лица странно переменялось. Будто глаза вдруг погасли и скрылись в этих огромных ресницах и кустистых бровях. Будто он весь ушел в себя. Ксендз Конрад испытал острую жалость.

— Такая кроха,— сказал он.— И тебе велели убивать людей. Кто это мог сделать?

— Все сейчас дерутся,— шепнул Рысь.

Ксендз пожал плечами.

— Такое творится,— пробормотал он.

Потом он снова принялся ходить по костелу. Остановился перед Рысем.

¹ Уменьшительное от польского имени Рышард.

— Когда ты собираешься это сделать? — спросил он.

Вдруг ему стало страшно. Этот маленький хилый мальчик намерен убить человека. Притом Алоизий был огромный — сущий медведь.

— Может, и сегодня, — сказал Рысь. Потом он добавил: — Только я не знаю, где он живет.

— В третьем доме налево от костела, — сказал ксендз.

И тут же схватился за голову. «Иисусе, Мария, что я делаю, я помогаю совершить убийство». Он сказал Рысю:

— Я убежден, что Алоизий ни в чем не виноват.

— Я не могу колебаться, — решительно сказал Рысь, — и не могу раздумывать. Чем скорее, тем лучше.

— В самом деле, мальчик, поверь мне.

Ксендз Конрад опять сел возле Рыся и хотел взять его за руку.

— Подожди. Подожди до утра, — сказал он.

— А вы отпустите мой грех? Потому что я боюсь согрешить.

— Подожди, умоляю тебя.

— Ладно, я подожду. Но что от этого изменится?

Ксендз Конрад заговорил торопливо:

— Подожди. Я узнаю, я попытаюсь разнюхать. Я пойду к Алоизию, увижу, как он поглядит мне в глаза, увижу, что с ним происходит, попробую убедиться, в самом ли деле он виноват, подожди хотя бы до утра...

— Хотя бы до утра! — Теперь Рысь вскочил со скамьи. — А вы его тем временем предупредите. Я не исполню приговор и сам получу пулю.

— Пулю?

— А как вы думали? Если я его не застрелю — пуля в лоб.

— Иисусе милосердный!

Ксендз посмотрел на алтарь, на Скорбящего.

— Ну, псжалуйста, — сказал Рысь, — садитесь в исповедальную, чтобы все было, как положено.

— Положено, — вздохнул викарий.

Однако он поднялся со скамьи и пересел в исповедальную, стоявшую тут же рядом. Он снял епитрахиль, висевшую на гвозде, поцеловал ее и накиннул на плечи. Когда он обернулся, Рысь уже стоял на коленях возле решетки.

— Хочешь ли ты исповедаться во всех своих грехах, сын мой? — спросил ксендз Конрад профессиональным шепотом.

— А в каких? — спросил Рысь. — У меня нет никаких грехов.

— Как? Ты не сквернословил? Ни разу не напивался?

— В том аду, где я живу, никаких грехов нет.

Как бы испугавшись этих слов, ксендз внимательно посмотрел на кающегося.

— Ты живешь в аду? — переспросил он.

— А где же? Разве это не ад? Убивают, калечат, пожирают живьем. Нет сейчас людей на свете.

Ксендз Конрад подумал обо всех обитателях Скарышева, которые остались в местечке, и ощутил подтверждение тому, о чем говорил мальчик.

— Да, — прошептал он. — Люди живут страшно.

— А хуже всех этот Алоизий, — тоже шепотом отозвался Рысь. — Он как будто лучше других, а предает нас, как Иуда.

— У тебя нет права так говорить. Делай свое, но не суди.

— Так вы отпускаете мой грех! Это смертный грех — убийство.

— Ты сам сказал, что все убивают.

— И что же? Вы к этим убийствам так привыкли, — Рысь становился все более агрессивным, — что для вас все это уже не имеет значения?

Ксендз отпрянул назад в своей исповедальне и пристально поглядел на мальчика. Но сквозь решетку он не увидел ни лица его, ни глаз; они тонули в тени. Он увидел только его чахлые светлые волосы. И видно было, что Рысь сник всем телом. Ксендз испытал чувство, похожее на умиление. И его охватила острая жалость к человеческому существу, которое очутилось в таких дебрях.

«Собственно говоря, он всего этого боится». — подумал ксендз.

И викарий тоже ощутил страх. Перед ним будто сверкнули два огромных луча — путь мальчика и его собственный путь, и они скрестились здесь, в этой исповедальне.

Но испуг был чем-то приятен ему. Он означал, что в его будничной жизни наступил важный момент и вокруг него начало что-то происходить.

Он заметил, что молчание длится чересчур долго и что он должен сказать этому юноше какое-нибудь решительное слово. Но трудно было отыскать выражения, какие подошли бы к этим удивительным обстоятельствам.

«Тут необходимы самые простые слова». — подумал он.

Рысь поднял голову и смотрел на него сквозь решетку. Эти светлые глаза немного тревожили викария.

— Что же ты будешь делать, если я отпущу твой грех? — сказал он вдруг. В этот момент в его голове появилась мысль, которая поразила и ослепила его, как молния.

— Вернусь в лес.

— Помилуй, это ведь далеко.

— Дойду до Илжи, переночую в развалинах. Там в башне есть такая комнатка.

— А те, кто тебя послал?

— У меня есть три дня. Вернусь завтра.

Ксендз Конрад поднялся и хлопнул дверкой исповедальни.

— Возвращайся завтра, — сказал он.

Он схватился за голову, которая раскалывалась от этой новой мысли. Когда он отнял ладони от лица, мальчика не было в костеле. Уже совсем стемнело. Ксендз-викарий замкнул костельные двери и, медленно ступая (а теплый ветер все еще продолжал дуть), пошел к приходскому дому.

3

В тот вечер он не брался за требник. Усевшись у окна спальни, он смотрел на тени деревьев в саду. На деревьях еще оставались листья.

Он думал о Рысе. Представлял, как тот идет по дороге, как доходит до леса. Осенний смешанный лес, где стоят зеленые ели и порыжелые буки, бывает в эту пору таинственным и прекрасным. Немецких патрулей нет сейчас на дорогах: они боятся, очень боятся. Ах, кончился бы этот кошмар! У дороги в лесу стоит деревянная часовня во имя святого Антония. Если б он мог, он пошел бы сейчас туда и помолился бы перед часовней. Может, святой Антоний избавил бы ксендза от той страшной мысли, что пришла ему в голову там, в исповедальне. Он хотел забыть эту мысль. может быть, ему и удалось бы забыть о ней в лесу.

И он подумал, как бы это было хорошо.

Идти лесом в вечерней тени, ступать в ногу с тем молодым болезненным человеком. В тени трудно было бы различать деревья, но радость буков, перемешанная с темным сумраком елей, позволяла бы угадать их. Порывы ветра шелестели бы в буковых ветвях жесгяным шелестом, а еловые ветки на фоне более светлого неба кружились бы, будто привязанные к стволам танцовщицы. Шагало бы и шагало бы, и было бы

спокойно. Ни тебе задач, ни вопросов. Дорога для пешей прогулки длинная, но известная, и на ней не подстерегали бы никакие неожиданности.

А за местечком — гора, поросшая барбарисом. Карабкаться трудно, и оба они стали бы задыхаться. Сперва они бы наткнулись на стену, на остатки стены, а потом вдоль стены пришли бы к остаткам покоев замка. А за замком, на самой верхушке горы, где сразу бы посветлело от совершенно открытого неба, — башня. Там, в башне, есть внизу комнатка, совсем как птичье гнездо. В ней они и сидели бы тихо — и не было бы никаких немцев, ни евреев, ни всех этих тревог, что так его мучают — нет, не телесно, а неотступно терзают дух.

Викарий вздохнул.

— Пристали ко мне глупые мысли, — сказал он себе вполголоса. — Тут нужно решаться на серьезные вещи, а у меня в голове лес...

Тот лес превратился в его воображении в другой лес, времен другого восстания, а о том восстании рассказывал ему дед в деревне. Он родился не так далеко отсюда, под Сандомежем. Отец не был уверен в его происхождении, не был, как видно, уверен и приходский священник, коль скоро дал ему при крещении такое странное имя. Подобными именами издавна принято было клеймить детей, происшедших от сомнительных, неблагословенных связей. Отец его бил, мать прикрывала, а дед рассказывал бывальщины о лесах. Это дед его воспитал по-своему и отдал в учение на ксендза. Дед говорил, что мужики не хотели идти с господами, но дед пошел.

В лесу жгли костры и составляли в козлы двуствольные ружья. Может, тогдашняя война была чем-то лучше?

И тогда не один оказывался изменником. Но его не убивали за это сразу, даже если измена бывала доказанной.

Убить человека, притом не в пылу сраженья, а так, спокойно, выманить его из дому и застрелить, как собаку, — это смертный грех.

Он повторил: смертный грех.

И тут же представился ему хилый мальчишка — как он бредет по дороге и взвешивает в душе свой поступок, за который хотел он заранее получить отпущение грехов.

Это, должно быть, ужасно — тащить такой огромный камень, взваленный на твои плечи. Ему никогда не приходилось получать подобные задания, он вообще никогда не имел никаких заданий. И молодость, и вся его жизнь проходили без радостей, и он никогда ничего не умел совершить. Он стал ксендзом без принуждения, ему не пришлось ничего ломать в себе, все было совершенно естественно. Может, это и хорошо? Конечно, это было хорошо, но только ему хотелось бы совершить что-нибудь, хоть единственный раз получить какое-нибудь определенное, трудное и опасное задание. В конце концов сейчас все чревато опасностями. Когда приходского священника вдруг схватили и увезли в Освенцим, разве это не было как гром с ясного неба?

И когда он представлял себе неприметного мальчишку, бредущего в темную ночь по дороге, как заблудившийся щенок, он чувствовал, что его сердце как бы ужалено завистью. В его доме, в приходе жизнь течет упорядоченно; он заменяет приходского священника, вовремя ест, спит. Прихожане, оставшиеся в Скарышеве, оказались плохими людьми, он громит их в своих проповедях, указывает им надпись над алтарем, зная, что все это не имеет решительно никакого значения. Если бы он получил хоть какое-нибудь задание. Убить человека? Все сейчас убивают.

Но это большой грех, это ужасающий поступок. Можно ли было взвалить на хилые мальчишеские плечи столь тяжкий камень? Как он потащит его? И потом он должен будет тащить его всю свою жизнь. Память о своем поступке.

Он так молод. Надо спасти его, спасти. Как спасешь его? Предостеречь Алоизия? Алоизий ни о чем не догадывается, он сидит сейчас в своем сарае и замышляет какие-то козни. Может, и замышляет. А может, и нет. Скорее всего нет. Алоизий — порядочный человек, в костел он не ходит, но, наверно, не заслужил он такую страшную смерть. Выманить его из мастерской на улицу и потом застрелить. И сбежать. Как он сбежит? На выстрел поднимется все местечко, они не захотят спасти его. Они убьют и его, кольями, дышлами, затопчут сапогами. Он такой шуплый, они раздавят его, как червяка, никому не придет охота спасти его.

А если предупредить Алоизия? Что от этого изменится? Сбежит Алоизий, приговор не будет исполнен, и Рысь получит пулю в лоб. Получит или не получит. Кто их там знает? Или тот устроит засаду и, защищая себя, сам убьет Рыся. Если он путается с немцами, то и оружие у него может оказаться.

И опять этот лес и замок в Илже. Он, должно быть, вздремнул, и, наверно, это ему приснилось птичье гнездо в башне. И теплое осеннее дуновение, несущее запах опавших листьев и жестяной шелест осыпавшихся каштанов.

— Темно, луны сегодня нет,— сказал он в полусне и снова пришел в себя.

«Я уже старый. Ну, не такой еще старый, но гораздо старше, чем Рысь. Рысю еще много лет дожидаться, пока он станет таким старым, как я. И еще долго, долго идти ему во тьме той дорогой, что приводит к потере тела и души».

К потере тела. К потере души? А если души не существует? Это ужасно. Тогда он потеряет все, что имеет. Но душа есть. И тогда — что? Вечные муки?

Он вскочил со стула и стал посреди комнаты.

Спасти его, спасти. Но какую ценой?

— Ценой жертвы,— ответил он сам себе.

Осенний ветер усилился и зазвенел оконным стеклом. Викарий подошел к окну и уткнулся лбом в стекло. Оно показалось холодным, как лед; значит, голова его была горячеей. Он старался разглядеть за окном хоть что-нибудь, но видел только белесую мглу, а во мгле — тени ствол. Голые ветки возникали порою из мглы, когда ветер нагибал их и приближал к окну. Кроме этого, он не мог разглядеть ничего.

Во мгле замаячило что-то, похожее на тень плаща. На мгновение у него перехватило дыхание. Но нет, то была соломенная будка, шалаш в огороде.

Спасти человека — это много, но спасти душу человеческую — нечто гораздо большее. Спасти ее ценою своей души — такое редко выпадает на долю человека.

— Рысь,— произнес он шепотом,— тебе не придется стрелять.

4

Окна прояснились, приближался рассвет, поздний рассвет осени. На мгновение он прилег на кровать, не раздеваясь. Когда он открыл глаза, было уже совсем светло. Наступил погожий солнечный день.

Ксендз-викарий провел рукой по небритой щеке, посмотрел в зеркало. Увидел свои глаза, в которых появилось безумное выражение.

— Конечно,— сказал он себе,— я в самом деле обезумел... Я скоро вернусь,— сказал он служанке (которая потом мне об этом рассказывала) и вышел через костельный двор на улицу. Повернул налево и прошел по тротуару. Дома стояли покинутые, с выломанными воротами и выбитыми стеклами окон. Улица была пуста под осенним солнцем.

В третьем доме от костела жил Алоизий. Каретник оказался единственным, кто решился вселиться в оставленный еврейский дом. Широкие ворота были починены и заперты на засов. Ксендз застучал в калитку так, что эхо раздалось на пустынной улице. Он постучал еще и еще, но никто не показывался.

Наконец послышались шаги, загремел засов, и приоткрылась маленькая калитка, пробитая в просторных воротах. Алоизий стоял в тени и, не произнося ни слова, смотрел на ксендза.

Молчал и викарий. Так оба простояли с минуту.

Алоизий был высокий, белобрысый, в рубахе. Всю одежду его покрывали мелкие стружки и щепки. В руке он держал топор.

— О! — сказал наконец викарий, глядя на топор.

— Отчего вы так колотили? — неторопливо спросил Алоизий.

— Можно войти? — спросил ксендз.

— Пожалуйста. Но я работаю во дворе, — сказал Алоизий, уступая дорогу.

Викарий вошел. Он уловил в глубине двора в пустом флигеле какое-то движение ветра, словно пролетела птица. Он не задумался об этом, но спросил:

— Ты один?

— А с кем же мне быть? — пробурчал Алоизий.

Посреди темного двора стояла скарышевская бричка. Одно колесо у нее было снято, и Алоизий, видно, работал над осью, светившейся светлым деревом.

— Помилуй, Алоизий, — бездумно произнес ксендз, — для кого ты ладишь эту бричку? В такое время?

Алоизий впервые усмехнулся.

— Кто знает, может, и пригодится...

У него и улыбка была светлая, она словно изменяла, просветляла все лицо каретника.

— Хоть бы на то, чтобы с шиком отправиться в лес, — добавил он через мгновение.

Они стояли во дворе, будто не зная, чем им заняться. Алоизий не приглашал ксендза проходить дальше. Он рассматривал его внимательно, немного наклонив голову и точно ожидая от ксендза какого-то очень важного слова. Того, что его сюда привело. Но ксендз молчал. Наконец он сказал:

— А не страшно тебе, Алоизий, жить в еврейском доме?

— А что мне, — отозвался тот. — В старом мне было тесно. Тут удобнее.

— Так ведь когда-нибудь тебя отсюда прогонят.

— Кто меня прогонит?

— Ты же знаешь, какие у нас люди.

— Люди как люди.

— Ой, нехорошие люди. В самом деле, нехорошие.

Он говорил это все, только бы говорить. А глазами выбирал на огромном теле Алоизия место, куда тот мог бы получить смертельную рану. Он думал только об этом. И чувствовал, как что-то соединяет его с этим человеком, как двух братьев. Ему хотелось взять его за руку.

Алоизий опять усмехнулся, и улыбка просветлила его суровые и заурядные черты. Он был белокур, но лицо у него было землистое. Из-под рубахи виднелось голубое белье.

— Вам бы хотелось, чтобы все люди ходили в костел. Не всякий плох, если он в костел не ходит. И не каждый хорош, если падает перед алтарем на колени.

— У меня сердце разрывается, когда я вижу этих людей. Они злые, сварливые, жадные. Один другого готов в ложке воды утопить. Горько мне.

— Если вам горько, уходили бы в лес.

Ксендз шевельнулся.

— Это как понимать?

— На прогулку, конечно. В партизаны вы не годитесь. Наверно, даже стрелять не умеете.

— Ну, стрелять-то я умею. Нехитрое дело нажать спуск.

Алозий засмеялся.

— А прицелиться?

Ксендз взволновался.

— Верно. Целиться надо уметь. Но если близко, я смогу,— добавил он.

— Неприятель близко не подойдет.

Ксендз подумал.

— Верно. Однако научиться можно.

— Самый близкий враг — это черт,— вдруг сказал Алозий.— Этот может и в середку забраться.

Викарий внимательно посмотрел в глаза Алозия.

— А ты что, чувствуешь что-нибудь такое?

Алозий пожал плечами.

— Откуда мне знать? Может, и чувствую.

— Это нехорошо.

— Сейчас не в одном человеке черт сидит.

— Это правда. Ты верно говоришь.

Алозий стоял теперь возле брочки, обхватив руками дышло. Он снова внимательно посмотрел на ксендза.

— Вот сделаю эту брочку, запряжем вашего коня и отправимся на прогулку. В лес. В сторону Илжи.

— Там опасно,— усомнился ксендз.

— Э-э,— протянул каретник,— с вами везде безопасно.

— Выстрелить могут и издалека.

— А зачем станут стрелять в ксендза? И кто?

— Это правда. Но бывает, кому-нибудь надо выстрелить.

Алозий отвернулся к вытащенной оси и принялся постукивать по ней топором.

— Сегодня вы как-то странно разговариваете,— сказал он, не обращаясь.

В это время из флигелька выбежал какой-то ребенок. Ему было лет шесть, и одет он был во все черное.

— Дядя, дядя! — закричал он, но, увидев, что Алозий не один возле брочки, быстро убежал туда же, откуда появился.

Ксендз-викарий от удивления широко раскрыл глаза.

Алозий вдруг выпрямился и весь напрягся, будто к чему-то прислушиваясь. Потом он обернулся к викарию и без слов приложил палец к губам. Он держал так палец довольно долго, не переставая смотреть ксендзу Конраду прямо в глаза.

Ксендз всполошился.

— Я ничего, я ничего,— заторопился он и тут же собрался уходить.

Алозий, провожая его, зашагал вслед к воротам. Отворил калитку.

— Не советовал бы вам рассказывать об этом кому-нибудь,— сказал он, взявшись за щеколду и не глядя на ксендза.

Ксендз запнулся.

— О чем ты, Алоизий,— сказал он.— Что ты говоришь?

— Что говорю, то и говорю. Уж я знаю.

Ксендз мельком взглянул на топор, который каретник все еще не выпускал из рук, и заговорил торопливо:

— Иду, иду, я еще сегодня не отслужил мессу.

И уже ступив за калитку, он услышал голос Алоизия:

— А чего бы вы здесь хотели, интересно мне знать.

Он приостановился и, не оборачиваясь, с трудом прошептал:

— Хотел убедиться в твоих добрых намерениях.

— И что же? — не без угрозы осведомился Алоизий.

— Во всяком случае на прогулку в лес я с тобой не поеду,— сказал ксендз и, не озираясь, направился в сторону костела.

Он услышал, как захлопнулась за ним калитка и как каретник сильным движением задвинул засов на воротах.

5

Весь день длилась его молитва. Ксендз Конрад знал, что должно наступить вечером, и все же чаял какого-то чуда. Чтобы Рысь не появился больше, чтобы слетел ангел с неба — ангел Авраама, ангел масличного сада.— и забрал из его рук оружие. Чтобы не пришлось ему испить из чаши, где пенилась не мистическая, а самая настоящая кровь.

Молитва была бессловесной. Она была напряжением всех его чувств, и притом все чувства оказывались более обостренными и высокими. И, странное дело, во все вплетались какие-то образы нынешнего утра: огромный Алоизий с пальцем на губах или тот ребенок, весь в черном, который так внезапно выскочил во двор. Мысли викария не могли избавиться от этих картин и от многих других будничных примет окружающей действительности — стволов, листьев, отзвука хлопнувшей калитки. Он ко всему прислушивался, во все всматривался — так, словно через мгновение ему предстояло навсегда различить со всеми этими образами и звуками.

После полудня снова приехали полицаи и ходили из дома в дом. Местечко оцепенело в наступившей тишине. солнце безмятежно закатывалось. Люди не показывались на улицу и даже от окон держались подальше.

Но на этот раз немцы никого не забрали. Служанка ксендза рассказывала, что они задержались у дома, где поселился Алоизий, но постояли там недолго и не вошли, даже не постучали в ворота.казалось, что они в нерешительности.

Все это как-то не доходило до викария; ксендз Конрад не отдавал себе отчета в причинах охватившего его равнодушия. Ему казалось, что между ним и всем светом выросла преграда молитвы.

В час захода солнца он отправился в костел, но не стал открывать главный вход, вошел через ризницу. Сел на скамью и стал ждать.

Перед ним был большой алтарь с той надписью, что всегда охватывали последние солнечные лучи, и изваяние Скорбящего Христа, более крупное, чем обычно бывают подобные фигуры, покрытое пурпурной бархатной пелеринкой.

Он невольно принял ту же позу и, глядя на статую, сравнивал ее бытие со своим существованием. «Он страдает, но ничего не чувствует,— сказал он себе,— и я ничего не чувствую». Мертвенность всей своей плоти он ощущал как спокойствие, как тишину перед бурей. И можно бы сказать, что его даже тешило то, что должно случиться: он был горд тем, на что ему предстояло решиться.

Он не заметил, как вошел Рысь. Он увидел его, только когда тот уже сидел с ним рядом.

— Ты здесь,— сказал он только и искоса взглянул на него.

— Я пришел,— сказал Рысь, и его голос показался ксендзу более глубоким и еще более утомленным, чем накануне.

— Ты устал? — спросил он.

— Не более, чем вы,— сказал Рысь, и в словах его (так подумал викарий) прозвучала новая нота, не то сожаления, не то насмешки.

Они помолчали.

— Так как же будет? — спросил мальчик.

Викарий испытывал странное чувство. Ему показалось, что мальчик получил над ним превосходство, будто дана ему какая-то власть. Просто тот был сильнее. И ксендзу захотелось избавиться от этого чувства.

— Видишь ли, дитя мое,— начал ксендз издали.— Я должен тебе кое-что сказать.

Он смолк и посмотрел на Рыся.

В его светлых глазах, спрятанных за ресницами, снова промелькнул тот же опасный блеск. На этот раз блеск был еще выразительнее, и в нем ясно виделась издевка. Это обескуражило ксендза, и потому он замолчал. Он решил сразу перейти к самому важному.

— Тебе не придется убивать Алоизия.

Мальчик не скрыл раздражения.

— Но я вовсе вас об этом не спрашиваю, святой отец. Что я сделаю, то сделаю. Каждый исполняет свои обязанности. У вас есть обязанности церковные.

— Если ты говоришь об этом, то именно по отношению к тебе я никаких церковных обязанностей исполнять не должен.

— Это как же?!

— Я все сделаю за тебя.

Мальчик выпрямился и проговорил с невыносимой официальностью:

— Как я должен вас понимать?

Ксендз рассердился.

— Дай мне свою машинку. Остальное тебя не касается.

Мальчик пожал плечами.

— Потихе, потихе, ксендз-викарий. Во-первых, нет у меня при себе никакой машинки, а во-вторых, почему я могу быть уверен, что вы приведете приговор в исполнение?

Ксендз отодвинулся на скамейке и пристально посмотрел на мальчишку.

— Я тебе обещаю.

Рысь засмеялся. Ксендз снова увидел его зубы. Они были острые и мелкие, как у волка. И очень белые. Болезненное лицо мальчика изменилось от этой улыбки до неузнаваемости.

И это опять причинило ксендзу Конраду беспокойство.

— Не морочьте мне голову. Я сам все исполню.

— Пойми, дурачок,— сказал ксендз,— я сделаю это за тебя. Я уже выбрал место, куда нужно стрелять.

— Вы видели его, отец?

— Я был у него сегодня утром.

— И что?

— Это порядочный человек. Мне жаль его.

Рысь откинул полы плаща. Рукава его скаутской блузы не были закатаны.

— А, понимаю. Вы хотите спасти его. А я? Как я буду выглядеть?

— Я скажу тебе,— начал ксендз,— это не его, это тебя хочу я спасти. Чтобы тебе не пришлось всю жизнь тащить этот камень.

— Какой камень?

— Эту тяжесть. Память о преступлении. Ты выстрелишь, он упадет. Будет кровь, будет это лицо, а потом неподвижные глаза. Всю свою жизнь ты будешь видеть эти неподвижные глаза. Что я говорю — всю жизнь! Целую вечность. Можешь ли ты это представить? Всю вечность!

Мальчишка опять съезжился — маленький, темный, почти невидимый в вечернем сумраке костела. Ксендзу Конраду начинало казаться, что его нет вовсе.

— Потому я и хотел, отец, чтобы вы освободили меня от этой вечности. От такой вечности.

— Значит, ты веришь в бессмертие души? — поспешно спросил ксендз, потому что от этих слов его охватил страх перед задуманным поступком, перед положенным за него наказанием, бранным и вечным, и — страх, хоть и не хотел он в этом себе признаваться, перед темной тенью, съезжившейся тут, на скамье.

— Ну да,— убежденно сказал Рысь,— я не верю, я знаю, что душа человеческая бессмертна.

Тон, каким это было произнесено, пронизал ксендза Конрада холодной дрожью.

— Вот я и возьму на себя твой страшный грех. И буду нести его в бесконечность.

— А вам не страшно?

— Бог мне простит.

Парень шевельнулся на скамье и от этого будто приобрел большую отчетливость и материальность в холодном костельном сумраке. Ксендз яснее ощутил его присутствие. Беседа с тенью приводила его в трепет, будто он разговаривал с самим собою. Теперь ему стало легче.

В голосе мальчика появилась угроза:

— Не будьте так самоуверенны. Бог справедлив. Но ведь он еще и мстителен. Ему будет нелегко согласиться с тем, чтобы его слуга совершил такой страшный поступок. Он станет мстить, так же как мы мстим за измену.

— Но ведь это будет поступок, совершенный из любви.

— Из любви к человеку? Чтобы избавить меня от этого страшного долга, от этого адского наказания, вы сами убьете другого человека?

— Убью его тело, зато душа не будет осуждена на вечные муки.

— Так вы верите в существование души?

При этом вопросе все закружилось перед глазами викария. Алтарь и хоругви, скамьи и пюпитры, амвон и чаша со святой водой затанцевали вдруг, словно сотканые из прозрачной мглы. Если бы он не верил в бессмертие души, все лишилось бы смысла. Ничто не имело бы никакого значения.

— Я должен верить,— сказал он.— Как я могу не верить? Вера — это единственное спасение, единственное оружие.

— Что же это за вера? По принуждению,— сказал мальчик и опять отодвинулся в тень.

— Не уходи,— воззвал ксендз.— Останься. И соглашайся.

— Я не ухожу,— серьезно ответил Рысь.— Я рядом с тобой.

— Ты согласен?

— Согласен.

— Дай оружие.

И ксендз, вдруг подвинувшись на скамье, забрался рукою под

плащ Рыся. Он встретил его ладонь, холодную и раскрытую. Ему показалось, что он коснулся слишком длинных ногтей, подобных львиным или орлиным когтям, и это поразило его. Он торопливо отстранился.

Но Рысь совершенно спокойно сказал своим обычным, скромным, приглушенным голосом, каким говорил вчера:

— У меня нет при себе оружия. Я спрятал его в руинах замка.

— А как же будет?

— Принесу завтра.

— Значит, мы подарим Алоизию еще один день?

— Один день — это не так много, — сказал Рысь задумчиво.

— Так когда же ты снова придешь?

Ксендз произнес это с нетерпением. Он торопился. Чем скорее, тем лучше. Чтобы больше не надо было дожидаться этих страшных событий.

— Завтра в то же время. Только я прошу открыть главный вход. Я не люблю прокрадываться черным ходом.

Викарий удивился:

— Да что за разница?

— Для меня есть разница, — сказал Рысь.

Он поднялся со скамьи, завернулся в плащ и пропал в тени. Его уже не было. Ксендз еще долго сидел на скамье. Потом встал и пошел домой.

6

Снова усевшись у окна повчешнему, он постепенно стал припоминать все по порядку. Больше всего его удивляло то, что во время всей их беседы там, в сумраке костела, исполнение преступного замысла начинало ему казаться чем-то обыкновенным и безразличным. Никогда в жизни ему еще не являлась мысль о том, что он смог бы внезапно совершить что-либо, столь противное его естеству. А на этот раз он не только говорил с полным хладнокровием, но даже и думал об этом как о чем-то обыденном. Он рассказывал Рысю, как Алоизий упадет и будет много крови, он представлял себе все поразительно подробно и не мог ощутить того ужаса, каким это должно было его наполнить. Он припоминал, что ему случалось видеть сны, в которых он убивал человека: всегда топором, таким же, как тот, что был вчера в руке каретника. Но стрелять в кого-либо, притом в упор, глядя прямо в его спокойные глаза, видя его приветливую улыбку, — ведь это страшно. А он вовсе не чувствовал страха. Напротив, он жалел, что Рысь не дал ему оружия и что все это снова оттягивается. Оттягивается в бесконечность, казалось ему. Как проживет он двадцать четыре часа в ожидании поступка, на который, должно быть, так трудно решиться. И который начинал его уже каким-то образом соблазнять и манить. Он пытался стряхнуть с себя равнодушие к принятому им решению и обнаружить, откуда такое равнодушие берется. Но он не привык разбираться в собственных мыслях и чувствах, ведь он знал, что не умеет быть хорошим исповедником. Он лишь чувствовал ясно и убеждался неоднократно, что был совершенно иным человеком там, в костеле, в присутствии Рыся, и становился другим здесь, перед гладкой поверхностью своего окна, за которым колыхались безлистые деревья. То, что отсюда, из комнаты, казалось ему страшным и огромным, что представлялось ему жертвой, способной потрясти небеса, там, в костеле, становилось как бы игрой, бездельем, и он даже забывал о том, что ставкой в этой игре были тела и души нескольких людей. Его поражала также и легкость, с какою он получил от мальчишки согласие на свое преступное и жертвенное

предложение. Когда он думал об этом тут, у своего окна, он представлял, что встретится с решительным сопротивлением исполнителя приговора. Тому следовало бы с первого слова запретить разговор об этой странной замене. А между тем Рысь без долгих уговоров согласился на то, чтобы он, чужой ему человек, да вдобавок еще и священник, принял вместо него на себя исполнение смертного приговора. И ведь не могло быть у Рыся никакой уверенности в том, что ксендз действительно исполнит этот приговор. Он знал это, даже спросил у него об этом, однако не стал настаивать и удовлетворился простым обещанием. Чем дольше он размышлял об этом, тем более подозрительными начинали ему казаться все обстоятельства. Все могло оказаться обычной провокацией. Но кому такая провокация могла понадобиться?

Он был обыкновенным, простым ксендзом, не знавшим никакого труда. Он лишь молился за победу доброго дела, даже не задумываясь над тем, какое дело является добрым. «Mors malis, vita bonis»,— повторял он себе надпись над алтарем. И хотя он знал, что может расточать милосердие боже, он не смел даже представить, что смеет расточительствовать смертью.

Он подумал еще и о том, отчего бы это на руке Рыся отросли такие когти. Быть может, выбрав себе прозвище, он потом нарочно вырастил себе эти рысьи когти. Однако память о мимолетном прикосновении заставляла его предполагать, что такие когти должны быть искусственными и что вырастить такие человек не способен. Можно приделать себе такие когти, содрав их со шкуры убитого зверя, с какого-нибудь охотничьего трофея. В окрестных поместьях полно было подобных трофеев, достать было нетрудно. Этот вопрос продолжал его беспокоить, и он долго еще не мог заснуть, улегшись в кровать. А потом, когда заснул, ему стали сниться невероятные и беспокойные сны. Проснувшись, он чувствовал себя, как осужденный в день исполнения приговора.

Он оделся и, как прошлым утром, отправился к Алоизию. Он не переставал считать того своей будущей жертвой.

Алоизия он встретил у ворот его дома. Каретник откуда-то возвращался и выглядел очень усталым.

— Откуда ты? — спросил ксендз.

— А, ходил... По одному делу.

Алоизий отвечал неохотно, на ксендза поглядел подозрительно, и видно было, что встреча ему неприятна.

— Что это все значит? — спросил ксендз.

Алоизий сказал с раздражением:

— Это мне следовало бы спросить, что все это значит. Чего вы от меня хотите?

— Я? Хочу? Чего же я могу хотеть?

— Зачем вы ко мне повадились?

— А разве я знаю? Тянет меня к тебе. Хочется с тобой поговорить.

— Чего ради? Вы и так уже все знаете.

— Не только всего, но даже и самой малости о тебе не знаю.

— Малость-то вы знаете. Ведь видели же вы этого черного ребенка.

Ксендза осенила догадка.

— Ты прячешь евреев,— сказал он.

— Ну и что? Отправляйтесь к жандармам и донесите.

— Если ты делаешь это за деньги...

— Такими богачами были скарышевские евреи, что ай-яй-яй,— засмеялся Алоизий и страхнул с плеча руку викария.

— Побойся бога, Алоизий, это страшная ответственность...

Но в душе он смеялся сам над собой: говорить о грехе, об ответст-

венности! Как он может! Он ронял слова по привычке, а сам чувствовал, как поднимается в нем чудовище. Он вздрогнул.

— Никуда я не пойду. Ведь ты и сам хорошо это знаешь, Алоизий.

— Конечно, знаю. Иначе стукнул бы вас сразу тем топором. Ведь когда выскочил ребенок во двор, у меня топор был в руках. И хорошо отточенный. Я хотел уже было дать вам по темени. А потом пожалел. Слишком много было бы крови.

Ксендз отступил на два шага.

— Слишком много крови, — повторил он.

Потом ксендз задумался. Он опять подошел к каретнику вплотную.

— Послушай, Алоизий, — сказал он. — Тут о тебе люди всякое говорят.

— Это люди умеют, святой отец.

— Говорят, будто ты предатель.

Алоизий усмехнулся своей светлой улыбкой.

— Ну и пусть говорят, мне-то что, — сказал он.

— Это может плохо кончиться.

— О! — Алоизий удивился. — Вы мне, кажется, угрожаете?

— Я? А как бы я мог тебе угрожать?

— Обыкновенно. «Ты, мой Алоизий, предатель и хорошо знаешь, что за это бывает таким, как ты». Но кого я могу предать? Разве что евреев, но у меня есть свои. А их я не предаю.

— Не предашь?

— Да что это вы сегодня как не в себе? Спрашиваете и говорите такие вещи, точно ума лишились. Может, и в самом деле у вас не все дома?

«А он дерзит», — подумал ксендз и вслух произнес:

— Нам с тобой обоим нехорошо здесь, мой Алоизий.

— Правда, что нехорошо. Лучше бы нам с вами вместе отправиться... на прогулку.

— Что это значит?

— Ну, так, как я говорил. Уже забыли? Бричка готова. Я ее еще вчера доделал.

— И куда же?

— За Илжу. Там леса — ни пройти, ни проехать. Можно отсиживаться до судного дня. Только носа не показывай.

— Странно ты говоришь, Алоизий.

— И вы тоже.

— Ну, тогда оставайся с богом, я пойду к себе.

— Да можете и не уходить. Только бросьте крутить, отец викарий. А то посадите мне еще кого-нибудь на загривок.

— А что же, и посажу. Посажу, наверное посажу.

Ксендз оглядел Алоизия с ног до головы. Смотрел так, словно хотел его навсегда запомнить. Живого.

Если весь минувший день был для ксендза-викария сплошной молитвой, то весь нынешний длился в страхе, дрожи, тревоге. Но все это кипенье, как бывает с морскими волнами во время сильного шторма, происходило где-то глубоко внутри. А внешне он оставался смертельно спокойным, и это его спокойствие, это окаменевшее лицо его запомнилось всем окружающим. То был последний день, когда они его видели.

В совершенном спокойствии он съел свой обед. Не ел много, но отведал от каждого кушанья и — что было совершенно неслыханно и противоречило всем его обычаям — выпил за обедом две большие

рюмки наливки. Была ли то кизиловая или сливовица, в этом свидетели расходились и согласиться между собой не могли.

После обеда он замкнулся в своей комнате. Быть может, и вздремнул ненадолго. Ведь накануне он спал очень плохо. Когда солнце стало приближаться к закату, он заранее, сразу же, отправился в костел.

Каштаны на костельном подворье уже обнажились. Последние остатки медных листьев торчали неподвижно — ветер прекратился. Все в этом дворе было просто и прекрасно в своих пропорциях: прямая стена с неглубокими нишами, гармония архитектуры, зрелый и косой блеск осеннего солнца, тишина, воцарившаяся в воздухе, — все было очень спокойно. На стене, над стоящей под открытым небом исповедальной сидела черно-белая сорока. Но ксендзу-викарию показалось, что она смотрит на него искоса и сердито.

Не без труда отворил он тяжелые костельные двери и вошел внутрь.

В костеле оказалось светлее, чем он ожидал. Ксендз не пошел к алтарю. Он остановился в притворе. Тут хотел он дождаться грешника, которому намерен был принести спасение. Ксендз всматривался в глубину костела. Ему виден был погруженный в сумрак Скорбящий Христос. Ксендз захотел увидеть алтарь во всем блеске; он прошел через костел и повернул находящийся в алтаре выключатель. Лишь на мгновение (власти предписывали соблюдать затемнение) вспыхнули все свечи, осветилась алая Христова пелеринка, и сноп света упал на буквы:

«Mors malis, vita bonis»,—

и затем все сразу погасло. С памятью об этом освещенном алтаре, к которому он больше уже никогда (никогда!) подойти не сможет, ксендз снова отступил в притвор. Он перекрестился, смочив пальцы в святой воде, и, прислонясь к стене, продолжал ждать.

И пока он дожидался, еще видя перед собою тот промелькнувший мгновенно свет, все, что он слышал в последний раз от мальчишки, припомнилось ему как бы укрупненным и ужасающим, припечатанным рукой с рысьими когтями. Это будило в нем гнев, и потребность защищаться, и страх перед чем-то неотвратимым, совершенно ненужным, но угрожающим.

Рысь вошел и, видно, не заметил его под стеною, потому что прошел быстро и остановился посреди нефа. Викарий приблизился к нему сзади, ступая на носки. Но Рысь знал. Не поворачивая головы, он сказал:

— Ты здесь. Прячься в тени.

Не обращая внимания на странное поведение мальчишки, ксендз поторопил его:

— Оружие при тебе? Давай.

Рысь обернулся. Ксендзу почудилось, что мальчик как бы вырос; он стоял перед ним выпрямившись и смотрел прямо на ксендза. Светлые глаза его казались в сумраке белыми и словно фосфоресцировали, как у животного.

— Значит, ты не раздумал? — спросил мальчик.

Теперь он уже не казался ксендзу таким хилым и несчастным, как в тот раз, когда он увидел его впервые.

— Не раздумал, — сказал ксендз.

— Но, может быть, Алоизий — честный человек?

— А тебе что? Наверно, он честный.

— И ты хочешь его убить.

— Чтобы снять с тебя этот страшный грех.— Викарий выговорил эти слова, будто произнося священную формулу.

Тогда Рысь быстрым жестом отбросил полу плаща и откуда-то сзади достал твердый, темный и тяжелый предмет. Он держал его обеими руками. Ксендз положил свои руки на его ладони и сразу почувствовал, что это обычные человеческие ладони, лишённые каких бы то ни было когтей. Он высвободил из этих ладоней холодный пистолет. Рысь опустил руки, и теперь уже ксендз Конрад крепко сжимал в стиснутом кулаке смертоносный предмет.

— Держишь? — спросил Рысь.

— Держу.

Мальчик начал смеяться. Сначала он смеялся тихо, потом все громче и наконец оглушительно захохотал. Внезапно ворвался ветер и захлопнул одну из створок костельных дверей.

— Ты с ума сошел, — сказал викарий. — Перестань сейчас же.

Все в нем оцепенело.

А мальчик заговорил в полный голос:

— Если держишь, держи. Теперь ты его не выпустишь. Он прирос к твоей руке. Он прирос ко всей твоей жизни. Ты уже убил невинного человека — убил в своих помыслах. От этого тебя ничто не сможет освободить до самого конца твоей жизни, до конца бесконечности, в которую ты вступил. Ты навеки останешься с пистолетом в руке и с ужасом в сердце. До самого конца. А конца никогда не будет. Никогда, никогда, никогда!

И говоря это, он рос вверх и вширь; полы его черного плаща заполняли помалу весь костел, поднимались к высоким сводам, развевались, как тысячи черных хоругвей.

Ксендз Конрад отстранился от этих крыльев и от этого голоса, который все крепнул и уже звучал, как органные басовые ноты. Так, шаг за шагом, ксендз отступил до самого костельного входа. Там он остановился и посмотрел. Весь костел наполняла какая-то чернота, подобная густому и непрозрачному дыму. А в дыму том продолжал звучать голос: «Никогда, никогда, никогда!» — и все еще глядели на него те светлые очи.

Ксендз поднял руку с пистолетом и прицелился, стараясь взять на мушку эти глаза.

Тогда раздался истошный возглас:

— Не убий!

Ксендз нажал спуск. Выстрел прогремел в глухом костеле, как гром, задрожали стекла, и в глубине что-то упало. Ксендз поднял руку с пистолетом ко лбу — костел стоял перед ним разверстый, пустой. Уже не было в нем ни черного дыма, ни даже съездившейся, маленькой фигурки Рыся.

Как безумный, пробежал ксендз через весь костел и наткнулся в темноте на большой алтарь. Он хотел зажечь свет, но почувствовал под пальцами обломки истлевшего дерева и бархатное тряпье. Разбитая статуя Скорбящего Христа рассыпалась перед алтарем, по всей каменной столешнице, на которую ставилось святое причастие.

Ксендз отшатнулся, оступился на алтарных ступеньках и упал лицом вперед, будто погружаясь в глубокую черную пропасть.

Должно быть, он пролежал без сознания очень долго. Когда он очнулся, серый осенний рассвет неясно освещал всю костельную утварь. Кто-то тормошил его за плечо.

— Послушайте, отец, послушайте, отец, — слышал он голос.

Над ним стоял Алоизий, одетый в какую-то рыжую чумарку, и тащил его за руку.

— Проснитесь, отец, нечего нам тут делать.

Викарий приподнялся на колени.

— Надо уносить ноги.

Ксендз обернулся лицом к каретнику. Тот показался ему огромным, но совсем обычным в странническом своем армяке. Ксендз не понимал, чего тот от него хочет.

— Надо срываться после всего, что тут стало. Я всю ночь был в лесу, делал для своих бункер. Теперь прихожу, а моих евреев и нет. Немцы их ночью забрали. Не стану же я дожидаться, пока они вернутся за мной.

Ксендз ничего не понимал.

— А тот? — спросил он.

Но Алоизий не слушал, не хотел слушать.

— Поедем вместе к партизанам, — сказал он, — я бричку уже приготовил, запрежем вашего коня. Мы там ребятам сумеем пригодиться, у меня сил еще хватит, да и вы, ксендз-викарий, тоже стрелять сумеете, как видно по вашему алтарю. Этому Христосику вы должны были угодить в самую середку!

Викарий увидел почерневшие щепки, разбросанные в алтаре, и поднялся на ноги.

— А машинка? — спросил он.

— Я ее поднял и спрятал. А пулька была, наверно, назначена кому-то другому?

— Кому-то другому, — подтвердил ксендз.

Они вышли, запрягли бричку и поехали, оставив все открытым настежь. Еще до полудня они добрались за Илжу, к лесам, стоявшим в осеннем солнце. Медные буки смешивались с темной зеленью елей.

В дороге они не обменялись ни словом. Оба присоединились к партизанам. А недолгое время спустя оба погибли в Свентокшских лесах.

8

Понятно, автору труднее всего было отыскивать подробности этой последней главы. Он вынужден был обильно дополнять ее своими домыслами. Служанка ксендза, эта набожная старушка, которая так неохотно отвечала на мои вопросы, сказала только, что услышала выстрел в костеле и подумала, что это немцы, которые пришли за евреями, спрятанными у каретника, убили ксендза. Но наутро ни ксендза, ни его тела не нашли нигде, только в алтаре лежала расколотая статуя. О том, как она оказалась расколотой, рассказчики меньше всего говорили; они всячески обходили это событие, хотя во всей истории именно оно и занимало центральное место. Пожалуй, это была единственная не примышленная подробность, потому что обломки фигуры лежат и по сей день на чердаке приходского дома.

Видели также на рассвете, как из ворот дома, занятого Алоизием, выехала бричка, в которую заложен был конь викария; сидели в ней ксендз без шляпы и Алоизий в рыжей чумарке. Они поехали в сторону Илжи. Правил Алоизий.

А после никто их больше в Скарышеве не видел.

Перевел с польского А. Марьямов.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

С. М. АЛЯНСКИЙ

★

ВСТРЕЧИ С БЛОКОМ

(Из записок издателя)

Самуил Миронович Алянский — организатор издательства «Алконост», выпустивший в 1918 году блоковское чудо — «Двенадцать» с рисунками Ю. П. Анненкова. Я узнал этого редкого человека сорок семь лет назад. Он никогда не любил как-нибудь «представляться», не мнил себя благодетелем поэтов, ни — тем паче — литератором: писать он всегда стеснялся, как его, бывало, ни уговаривали. И вдруг — с необыкновенной искренностью, с настоящим психологическим раскрытием создал рассказ об Александре Блоке!..

Воспоминания Алянского дороги прежде всего как история фактов удивительной жизни от наивысшего взлета до трагедии смерти. Все неоспоримо. Все правдиво до безжалостности. И — подлинное лицо Блока в сопоставлении с разительными портретами Белого, Вяч. Иванова. И многое иное.

Не сомневаюсь, что эти записки, незаурядные для истории нашей литературы, будут с интересом встречены читателями «Нового мира».

Конст. Федин.

Книжная лавка на Колокольной улице

Рассказ о том, как я познакомился с Александром Александровичем Блоком, необходимо начать с краткого очерка о книжной лавке на Колокольной, с которой связано это знакомство.

1917 год застал меня в Новгороде, там я проходил военную службу.

Вскоре после февральской революции я вернулся домой и первое время слонялся по улицам Петербурга, наслаждаясь необычным для города оживлением.

Однако надо было думать, чем бы заняться, где найти работу. Я отправился к В. Васильеву, моему гимназическому товарищу, с которым мы несколько лет подряд вечерами работали в библиотеке Л. И. Жевержеева.

Васильев, оказалось, тоже недавно вернулся из армии и тоже был озабочен поисками работы. Он рассказал, что накануне был у Жевержеева и тот предложил ему временную работу — ликвидировать скопившиеся за много лет дубликаты библиотечных книг. Книг было очень много; таскаться с ними по библиофилам и антикварным магазинам — дело тяжелое, и тут у Васильева возникла мысль: а не открыть ли с этими книгами книжную лавку? Жевержееву мысль понравилась, и он предложил отдать все свои дубликаты в лавку на комиссию. Возник вопрос о помещении. Васильев предложил мне вместе с ним взяться за это дело.

И мы взялись.

В августе 1917 года на Колокольной улице в доме, примыкавшем к ограде Владимирского собора, открылась наша книжная лавка; она была так мала, что не могла вместить всех книг, полученных от Жевержеева.

Книжная торговля в Петербурге издавна сосредоточилась на Литейном проспекте. Мы это отлично знали, и, решив открыть свою книжную лавку на Колокольной улице, на которой до того, кроме керосиновой и мелочной лавки, никаких других не бывало, мы были готовы к тому, что нам долго придется ждать покупателя. Но что было делать? Снять помещение получше и оборудовать его мы не могли: не было средств. Да и рисковали мы только своим временем и трудом.

Однако случилось так, что среди библиофилов довольно быстро разнесся слух, что на Колокольной открылась лавка, в которую попала часть известной в городе библиотеки Жевержеева, и страстные библиофилы потянулись к нам. Торговля пошла бойко, так как книги у нас были редкие и ценные.

Запас жевержеевских книг, который раньше не умещался на наших полках и казался нам неисчерпаемым, стал быстро таять. Новых поступлений почти не было. Надо было чем-то заполнять опустевшие полки. К этому времени слух о лавке распространился дальше, пришел новый покупатель, который искал не антикварную книгу, а новую, но редкую книгу стихов современных поэтов. Этот покупатель был нам духовно ближе. Пришлось искать пополнения полок в издательствах и на книжных складах.

Между собой мы распределили работу так: Васильев занимался продажей и покупкой книг в лавке и все время находился на месте, а мне приходилось раздобывать книги в издательствах и на складах. Кроме того, мне нужно было ежедневно обегать все книжные магазины на Литейном, чтобы узнавать там о всех вышедших новинках.

Петербургские издательства выпускали очень мало книг, а те, которые выходили, все имелись на Литейном. Нам же для привлечения покупателей нужно было держать книги, которых не было там.

Накопившийся опыт подсказал нам воспользоваться тем, что старые книготорговцы с Литейного утратили связь с московскими издательствами. Самим связаться с Москвой — был единственный шаг, способный оживить замиравшую торговлю на Колокольной.

А пока, чтобы не оставлять лавку совсем без книг, мы решились на отчаянную жертву. Каждый собрал все свои личные книги и принес их в лавку. Это дало нам возможность заполнить четыре полки редкими сборниками стихотворений поэтов начала века, которые мы с гимназических лет собирали, соревнуясь друг с другом. Среди них были, конечно, и любимые нами сборники поэтов-символистов.

Первый раз я поехал в Москву в конце 1917 года. В это время поездка из Петербурга в Москву была нелегким делом. Дальние поезда заполняли главным образом военные — люди либо в черных бушлатах, либо в серых шинелях. На мне была солдатская шинель, и это открывало мне двери если не всех, то многих вагонов.

Трудности переездов между Петербургом и Москвой вконец разладили культурные и деловые связи между этими городами. Такое положение создало благоприятную почву для разного рода вздорных слухов как в Питере, так и в Москве. Казалось, что Москва отъехала далеко, за море.

В Москве я побывал в издательствах, в которых надеялся найти нужные нам книги: у Сабашникова, в «Скорпионе», в «Мусagetе», в «Альционе» и в других. Скромные средства не позволяли купить многого, что

хотелось, но те два пакета книг, которые мне удавалось привезти, были большим событием среди любителей новой поэзии.

Книгоиздатели и книготорговцы Москвы забрасывали меня вопросами о петербургских писателях и поэтах, об издательствах, о новых книгах. Я мог рассказывать только о новинках. Писателей я не знал, и мне было очень стыдно, когда, как-то встретив в лавке писателей на Никитской Сергея Есенина, я не мог ответить на его вопрос о том, как живет Александр Блок. Есенин укоризненно покачал головой и сказал:

— Как же так, живете в одном городе с Блоком и ничего о нем не знаете? Какой же вы книжник?

Я действительно оказался плохим книжником. И я решил по приезду в Питер разузнать, где возможно, о Блоке и о других поэтах, чтобы иметь возможность в следующую поездку сообщить Есенину все, что мне удалось узнать.

Московские новинки впервые после революции появились только в лавке на Колокольной. И как вначале библиофилы раззвонили о нашей лавке, так и теперь новый покупатель пустил слух, и к нам потянулись люди за московскими новинками, и если б не они, то лавку пришлось бы закрыть.

Теперь мне часто пришлось ездить в Москву за пополнением, благо проезд по железной дороге был бесплатный.

Подбор книг в лавке отныне отражал наши личные симпатии и вкусы, в ней преобладала современная поэзия. Единственным нашим огорчением было то, что наши личные книги покупатели быстро успели расхватать, пока мы заполняли полки московскими новинками.

Особенным спросом и вниманием пользовались книги поэтов-символистов, а среди них больше всего спрашивались книги Александра Блока, и отныне добывание их стало нашей главной задачей. Но книг Блока нигде не было. Я обегал все петербургские и московские склады, но ничего не нашел.

Кому-то из нас пришло в голову: обратиться к самому Блоку и узнать у него, с каким издательством он связан, скоро ли появятся его стихи, и заодно спросить, не осталось ли у него каких-нибудь книг из авторских экземпляров? Но как обратиться? Как искать знакомства с ним? И наконец кому из нас говорить с Блоком?

Вдруг нас одолела страшная робость. Блок был нашим кумиром. Честь первого знакомства каждый из нас уступал другому. Уговоры друг друга ни к чему не привели, и мы решили бросить жребий. Жребий пал на меня.

Я разыскал номер телефона Блока, приготовил первую фразу, с которой должен был обратиться к поэту, а дальше решил — будь что будет. Я думал, что к телефону должен подойти сам Блок, и когда услышал низкий женский голос — растерялся, не нашелся что сказать. Голос повторил, что слушает. Я, как мне показалось, не своим голосом попросил позвать Александра Александровича. Голос начал меня допрашивать: кто я такой и зачем мне нужен Блок? Я назвал себя и старался поподробнее объяснить, что я вовсе не хочу беспокоить Александра Александровича, но мне очень нужны его книги для продажи; объяснил, что их очень трудно достать, что их беспрерывно спрашивают, рассказал про нашу лавку, спросил, с каким издательством Блок связан, и наконец просил узнать, не остались ли у Блока какие-нибудь его книги из авторских экземпляров любого издания. Я так обрадовался, что к телефону подошел не сам поэт, — выпалил сразу все, о чем мы с Васильевым приготовились сказать Блоку. Когда я кончил, голос попросил подождать у телефона.

Во время разговора рядом со мной стоял Васильев. Он волновался, что-то шептал мне, подсказывал, сердился. Я не умею слушать разное в два уха и не мог понять, что он хочет, чем недоволен. Наши пререкания прервал голос в трубке — он сказал, что Александр Александрович просит меня приехать к нему вечером.

Когда телефонная трубка была повешена, Васильев долго, с сердцем выговаривал за то, что я слишком развязно говорил.

Я готов был признать, что говорил плохо, это произошло, должно быть, потому, что волновался, думал, что разговор по телефону мне придется вести с самим Блоком, и очень обрадовался, когда избежал этого разговора. Но чтобы не было ошибок в дальнейшем, я просил Васильева поехать к Блоку вместо меня или вместе со мной. Я уговаривал его, просил, умолял и угрожал, что могу наделать еще больше оплошностей, но на все это был короткий ответ:

— Сам заварил кашу — сам и расхлебывай.

По мере того как я мрачнел — Васильев успокаивался. Он пытался объяснить, в чем была моя ошибка: не следовало говорить прямо о нашей цели, он напомнил, что Блок — крупнейший поэт нашего времени, и говорить с ним о продаже книг по меньшей мере бестактно. Надо было говорить как-то иначе, дипломатично, как-нибудь иносказательно, а не так, как ты обычно говоришь с книгопродавцами: пусть, мол, продаст нам книги.

В словах Васильева было столько негодования и искренней горечи, что я почувствовал себя уничтоженным и, не видя выхода из позорного положения, снова стал умолять Васильева пойти вместо меня, но это ни к чему не привело.

Что было делать? Я готов был вовсе отказаться от поездки к Блоку, но Васильев объяснил, что это невозможно, — это и малодушие, и трусость, и нарушение павшего на меня жребия, и наконец нельзя забывать, что Блок пригласил, назначил время, будет ждать, а ведь Блок — это... дальше следовал ряд пышных восклицаний.

Я понял, что ехать надо. Я просил хотя бы совета, но из восклицаний и заумных философствований моего компаньона я ничего не извлек и ничего не запомнил. Я понял одно — что дело, ради которого нужно было ехать к Блоку, уже провалилось, а ехать все равно надо, чтобы что-то загладить, в чем-то оправдаться, вылезти из какой-то неприятной истории.

С тяжелым сердцем я незаметно пришел на Офицерскую, к дому, где жил поэт¹. У дверей квартиры мне захотелось уйти обратно, но вспомнил Васильев, он ждал меня дома с отчетом. И хотя сейчас я ненавижу его — показаться трусом мне не хотелось.

Я решил: с Блоком мне больше все равно не встречаться, а с Васильевым мне жить и работать. Надо идти.

Моя первая встреча с А. А. Блоком

Дверь открыла высокая белокурая женщина. Она с любопытством рассматривала меня умными, улыбающимися, слегка прищуренными глазами.

Позднее я узнал, что это была жена поэта — Любовь Дмитриевна.

Она провела меня в большую комнату, примыкавшую к передней, в кабинет Александра Александровича.

¹ В 1918 году А. А. Блок жил еще на старой, более обширной квартире того же дома с входом с Офицерской улицы (теперь улица Декабристов).

По дороге на Офицерскую я пытался представить себе внешность А. Блока. Мне была известна одна широко распространенная его фотография 1907 года. Молодой, двадцатисемилетний поэт с длинными кудрявыми волосами снят на ней в черной рубахе, какие тогда носили художники, с большим белым отложным воротником.

Какой он сейчас, через одиннадцать лет?

Был светлый, летний петербургский вечер. В просторной комнате было пусто. В глубине, у окна стоял небольшой письменный стол и на некотором расстоянии от него — диван. В другом конце кабинета, против входа, в углу стоял большой круглый стол, покрытый плюшевой скатертью. Вокруг стола было несколько простых ореховых кресел. У стены, против окон стоял книжный шкаф.

Такую обстановку можно было встретить в квартире людей со средним достатком.

Не успел я как следует осмотреться, как справа из другой двери легкой походкой вышел стройный, красивый человек с слегка откинутой головой Аполлона. Он был выше среднего роста, хорошо сложен. Выщипанные волосы светло-пепельного цвета были подстрижены. Запомнилось еще, что края губ были чуть опущены. На нем был обыкновенный светлосерый костюм.

Человек, которого я увидел, мало чем напоминал известную фотографию поэта. Я не сразу узнал его. Он подошел ко мне, улыбнулся, протянул руку и глуховатым голосом назвал себя. Заметив мою растерянность, Блок сам заговорил о цели моего прихода.

— Вам нужны мои книги? Садитесь, пожалуйста, и расскажите поподробнее о себе. Кто вы? Где учились? Где вы были в армии?¹ Что у вас за книжная лавка? Какие из моих книг вам нужны? Жена рассказала про ваш телефонный звонок, и мне захотелось познакомиться с вами. Расскажите о себе подробнее,— повторил он, тепло и дружески улыбаясь.

Я начал рассказ о себе с того, что первые три класса учился во Введенской гимназии, а с четвертого перешел в гимназию Столбцова, что на Невском проспекте.

Вдруг Блок остановил меня вопросом:

— Вы учились во Введенской гимназии? Ведь я тоже там учился, я окончил Введенскую. Скажите, каких преподавателей вы там запомнили?

Я назвал несколько фамилий, и среди них преподавателя русского языка Ивана Яковлевича Киприяновича и латиниста, фамилии которого никто из гимназистов не знал, все звали его просто Арноштом, было ли это имя или прозвище — не помню.

Александр Александрович оживился, улыбнулся и сказал:

— Очень интересно. Ведь я тоже учился у Киприяновича и Арношта очень хорошо помню. Киприянович, должно быть, при вас совсем уже старенький был, при мне он уже был седым. Знаете, я у него по русскому языку никогда больше четверки получить не мог. А у вас какая отметка была по русскому?

И дернуло меня сказать, что у меня была пятерка. Но тут же спохватившись и поняв всю чудовищную нелепость моей пятерки рядом с четверкой по русскому поэта Блока, я поспешил добавить, что моя пятерка была не за грамоту, а за хороший почерк, который Киприянович высоко ценил. Но этого мне показалось недостаточным и, чтобы укрепить свое объяснение пятерки почерком, добавил еще, что только благодаря почерку я попал в гимназию, несмотря на процентную норму.

Все это было чистой правдой, но в голове мелькнуло, что со стороны

¹ Я был в солдатской одежде.

моя настойчивая ссылка на почерк могла показаться необедительной и даже подозрительной. И вот, чтобы окончательно оправдаться в моей злосчастной пятерке и чтобы подчеркнуть, какое значение в моей жизни имел хороший почерк, я вспомнил, что первый мой заработок я принес домой из газеты «Речь» и что он тоже был связан с моим хорошим почерком. Тут Блок остановил меня:

— Как из газеты «Речь», что вы там делали? — изумился он.

Я рассказал, что в «Речи» я целый месяц каждый вечер писал адреса провинциальных подписчиков газеты. Это было, когда я учился во втором классе гимназии. Блок просил рассказать об этом подробнее, и я рассказывал, как я попал на эту работу и какова была ее техника.

Блок продолжал расспрашивать меня: спросил о родителях, братьях, сестре, а когда и эта тема была исчерпана, он опять заговорил о Введенской гимназии, продолжал расспросы о ней и вдруг задал вопрос, куда выходили окна моего класса. Узнав, что классы у нас были разные, рассказал, что в его классе, окна которого выходили на Большой проспект, произошел однажды случай, прошумевший на всю гимназию. Это было в шестом классе. Как-то на перемене одноклассник Блока, славившийся большой силой и ловкостью, разыгрался со стулом учителя, манипулировал им, подбрасывая и ловя его на лету то за ножку, то за спинку. Товарищи, следившие за его эквилибристикой, вдруг ахнули, увидев, как стул бесшумно вылетел в открытое окно, не задев ни стекла, ни рамы. Хорошо, что под окном был небольшой палисадник и стул упал на кусты. И надо же, как раз в этот момент директор входил с улицы в гимназию и увидел полет стула из окна. Класс оставили после уроков. Директор два часа трудился, пытаясь выведать, кто был виновником шалости, но ничего не добился. На следующий день инспектор вызывал каждого гимназиста в отдельности в учительскую, но тоже ничего не узнал. После этого в четверти у всего класса появилась четверка за поведение.

Блок увлекся, рассказал еще несколько историй из гимназической жизни, застрявших в памяти. Потом удачно спародировал латиниста Арношта, который очень смешно коверкал русскую речь.

И как бы соревнуясь с Блоком, я тоже пустился в воспоминания детства.

Александр Александрович был старше меня на одиннадцать лет, но эта разница в возрасте и в положении совсем стерлась. Мы делились воспоминаниями, как ровесники, как одноклассники, как старые друзья, встретившиеся после давней разлуки.

Думаю, что, будь я знаком с Блоком до того много лет, мы не могли бы сблизиться с ним так, как это произошло за несколько часов нашей первой встречи.

Увлечшись встречей со «старым гимназическим товарищем», «старым другом», я забыл все наставления Васильева, забыл, что «Блок — крупнейший поэт нашего времени», забыл, что должен в чем-то извиняться, забыл про все на свете. Рядом со мной сидел друг, товарищ, с которым было легко говорить, и я свободно, как близкому, отвечал на вопросы: о службе в армии, о Васильеве, о Жевержееве, о нашей книжной лавке и о том, как она возникла.

Рассказывая о лавке, о моих поездках в Москву за новинками, я вспомнил о случайной встрече в лавке писателей с С. Есениным, об его укорованных вопросах о Блоке, о том, что в Москве ничего не известно о петербургских писателях, о том, что книг наших там нет. Рассказал, что был у «Мусажета» — искал книги Блока, но ничего не нашел. Заканчивая рассказ о наших безуспешных поисках книг Блока, я наконец вспомнил, зачем пришел, и сказал, что нам с Васильевым пришлось в го-

лову обратиться к поэту с просьбой продать нам остатки авторских экземпляров, если такие имеются у автора. И не дождавшись ответа, я неожиданно выпалил свое сожаление, что группа символистов распалась. По-моему, заявил я, им следует внозь объединиться.

Александр Александрович слушал меня внимательно, пока я рассказывал о себе, но когда я начал высказывать свои суждения, он посмотрел на меня с удивлением и спросил:

— Вы думаете?

Этот вопрос еще больше подбодрил меня, и я безудержно понесся развивать свою идею-импровизацию, над которой, признаюсь, до того и не думал.

Продолжая фантазировать, я заговорил о том, что символистам хорошо бы объединиться вокруг своего журнала, организовать свое издательство.

Мои практические предложения вызвали в Блоке еще больший интерес; он задавал мне все новые и новые вопросы, желая поглубже проникнуть в мою идею, добраться до ее корней.

Я говорил долго, говорил горячо, будто делился своими заветными мыслями с Васильевым.

Впервые я встретил человека, который умел так внимательно, так уважительно, так увлеченно и заинтересованно слушать своего собеседника. Блок умел слушать так, будто ваш рассказ открывает ему новые увлекательные миры.

Вопрос «вы думаете?» он произносил с искренним удивлением. И чтобы подчеркнуть свой интерес к тому, что говорит собеседник, чтобы поощрить его, Блок придвигался к нему поближе и как бы говорил: «Я слушаю вас внимательно, понимаю, сомневаюсь, но все, что вы говорите, необыкновенно интересно, продолжайте, пожалуйста».

Когда я закончил свою импровизацию об объединении символистов, Блок не стал возражать мне, он только мягко выразил сомнение в осуществимости моих проектов.

Разговор с Блоком происходил в то время, когда в среде литераторов еще не утихли страсти, вызванные появлением поэмы «Двенадцать».

Я не знал, что от Блока отвернулись многие писатели, среди которых были и его друзья. Не знал, что совсем на днях близкий друг поэта Вл. Пяст в каком-то общественном месте отказался пожать протянутую Блоком руку. Не знал я и того, что Александра Александровича все это глубоко волнует.

И только позднее, когда я узнал об этом от самого Блока, я понял, до чего несвоевременны и несуразны были мои «идеи».

Мой первый визит на Офицерскую затянулся. Я был так увлечен своими речами и так поощрен Блоком, что не заметил, как прошло время, опять забыл, за чем пришел.

Прощаясь, Блок сказал, что будет думать о нашем разговоре, просил позвонить ему и непременно зайти еще. Я уже повернулся, чтобы идти в переднюю, но Александр Александрович остановил меня и напомнил о книгах, за которыми я пришел. Он на минуту вышел и вернулся с аккуратно завязанным пакетом, который был приготовлен до моего прихода. Он сказал, что в пакете пять трехтомников стихотворений в издании «Мусажета», что это пока все, что ему удалось найти, что где-то должны быть еще книги, которые он постарается разыскать к моему следующему приходу.

Надо было заплатить за книги. Вспомнился Васильев со своими суждениями. Сколько надо заплатить? Как заплатить? А вдруг денег

не хватит? Ведь мы не рассчитывали на такое количество — целых пятнадцать книг. По нашим масштабам это было много. Что делать? Все эти вопросы молнией пронесли в голове.

Но не успел я закончить свои тревожные размышления, как Блок прервал их и, как будто читая мои мысли, сказал:

— Деньги вы можете принести в другой раз, когда книги продадутся, пусть для меня будут такие же условия, как и для Жевержеева. К тому же у вас будет повод прийти еще раз, и тогда мы подробнее поговорим о ваших планах. И я о них подумаю.

Я все же настоял, чтобы Блок взял часть денег, которые я захватил, и обещал остальные принести после продажи книг.

Трудно рассказать, что я испытывал, возвращаясь домой. Я был весел и всю дорогу старался вспомнить, что говорил Блок. Как случилось, что мы оказались старыми друзьями? И какой он внимательный; от него не ускользнули даже мелочи, вроде условий, на которых мы получали книги у Жевержеева. Удивительна была и его щедрость, с которой он дарил мне время и внимание. Особенно поразила способность Блока читать чужие мысли: только подумаешь — не скажешь, а он уже отвечает.

Дома меня ждал Васильев. Он выслушал мой подробный рассказ и сказал, что скептически относится к моей «фантастической поэме», так он назвал мои издательские планы, и что очень рад книгам, которые я принес.

— Вот эти книги — реальность, ты даже не понимаешь, какую редкость, какое сокровище ты принес. Что же касается твоих издательских проектов, они — беспредметная мечта. — И пояснил, что для издательства нужны: во-первых — деньги на бумагу, во-вторых — деньги за типографские работы, в-третьих — деньги на гонорар, а главное нужны рукописи, и при этом только хорошие. Со всем этим трудно было не согласиться: денег вовсе не было.

Васильев был человеком с тонкой поэтической душой, но он был еще и трезвым человеком.

Спустя три дня я позвонил Блоку. На этот раз Александр Александрович сам подошел к телефону. Он сказал, что думал о нашем разговоре, что хочет еще кое о чем расспросить меня, и просил прийти к нему завтра вечером.

Когда я во второй раз пришел на Офицерскую, Блок встретил меня дружески, как старого знакомого. Он подробно рассказал, в каком положении находится дело с новым изданием его сочинений; он продал их издательству «Земля». Набираются сейчас первые два тома стихотворений, а с дальнейшими томами происходит какая-то задержка, но так как он связан договором, то должен ждать.

Перейдя потом к моим планам, Блок выразил сомнение в возможности объединить символистов. Он сказал:

— Я не знаю, нужно ли их вообще объединять? Разрыв, должно быть, произошел не случайно. И все это гораздо сложнее и глубже, чем кажется.

Блок подробно рассказал о том, как отнеслись к нему товарищи-писатели после появления в газете поэмы «Двенадцать», и для иллюстрации показал свою стихотворную переписку с Зинаидой Гиппиус.

— Поэма «Двенадцать» создала такую брешь в моих отношениях с большинством писателей, что вряд ли сейчас мыслимо какое-либо объединение.

В рассказе Блока чувствовалась досада и горечь по поводу разрыва с друзьями. Видно, нелегко переживал он разрыв.

Все это меня удивило и тронуло то дружеское доверие, с которым он поведал мне свои грустные мысли. И опять — чувство, будто мы действительно были старыми друзьями, которые увиделись после долгой разлуки.

Я задал вопрос о том, как была написана поэма «Двенадцать», и Александр Александрович охотно рассказал.

Поэма написалась довольно быстро, в два дня. Были необыкновенно вьюжные дни. Сначала были написаны отдельные строфы, но не в том порядке, в каком они оказались в окончательной редакции.

Он тут же достал черновую рукопись. В ней, я увидел, было мало зачеркнутых строк, на полях были написаны варианты.

— Слова: «Шоколад Миньон жрала» — принадлежат Любви Дмитриевне, — сообщил Блок. — У меня было: «Юбкой улицу мела», а юбки носят короткие.

Мою просьбу прочитать поэму вслух Александр Александрович отклонил. Он сказал, что ни разу вслух «Двенадцать» не читал и прочитать не сумеет. Поэму читает его жена — Любовь Дмитриевна, она актриса.

— Послушайте ее как-нибудь, интересно, понравится ли вам ее чтение, — добавил Александр Александрович.

В этот вечер я был приглашен в столовую, к чаю.

Небольшая, соседняя с кабинетом комната была меблирована очень скромно: посередине комнаты под лампой с большим абажуром стоял прямоугольный стол, а вокруг него несколько венских стульев да вблизи у стенки стоял еще простенький буфет. Вот и вся обстановка, которую я заметил в столовой. Я подумал, что в этом доме к изысканным вещам склонности нет.

За столом сидели: знакомая мне Любовь Дмитриевна и незнакомая маленькая седенькая старушка, которой Блок представил меня, это была Александра Андреевна — мать поэта.

Любовь Дмитриевна сидела за самоваром и разливала чай. Она задала веселый тон общему разговору, который вертелся вначале вокруг всяких городских новостей, всевозможных слухов, носившихся по городу, анекдотов и шуток. Потом разговор зашел о театре, о последних новаторских постановках Вс. Эм. Мейерхольда в театре В. Ф. Комиссаржевской.

Александр Александрович очень высоко ценил дарование Вс. Эм. Мейерхольда, питал к нему искреннюю симпатию и дружил с ним, но к его последним работам относился критически. Завязался спор, в котором Любовь Дмитриевна оказалась на моей стороне, что меня очень порадовало. (Позднее я узнал, что Любовь Дмитриевна вместе с В. П. Веригиной и Н. Н. Волоховой работали в театре под руководством Вс. Эм. Мейерхольда.)

Когда за потухшим самоваром мы остались вдвоем, Александр Александрович снова обратился ко мне с какими-то вопросами относительно моих планов. Выслушав мои ответы, Блок сказал:

— Мне хочется помочь вашим издательским планам, но я не могу нарушать договор с издательством «Земля». Так вот что я придумал: есть у меня мало кому известная поэма «Соловьиный сад». Она напечатана в газете и не вошла в собрание стихотворений. Эта поэма у меня свободна. Может быть, ее можно и стоит издать маленькой книжечкой. Я приготовил ее для вас. Возьмите, почитайте и, если она понравится вам, попробуйте ее издать для начала. Больших затрат это издание не потребует.

При этом Блок передал мне несколько листов бумаги, на которых аккурратно были наклеены вырезанные из газеты столбцы набора поэмы «Соловьиный сад».

От неожиданности я растерялся и онемел. Пока разговоры касались проектов и планов в о о б щ е, я довольно бойко и даже горячо рассуждал, но что я могу сделать практически? Блок предлагает вполне конкретное дело: надо вот эти несколько листиков превратить в книгу. Что делать? Как быть? Что-то надо ответить, а что — не знаю. Быть может, надо сказать: спасибо, а может быть, спросить про гонорар, или о корректуре, или еще о чем-нибудь. Откуда я мог знать, что нужно в этом случае говорить или делать? Замешательство и страдание, должно быть, отразились на моем лице, и Блок опять угадал мои мысли, мою тревогу и опять поспешил мне на помощь:

— Не надо давать мне сейчас никакого ответа, прочитайте поэму дома, спокойно подумайте, посоветуйтесь с вашим другом Васильевым и решите, стоит ли печатать ее отдельно. К сожалению, у меня ничего другого нет, а мне хочется поддержать вас. Я верю в вас.

Смущенный, взволнованный и тронутый расположением Блока, я отправился домой. По дороге я вспомнил все резонные соображения Васильева о предстоящих трудностях. Но могу ли я обмануть доверие Блока? Нет, я твердо решил, что эту книжечку я обязательно издам. Как это будет сделано — я еще не знал.

Меня мучил один вопрос: где я могу прочитать или у кого узнать, как издаются книги?

Я пришел домой поздно, Васильев меня не дождался. Я развернул драгоценные листки и начал читать. Глазами я читал поэму, а в мозгу копошилась одна тревожная мысль: что делать, как быть?

Когда наутро я рассказал обо всем Васильеву и дал ему рукопись, он жадно прочитал поэму и воскликнул:

— Да ведь это замечательный Блок, и как это я прозевал поэму в газете?

Он начал второй раз читать «Соловьиный сад», на этот раз вслух. И тут только до меня дошла поэма — одно из лучших произведений Блока.

Васильев обладал редкой способностью буйно радоваться новому, поразившему его стихотворению. Я переждал, пока он еще два раза вслух перечитал поэму, и спросил его:

— Что же мы будем делать? Надо дать ответ Блоку.

— Что делать? Откуда я знаю? Я знаю только, что это блестящая блоковская поэма. Знаю еще, что на издание ее нужны деньги, что в лавке ничего не возьмешь — и так еле крутимся. Сходи в типографию на Невский против Николаевской, там есть у меня знакомый, попроси его подсчитать, сколько нужно денег. Потом сходишь к Жевержеву, быть может, он заинтересуется. Только об одном прошу тебя — на меня в этом деле не рассчитывай. Я готов помогать тебе, но рисковать не буду. В тебе сидит авантюрист, быть может, тебе и повезет. Действуй сам.

Типографщик взял рукопись и начал ее читать. Не знаю, кем он был в типографии, какую должность занимал, но он оказался поклонником поэзии Блока. Он высоко оценил поэму и сочувственно отнесся к моей затее. Он подсчитал расходы на типографские работы и бумагу и назвал цифру, по моим понятиям значительную. Узнав о моих денежных затруднениях, типографщик сказал:

— Вот что я могу вам предложить: дадим вам на две недели кре-

дит, подождем с оплатой за бумагу и за типографские расходы. Сумеете за этот срок обернуться, продать книги — тогда начинайте.

Я был уверен, что обернусь. И начал.

Трудности обступили меня со всех сторон. Как назвать издательство? Кому заказать марку? Как оформить первую книгу?

Название «Алконост» придумали мы вместе с Васильевым, художником для марки решили пригласить Юрия Анненкова, нашего товарища по гимназии.

Я отправился в библиотеку Жевержеева и там стал перебирать самые любимые книги, на этот раз не для того, чтобы еще раз ими полюбоваться, но чтобы поучиться чудесному искусству оформления книг.

Через несколько дней я пришел на Офицерскую уже в качестве издателя, принес корректуру и рассказал Блоку начистоту обо всех моих затруднениях. Выбранные типографские украшения, шрифт для набора поэмы, марка Ю. Анненкова — все это получило одобрение Александра Александровича. Теперь со всеми, даже мелкими, вопросами, такими, как выбор шрифтов для титула, выбор формата книги, и массой других я обращался к Блоку, охотно и внимательно вникавшему в них. Он часами обсуждал со мной все и давал свои советы.

Теперь я бывал на Офицерской очень часто. Отныне предметом наших бесед стали заголовки, шрифты, линейки, спуски, отступы, поля и пр. Блок научил меня корректорским знакам и старательно знакомил с начатками печатного дела. Терпеливо, с любопытством и сочувствием смотрел Блок на мои первые неловкие шаги и бережно помогал мне обходить острые и опасные углы.

Это был мой первый университет, вернее начальная школа издательского дела.

Я начал манкировать своими обязанностями в лавке и на целую неделю задержал очередную поездку в Москву за книгами. Я чувствовал, что Васильев недоволен, но он молча терпел; он надеялся, как впоследствии признался, что увлечение пройдет.

Через две недели три тысячи экземпляров поэмы «Соловьиный сад» были готовы. Я нагрузил мешок книгами, пристроил его за спину, уселся на велосипед и развез «Соловьиный сад» по книжным магазинам Литейного проспекта. А еще неделю спустя я расплатился с типографией.

Наступил щекошливый момент — надо было рассчитаться с автором. Блок долго отказывался от гонорара и наконец назвал ничтожную сумму. После длинных споров мы наконец помирились на том, что чистую прибыль поделим поровну. Сумма получилась небольшая, но я этим заработком долго гордился.

Выпуск первой книги «Алконоста» был отпразднован на Офицерской за чайным столом.

После выхода поэмы «Соловьиный сад» встречи мои с Александром Александровичем стали ежедневными. Мы еще больше сблизились, когда начали обсуждать планы дальнейших изданий.

В голове у меня прочно засела мысль — вслед за «Соловьиным садом» издать небольшие книжечки Андрея Белого и Вячеслава Иванова.

В то время я ничего еще не знал о личных отношениях этих трех поэтов, и моя настойчивость не вызывала в Александре Александровиче подозрений. Но всякий раз, когда я поднимал этот вопрос, я замечал странное замешательство и волнение Блока.

Александр Александрович предупреждал меня, что привлечь Вячеслава Иванова будет очень трудно и вряд ли мне это удастся.

Однако, окрыленный успехом с «Соловьиным садом», я считал, что

самое трудное позади, и если мне удалось получить рукопись Блока, нашего первого поэта, и в короткий срок издать ее, то от московских поэтов я, конечно, легко получу рукописи.

Я был самонадеян.

Мне показалось, что моя уверенность поколебала Блока: выражая сомнение, он не только не противился моим планам, но я почувствовал, что втайне он был бы рад их осуществлению, так как для него это означало встречу с друзьями.

Решив ехать в Москву, я просил Блока разрешить мне подарить Вячеславу Иванову «Соловьиный сад». Блок охотно тут же сделал дружескую надпись на книжечке и, передавая ее мне, опять засомневался:

— Не знаю, как встретит вас Вячеслав Иванов. Не знаю, примет ли он этот подарок.

Повторяю, я тогда многого не знал.

Я ничего не знал о бывшей братской близости Блока с Белым, не знал и об их разрыве. Не знал я и о личных отношениях Блока с Вячеславом Ивановым до революции.

И только много позднее я узнал от самого Вячеслава Иванова, что трогательно и нежно любил он Блока как человека и как поэта. Вячеслав Иванов рассказывал, что каждый раз, когда он приезжал в Петербург, он с вокзала шел в известный цветочный магазин и посылал Александру Александровичу как первый привет букет лучших цветов.

От Блока же я узнал о Вячеславе Иванове, перед отъездом в Москву, только то, что сразу после революции Вячеслав Иванов оказался во враждебном лагере, писал резкие стихи против революции и после появления в печати поэмы «Двенадцать» порвал отношения с Блоком. Но все это было в прошлом, и отношение Вячеслава Иванова к революции и к А. А. Блоку могло теперь измениться. Я очень этого хотел, и, кроме того, я поверил в свою «звезду». Словом, предупреждения Александра Александровича не остановили меня.

В предыдущие мои поездки в Москву я успевал только обегать книжные магазины на Моховой и Большой Никитской и, нагруженный тяжелыми пакетами, спешил в тот же день уехать обратно. В Москве я завел знакомство с издательскими и книжными работниками, связанными с современной книгой: с А. М. Кожебаткиным, С. А. Поляковым, Ал. Н. Чеботаревской, Д. С. Айзенштатом, с С. А. Есениным, который был тогда активным работником лавки писателей.

Теперь мне предстояло ехать в Москву в качестве издателя и выполнить «миссию» собирателя символистов. В Москве, прежде чем отправиться по издательским делам, я забежал в лавку писателей. Мне хотелось повидать там С. Есенина и ответить ему на вопрос о Блоке, на который раньше я ответить не смог. Есенина я не застал и ответил на его вопрос несколько месяцев спустя.

Знакомство с Андреем Белым и Вячеславом Ивановым

Я решил пойти сначала к Андрею Белому, он жил на Садовой, вблизи Кудринской площади.

Вечером квартира Белого показалась мне мрачной, неудобной; чувствовалось отсутствие женской, хозяйской руки.

Белый встретил меня приветливо, я бы сказал, преувеличенно приветливо, быть может, даже театрально-приветливо. Да и все в Белом показалось мне преувеличенным: голова — преувеличена, жесты — преувеличены, а улыбка — преувеличена до гримасы.

Белый рассказал, что совсем недавно вернулся из-за границы. Он был в Швейцарии; там в Дорнахе вместе с антропософами других стран трудился над возведением антропософского храма под руководством доктора Штейнера.

Мировая война расстроила их планы, и антропософы всего мира вынуждены были разъехаться по домам.

Белому пришлось преодолеть бесконечные препятствия, прежде чем он попал домой в Россию. Он подробно рассказал о своих скитаниях. Больше всего ему досталось в Англии, где его заподозрили в шпионаже, задержали и посадили в тюрьму. Только после бесконечных мытарств ему удалось оттуда вырваться.

Рассказ Белого, насыщенный бесчисленными приключениями, я слушал с громадным интересом.

К планам «Алконоста» Белый отнесся с большим вниманием, он рассказывал о происходящих в мире катастрофах, о кризисах культуры, мысли и другом. Он подробно рассказал о «великом докторе», о храме, который антропософы собирались воздвигать, показывал какие-то диаграммы, чертежи и рисунки...

Теперь я уже абсолютно ничего не понимал. Темперамент и страсть, которые Белый вкладывал в свою двухчасовую речь, музыкальный ритм этой речи держали меня в необыкновенном напряжении. Это был какой-то бешеный шквал, обрушившийся на меня.

Напрягая все свои душевные и умственные силы, я пытался следить за мыслью Белого.

Возбужденный, с воспаленными, сверкающими глазами, Белый стремительно бегал из угла в угол, стараясь в чем-то меня убедить. Длинные волосы на его голове развевались, как пламя. Казалось, что вот-вот он весь вспыхнет — и все кризисы и мировые катастрофы разразятся немедленно, и обломки их похоронят нас навеки.

Голова ходила кругом, хотелось на воздух. Я не выдержал и поднялся. Не знаю, что мог бы я сделать.

Белый остановился, посмотрел на меня внимательно и, заметив, должно быть, мое угнетенное состояние, сказал совсем просто:

— Вы, верно, устали с дороги, а я вас заговорил, обрадовался новому человеку. Вы уж меня извините.

— Нет, что вы,— соврал я, собираясь поскорей уйти,— мне было очень интересно вас слушать, особенно ваш рассказ о поездке из Швейцарии домой, и когда вы напишете об этом книгу, ее нужно издать в «Алконосте», и обо всех кризисах нужно написать книгу или ряд книг для «Алконоста». Но пока эти книги еще не написаны, хотелось бы напечатать опубликованную в газете вашу поэму «Христос воскрес». Она небольшая, и я думаю, что мы сумеем ее скоро напечатать.

Белый согласился и просил только зайти за поэмой завтра, он хочет ее прежде просмотреть, не надо ли что поправить.

Выйдя от Белого, я долго ходил по улицам с распухшей головой, стараясь переварить все, что услышал.

Оправившись от первого впечатления и подводя деловые итоги визита к Белому, я пришел к заключению, что дело издателя, оказывается, трудное дело. Но оно все же подвигается.

С Андреем Белым мы скоро подружились, и, часто встречаясь с ним впоследствии, я научился воспринимать его мысли через музыкальный ритм его речи, через художественные жесты и мимику.

Впереди был самый трудный визит — к Вячеславу Иванову. О нем с такой тревогой предупреждал меня Блок.

На следующий день, собравшись с духом, я направился к Вячеславу Иванову. Он жил на Зубовской площади. Прежде чем подняться на лестницу, я призвал все свое мужество, внутренне собрался и был готов встретить любой прием.

Меня встретил пожилой человек с длинными седыми волосами, в очках, с необыкновенно острыми глазами. На слегка согорбившиеся плечи был накинут какой-то черный плащ или крылатка. Весь его облик напоминал птицу.

Пока я представлялся В. Иванову в передней, он был спокоен и любезен. Но как только я сказал, что привез ему привет и книжечку от Александра Блока — глаза Иванова сверкнули и кольнули меня. Он переспросил, от кого привет, будто не расслышал, провел меня в небольшую комнату и предложил сесть. А сам стал медленно и внимательно рассматривать «Соловьиный сад», должно быть, несколько раз прочел надпись Блока и долго молчал. Я был подготовлен Блоком к тому, что наша встреча может оказаться резкой и враждебной.

Помолчав, Вячеслав Иванов начал расспрашивать меня о Блоке. При этом он явно волновался. Видно было, что мой визит и привет от Блока вывели Иванова из равновесия, а его затянувшуюся задумчивость я объяснил нахлынувшими воспоминаниями. Когда он успокоился, то начал спрашивать меня, кто я и может ли он быть мне чем-нибудь полезен.

Я объяснил, что я издатель «Соловьиного сада» и что мне хотелось бы получить для издательства стихи или прозу Вячеслава Иванова.

И опять острый взгляд кольнул меня. Он спросил:

— Скажите, а почему «Альконост» вы печатаете с мягким знаком?

Что мог я ответить? Шут его знает почему. Я никогда не думал над этим вопросом; вероятно, где-нибудь так было напечатано, пытался я вспомнить. Но я молчал, как школьник, который не выучил урока.

А Вячеслав Иванов, как добрый учитель, пришел мне на помощь: он объяснил, что мягкий знак в этом слове употреблять не следует, что слово это имеет такое-то происхождение (а какое — не помню), и рассказал несколько легенд о вещей птице Алконост. Раскрыв рот, я как зачарованный слушал эти интереснейшие легенды.

Я приготовился уже извиниться, но Иванов, не дав мне произнести слова, вдруг резко спросил, а знаю ли я, кто он, и зачем я к нему пришел. Я опять рассказал, зачем пришел к нему, и стал заверять, что знаю его стихи и статьи, назвал несколько его книг. И снова две стрелы вонзились в меня:

— Вы приехали окрашивать меня в красный цвет?

Этот вопрос как обухом по голове ударил меня, я не сразу понял его.

Придя в себя и стараясь быть спокойным, я стал излагать свою «идею» объединить символистов. Но Вячеслав Иванов смотрел на меня с недоверием. Ему, должно быть, казалось, что я хитрю, что в действительности я являюсь посланцем дьявола, пришедшим соблазнять его.

И вот начался допрос с пристрастием: он выпытывал мои политические убеждения, интересовался моим духовным содержанием и забрасывал меня такими вопросами, над которыми мне пришлось бы долго думать, прежде чем ответить. Я молчал, а он продолжал спрашивать и удивлялся моему молчанию. Когда я наконец начинал что-то робко лепетать, он перебивал меня новыми и новыми вопросами. Все мои попытки ответить, отбиться ни к чему не привели.

Я начал горячиться. Наш спор (если спором можно назвать диалог между кошкой и мышью) продолжался долго. Вячеслав Иванов язвил, издевался, возмущался, и все это он проделывал с улыбкой, с какой-то

презрительной мягкостью и снисходительностью. Это было настоящей инквизицией.

Вдруг он прервал себя и заявил:

— Хорошо, я подвергну вас испытанию. Напечатайте «Песни смутного времени» — это мои последние стихи.

Не имея понятия об этих стихах, я, не задумываясь, ответил:

— Хорошо.

Вячеслав Иванов стал вдруг добрее и мягче. Он попросил меня зайти за стихами на следующий день.

Уйдя от него, я испытывал страшную опустошенность и упадок сил, так он меня измотал. Эту ночь я спал как убитый или как человек, перенесший тяжелую болезнь.

На следующий день я снова шел к Вячеславу Иванову и думал, какие разные люди Блок, Белый и Иванов. И этих-то людей я вздумал объединять!

Вспомнились слова Блока: «Для меня еще большой вопрос — нужно ли нас объединять». Действительно, нужно ли? — засомневался и я.

Но я не хотел отступать и все-таки шел. Шел, как на казнь. Я ждал, что начнется новая невыносимая пытка.

Накануне вечером я успел прочитать «Песни смутного времени». Мне достали кадетский журнал «Народоправство», где эти стихи были напечатаны. Это были злые, контрреволюционные стихи. Печатать их было невозможно даже при самом аполитичном отношении к искусству.

Я шел отказываться от них и заявить автору, что это не искусство, а журнальная, мало кому интересная рифмованная публицистика. Отдельной книжкой печатать эти стихи не стоит.

Я знал, что этот визит окончится для меня плохо, но меня утешала одна мысль, что хоть один миг я поторжествую над ним и — отомщу за вчерашнее. Я ненавидел его.

Вячеслав Иванов встретил меня ласково, пригласил в кабинет и стал рассказывать, что жена его больна и что он советовался с ней по поводу моего вчерашнего визита и нашего разговора. Они (он и его жена) решили, что у постели больного не следует говорить о его болезни (больной — это Россия, а болезнь — это революция) и что поэтому он не даст мне «Песни смутного времени». Он готов поверить в чистоту моих намерений. Он не против сотрудничества с Блоком — «художником, перед которым снимает шляпу». О своем же отношении к «Двенадцати» он когда-нибудь мне расскажет. А сейчас он предлагает «Алконосту» свою поэму «Младенчество».

Таким оборотом дела я был потрясен. Со мной разговаривал совсем другой человек. Желая, должно быть, сгладить впечатление вчерашнего дня, Вячеслав Иванов расхваливал «Соловьиный сад» и, что особенно мне было приятно, одобрил удачный формат, шрифт и оформление книжечки. Он много говорил об издательском деле — тонко, умно и интересно. Угостив чаем, он отпустил меня с рукописью.

Не знаю, будет ли у меня еще случай говорить о Вячеславе Иванове, поэтому, забегаая вперед, мне хочется здесь сказать о нем несколько слов.

Вячеслав Иванов был одним из самых просвещенных русских людей нашего времени, энциклопедист в самом широком и глубоком смысле этого слова и обаятельнейший собеседник.

В последующие приезды в Москву, вплоть до его отъезда в Италию, для меня было большим праздником каждое мое посещение В. И. Иванова. Он был мне другом, который с необыкновенной щедростью дарил мне свое время, знания и искусство, и каждый раз, уходя от него, я чувствовал себя обогащенным.

Итак, моя миссия хоть и с трудом, но выполнена.

Я еду обратно в Петербург и везу с собой две поэмы — Андрея Белого и Вячеслава Иванова, две новые книжечки.

Думаю, что Блок будет доволен и порадуетса за меня.

Приехав с вокзала домой, я немедленно позвонил Блоку. Мой телефонный отчет длился больше часа. Прощаясь, Александр Александрович взял с меня слово, что вечером я непременно приду и расскажу ему все подробно.

Послушать меня Блок пригласил Любовь Дмитриевну. Мой рассказ о посещении Белого часто прерывался взрывами смеха. Блок объяснил, что, слушая меня, он ясно представил себе Белого, которого давно не видел. Рассказ о свидании с Вячеславом Ивановым вызвал еще больший интерес. Блок заставил меня вспомнить абсолютно все слова, которые говорил Вячеслав Иванов.

Я понял, что результатом моей московской поездки Блок был заинтересован не меньше меня.

Александр Александрович поздравил меня с успехом, сказал, что верит в «Алконост» и будет всемерно помогать ему во всех начинаниях.

Вслед за «Соловьиным садом» под нашей молодой маркой вскоре вышли поэмы Андрея Белого и Вячеслава Иванова. Первый успех окрылил нас, и мы с Блоком стали думать о более широкой издательской деятельности. Стал вопрос о выпуске журнала «Алконост», об издании поэмы «Двенадцать» с иллюстрациями и других книг.

Так возник «Алконост».

Об издании поэмы «Двенадцать» с иллюстрациями

Первые издательские успехи «Алконоста» вскружили мне голову; я решил, что настало время после небольших книжечек приняться за издание более сложных книг.

Первой такой книгой мне хотелось выпустить поэму Блока «Двенадцать» с иллюстрациями.

К этому времени мои представления об иллюстрированных изданиях были очень скромны. Весь мой опыт в этой области ограничивался знакомством с русскими иллюстрированными изданиями XVIII и первой половины XIX веков в библиотеке Л. И. Жевержеева. Я очень любил эти издания, восторгаюсь ими и сейчас, но иллюстрации далекого прошлого не могли служить примером для произведения современного, написанного в новой, очень сложной форме.

Чем больше я вчитывался в текст поэмы, тем сложнее казалась мне задача иллюстрирования ее. Только жанровые сцены в поэме могли бы быть благодарным материалом для иллюстрирования, но ведь сцены эти сами служат иллюстрациями в поэме. А вот как передать поэтический и музыкальный строй «Двенадцати»? Как быть с Христом — образом отвлеченным, гуманным, непонятным?

За разрешением всех моих сомнений и вопросов следовало, быть может, обратиться прямо к автору, но автора я еще стеснялся, а кроме того, я не считал возможным являться к Блоку с «пустыми» руками, хотелось самому продумать и предложить свой план издания.

Как-то июньским вечером я зашел на Офицерскую к Блоку. Открывая дверь, Александр Александрович спросил меня:

— Не хотите ли пойти со мной в «Привал комедиантов», там сегодня Любовь Дмитриевна читает «Двенадцать»?

Я, конечно, захотел. Захотел по разным причинам: во-первых, я никогда не бывал в «Привале комедиантов», попасть туда мне давно хоте-

лось, во-вторых, я никогда не слышал, как Любовь Дмитриевна читает Блока, и мне почудилось, что ее чтение «Двенадцати» обогатит меня зрительными образами, и наконец приглашение пришлось мне по душе еще и потому, что я надеялся: в эту длинную прогулку по городу мне удастся заговорить с Александром Александровичем о моем намерении издать «Двенадцать».

Дорога с Офицерской до «Привала комедиантов» на Марсово поле была долгая. Мы шли не спеша и успели обсудить все события дня, как делали это каждый вечер за чайным столом у Блока.

Когда дорога подходила к концу, я задал Блоку вопрос: нравится ли ему самому, как Любовь Дмитриевна читает поэму «Двенадцать»?

Блок ответил так:

— Мне трудно судить. Могу только сказать, что мне довелось слушать чтение Любви Дмитриевны несколько раз, в разных аудиториях, и мне показалось, что поэма доходит до слушателей. Интересно,— добавил он,— дойдет ли это чтение до вас? Я предупредил Любовь Дмитриевну, что приглашу вас сегодня послушать ее.

Так, незаметно, за разговором мы, как мне показалось, очень скоро оказались на Марсовом поле.

Об издании «Двенадцати» я так ничего Блоку и не сказал — не хватило дороги.

«Привал комедиантов» был клубом передовых деятелей литературы и искусств. Для широкой публики вход туда был закрыт, и попасть в клуб можно было только по рекомендации лиц, известных руководителям «Привала». Впрочем, широкая публика и не знала о существовании этого клуба.

Вдоль всего Марсова поля растянулась длинная шеренга ампирных зданий, она начинается с Миллионной улицы бывшими Павловскими казармами и замыкается закругленным зданием на углу Мойки. В подвале этого старинного углового здания и помещался «Привал комедиантов».

Раньше это помещение было обыкновенным подвалом, разгороженным редкими досками; в таких подвальных клетушках квартиранты доходных домов хранили свои дрова. Чтобы переоборудовать дровяной подвал в изысканный клуб деятелей искусств, потребовалось немало изобретательности, вкуса и труда художников, архитекторов, строителей и других мастеров своего дела. Замечательные художники-декораторы С. Ю. Судейкин и Борис Григорьев расписали стены и сводчатые потолки «Привала» с изумительным мастерством и блеском.

Обстановка «Привала» была очень скромной, даже строгой: кресел и стульев там не было, вместо них стояли простые деревянные скамьи, обтянутые крашеным холстом. Крохотный помост, прижатый к стене, служил местом для выступлений; там стоял рояль, а возле него табурет. Рядом с зрительным залом примостилась небольшая буфетная стойка и несколько крохотных столиков. Полумрак мягко гармонировал с настенной живописью и своеобразным характером всего помещения. В небольшом зрительном зале могло поместиться, вероятно, не больше пятидесяти человек.

В «Привале комедиантов» не существовало заранее подготовленных программ вечеров; обычно все выступления там носили характер экспромтов. То известный инструменталист или певец исполнял здесь новое музыкальное произведение, то актер показывал фрагмент своей новой роли. В «Привале» можно было услышать последние стихи поэтов: Гумилева и Маяковского, Блока и Хлебникова, Ахматовой и Есенина,

Кузмина и Мандельштама. Бывало, что сами авторы читали свои произведения. Часто после чтения возникали горячие дискуссии.

Так было в «Привале» и с поэмой Александра Блока «Двенадцать», вызвавшей шумную реакцию посетителей первых двух выступлений Любови Дмитриевны.]

Напечатанная впервые в газете в феврале 1918 года, поэма «Двенадцать» вызвала бурные разноречивые отклики. О «Двенадцати» говорили и спорили везде: среди интеллигенции и передовых рабочих, в партийных кругах и в беспартийных. С особенной страстью обсуждало поэму студенчество. Взрывом негодования встретило поэму большинство писателей. Даже близкие друзья поэта осудили «Двенадцать» и отвернулись от Блока.

К моменту моего рассказа прошло около пяти месяцев со дня появления поэмы в печати, а интерес к ней продолжал расти, и только этим необычным интересом можно было объяснить то, что руководство «Привала комедиантов», нарушая все свои традиции вечеров-экспромтов, пригласило Любовь Дмитриевну выступить с чтением «Двенадцати» в третий раз.

Жизнь в «Привале» начиналась поздно, часов в одиннадцать. До двенадцати публика собиралась вяло, оживление же наступало обычно после полуночи, когда в театрах кончались спектакли.

Не знаю, бывал ли Александр Александрович в «Привале» раньше, и если он там и бывал, то, должно быть, редко. При входе его никто не узнал. Дежурный член клуба обратился к нам с просьбой назвать свои фамилии, а услышав фамилию Блока, растерялся, засуетился, пригласил нас войти, а сам быстро бросился вперед, желая, должно быть, кого-то предупредить.

Очень скоро навстречу нам выбежал крайне взволнованный молодой человек актерской внешности. Еще издали он начал приветствовать Блока возгласами и жестами, выражая свою радость гостью.

Это был Борис Пронин. Бывший актер, он на этот раз встречал нас как директор «Привала комедиантов». Он принадлежал к актерам старой школы, актерам пышных и повышенных интонаций и жестов на сцене. И в жизни он сохранил эту внешнюю театральность, хотя был человеком очень простым и сердечным. Всегда открытый, веселый, доброжелательный и шумный, он пользовался всеобщей любовью.

Пронин был потрясен и вместе с тем рад неожиданному гостю. Он обрушил на Александра Александровича поток возгласов: «это великолепно», «это просто замечательно», «потрясающе», «необыкновенно», «как я рад». «как счастлив», «милый Александр Александрович, если бы вы знали, какой подарок вы сделали нам...», — видно было, что ему не хватает слов, чтобы выразить свои чувства.

— Здравствуйте,— спокойно улыбаясь, прервал его Блок.— Позвольте представить вам...— он назвал меня,— мы пришли к вам послушать Любовь Дмитриевну. Вы позволите?

Тут Пронин бросился ко мне, и будто сто лет знаком со мною, обнял меня за талию и наговорил мне кучу любезностей, которых не успел досказать Блоку:

— Какой сегодня праздник в «Привале», какой замечательный сюрприз, что вы пришли к нам вместе с Александром Александровичем,— и пр. и пр.

Александр Александрович тем временем отошел в сторону и оттуда сочувственно и озорно улыбался мне. Пронин вдруг что-то вспомнил, схватил под руку Блока, а потом и меня и уволок нас в какую-то каморку, которую назвал своим кабинетом, налил три стакана вина и произ-

нес взволнованный тост в честь Блока и меня, и так как в волнении он забыл мое имя или просто не расслышал его, то именовал меня «наш высокий гость» — и так несколько раз.

Блоку понравилось это выражение, он запомнил его, и на следующий день, открывая мне дверь у себя на Офицерской, он торжественно и громко провозгласил:

— Пожаловал наш высокий гость.

Тосты Пронина прервала пришедшая Любовь Дмитриевна, она просила директора выпустить ее поскорее на эстраду. Было одиннадцать часов, гостей было еще очень мало. Пронин долго уговаривал Любовь Дмитриевну, а потом эффектно, по-театральному упал на колени и стал молить:

— Душечка, Любовь Дмитриевна, не губите, побудьте с нами, пождидите немного, вот скоро соберется публика, вы первая выступите, и мы сразу вас отпустим. Умоляю, ну, хоть полчасика. У нас сегодня такой праздник, такой день!

Но Любовь Дмитриевна отказалась ждать: она объяснила, что куда-то очень спешит.

В зрительном зале мы встали у задней стены, чтобы лучше видеть реакцию зрителей на чтение поэмы, но в зале, кроме нескольких унылых фигур, сидевших впереди, никого не было.

Не стану здесь подробно рассказывать о том, как Любовь Дмитриевна читала «Двенадцать». Скажу только, что поэму она исполнила с таким искусством, какого мне впоследствии не пришлось услышать ни у одного прославленного артиста.

Любовь Дмитриевна — профессиональная актриса, поэтому и исполнение было актерским; она использовала весь арсенал приемов, средств и красок актерского мастерства. Исполнение было острим и интересным, особенно пленило меня сочетание низкого красивого голоса актрисы с грубоватыми интонациями героев поэмы, в которых слышались то народная частушка, то протяжная народная песня. Главные и второстепенные герои поэмы были показаны Любовью Дмитриевной выпукло и искусно.

А Христос так и остался отвлеченным, туманным и непонятым.

Исполнительница стремилась передать и сложный многообразный музыкальный ритм поэмы и в этом достигла бесспорного успеха. Исполнение было яркое и интересное.

В доме Блоков на Офицерской долго не ослабевал интерес к отзывам и высказываниям о «Двенадцати». Мать поэта — Александра Андреевна, Любовь Дмитриевна и в особенности сам поэт с жадным интересом ловили каждое новое мнение, каждое новое слово о поэме.

Однажды я принес с улицы рассказ о том, как на Невском проспекте человек, шедший сзади меня, читал кому-то вслух отрывок из «Двенадцати». Интерес Блоков к этому эпизоду был поразителен; меня забросали вопросами: какой отрывок читал прохожий? Какого он был возраста? Как одет? И кем он мог быть по профессии?

Когда на следующий день после похода в «Привал комедиантов» я делился на Офицерской своими впечатлениями, Блоки прерывали мой рассказ бесконечными вопросами. В основном это были вопросы Любви Дмитриевны, которая проверяла на мне отдельные части поэмы. В своих ответах я не мог скрыть, что образ Христа и в исполнении Любви Дмитриевны остался туманным. При этих словах я заметил, как Александр Александрович, улыбаясь, переглянулся с женой, и мне захоте-

лось узнать, чем были вызваны улыбки. Блок объяснил, что мнение о туманном образе Христа ему часто приходилось слышать.

В этот вечер как-то само собою вышло — я рассказал о своем намерении издать поэму «Двенадцать» с иллюстрациями, рассказал и о своих сомнениях.

— А какого художника думаете вы привлечь к этой работе?

Узнав о том, что я думал о художнике Ю. П. Анненкове, Блок спросил:

— Это тот Анненков, ваш гимназический товарищ, который сделал марку «Алконоста»? — И, помолчав немного, добавил: — Вы думаете, он подходит для этой работы?

Я откровенно признался, что других художников не знаю, но, по моему, Анненков так талантлив, что я в нем не сомневаюсь. Чтобы успокоить Блока, я предложил сделать на пробу несколько эскизов, и в зависимости от качества этих эскизов будем решать: поручить ли иллюстрации Анненкову или искать другого художника.

Блок улыбнулся. Мне показалось, что он подумал: «Странный человек этот Алянский: знает одного-единственного художника, и этого знает только потому, что учился с ним в гимназии. И только на этом основании он готов поручить ему иллюстрации к «Двенадцати».

— Ну что ж, попробуем,— сказал Александр Александрович.

С Юрием Анненковым я был знаком с детских лет, он был на два класса старше меня. В гимназии Анненков отличался живым, веселым нравом и острыми, очень смешными карикатурами на товарищей и учителей. По окончании гимназии он поступил в Петербургский университет и одновременно учился рисованию в частной студии, а через несколько лет уехал в Париж совершенствовать свое искусство у известного французского художника Валлотона.

Одаренный от природы склонностью к карикатуре и острому портрету, Анненков достиг в этой области успеха и признания, но успех этот его не удовлетворял. В каких смешных областях изобразительного искусства Анненков не испробовал своих сил! Он выступает на выставках с живописными полотнами, иллюстрирует книги, пишет портреты, делает карикатуры для журналов. Любая техника доступна ему (масло, акварель, карандаш, перо и др.).

Не избежал Анненков и увлечения театральным искусством. В Эрмитажном театре он ставит инсценировку «Скверного анекдота» Достоевского как постановщик и декоратор. Это был очень интересный спектакль, который запомнился мне на всю жизнь. Анненков выступает первым постановщиком и оформителем массового народного зрелища на Дворцовой площади Петрограда.

Трудно перечислить все, что этот неутомимый талантливый человек сделал в первые годы революции.

Анненков отдал дань почти всем художественным направлениям первых лет революции, проявившим себя в разнообразном изобилии.

Вернувшись из Парижа зрелым художником, Анненков довольно скоро занял заметное положение среди молодых художников, тяготевавших к левым течениям в изобразительном искусстве.

Предлагая Александру Александровичу поручить иллюстрации к «Двенадцати» Анненкову, я, конечно, рисковал, потому что из многих бесед с Блоком знал, что он отнюдь не является поклонником крайних левых направлений в искусстве.

Анненкову я ничего не рассказал о разговоре с Блоком. Предлагая ему сделать несколько эскизов, я всецело полагался на его давнишнюю любовь к поэзии Блока и на его замечательную способность проникать

в художественную ткань литературного произведения. Я посоветовал ему послушать «Двенадцать» в исполнении Любви Дмитриевны, но Анненков моим советом не воспользовался, так как вскоре переехал в Москву.

Первые эскизы Анненкова меня озадачили. Передо мною лежали непонятные кубистические знаки. Анненков по моему лицу понял, что его эскизы разочаровали меня, и когда я прямо об этом ему сказал и добавил, что не могу их показать Блоку,— он попросил дать ему еще время, чтобы подумать и еще поработать. Анненков не пожалел времени и сил, он серьезно потрудился над переделкой эскизов.

Примерно к середине августа эскизы были доведены до такого состояния, что я решил показать их Блоку. Не скрою, я очень волновался, направляясь с эскизами к поэту: я почему-то думал, что он преубежден к Анненкову, не верит в него и обязательно забракует его работу.

Вопреки моему предчувствию Александр Александрович внимательно рассматривал рисунки. Сразу ему понравились два рисунка: «убитая Катька» и «пес» (к словам поэмы: «только нищий пес голодный ковыляет позади...»).

— Это очень хорошо.— воскликнул Александр Александрович. Он заметно повеселел, несколько раз возвращался к достоинствам отмеченных рисунков, удовлетворенный, показывал их матери и жене и, заметив, должно быть, мое волнение, поспешил успокоить: — Вот видите, и маме и Любви Дмитриевне рисунки нравятся.

И этой похвале я так был рад, будто сам сделал эти рисунки.

Дольше других Блок рассматривал последний страничный рисунок, на котором был изображен Христос.

Я знал, что этот рисунок долго не давался Анненкову и ему самому совсем не нравился: он не увидел в поэме Христа. Он просил меня хорошо запомнить все, что Блок скажет об этом рисунке. Я попросил Александра Александровича подробнее рассказать, каким он представляет себе Христа в поэме.

Я слушал рассказ Блока о том, как возник образ Христа в «Двенадцати», как стихотворение, как поэму, и решил: как приду домой — обязательно запишу его. Но испугавшись вдруг, что, пока дойду домой, могу что-то утратить, я попросил Блока написать Анненкову свой отзыв о рисунках, что он тут же при мне и сделал.

ПИСЬМО А. А. БЛОКА — Ю. П. АННЕНКОВУ

12 августа 1918. [Петроград]

Многоуважаемый Юрий Павлович.

Пишу Вам по возможности кратко и деловито, потому что Самуил Миронович ждет и завтра должен отправить письмо Вам.

Рисунок к «Двенадцати» я страшно боялся и даже говорить с Вами боялся. Сейчас, насмотревшись на них, хочу сказать Вам, что разные углы, части, художественные мысли — мне невыразимо близки и дороги, а общее — более чем приемлемо,— т. е. просто я ничего подобного не ждал, почти Вас не зная.

Для меня лично всего бесспорнее — убитая Катька (большой рисунок) и пес (отдельно — небольшой рисунок). Эти оба в целом доставляют мне большую артистическую радость, и думаю, если бы мы столь разные и разных поколений,— говорили с Вами сейчас,— мы многое сумели бы друг другу сказать полусловами. Приходится писать, к сожалению, что гораздо менее убедительно.

Писать приходится вот почему: чем более для меня приемлемо все вместе и чем дороже отдельные части, тем решительнее я должен спорить с двумя вещами, а именно: 1) с Катькой отдельно (с папироской); 2) с Христом.

1) «Катька» — великолепный рисунок сам по себе, наименее оригинальный вообще, думаю, что и наиболее «не ваш». Это — не Катька вовсе: Катька — здоровая, толстомордая, страстная, курносая русская девка; свежая, простая, добрая — здорово ругается, проливает слезы над романами, отчаянно целуется; всему этому не противоречит и з я щ е с т в о всей середины Вашего большого рисунка (два согнутые пальца руки и окружающее). Хорошо тоже, что крестик выпал (тоже — на большом рисунке). Рот свежий, «масса зубов», чувственный (на маленьком рисунке он — старый). «Эспри» поглубже и понелепей (может быть, без бабочки). «Толстомордость» очень важна (здоровая и чистая, даже — до детскости). Папироски лучше не надо (может быть, она не курит). Я бы сказал, что в маленьком рисунке у Вас неожиданный и нигде больше не повторяющийся неприятный налет «сатириконства» (Вам совершенно чуждый).

2) О Христе: Он совсем не такой: маленький, согнулся, как пещера, аккуратно несет флаг и уходит. «Христос с флагом» — это ведь — «и так и не так». Знаете ли Вы (у меня — через всю жизнь), что, когда флаг бьется под ветром (за дождем или за снегом и г л а в н о е — за ночной темнотой), то под ним мыслится кто-то огромный, как-то к нему относящийся (не держит, не несет, а как — не умею сказать). Вообще это самое трудное, можно только найти, но сказать я не умею, как, может быть, хуже всего сумел сказать и в «Двенадцати» (по существу, однако, не отказываюсь, несмотря на все критики).

Если бы из левого верхнего угла «убийства Катьки» дохнуло густым снегом и сквозь него — Христом, — это была бы и с ч е р п ы в а ю щ а я о б л о ж к а. Еще так могу сказать.

Теперь еще: у Петьки с ножом хорош к у х о н н ы й н о ж в руке; но рот опять старый. А на целом я опять — смотрел, смотрел и вдруг вспомнил: Христос... Дюрера! (т. е. нечто совершенно не относящееся сюда, п о с т о р о н н е е воспоминание).

Наконец, последнее: мне было бы страшно жалко уменьшать рисунки. Нельзя ли, по-Вашему, напротив, увеличить некоторые и издать всю книгу в размерах «убийства Катьки», которое, по-моему, настолько *grande style*, что может быть увеличено еще хоть до размеров плаката и все-таки не потеряет от того. Об увеличении и уменьшении уж Вам судить.

Вот, кажется, все главное по части «критики». Мог бы написать еще страниц десять, но тороплюсь. Крепко жму Вашу руку.

Александр Блок.

Вернувшись домой, я находился еще под свежим впечатлением рассказа Блока. Мне захотелось проверить свою память, и я прочел письмо Блока Анненкову, которое он дал мне для отправки. С изумлением я обнаружил, что в письме было все, что Блок говорил о рисунках, за исключением рассказа о том, как возник в поэме образ Христа. Рассказ этот произвел на меня глубокое впечатление, и я никак не мог понять, почему рассказ Блока не попал в письмо к Анненкову.

Звонить на Офицерскую было поздно, я решил сделать это завтра и здесь же записал рассказ, пока он не забылся.

Утром позвонил Блоку, рассказал ему, что обнаружил в письме к Анненкову пропуск рассказа о Христе, что я записал его по памяти и хочу тоже послать его Анненкову. Я спросил:

— Почему рассказ не попал в письмо, забыли?

— Нет, не забыл. Мне кажется, что главное, о чем я рассказывал вам, гораздо лучше сказано в самой поэме. Но если вы считаете, что мой рассказ поможет художнику лучше показать последнюю сцену поэмы, напишите ему.

Привожу здесь рассказ А. А. Блока о том, как возник образ Христа в поэме «Двенадцать», записанный мною по памяти 12 августа 1918 года:

«Случалось ли вам ходить по улицам города темной ночью, в снежную метель или в дождь, когда ветер рвет и треплет все вокруг? Когда снежные хлопья спят глаза?

Идешь, едва держась на ногах, и думаешь: как бы тебя не опрокинуло, не смело... Ветер с такой силой раскачивает тяжелые висячие фонари, что кажется, вот-вот они сорвутся и вдребезги разобьются.

А снег вьется все сильнее и сильнее, завивая снежные столбы. Вьюге некуда деваться в узких улицах, она мечется во все стороны, накапливая силы, чтобы вырваться на простор. Но простора нет. Вьюга крутится, образуя белую пелену, сквозь которую все окружающее теряет свои очертания и как бы расплывается.

Вдруг в ближайшем переулке мелькнет светлое или освещенное пятно. Оно маячит и неудержимо тянет к себе. Быть может, это большой плещущий флаг или сорванный ветром плакат?

Светлое пятно быстро растет, становится огромным и вдруг приобретает неопределенную форму, превращаясь в силуэт чего-то идущего или плывущего в воздухе.

Прикованный и замороженный тянешься за этим чудесным пятном и нет сил оторваться от него.

Я люблю ходить по улицам города в такие ночи, когда природа буйствует.

Вот в одну такую, на редкость вьюжную, зимнюю ночь мне и пришло в голову светлое пятно; оно росло, становилось огромным. Оно волновало и влекло. За этим огромным мне мыслились Двенадцать и Христос».

Высказанные в письме Блока к Анненкову замечания о героях поэмы Катке и Петке были точны и конкретны, а дополнительные характеристики их, особенно Катки, были настолько исчерпывающи и так зримы, что они помогли художнику создать героев, которые останутся в искусстве¹. Что же касается образа Христа, то он так и не получился — А. Блок считал, что это произошло по вине автора.

Последние рисунки к «Двенадцати» Анненков долго задерживал, и за ними мне пришлось несколько раз выезжать в Москву. Об одной, последней, поездке за рисунками стоит рассказать отдельно.

Поездка в Москву в канун первой годовщины Октября

В одну из поездок к Анненкову за последними рисунками к поэме «Двенадцать» я попал в Москву в предпраздничные дни. Столица готовилась отметить первую годовщину советской власти.

¹ Поэма «Двенадцать» с иллюстрациями Ю. Анненкова вышла впервые в конце 1918 года. Напечатана в типографии Голике и Вильборг, по желанию автора — в большом формате. Первый тираж этого издания был 300 экземпляров по подписке, второй тираж тоже в большом формате вышел в издании Наркомпроса тиражом в 10 тысяч экземпляров.

Анненкова я дома не застал и по совету близких отправился искать его в центр города. Мне сказали, что этот район с площадями и улицами ему поручено оформить к празднику, что сейчас он занят этой работой и за последние несколько дней почти не показывается домой.

Из Шереметевского переулка, где жили Анненковы, через Воздвиженку я пошел по Моховой и только в конце Моховой, где начинался Охотный ряд, издали заметил признаки подготовки к оформлению праздника.

Охотный ряд — это был ряд небольших лавчонок. Они растянулись по тротуару, где сейчас возвышается гостиница «Москва». Лавчонки эти были набиты всякой снедью: висели туши мяса, стояли лоханы с живой рыбой, высились холмы свежих овощей, а то, что не помещалось внутри лавок, выставлялось снаружи прямо на тротуар в бочках, корзинах и ведрах. Это были свежие и соленые огурцы, квашеная капуста, соленые и маринованные грибы и всякие другие вкусности.

Но и этого места торговцам не хватало. По кромке тротуара, примыкавшей к проезжей части, растянулась по всему Охотному ряду линия деревянных ларьков, обращенных лицевыми фасадами к каменным лавкам. Таким образом покупатель Охотного — или, как его еще звали, «обжорного» — ряда попадал в хаос всевозможных запахов и звуков: кричат птицы — гуси, утки, куры, и все это смешивается с зазываниями торговцев, руганью...

Задние же фасады ларьков, обращенные к проезжей части, представляли довольно убогое зрелище — это были разные по высоте и ширине постройки с досками, прибитыми вкривь и вкось, а к тому же каждый ларек был покрашен торговцами по своему вкусу, вернее без всякого вкуса.

Подходя на этот раз к Охотному ряду, я еще издали был поражен тем, как преобразилась линия задних фасадов ларьков. Весь ряд был покрашен яркими красками: полосами, волнистыми линиями, кругами. Вблизи казалось, что это неорганизованный беспокойный рисунок, но стоило зрителю отойти на некоторое расстояние или перейти на другую сторону улицы, как весь этот хаос преображался, подчиненный единому декоративному и цветовому замыслу художника. Раскрашенная линия ларьков выглядела как яркое, веселое, праздничное украшение улицы, способное в самый пасмурный осенний день поднять дух людей.

Приближаясь к площади Большого театра, я увидел громадную толпу людей, окружившую скверик возле театра. С трудом протолкавшись вперед, я увидел удивительное зрелище.

Посреди сквера стоял человек небольшого роста в длинной рабочей блузе, измазанной красками. Он держал в руках пожарный брандспойт и поливал им ярко-красной краской ствол и облетевшую крону дерева. Несколько других деревьев в сквере были уже покрашены в желтую и синюю краску. Тут же в сквере стояли бочки с красками, а вдали находилось несколько пожарных в касках.

Толпа стояла как замороженная и не отрывая глаз следила за странным человеком.

Вдруг в толпе кто-то крикнул:

— Товарищи, да ведь он сбежал из сумасшедшего дома, смотрите, сейчас зальет нас всех краской. Смотрите, как безобразничает!

Толпа вздрогнула, люди шарахнулись, наступая друг другу на ноги, но никто не расхохотался. Любопытство приковало всех. Настороженно и с опаской люди наблюдали за всеми движениями человека в блузе и готовы были в опасный момент броситься прочь.

Через некоторое время наступило успокоение. Все будто убедились, что человек с брандспойтом не собирается бросаться на зрителей. На-

пряжение сразу ослабло. Разбившись на группки, люди со страстью обсуждали происходящее. Каких только толков здесь не было, какими только словами не поносили поливальщика деревьев, а заодно и советскую власть за это безобразие, которое творится среди бела дня. Однако в этом хоре брани были голоса людей, говорившие, что это советская власть украшает город к предстоящей годовщине. Такое предположение вызвало новую волну негодования.

В человеке в длинной блузе, вызвавшем столько проклятий, я давно узнал моего друга Анненкова и ждал, когда он освободится. Когда работа закончилась, Анненков с пожарниками убрали весь инвентарь, сдвинули опустевшие бочки, и художник скинул с себя рабочую блузу. Теперь никто не узнал бы в нем того «сумасшедшего» с брандспойтом.

Анненков, несмотря на усталость, повел меня показывать, как оформляется центр города к празднику. Перейдя дорогу к гостинице «Континенталь», издали посмотрели на раскрашенные деревья, обогнули площадь, прошли Театральный проезд, Неглинную, Петровку. Всюду работа по украшению была в полном разгаре, работала большая группа художников. Анненков подходил к ним, смотрел эскизы и о чем-то говорил.

Все, что я тогда увидел, не походило на то, как теперь украшаются улицы к большому празднику. Портреты, лозунги и иллюстрации не служили тогда предметами для украшения города.

На мои вопросы Анненков объяснил, что художники поставили себе одну большую и непростую задачу — яркими цветовыми декоративными средствами украсить город к празднику. Нам хочется, сказал он, поднять дух озабоченных, усталых людей, развлечь их. Мы знаем, что организованный яркий, сверкающий цвет способен вызвать улыбку, создать хорошее настроение.

Юбилей «Алконоста»

Первого марта 1919 года исполнялось девять месяцев с основания издательства «Алконост».

В бурное, полное событиями время срок в девять месяцев показался нам солидным и вполне достаточным, чтобы его отпраздновать. Ждать до года было очень долго.

Я жил тогда в доме Толстого на Троицкой улице. Это был громадный дом, занимавший большой квартал. Построенный незадолго до войны, дом был рассчитан главным образом на богатых жильцов. Но наряду с большими барскими квартирами один подъезд в доме был отведен для жильцов, снимавших отдельные комнаты. Там все было устроено, как в новых больших гостиницах: такие же длинные коридоры и такие же удобные комнаты с маленькой передней и нишей для кровати.

В одной из таких комнат я жил, и в ней решено было отпраздновать юбилей «Алконоста».

Первым на юбилей пришел Александр Александрович Блок. Он открыл приготовленный мною альбом приветствием:

«Дорогой Самуил Миронович. Сегодня весь день я думал об «Алконосте». Вы сами не знали, какое имя дали издательству. Будет «Алконост», и будет он в истории, потому что все, что начато в 1918 году, в истории будет. И очень важно то, что начат он в июне (а не раньше), потому что каждый месяц, если не каждый день этого года, равен году или десятку лет. Да будет Алконост!

*Александр Блок.
1 марта 1919».*

Незадолго до юбилея вышел первый номер альманаха «Записки мечтателей», и Александр Александрович предложил воспользоваться юбилеем, чтобы обсудить «Записки» и поговорить о том, каковы должны быть дальнейшие номера альманаха, о расширении круга тем и о привлечении новых авторов.

Помимо основных писателей «Алконоста»: Андрея Белого, Алексея Ремизова, Р. Иванова-Разумника, Конст. Эрберга — было решено пригласить на юбилей некоторых деятелей Театрального отдела Наркѳмпроса, где в то время работали и А. А. Блок и я. Это были Вс. Эм. Мейерхольд, известный профессор-пушкинист П. О. Морозов и переводчик, театральный деятель Вл. Н. Соловьев. Из художников были приглашены Ю. П. Анненков и молодой график Н. Н. Куприянов.

Среди гостей случайно оказалась одна дама — это была О. А. Глебова-Судейкина, жена художника Судейкина. Она ничего не знала о юбилее, была где-то близко и забежала на минутку в то время, когда все гости сидели за столом. Почти все здесь знали Ольгу Афанасьевну, обрадовались ей. Кто-то назвал ее «нечаянной радостью», и все единодушно упростили ее остаться с нами.

Весь этот день был для меня полон хлопот: нужно было достать вина и какой-нибудь еды. Задача трудная, но в результате некоторых усилий и сложных ухищрений было предложено роскошное по тем временам угощение. Гвоздем стола было блюдо — гордость главного повара Дома ученых, бывшего раньше поваром «Виллы Родэ». Фаршмак из воблы и мороженой картошки имел большой успех, думаю, однако, что и не такое знатное блюдо имело бы успех. На столе была еще селедка, вобла и какие-то коржики. К этой закуске удалось раздобыть три бутылки чистого спирта.

Когда все гости собрались, Александр Александрович начал разговор о «Записках мечтателей», но длился он недолго. Приготовление стола было закончено, гостей пригласили придвинуться к столу и там продолжать беседу. Но у стола разговор не клеился, пошли юбилейные речи и тосты. Попытки Блока вернуться к обсуждению ни к чему не привели. Разговор вспыхивал на мгновение и тут же затухал.

Для обсуждения серьезных вопросов оказалось многовато вина и маловато закуски. Гости скоро захмелели, и, как бывает в таких случаях, голоса становились громче, а речи нескладней. Становилось трудно следить за мыслью говоривших.

Деловой разговор так и не состоялся.

Обслуживая гостей как хозяин, я обратил внимание на поведение «тишайшего» Алексея Михайловича Ремизова. Он был известен как великий трезвенник, который хмельного в рот не берет. И вот я вижу, что Ремизов с полной рюмкой в руке, стоя, произносит несвязную речь. Язык его заплетается, и невозможно понять, о чем же он так горячо говорит. Сидящие с ним рядом Ю. Анненков и В. Соловьев, сильно охмелевшие, смеются и весело подбадривают оратора, а оратор никак не может остановиться. Вот он начинает повышать голос и чего-то требует, а чего именно — понять невозможно. Посмотрел на других гостей, но никто из них не обращал внимания на Ремизова. Изумленный, я стал наблюдать за ним и вот что обнаружил. Наполненную рюмку Ремизов после каждого тоста ставил обратно на стол нетронутой и незаметно придвигал ее к прибору охмелевшего соседа, а к себе придвигал пустую рюмку этого соседа. Ему наливали новую, и он опять вставал и опять произносил пьяный тост. От тоста к тосту Ремизов заметно «хмелел». Он так естественно изображал пьянеющего человека, что некоторые гости, собираясь домой, решили проводить его до дому, так как им показалось, что Ремизов очень уж неуверенно держится на ногах. Его стали искать, но

так и не нашли, никто не заметил, как он ушел домой. А мне не хотелось разоблачать мистификацию. Через несколько дней я узнал, что вместе со мной за Ремизовым незаметно наблюдал Вс. Эм. Мейерхольд. Он рассказывал, что получил в этот вечер художественное наслаждение от того, как правдиво и тонко Ремизов изображал постепенно пьянеющего человека.

— Какой чудесный актер! — воскликнул Всеволод Эмильевич, рассказывая об этом вечере.

В то время Петроград был на осадном положении, и по приказу властей после определенного часа хождение по улицам без специального пропуска запрещалось. По городу ходили ночные патрули, они проверяли не только запоздавших пешеходов на улицах, но заходили иногда и в квартиры для проверки живущих в них, а главным образом не живущих, а скрывающихся — таких было довольно много, — проверяли людей, о которых ничего не было известно домкомбеду.

Мои гости никаких пропусков, конечно, не имели, поэтому большинство из них разошлось по домам до запретного часа. Остались только те, кто либо жил далеко, либо был расположен еще посидеть. Остались: Блок, Белый, Анненков и Соловьев. Некоторое время оставшиеся сидели за столом, допивая вино, но постепенно сон начал одолевать гостей. Анненков с Соловьевым устроились кое-как на оттоманке и скоро заснули, Белый уснул, сидя в кресле, а Блок и я оказались крепче других, мы уселись у письменного стола, который стоял у окна, как раз против передней, и о чем-то полусшепотом говорили.

Наконец и нас одолела дремота, мы прикорнули здесь же у стола.

Осторожный стук в дверь разбудил меня. Нет, это не патруль, подумал я, те стучат громко, по-хозяйски, те не стесняются разбудить, — нет, это не они.

Однако кто же это мог быть в столь поздний час?

Открыв дверь, я увидел человека в кожаной куртке и двоих матросов, увешанных патронными лентами, с винтовками за плечами.

— Вы здесь хозяин? — спросил человек в кожаном, входя в переднюю.

— Да, я, но я очень прошу вас говорить потише, там у меня несколько человек спят, не хотелось бы их будить.

— Имеется ли среди них кто-нибудь из посторонних, не прописанных здесь? — спросил он потише.

— Да, имеются. Мы праздновали день рождения, и живущим далеко пришлось остаться. Вон видите, у стола дремлет поэт Александр Блок, — показал я ему издали дремавшего Александра Александровича, — он остался здесь потому, что живет очень далеко, в конце Офицерской, угол Пряжки, он не успел бы домой до запретного часа.

— Как, Александр Блок? Тот самый Александр Блок, который написал «Двенадцать»? — спросил он шепотом и вышел из передней в общий коридор, жестом приглашая и меня выйти.

— Да, тот самый Александр Александрович Блок.

— А еще кто у вас остался? — спросил он, прикрывая дверь. Я назвал оставшихся и сказал, что все эти люди причастны к искусству.

— А почему вы не сообщили в домкомбед о том, что у вас остаются ночевать гости?

— Да потому, что никто не собирался оставаться, просто они задержались дольше, чем думали.

Человек в кожаной куртке на минуту задумался.

— Хорошо. На этот раз я вам поверю, а на будущее время, если не

успеете предварительно, сообщайте об оставшихся у вас в домкомбед сразу после наступления запретного часа. А на этот раз вам повезло. Хорошо, что я сам оказался с патрулем, иначе ваша именинная ночь была бы нарушена: всем вам пришлось бы прогуляться для выяснения личности. Запомните это, — закончил он, повернулся, дал знак матросам, и все они удалились.

Я остался у дверей и глазами провожал патруль. Пройдя несколько шагов, человек в кожаной куртке обернулся и, заметив меня, вернулся, подошел ко мне близко и спросил:

— А Александра Блока неужели вы не смогли уложить куда-нибудь? — В вопросе была резкость и досада. Не дождавшись моего ответа, он повернулся, догнал матросов и что-то тихо начал им говорить. Он был взволнован, и мне показалось, что он объясняет матросам, кто такой Александр Блок.

На следующий день я узнал в домкомбеде, что с патрулем приходил сам комендант Петрограда.

Оказывается, он жил в нашем доме и захотел лично проверить несколько наиболее буржуазных квартир, а ко мне он пришел потому, что в домкомбеде заметили, что у меня собрались гости, и ему об этом доложили.

Два литературных вечера в Москве

В первые годы революции мало издавали современную художественную литературу. Крупные частные издательства позакрывались, государственные издательства начали свою деятельность с издания политических книг, а из художественной литературы печатали классиков. И только небольшие кооперативные издательства да несколько частных лиц занимались выпуском современной художественной литературы. Книг современных писателей на рынке было так мало, что они и в ничтожной степени не могли удовлетворить спроса.

И вот на улицах Петербурга и Москвы все чаще и чаще начали появляться разноцветные афиши, извещавшие об авторских литературных вечерах. В народе эти вечера называли «устной литературой» или «живой литературой».

Живые встречи с писателями особенно полюбились москвичам. Места на таких литературных вечерах охотно и быстро заполнялись молодежью. И где бы эти встречи ни происходили, будь то в модном «Кафе поэтов», в Союзе писателей, во Дворце искусств, в Доме печати или в аудитории Политехнического музея, попасть туда всегда было трудно.

В 1917—1919 годах аудитория Политехнического музея была излюбленным местом митингов, горячих политических споров.

К 1920 году, когда политические страсти несколько поутихли, митинги в Политехническом музее сменили доклады и дискуссии по разным вопросам жизни, религии, искусства и литературы.

В аудитории Политехнического музея всегда происходило что-нибудь интересное, и у главного входа постоянно толпилась молодежь, чающая попасть внутрь помещения.

Там же с авторскими литературными вечерами выступали и виднейшие писатели.

Мне удалось попасть на такие вечера два раза.

Первый раз это было в начале 1920 года.

Приехав в Москву и проходя как-то мимо Политехнического музея, я натолкнулся на обычную в этом месте толпу гудящей молодежи. Подойдя поближе, узнал, что здесь сегодня будет встреча с Владимиром Маяковским.

Мне захотелось попасть на эту встречу с поэтом. Это было грудно, но я все же попал. Мне приходилось бывать на выступлениях Маяковского в Петербурге, тогда он был футуристом и ходил в желтой кофте, интересно, каков он сейчас?

На лестнице, в проходах и особенно в аудитории было очень шумно, а когда на эстраде появился Маяковский, шум еще больше усилился, раздались какие-то резкие выкрики, рев, аплодисменты и свист. Трудно было понять, чего здесь было больше — восхищения или негодования.

На Маяковском был нормальный пиджак, и он выглядел человеком вполне благополучным. Могучим, повелительным голосом он перекрыл весь этот шум и начал громко и ясно читать стихи. После каждого стихотворения шум возобновлялся. Так продолжалось все первое отделение, пока Маяковский не ушел за кулисы. Объявили перерыв. И тут публика, как по сигналу, сорвалась со своих мест. Люди бросились к эстраде. Опять шум, давка и вдруг — удивительно эффектное зрелище: на эстраду полетели бумажки. Их было очень много, они кружились и падали на эстраду, как снег.

Захваченный этим невиданным зрелищем, я спросил соседа, что это значит? Он объяснил мне, что по существующей в Политехническом музее традиции второе отделение вечера отводится под ответы на вопросы и что самое интересное в этом вечере предстоит во втором отделении, когда Маяковский будет отвечать на все эти записки. Разъяснение соседа еще больше удивило меня. У нас, в Питере, такого не бывает, подумал я, да и какие могут быть вопросы к поэту по поводу прочитанных стихов? Но вопросов соседу я больше не задавал, не хотелось показаться назойливым провинциалом. Решил ждать.

Маяковский долго собирал записки, читал их и отвечал. Оказалось, вопросы не имели никакого отношения к стихам, они касались главным образом общих вопросов политики, литературы и искусства; были острые вопросы, антисоветские, немало было и пошлых. Все это походило на игру в вопросы-ответы. А в этой игре Маяковский имел большой опыт и, должно быть, любил ее. Он отвечал быстро, был очень находчив и остроумен.

Москвичи рассказывали мне позднее, что и на других вечерах, особенно в Политехническом, любители этой игры в вопросы-ответы приходили на вечер или прямо на второе отделение с заготовленными дома записками, приходили ради веселого развлечения или ради неожиданного невеселого скандала.

Вернувшись из Москвы, я в тот же день рассказывал на Офицерской у Блоков о моих московских впечатлениях, рассказал, конечно, подробно и о вечере Вл. Маяковского.

Месяца три спустя за чайным столом у Блоков обсуждался в семейном кругу вопрос, ехать ли Александру Александровичу в Москву или отказаться от приглашения ряда московских организаций выступить на авторских литературных вечерах. В программе был намечен и вечер в Политехническом музее. Обсудив этот вопрос со всех сторон, решили, что Блоку следует поехать.

Тут же Александр Александрович предложил мне поехать вместе с ним.

В первых числах мая мы выехали в Москву.

Первый литературный вечер Александра Блока был назначен на 9 мая в аудитории Политехнического музея.

Все дни до первого вечера меня не покидала тревога о том, как он пройдет, вернее, как пройдет второе отделение вечера. И хотя было известно решение Александра Александровича не отвечать на вечере ни на какие записки, это не могло успокоить: никто не мог знать, как на это будет реагировать публика. Беспокоило еще, как Александр Александрович отнесется к враждебным выкрикам, которые могут раздаться в его адрес. Ведь были же такие выкрики на вечере Маяковского. Все это приходило в голову, несмотря на то, что было известно, что футуристы, от которых можно было ждать сюрпризов, не собираются устраивать Блоку обструкций.

Настало 9 мая. Мы пришли с Александром Александровичем к зданию музея задолго до объявленного часа начала вечера и увидели ту же картину, что и в памятный мне вечер Маяковского. Громадная толпа молодежи заполнила площадь перед музеем, вход в помещение был забит, и люди, пришедшие с билетами, не могли попасть внутрь. Пока мы обсуждали, как нам быть, нас затянуло в толпу, и там мы лишились возможности продвигаться самостоятельно. Нам изрядно намяли бока. Блок каким-то образом оказался впереди меня. Он будто помолодел в этой толпе. Эта толкотня ему, видно, нравилась, он то и дело оборачивался, ища меня глазами, а когда находил, то весело и подбадривающе улыбался мне. Хорошо, что в толпе никто не знал его в лицо.

Я увидел вдруг, как в дверях какой-то человек схватил Блока под руку и втащил его внутрь, в подъезд. Оставшись один, я продолжал беспомощно барахтаться в толпе. А когда я уже добрался до заветной двери, там вдруг показался тот человек, который уволок Блока. Он, надрываясь, выкрикивал мою фамилию над самым моим ухом. Человек этот оказался представителем администрации. Он с трудом протащил нас внутрь, проводил в узенькую длинную комнату, примыкавшую к эстраде, и помчался обратно к входным дверям, чтобы еще кого-то встретить или наладить порядок. Неизвестно, наладил ли он порядок у входных дверей, — здесь, в аудитории, на лестнице и в проходах царил хаос, невероятный шум и толкотня. Буквально все было забито.

В комнате, куда провел нас администратор, Александра Александровича окружили московские друзья, пришедшие позжать ему руку. И неизвестно, чем Блок был больше взволнован — встречей ли с друзьями или предстоящим выступлением.

Мне захотелось послушать Блока вместе с публикой, из зала. Я с трудом пробрался к дверям аудитории. Когда мне удалось наконец занять устойчивую позицию у стенки, вновь вернулась тревога за Блока.

Вспомнился Маяковский на этой эстраде. И, сравнивая с ним Блока, я понимал все преимущество Маяковского: громадный рост, могучий голос, уверенный грубовато-волевой тон — все это, вместе взятое, способно прекратить любой шум, приковать внимание, завоевать власть над толпой. Я всматривался в лица людей, пришедших на вечер Блока, и мне казалось, что вижу тех же людей, которых видел на вечере Маяковского.

В голову лезли и другие сравнения. Вспомнился знаменитый актер МХАТа В. И. Качалов, который любил выступать с чтением стихов Александра Блока.

Природа одарила этого актера необыкновенным богатством: он обладал бархатным голосом неотразимого обаяния, крупной фигурой, богатой мимикой и великолепным жестом — словом, всем, что помогает таланту актера.

Когда мне приходилось слушать стихи Блока в исполнении Качалова, я не мог отделаться от чувства досады. Все внешние данные Качалова оставались только внешними. Чтение было напыщенным, оно боль-

ше походило на упражнение или пробу голоса, будто в стихах поэта не было ни мысли, ни музыки.

Но обаяние качаловского голоса было так велико, что казалось, вздумай он прочесть с эстрады скучнейшую статью или обеденное меню ресторана — это чтение вызвало бы бурю аплодисментов.

И вот после вечеров В. Маяковского, после вечеров «любимца публики» Качалова перед москвичами предстоит выступить застенчивому, тихому, скромному Блоку, выступить перед огромной аудиторией неизвестных людей.

Было отчего волноваться.

Когда Александр Александрович появился на эстраде, показалось, что и он взволнован. Его встретили аплодисментами, которые нарастают и продолжались несколько минут, — казалось, им не будет конца.

Александр Александрович стоял посредине эстрады, растерянно улыбаясь. Аплодисменты не прекращались. Блок обернулся к столу, стоявшему в глубине эстрады, ища у сидящих там поддержки или совета. На лице сквозь улыбку были вопросы: когда конец? Что делать? Помогите! Но там, в глубине, у сидящих за столом он увидел улыбки и аплодисменты.

И только когда люди вконец отбили себе ладони, аплодисменты стихли. Поэт начал читать.

Читал он, стоя посредине эстрады, опираясь обеими руками на спинку стула.

В голосе Блока не было ни бархата, ни металла, на лице не видно было какой-либо мимики, не было и жестов. Александр Александрович читал своим обычным глуховатым голосом — просто и довольно тихо, казалось даже монотонно, без интонаций. Читал он так, как читал стихи у себя дома — для своих. Не было никаких внешних или внутренних приемов чтения. И было совсем непонятно, какими тайнами владел Блок, чтобы так приковать внимание людей.

Тайна была в стихах, в их необыкновенном звучании.

В зале было так тихо, что было слышно дыхание толпы. И после прочтения стихотворения тишина продолжалась еще какие-то секунды, прежде чем взрывался гром аплодисментов.

И так после каждого стихотворения. Толпа была взволнованна и долго не отпускала Блока.

Во время перерыва я пытался пробраться в артистическую, хотелось поздравить Блока с успехом, но в небольшой комнате набилось столько людей, что нельзя было и думать подойти к нему, и лишь издали мы перебросились улыбками. Он понял мои чувства и привет.

После перерыва Блок вышел, встреченный новой бурей аплодисментов. За ним на эстраду потянулись все те, кто окружал его в артистической. Вся эстрада оказалась заполненной людьми, и лишь посредине остался маленький пятачок, на который Александр Александрович с трудом пробрался.

В зале публика бросилась со своих мест к краю эстрады, и таким образом Блок оказался окруженным живой стеной со всех сторон.

Из зала на эстраду полетело несколько записок. Кто-то из стоявших там подобрал их и оставил у себя.

Блок долго еще читал, и чтение перемежалось взрывами аплодисментов. Последним на этом вечере он прочитал стихотворение, которое особенно любил читать, — «Девушка пела в церковном хоре»:

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.

Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам,— плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Думаю, что публика хорошо знала это стихотворение, и, может быть, именно поэтому оно сопровождалось таким триумфом, какого в этот вечер еще не было.

Я слышал это стихотворение из уст поэта много раз, и сейчас я слушал его с таким волнением, как раньше, как слушаешь любимую музыку или как разбуженное в памяти и в сердце глубокое переживание.

Блока долго еще не отпускали с эстрады, а брошенные записки так и остались без ответа, всеми забытые.

Последние месяцы жизни А. А. Блока

С юных лет А. А. Блок любил совершать дальние прогулки пешком в одиночестве. Он ходил долгие часы по окрестностям Петербурга — в Шувалово, Озерки и Парголово.

Отправляясь на такую прогулку, Александр Александрович всегда предупреждал об этом мать, чтобы она не беспокоилась, если он задержится. Впрочем, так поступал он всегда, во всех случаях, даже когда уходил на Моховую во «Всемирную литературу», если опасался, что может запоздать.

Такой порядок, как рассказывала мать, установился очень давно, еще с гимназических лет Сашеньки.

Предупрежденная сыном, что он задержится, Александра Андреевна приглашала наиболее близких людей в свою комнату.

Это была длинная, узенькая комната, в которой стоял письменный стол с креслом, небольшой диван и кровать. Над столом на стене висел большой карандашный портрет Блока, сделанный художницей Татьяной Гиппиус, там же висело несколько фотографий Александра Александровича, снятых в разные годы его жизни, а на столе в рамках стояли последние снимки поэта.

Мать поэта — Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух (по второму мужу) — была невысокого роста, худенькая и совсем седая. Она постоянно зябла и даже в теплые дни куталась в бархатную пелеринку, отороченную мехом. Она всегда казалась слабенькой и хрупкой.

Александра Андреевна, внимательная и сердечная, особенно к людям, к которым ее Сашенька был дружески расположен, встречала гостя приветливо, усаживала поудобнее и забрасывала вопросами о родных, близких, знакомых и о делах. Все эти вопросы не воспринимались как обычная вежливая внимательность — наоборот, мать поэта, как и сам Александр Александрович, обладала редкой способностью задавать вопросы и выслушивать гостя с такой искренней и дружеской заинтересованностью, которая вызывала в ответ в собеседнике самые откровенные излияния

Я был одним из тех, кто пользовался у Александры Андреевны рас-

положением и доверием, и очень этим гордился. Мне были дороги тихие и уютные вечера на Офицерской, когда я заставал Александру Андреевну одну.

Уверенная, что нам никто не помешает, мать поэта в такие вечера любила рассказывать о жизни семьи Бекетовых в Шахматове и разные истории про Сашеньку. Это были рассказы из детских и юношеских лет сына: о его радостях, огорчениях и увлечениях.

Каждая мать сохраняет в памяти на всю жизнь самые разные детские занятия, забавы, шалости любимого ребенка, но, думаю, не каждая могла рассказать об этом так увлекательно и с таким юмором, как Александра Андреевна.

Раннее детство Блока, по рассказам матери, мало чем отличалось от детства во многих других интеллигентных семьях: те же игры и забавы, те же шалости и капризы, та же любовь к животным и растениям. Когда Саше было лет девять, он очень любил совершать длительные прогулки по Шахматову со своим дедом — профессором ботаники А. Н. Бекетовым. Во время таких прогулок дед знакомил внука с начатками знаний о природе и рассказывал ему удивительные истории из жизни растений.

Вспоминая о том, что у Сашеньки очень рано появилась особенная любовь к рифмованным словосочетаниям и к шуточным стишкам, она тут же замечала, что в этом возрасте дети часто увлекаются рифмами и словотворчеством.

Едва научившись писать буквы и складывать из них слова, Сашенька увлекается изданием своего журнала «Малышам», который через некоторое время переименовывает в «Кораблик», а еще позднее — в «Вестник». В журнале, кроме будущего поэта, участвуют его двоюродные братья Кублицкие-Пиоттух и другие родственники. Но постепенно журнал все больше наполняется произведениями Саши Блока в стихах и в прозе. Появляются и рисунки поэта.

О гимназических годах поэта мать рассказывала, что, помимо влечения к стихотворству, к сочинению разных шуток и редактированию нового журнала «Вестник», Блоком вдруг овладевает увлечение переплетным делом, которому его научил кустарь-переплетчик. Зная, должно быть, со слов Александра Александровича, что это ремесло мне знакомо и что я могу его оценить, она показывала мне переплетенные Сашенькой книги.

Вспоминая о первой любви семнадцатилетнего Блока к К. М. Садовской (известной по стихотворениям, посвященным К. М. С.), Александры Андреевны описывала красоту и необыкновенное обаяние этой женщины в таких восторженных выражениях, будто она и сама вместе с сыном была в нее влюблена.

В один из последних вечеров-воспоминаний рассказы матери поэта были посвящены его юношеским годам, когда в Блоке проявилось самое страстное и самое длительное увлечение — театром. Блок мечтает стать актером, участвует во многих домашних любительских спектаклях; он исполняет сцены из «Гамлета», «Бориса Годунова», «Скупого рыцаря», «Горя от ума» и др.

Свои рассказы Александра Андреевны иллюстрировала фотографиями, на которых Александр Александрович снят в разных ролях.

Из таких вечеров-воспоминаний Александры Андреевны мне особенно запомнился один — в последний раз, когда я слушал рассказы матери о поэте.

Это было в середине апреля 1921 года. Я пришел на Офицерскую, как всегда, вечером. Дверь открыла Александра Андреевна. После приветствий она сказала:

— Сашеньки нет дома, он сказал, что запоздает, его вызвали на какое-то заседание. Любы тоже нет дома. Посидите у меня, пока Сашенька вернется.

Александра Андреевна заботливо усадила меня, про все расспросила, вспомнила, что последний ее рассказ был об увлечении Блока актерской игрой. Не спеша она продолжала прерванный рассказ о шекспировских спектаклях в Боблове (соседнее с Шахматовом имение Д. И. Менделеева) и о начавшейся дружбе Блока с Любовью Дмитриевной.

Когда речь зашла о том, как Блок волновался, когда примерял свой театральный костюм и когда накладывал грим, голос Александры Андреевны начал вдруг падать, и последние слова она произнесла так тихо, что ее едва было слышно. Я подумал, что ей сделалось дурно, и бросился принести воды, но Александра Андреевна остановила меня:

— Ничего, ничего, мне показалось...

Скоро голос ее опять окреп, и она продолжала рассказ. Но ей все время что-то мешало, она несколько раз останавливалась, к чему-то прислушивалась, видно, что-то ее тревожило.

— Знаете, с Сашенькой что-то случилось,— чуть слышно проговорила она, при этом голова ее поникла, глаза закрылись, и пальцы она прижала к вискам.

Я подумал, что Александра Андреевна напрягается, чтобы увидеть или представить себе, что именно случилось с Сашенькой.

В таком положении она оставалась минуту или две, потом вдруг подняла голову, широко раскрыла глаза, повернулась лицом к двери и воскликнула:

— Сашенька, что случилось с тобой?

Машинально вслед за Александрой Андреевной я тоже повернул голову, но дверь по-прежнему была закрыта, и только спустя минуты две я услышал, как хлопнула входная дверь с лестницы, и скоро резко раскрылась дверь в комнату и неожиданно вбежал бледный и крайне взволнованный Александр Александрович.

Мария Андреевна Бекетова (тетка Блока) как-то рассказывала, что Александра Андреевна и ее сын обладают способностью предвидеть какие-то события и могут на расстоянии чувствовать тревогу и волнение друг друга. Тогда я скептически отнесся к такой способности, хотя и замечал иногда за Александрой Андреевной необычную тревожную впечатлительность.

Сейчас я убедился, что контакт между матерью и сыном на расстоянии действительно существовал.

Не заметив меня, Блок сразу обратился к матери, будто ее вопрос он услышал еще на лестнице:

— Сегодня весь день очень тяжелый; отовсюду тревожные слухи и мрачные рассказы. А когда шел сейчас домой, на улицах из всех щелей, из подворотен, подъездов, магазинов — отовсюду выползали звуки омерзительной пошлости, какие-то отвратительные фокстроты и доморошенная цыганщина. Я думал, что эти звуки давно и навсегда ушли из нашей жизни,— они еще живы... Мама, неужели все это возвращается? Это страшно!.. Скажите,— вдруг обратился Блок ко мне,— неужели вы ничего этого не замечали?

Я никогда не видел Александра Александровича таким встревоженным. Вместе с Александрой Андреевной я пытался успокоить его, но нам

это не удалось. Весь вечер Блок был взбудоражен, казалось, он никак не может отделаться от преследовавших его звуков.

Происхождение «омсрзительно пошлых звуков», так взволновавших Блока, было ему хорошо известно. Звуки эти с недавнего времени «выползали из щелей» разных кафе, возникших на улицах города вскоре после объявления нэпа. Вместе с «пошлыми звуками» на свет вылезли и люди, прятавшиеся до того по темным углам. Это были спекулянты, валютчики и прочий уголовный сброд.

Чтобы объяснить состояние Александра Александровича в тот вечер, нужно рассказать о первых внешних проявлениях нэпа на улицах Петербурга, как упорно продолжали называть Петроград коренные его жители.

Примерно в середине марта 1921 года на самых людных улицах города — на Невском, Литейном, Большом проспекте Петроградской стороны, и на других улицах прохожие наблюдали странное оживление возле давно пустовавших, закрытых и, казалось, навсегда заброшенных магазинов. Их мыли, чистили, красили — словом, их для чего-то приводили в порядок.

Слухов и предсказаний было без конца.

Тем временем работы по восстановлению и реконструкции магазинов производились непривычно быстрыми темпами, и скоро загадочные приготовления закончились.

В больших магазинах открылись блестящие кафе, а помещения поменьше заняли кустарные мастерские. Их было много, и они росли, как грибы. Если об этих мастерских судить по новым вывескам, то они должны были заниматься все только одним делом — починкой и заливкой галош.

На фоне полуголодного Петербурга сверкающие кафе и необыкновенное множество мастерских по починке галош казались явлением удивительным и непонятым. Можно было подумать, что основной потребностью населения было чинить галоши.

Первые дни вокруг «кустарных мастерских», робко оглядываясь по сторонам, собирались подозрительные люди, и чем их больше собиралось, тем нахальнее они себя держали. А через некоторое время группки, собиравшиеся у галошных мастерских, начали все больше увеличиваться и разбухли до больших и шумных толкучек. Это были сборища темных дельцов и спекулянтов, у которых можно было купить здесь же, на улице, или им же продать золотую вещицу, царскую золотую монету или иностранную валюту. Вокруг толкучек, естественно, собирались толпы прохожих и любопытных. Тут же в толпе возникали и распространялись всевозможные слухи.

Кафе было гораздо меньше, но они заслуживают особого внимания.

В больших зеркальных окнах кафе, начищенных до блеска, были выставлены хрустальные вазы с белоснежными булочками, пирожками и пирожными, а рядом на серебряном подносе стояло несколько крошечных чашечек черного кофе.

Люди подолгу стояли возле витрин кафе как зачарованные, от них невозможно было оторваться. Выставленные яства будили далекие, смутные довоенные воспоминания и дразнили голодное воображение.

В больших кафе играли музыкальные ансамбли: венгерские, румынские, цыганские, которые набирались из доморощенных любителей, а в более скромных кафе либо вовсе не было музыки, либо жалобно пиликала одинокая скрипка.

На Литейном проспекте, в Шереметевском пассаже, было небольшое кафе. Оно заинтересовало меня неожиданным названием — «Кофе за книгой». Быть может, такое название родилось у владельца потому, что оно соответствовало характеру Литейного как книжного проспекта, а возможно, владелец кафе был просто неравнодушен к книге.

Я зашел в кафе из любопытства. Мне захотелось увидеть, как кофе увязывается здесь с книгой и какие там бывают люди. Помещение внутри было оформлено со вкусом: на стенах висели несколько хороших репродукций музейных картин и небольшие полочки с книгами. Я заметил там томики стихов Пушкина, Лермонтова и других классиков, на другой полочке стояли сборники современников: Блока, Кузмина, Ахматовой, Гумилева, Есенина — видно, устроитель кафе позаботился удовлетворить разные вкусы. В глубине помещения у стены сидела молодая девушка. Все столики были свободны. Ни одного посетителя в кафе не оказалось. Не успел я выбрать столик, как девушка подошла ко мне. Я попросил чашечку кофе, и застенчивая, как мне показалось, девушка принесла мне вскоре на подносе кофе с кусочком сахара и пирожок. Я спросил девушку: почему так назвали кафе? Она покраснела и, робко улыбнувшись, ответила:

— Быть может, кому-нибудь захочется посидеть здесь, отдохнуть и почитать любимые стихи.

Да, здесь было тихо, уютно. Но выйдя из кафе, я подумал: на каких чудаков рассчитывал владелец кафе? Кто пойдет в кафе читать стихи? Да еще за такие деньги.

Любопытство мое было удовлетворено, но оно дорого мне обошлось. Вечером я рассказал об этом кафе Александру Александровичу, он улыбнулся и сказал, что обязательно зайдет туда, когда будет во «Всемирной литературе».

В другие кафе я заходить уже не решался, но об одном большом кафе мне подробно рассказал случайно встреченный товарищ детства. Он работал скрипачом в «румынском оркестре». Его фамилия была Григорьев, а по-румынски она звучала Григореску. В детстве он, по настоячивому желанию родителей, учился играть на скрипке. Он ненавидел свою скрипку, и я хорошо помню, какими муками и слезами сопровождался его уроки музыки. Тогда он не мог и подумать, что в тяжелое время скрипка станет источником его благополучия. Товарищи Григорьева по оркестру были такими же дилетантами и такими же «румынами». Играли «румыны» вещи несложные, все, что полегче было разучить.

Кафе, о котором идет речь, работало только по вечерам. Публика там собиралась солидная и, должно быть, богатая. Среди посетителей там были разные люди: одни из них не успели бежать за границу, другие не сумели бежать, а были и такие, которые никуда не собирались, — эти верили в скорое падение большевиков и считали бессмысленным бросать добро на произвол судьбы, они притаились и выжидали.

По вечерам все они вылезали из берлог в свое кафе и здесь обменивались слухами и сведениями о белых, о том, где и как лучше перебраться через границу. Тут же вербовалась молодежь в отряды белых, продавали и покупали иностранную валюту и золото и совершали разные другие сделки.

В качестве официанток кафе обслуживали дамы и барышни из того же общества «бывших людей». Скромно, опрятно и в меру кокетливо одетые, они держали себя высокомерно и даже надменно, всем видом подчеркивая, что услуги свои они дарят этому разношерстному обществу в силу крайней необходимости.

Между собою они говорили, как привыкли при прислуге, только на французском языке.

«Румынский оркестр», по мнению Григорьева, мало кто слушал, и казалось, он существует в кафе только для того, чтобы заглушать подозрительные разговоры и сделки.

Григорьев приглашал зайти к нему в кафе, обещая даже угостить чем-нибудь с музыкантского стола.

Внешний облик Петербурга заметно менялся, менялось и звучание города.

Все рассказы, слухи и наблюдения, связанные с первыми признаками нэпа, приносились Блоком на Офицерскую и там за чайным столом оживленно обсуждались. Александр Александрович внимательно слушал рассказы и в свою очередь делился своими наблюдениями.

Блок, как и многие в то время, переживал нэп тяжело.

Рассказ Григорьева взволновал Блока, он сказал:

— Как мало знаем мы о том, что происходит рядом.

Мы условились непременно побывать в этом кафе вместе и самим посмотреть, как выглядит внутренняя эмиграция. Но так и не собрались. Сначала помешало недомогание Блока, а потом длительная его болезнь.

Позднее, перебирая в памяти все этапы болезни Блока, я вспомнил тот вечер, когда он так стремительно вбежал в комнату матери, взволнованный выползавшими отовсюду звуками пошлости. Я подумал, что именно в этот вечер, когда улица переполнила поэта ненавистной ему пошлостью, именно тогда, потрясенный, он потерял душевное равновесие.

Возможно, именно этот вечер и был началом его болезни.

В апреле 1921 года здоровье Александра Александровича заметно ухудшилось: он часто уставал и жаловался на боли в сердце.

Все лишения последних лет, пережитые поэтом, подорвали его крепкий от природы организм.

Все это случилось как-то неожиданно, сразу.

Врач установил, что болезнь сердца явилась в результате перегрузки нервной системы, а признаки цинги — от нехватки в питании некоторых продуктов (мяса и жиров).

Продовольствие Блок получал по карточкам, как и все граждане, по существовавшей тогда единой общегражданской норме. Дополнением к этой норме были пайки, которые выдавались некоторыми организациями своим сотрудникам. На пайки выдавались только ненормированные продукты (это были: селедка или вобла и редко когда мороженая картошка).

Блок получал два, а иногда три таких пайка: по Дому ученых как писатель, по Большому драматическому театру как служащий, а в последнее время он получал еще паек по журналу «Красный милиционер».

Журнал «Красный милиционер» издавался отделом управления Петросовета по инициативе заведующего отделом, молодого человека большой культуры, Б. Г. Каплуна. К работе в журнале «Красный милиционер» были привлечены виднейшие литераторы и художники.

В первые годы революции в петербургских театрах практиковались целевые спектакли, предназначенные для красноармейцев. Такие спектакли давались и Большим драматическим театром. Перед такими спектаклями Александр Александрович, как художественный руководитель театра, выступал с специально написанным вступительным словом, в котором давались краткие сведения об авторе пьесы и разъяснялась идея спектакля. Блоком были написаны пять таких вступлений к спек-

таклям; из них вступления к трем спектаклям: «Дон Карлосу», «Разбойникам» и к «Дантону» — были напечатаны в журнале «Красный милиционер».

Авторский гонорар Блока, его заработная плата во «Всемирной литературе» и в Большом драматическом театре, зарплата Любови Дмитриевны в театре Народного дома, где она служила, и гонорар за отдельные ее выступления — всех этих заработков, вместе взятых, едва хватало на четверых (мать поэта, тетка, жена и сам А. А.).

Когда с введением нэпа открылся частный рынок, на котором можно было купить некоторые необходимые продукты, оказалось, что Блокам они не по средствам.

Больше всего Александр Александрович страдал от недостатка хлеба, жиров и мяса. Чтобы приобрести эти продукты на рынке, у спекулянтов, Любови Дмитриевне пришлось продать почти весь свой театральный гардероб, а потом и ценные кружева из ее замечательной коллекции. Но вещи раз от раза обесценивались, а продукты, наоборот, с такой же стремительностью дорожали. А когда вещи были исчерпаны, очередь дошла до книг, до библиотеки. Книги постепенно отправлялись в «книжный пункт» Дома искусств (так называлась книжная лавка на Морской улице) для продажи.

Разные организации нередко обращались к Блоку с предложением выступить в большой аудитории с авторскими вечерами. Но, несмотря на то, что за эти выступления поэту сулили значительные суммы, Блок долго отвергал заманчивые предложения.

Когда на Офицерской убедились, что все «внутренние ресурсы» недостаточны, что на них не продержаться, — Александр Александрович вынужден был согласиться выступить на нескольких вечерах в Петербурге и в Москве.

Первый большой авторский литературный вечер Александра Блока, устроенный Домом искусств, состоялся 25 апреля 1921 года в петербургском Большом драматическом театре. За два года до того, 24 апреля 1919 года, Блок был назначен председателем режиссерского управления этого театра.

Блок и раньше выступал на литературных вечерах с чтением своих стихов, но обычно это бывало в небольших аудиториях, рассчитанных преимущественно на деятелей литературы и искусства, человек на сто пятьдесят — двести: в Доме искусств на Мойке, в «Вольфиле» на Фонтанке и в Тенишевском училище на Моховой, выступал, как я уже рассказывал, в 1920 году в аудитории Политехнического музея в Москве.

Теперь Блоку предстояло выступить в театре, вмещающем около двух тысяч человек, и это его беспокоило; беспокоило, хватит ли голоса, будет ли слышно в последних рядах и на галерке. И несмотря на то, что некоторый опыт выступлений с этой сцены у Блока был, он все же волновался.

О предстоящем вечере по городу была расклеена большая афиша, и накануне открытия продажи билетов у кассы театра на Фонтанке вытянулась длинная очередь молодежи. Однако счастливых, простоявших сутки в очереди и получивших билеты, оказалось гораздо меньше, чем желавших попасть на вечер. Но каким-то таинственным образом в театре оказалось гораздо больше людей, чем было продано билетов. Молодежь забила все проходы в партере и на ярусах.

Администрация и контролеры, должно быть, не случайно ослабили свое усердие в этот вечер.

В первых рядах кресел сидели почетные гости: мать, жена и тетка поэта, все ведущие артисты театра, любившие поэта и гордившиеся своим художественным руководителем.

Я с трудом пробрался за кулисы. Там тоже было полно людей. Задолго до начала вечера туда собралась большая группа рабочих сцены, пришедших послушать стихи своего старшего товарища по работе. Все они принарядились, как на праздник. Сюда же пришли друзья и знакомые Блока, не сумевшие раздобыть билеты. Все эти люди толпились за кулисами у лестницы. А лестница была так забита людьми, что приходий фотограф М. Наппельбаум едва пробрался с своим громоздким фотоаппаратом. (Кстати, на этом вечере большой мастер своего дела М. Наппельбаум сделал и оставил нам две последние и, пожалуй, лучшие фотографии поэта.)

Накануне вечера я напомнил Александру Александровичу мою давнюю просьбу и его обещание познакомить меня с К. И. Чуковским. Блок сказал, что попытается сделать это завтра же в театре перед началом вечера. Я пришел, как мы условились, пораньше и застал Александра Александровича на сцене. Он разговаривал с директором театра Т. И. Бережным. Заметив меня, Блок что-то сказал собеседнику, направился ко мне, взял меня под руку и, улыбнувшись, сказал:

— Идемте, сейчас произойдет историческое событие: знакомство «Алконоста» с Чуковским.

Он повел меня на другой конец сцены, где Корней Иванович, готовясь к вступительному слову, просматривал свои заметки.

— Корней Иванович, разрешите представить вам,— Блок назвал меня.— моего издателя, помните, я говорил вам о нем?

— Да, да, конечно, помню,— сказал Корней Иванович, но по лицу его было видно, что в эту минуту он ничего не помнил.

Озабоченный своим вступительным словом, он как-то рассеянно скользнул по мне глазами, пожал руку, бросил какой-то комплимент «Алконосту», улыбнулся Блоку и сказал ему, что очень волнуется. Блок пожал его руку выше локтя, сказал ему несколько ласковых успокоительных слов, опять взял меня под руку и повел обратно. Блок, должно быть, понял, что для знакомства он выбрал не лучший момент, а когда мы оказались на достаточном расстоянии от Корнея Ивановича, он утешал уже меня тем, что на днях будет более удобный случай для знакомства. Он имел в виду нашу совместную поездку в Москву.

В отличие от волновавшегося К. И. Чуковского Блок к этому времени уже успокоился. Он был немного возбужденным и веселым.

Не стану описывать этот вечер — о нем очень хорошо рассказано К. И. Чуковским в его воспоминаниях, Николаем Брауном написана поэма-воспоминание об этом вечере. Говорят, что имеются и другие воспоминания, которых я не знаю. Могу только сказать, что успех Блока был огромный. Читал он, как всегда, просто и ровно, не возвышая голоса, и было удивительно, что в самых отдаленных местах зрительного зала голос его был отлично слышен (об этом мне говорили многие). После каждого стихотворения поднимался шквал аплодисментов и выкриков. Блок стоял один на сцене, он растерянно улыбался и ждал, когда сможет продолжать чтение.

Когда я услышал, что Александр Александрович читает стихотворение «Девушка пела в церковном хоре», я понял, что он читает последнее стихотворение, что больше на этом вечере читать не будет.

Новый взрыв аплодисментов длился еще долго, казалось, у публики никогда не иссякнут силы. В зале начали уже тушить огни, но молодежь не могла успокоиться. Но вот наконец аплодисменты стали утихать, публика начала медленно и как-то неохотно расходиться.

На сцене актеры театра и друзья окружили поэта, поздравляли его с успехом, благодарили. Каждый тянулся пожать ему руку. Блок улыбался, он казался здоровым, довольным.

А в это время на Фонтанке у выхода из театра собралась большая толпа. Это были молодые люди, они ждали Блока и шумно обменивались впечатлениями. Им хотелось поближе увидеть поэта и еще раз поблагодарить его.

И никто из них не знал, что сейчас увидит Блока в последний раз.

На следующий день Александр Александрович с утра жаловался на усталость и в оставшиеся несколько дней до отъезда в Москву не выходил из дома.

Московские вечера Блока были назначены на первые числа мая, и, хотя Александр Александрович чувствовал себя еще нездоровым, он решил ехать.

Первого мая 1921 года Блок выехал в Москву. Там ему предстояло выступить с чтением стихов в Политехническом музее, в Союзе писателей, в Доме печати, в итальянском обществе «Данте Алигьери» и еще где-то, не помню. Вместе с Блоком в Москву был приглашен К. И. Чуковский, который должен был выступать на вечерах с докладом о творчестве поэта. Я тоже поехал в Москву по просьбе Александра Александровича и его близких, на случай если ему понадобится чем-нибудь помочь: мать и жену беспокоило нездоровье Блока.

Когда мы оказались втроем в одном купе, Александру Александровичу пришлось второй раз знакомить меня с К. И. Чуковским, но на этот раз по его просьбе.

В дороге Александр Александрович жаловался на боли в ноге. Желая развлечь Блока, К. И. Чуковский занимал поэта веселыми рассказами, забавными историями и литературными анекдотами, которых знал без конца. Блок много смеялся, и казалось, что он совсем забывал о болях.

Когда Блок вернулся в Питер, то первое, о чем он рассказал Любови Дмитриевне на вокзале, было — как мы ехали в Москву и как всю дорогу Чуковский заговаривал ему больную ногу веселыми рассказами и удивительными историями.

— И знаешь, — добавил он, — заговорил, я совсем забыл о ноге.

Вся дорога в Москву, по выражению Блока, прошла в «чуковском ключе».

Третьего мая был первый вечер Блока в Москве, в Политехническом музее, а пятого мая — там же — второй. Я был на этих вечерах и видел, как Блок нервничал и волновался. Несмотря на громадный успех, сопровождавший эти вечера, поэт не чувствовал ни радости, ни удовлетворения, он жаловался на недомогание и крайнюю усталость.

Когда Блок выступал в Доме печати, а потом в итальянском обществе, я был чем-то занят и на эти выступления не попал, а о скандале, который разыгрался в Доме печати, я узнал от самого Александра Александровича на следующий день, когда мы встретились с ним на Новинском бульваре. Он пришел туда, как мы условились. Он плохо выглядел и опять жаловался на усталость.

Блок рассказал, что его на машине привезли в Дом печати, там он был тепло встречен, прочитал несколько стихотворений и собирался уже уходить в итальянское общество, где его ждало еще одно выступление в этот вечер. Вдруг кто-то из публики крикнул, что прочитанные стихи

мертвы и что автор их — мертвец. Поднялся шум. Крикнувшему эти слова предложили выйти на эстраду, тот вышел и пытался повторить брошенные слова или объяснить их, но кругом было так шумно, что невозможно было ничего разобрать. Друзья Блока, опасаясь, что он может попасть в свалку, окружили его плотным кольцом, оттеснили к выходу и всей толпой проводили в итальянское общество.

Было удивительно, что Блок рассказывал об этом скандале с полным равнодушием. В рассказе не было намека на недовольство или раздражение, будто скандал этот не имел к нему никакого отношения. Больше того, когда я, возмущенный безобразной выходкой, сказал что-то нелестное о выступившем, Александр Александрович взял его под защиту: он стал уверять меня, что человек этот прав.

— Я действительно стал мертвецом; я совсем перестал слышать.

Однако страшные слова, брошенные в Доме печати, не забылись Блоком, он вспоминал их несколько раз, вспомнил их и в поезде, когда мы возвращались домой.

И несмотря на то, что и на этот раз Блок оправдывал человека, бросившего слово «мертвец», я окончательно убедился, что слово это жестоко и больно ранило душу поэта.

Борис Пастернак в своем недавно напечатанном автобиографическом очерке так рассказывает об этом вечере: «Блоку после чтения в Доме печати наговорили кучу чудовищностей, не постеснявшись в лицо упрекнуть его в том, что он отжил и внутренне мертв, с чем он спокойно соглашался. Это говорилось за несколько месяцев до его действительной кончины».

Блоку назвали фамилию автора недостойной выходки. Ничего больше Блок о нем не знал.

Позднее мне удалось узнать, что этот озлобленный завистник был жалким неудачником в литературе.

С каждым днем пребывания Александра Александровича в Москве самочувствие его ухудшалось; он все чаще жаловался на слабость и усталость.

Однажды я откуда-то возвращался вместе с Блоком. Мы шли от Арбатских ворот по Арбату — совсем недалеко. Когда мы поравнялись с домом, в котором он останавливался в этот приезд, он сказал, что едва дошел, — так устал, что не знает, хватит ли ему сил дойти до лестницы и подняться до квартиры. Я проводил его и ушел в надежде, что за ночь он отдохнет и усталость пройдет. А когда утром на следующий день я зашел за ним, то на мой вопрос о его самочувствии он сказал, что, должно быть, он серьезно болен: усталость и боли в ногах не проходят и не дают покоя. Надо бы ехать домой, но друзья советуют ему показаться хорошему кремлевскому врачу. Кроме того, ему предстоит один тяжелый визит, от которого он не сумел отказаться, обещал быть: О. Д. Каменева, заведовавшая Театральным отделом Наркомпроса, пригласила его к себе в Кремль, вероятно, хочет познакомить со своим супругом.

Через два дня мы уезжали из Москвы домой. Александр Александрович приехал на вокзал в хорошем настроении, он был бодр и даже весел. В дороге он с юмором вспоминал о визите в Кремль. Блок рассказал, что, направляясь к Каменевым, он представил себе, как войдет в старинные царские палаты и что он там увидит: низкие своды палат расписаны красивыми яркими узорами, вдоль стен расставлены скамьи, покрытые драгоценной парчой, на скамьях сидят наркомы в богатых боярских нарядах, а посреди палаты стоит невысокий трон, на котором

в богатом, бархатном, расшитом золотом и драгоценными камнями одеянии восседает исполняющий обязанности советского премьера, а вместо скипетра и державы держит в руках серп и молот. Но каково же было его удивление, когда вместо всей этой пышной роскоши он увидел, что сводчатые стены и потолки выбелены известкой, а обстановка состоит из случайного набора мебели: письменный стол, несколько кожаных кресел и стульев. Все это походило скорее на обстановку адвоката или врача.

Не знаю, действительно ли по дороге в Кремль Блоку припомнилась сцена из оперы «Борис Годунов», недавно поставленной в Мариинском театре, или все это он придумал сейчас, в вагоне. Дальше Блок рассказал, уже без улыбки, о том, как он был представлен Каменеву и какой был разговор. Каменев сразу заговорил о поэме «Двенадцать». Каменев осудил поэму. По его словам, автор не понял революции, уводит ее за Христом, следовательно за религией, и высказал еще несколько подобных, как выразился Блок, не слишком оригинальных суждений. «Такие оценки,— добавил Александр Александрович,— мне приходилось и раньше слышать у нас, в Питере. Они почему-то всегда высказывались самыми скучными людьми».

Блоку показалось, что он был приглашен специально для того, чтобы выслушать мнение Каменева и вызвать автора на разговор о поэме. Но автор не был расположен вести дискуссию. К тому же он был болен, утомлен. Ему стало скучно, и, не поддержав разговора, он извинился, распрощался, объяснив краткость визита болезненным состоянием и усталостью.

Делясь своими впечатлениями о поездке, Блок сказал, что, в общем, он остался доволен приемом москвичей, встречей с друзьями и даже скандал в Доме печати внес, по его словам, некоторое разнообразие. Неожиданным было для меня сообщение Александра Александровича, что материальный результат этой тяжелой поездки оказался ничтожным и если бы не друзья, которые добились в театре аванса за «Розу и Крест», было бы совсем плохо.

На следующий день после приезда домой я с волнением шел на Офицерскую навестить больного, думал, что застану Блока в постели. Но как приятно я был поражен, когда дверь открыл сам Александр Александрович.

Как всегда подтянутый, выбритый, с веселой улыбкой, он всем видом своим как бы радовался, что вернулся наконец домой. Одна мелочь бросилась в глаза — на нем не было галстука и верхняя пуговица рубашки была расстегнута. По моим наблюдениям такая «вольность» в одежде обычно совпадала с хорошим настроением поэта. И этот расстегнутый ворот был тоже хорошим знаком.

От болезни как будто и следа не осталось.

Был яркий, солнечный день. В комнате Блока, где каждая вещь твердо знала свое место и где царил привычный порядок, я заметил, вернее почувствовал, что где-то этот порядок нарушен, но где и в чем именно — сразу не уловил.

На вопрос о здоровье Блок сказал, что хорошо отдохнул, что дома чувствует себя куда лучше, но ноги еще побаливают, и поэтому выходить на улицу он воздерживается.

— Занимаюсь разбором книг, оставшихся после продажи,— сказал он.

Тут только я заметил, что большой книжный шкаф, стоявший у окна, раскрыт и большая пачка книг лежит на нижней выступающей части шкафа.

Блок пригласил меня к шкафу, сказал, что с утра занимается кни-

гами, предложил, если у меня есть время и желание, продолжить вместе с ним эту работу. Он обещал показать кое-какие книги, которые могут меня заинтересовать.

Перебирая книгу за книгой, он на некоторых останавливался дольше, рассказывая, чем они ему памяты. Эти рассказы Блока о книгах походили больше на воспоминания; он попутно касался и людей, которые вспоминались в связи с книгой, или обстоятельств, при которых книга была приобретена.

Зная мое пристрастие к редкой, антикварной и иллюстрированной книге, Александр Александрович обращал мое внимание на некоторые томики и сообщал о них сведения, которые могли бы поразить любого библиофила. Он, оказалось, хорошо знал антикварную книгу и умел ценить исключительность редкого экземпляра.

Мы простояли у шкафа довольно долго. Рассказы Блока были интересны, и я не заметил времени. Любовь Дмитриевна прервала наше занятие, предложила отдохнуть, а кстати и пообедать. За обедом он рассказывал жене о людях, которые вспомнились ему в связи с некоторыми книгами.

От долгого стояния возле шкафа у Блока разболелась нога, и наше путешествие по книжным полкам пришлось прервать до следующего дня.

По просьбе Александра Александровича я пришел на следующий день пораньше. Блок, как и накануне, казался здоровым, бодрым и веселым. Он ждал меня. Чтобы не утомлять его больную ногу, мы решили разбирать книги, сидя за столом.

Просмотрев небольшую часть книг, оставшихся на верхних полках, мы добрались до нижних, закрытых полок шкафа. Здесь хранились рукописные журналы, издававшиеся в детстве самим поэтом (это были журналы «Малышам», «Кораблик» и «Вестник», последних было больше всего), а также большие альбомы заграничных путешествий Блока. То были альбомы с фотоснимками древнеегипетского, римского и греческого искусства, а также альбомы со снимками произведений мастеров западноевропейской живописи.

Вынимая пачку детских журналов, Александр Александрович сказал, что он сам очень давно их не видел и с интересом полистает. Но не перелистывал, а бережно переворачивал страницы, исписанные крупным детским почерком, и попутно рассказывал о том, как он увлекался сочинением, перепиской и оформлением каждого нового номера. Он читал вслух все подряд: свои детские стихи, шутки, шуточные объявления и прозу, произведения родственников, сотрудников журнала, при этом от души, как ребенок, смеялся над своими сочинениями. Номера журналов украшались Блоком орнаментальными и сюжетными рисунками, вырезанными из печатных журналов для взрослых. А когда Блок подрос, то и сам кое-что рисовал для своих журналов.

О детских стихах Блока и о рукописных журналах я знал раньше по рассказам матери поэта, но никогда не видел их своими глазами. Сейчас я держал их в руках и рассматривал вместе с автором и издателем, который комментировал свои и чужие произведения воспоминаниями.

Около трех часов продолжалось мое второе знакомство с детством поэта. Последние номера «Вестника» мы просматривали, когда Блок был уже утомлен. Просмотр альбомов путешествий Блок предложил перенести на завтра.

На следующий день я пришел на Офицерскую в условленный час. Дверь открыла Любовь Дмитриевна. Она шепотом сказала, что вчера после моего ухода Александр Александрович почувствовал себя плохо

и весь остаток дня пролежал, жалуясь на усталость. Она просила меня последить, чтобы Александр Александрович не переутомлялся, а лучше всего было бы, если бы можно прервать разбор шкафа хотя бы на день-два.

Напуганный тревожными словами Любви Дмитриевны, я предложил Блоку отдохнуть хоть день, но в ответ я услышал слова, истинный смысл которых дошел до меня гораздо позже.

Александр Александрович сказал, что, помимо книжного шкафа, ему необходимо просмотреть подготовленное к изданию собрание сочинений и привести в порядок довольно большой архив и что на все это потребуется много времени, вот почему ему хочется поскорее покончить со шкафом, в котором остались только альбомы путешествий, и добавил:

— Мне кажется, что альбомы путешествий по Италии могут быть интересны и вам, и если вы не спешите, посмотрим эти альбомы.

Из сказанного я узнал, что у Блока был большой продуманный план работы, который ему не хотелось нарушать.

Прежде чем раскрыть первый альбом, Блок рассказал, как создавались эти альбомы. Путешествуя по незнакомым местам, он привозил вместо сувениров открытки с видами городов, памятников архитектуры и скульптуры, а когда посещал музеи и картинные галереи, приобретал там репродукции или фотографии картин. Для своих будущих альбомов Блок привозил из-за границы и местные иллюстрированные журналы, в которых в какой-то мере отражались его впечатления. Вернувшись домой, Блок — под свежим впечатлением — разбирал весь привезенный изобразительный материал, и то, что его больше всего поразило, он расклеивал на листах альбомов по строгому плану. Рассказ Блока дополнила Любовь Дмитриевна, которая присутствовала при просмотре альбомов. Она сказала, что расклейкой альбомов Александр Александрович занимался с первого дня приезда в продолжение нескольких дней и пока не заканчивал этой работы, не выходил из дома.

Блок говорил, что собранный изобразительный материал помог ему закрепить в памяти увиденное, и называл свои альбомы дневниками путешествий.

Переверачивая страницы альбома, которые, по его признанию, давно не смотрел, Блок с увлечением вспоминал все, что ему удалось увидеть, и подробно рассказывал обо всем.

Рассказы Блока о природе Италии, об архитектуре, о музеях, храминах и храмах, наполненных сокровищами искусства, — все было для меня ново и необыкновенно интересно, они оставили во мне такое глубокое впечатление, что долгое время мне не хотелось увидеть Италию своими глазами, я боялся увидеть ее не такой, какой увидел ее Блок, боялся утратить живое восприятие поэта.

Любовь Дмитриевна давно куда-то ушла, а рассказ Александра Александровича так меня увлек, что я совсем забыл предупреждение жены и ее просьбу проследить, чтобы он не переутомлялся. Я не заметил его усталости до тех пор, пока он сам не сказал о ней и не предложил перенести просмотр на завтра.

Так — в который уже раз — обрываются наши встречи у книжного шкафа.

Я был печальным свидетелем того, как день за днем Александр Александрович терял свои душевные и физические силы.

Я думаю, что прогулки в прошлое, всплывшие воспоминания, взволновавшие поэта, тоже отразились на нем. Он жаловался на крайнюю усталость.

Теперь я приходил во второй половине дня. Блок жаловался, что работа по просмотру рукописей подвигается очень медленно, после двух часов работы за столом он устает и ложится на диван, а когда ему кажется, что отлежался, отдохнул, он встает, но, оказывается, работать уже не может.

Так Александр Александрович перемогался вторую половину мая и почти весь июнь. Потом он слег и пытался работать, сидя в постели, и несмотря на то, что болезнь затягивалась и самочувствие его неизменно ухудшалось, Любовь Дмитриевна и все, кто заходил в эти дни на Офицерскую узнать о здоровье Блока, надеялись на выздоровление, никто не думал о грозном исходе болезни.

Один Александр Александрович, должно быть, предчувствовал свой скорый уход, тщательно готовился к нему и беспокоился, что не успеет сделать всего, что наметил, и поэтому торопился. Он боролся с усталостью и огорчался, что она так скоро лишает его сил.

Болезнь продолжала прогрессировать. Настал день, когда Александр Александрович не мог уже встать с постели. Доктор заявил, что больному необходимы санаторные условия, особое питание и что нужно непременно уговорить Александра Александровича согласиться на хлопоты о заграничном санатории.

О поездке для лечения за границу велись разговоры и раньше, когда Блок был еще на ногах, но тогда Александр Александрович решительно отказывался что-нибудь для этого предпринять, он не видел большой разницы между эмигрантством, которое ненавидел, и поездкой для лечения.

Теперь, когда состояние Блока ухудшилось и организм его ослаб, ослабло и его сопротивление, он уже соглашался, но просил только, чтобы поездка эта была не дальше Финляндии.

Продолжая ежедневно приходиться на Офицерскую, я пытался чем-нибудь помочь Любови Дмитриевне, которая совсем сбилась с ног: ей самой приходилось раздобывать нужные продукты, готовить их для больного, не упустить время приема лекарства — словом, забот было много, всего не перечислить. К этому надо добавить, что Александр Александрович никого не желал видеть и, кроме Любови Дмитриевны, никого к себе не допускал. На этом, кстати сказать, настаивал и доктор Пекелис. Конечно, я не мог рассчитывать на исключение и был рад, если мне удавалось что-нибудь сделать для больного.

Но вот однажды, спустя дней десять после того, как Александр Александрович слег, Любовь Дмитриевна, выйдя из комнаты больного, улыбаясь, сообщила мне, что Саша просит меня зайти к нему, что он чувствует себя немного лучше и что она воспользуется временем, пока я буду у больного, чтобы сбегать куда-то что-то достать. В улыбке Любови Дмитриевны, да и в самом приглашении опять мелькнула надежда. Но вместе с этим неожиданное приглашение к больному как бы парализовало меня: я растерялся и не мог двинуться с места.

— Что же вы сидите? Идите к Александру Александровичу, он ждет вас.

Кажется, я никогда так не волновался, как в этот раз, когда входил в комнату Александра Александровича. За те дни, что мы не виделись, он изменился: похудел и был очень бледен. Он полусидел в постели, обложенный подушками.

Улыбнувшись, Александр Александрович предложил придвинуть стул поближе к постели, пригласил сесть и просил рассказать ему новости. Спросил, в каком положении набор его книги «Последние дни императорской власти». Выслушав ответы, он сказал, что с тех пор, как совсем слег, почти ничего не может делать.

И вдруг вопрос:

— Как вы думаете, может быть, мне стоит поехать в какой-нибудь финский санаторий? — И добавил: — Говорят, там нет эмигрантов.

А спустя несколько дней Любовь Дмитриевна, открывая мне дверь, поспешно повернулась спиной. Я успел заметить заплаканные глаза. Она просила меня подождать, и, как всегда, я прошел в маленькую комнату, бывшую раньше кабинетом Блока. Скоро пришла Любовь Дмитриевна и сказала, что сегодня Саша очень нервничает, она просила меня, если не спешу, посидеть, быть может, она попросит сходить в аптеку. Но не прошло и десяти минут — вдруг слышу резкий стук и страшный крик Александра Александровича. Я выскочил в переднюю, откуда дверь вела в комнату больного. В этот момент дверь раскрылась и Любовь Дмитриевна выбежала из комнаты с заплаканными глазами. Она бросилась на кухню и там разразилась громким плачем.

— Что случилось?

Она ничего не ответила, только махнула мне рукой, чтобы я ушел. В комнате больного было тихо, и я ушел обратно в бывший кабинет Блока, в комнату, служившую теперь мне местом ожиданий, тревог и волнений.

Немного погодя я услышал, как Любовь Дмитриевна вернулась к больному. Пробыв там несколько минут, она пришла ко мне и рассказала, что, когда она предложила Александру Александровичу принять какое-то лекарство и тот отказался, она пыталась уговорить его. Тогда он с необыкновенной яростью схватил горсть склянок с лекарствами, которые стояли на столике у кровати, и швырнул их с силой о печку. Этот рассказ сквозь слезы неожиданно закончился восклицанием:

— Опять приступ патологии! Если б вы знали, как это страшно!

По рассказам Любови Дмитриевны, таких приступов «патологии» было несколько. После них наступали спокойные дни, и нам опять хотелось верить в выздоровление.

В наступившие спокойные дни Блок чувствовал себя настолько хорошо, что смог опять приняться за работу. Александр Александрович чаще приглашал меня к себе. Я привык уже к похудевшему, изменившемуся лицу поэта. Он забрасывал меня самыми различными вопросами: о моих личных делах, о делах издательства, спрашивал, с кем встречаюсь, что делается в «книжном пункте» Дома искусств, где я работал по совместительству, — словом; интересовался положительно всем.

Наконец я принес Блоку долгожданные гранки его книги «Последние дни императорской власти». Он обрадовался, просил оставить их, обещая прочитать в два-три дня. Блок точно выполнил обещание: через два дня он вернул мне как всегда тщательно исправленную корректуру.

За корректурой я пришел утром. Блока я застал свободно сидящим в постели, он даже не прислонялся к подушкам, как прежде. Он казался бодрым, весело улыбнулся и, передавая корректуру, дал какое-то указание. Я обратил внимание, что вокруг на одеяле были аккуратно разложены записные книжечки. Их было много. Я спросил Александра Александровича, чем это он занимается? Он ответил, что просматривает свои записные книжки и дневники, а когда я заметил несколько книжек, разорванных надвое, а в другой стопке отдельно выданные странички — я спросил о них. Блок совершенно спокойно ответил, что некоторые книжки он уничтожает, чтобы облегчить труд будущих литературоведов, и, улыбувшись, добавил, что незачем им здесь копаться.

Не знаю, был ли это у Блока приступ безумия, или «патологии», как говорила Любовь Дмитриевна, или, наоборот, это был разумный акт поэта, уходящего навсегда и заглянувшего в будущее? В тот момент,

несмотря на спокойное улыбающееся лицо, Блок показался безумцем. Когда я, встревоженный, вышел из комнаты, рассказал все, что увидел, Любови Дмитриевне и просил ее немедленно отнять у него книжки, спасти их, она сказала:

— Что вы, разве это возможно? Второй день он занимается дневниками и записными книжками, все просматривает — какие-то рвет на мелкие части целиком, а из некоторых вырывает отдельные листки и требует, чтобы тут же, при нем, я сжигала все, что он приготовил к уничтожению, в печке, возле которой стояла кровать.

Если бы я мог думать, что Блок уничтожает дневники и записные книжки в припадке раздражения или безумия, тогда факт уничтожения меня не удивил бы. Но Блок был совершенно спокоен и даже весел.

Вот этот «безумный» акт в спокойном состоянии особенно меня потряс.

Вспомнились первые дни после приезда из Москвы. Блок казался здоровым, бодрым и даже веселым; московских болей и усталости как не бывало. Вспоминаю день за днем, как все это случилось? Сначала просмотр оставшихся чем-то памятных и любимых книг, потом веселая прогулка в детство (детские журналы), драгоценные воспоминания о дальних поездках, Италия, альбомы путешествий...

Потом вспомнил слова о том, что, помимо книжного шкафа, ему необходимо просмотреть подготовленное к изданию собрание сочинений и привести в порядок архив. И вот наконец очередь дошла до архива, до дневников и записных книжек.

Как систематически и точно выполняется задуманный план, будто Блок подводит какие-то итоги.

Уж не прощается ли Блок со всем, что наполняло его жизнь?

Какая длинная цепь прощальных актов!

Последние числа июля. Блок чувствует себя значительно хуже. О состоянии больного узнаю у Любови Дмитриевны, но она очень скупа на рассказы, ее заплаканные глаза говорят больше, чем могли бы сказать слова.

Я прихожу ежедневно, а иногда по два раза. В маленьком кабинете Блока жду, когда из комнаты больного выйдет Любовь Дмитриевна, жду, не пригласит ли он к себе. Про себя повторяю все, что приготовил рассказать ему, все, что его может интересовать или развлечь.

Ловлю себя на том, что приготовленные рассказы очень уж подходят на те, которыми мы обычно занимаем больных детей или когда хотим овладеть их вниманием, расположением.

А в комнате больного тихо, необычно тихо, и кажется, что Любовь Дмитриевна слишком долго не выходит. Уж не вздремнула ли она там? Очень у нее усталый, измученный вид.

Вдруг она показывается в дверях, внешне совсем спокойная, как будто каменная. Но как только дверь за ней закрывается, она быстро идет в кухню, и оттуда слышу уже знакомый заглушенный плач.

Я подумал: какая она сильная, только что у постели больного она была, вероятно, спокойной, возможно, даже улыбалась.

Первого августа пришел днем. Открывая дверь, Любовь Дмитриевна сказала шепотом: «Плох, очень плох», а на распухом лице — слезы. И опять скрылась на кухню. Я прошел в свою комнату ожидания и там ждал. Я знал, что, когда она успокоится, непременно придет с каким-нибудь поручением. Ждать пришлось долго; когда ждешь — всегда кажется, что долго. Дверь в комнату больного несколько раз открывалась

и закрывалась. Наконец Любовь Дмитриевна приходит, внешне она спокойна.

— Саша просит вас зайти к нему,— сказала она и расплакалась, уже не скрывая слез.

Она, должно быть, понимала, что больной зовет меня, чтобы попрощаться.

Около десяти дней я не видел Александра Александровича, не ждал сегодня этого свидания, не подготовился, испугался. Продолжал сидеть.

— Идите, идите,— подбадривая меня, сказала Любовь Дмитриевна.

Александр Александрович лежал на спине. Страшно худой. Черты лица обострились, с трудом узнавались. Тяжело дышит. Лицо удивительно спокойное. Голос совсем слабый, глухой, едва поймал знакомую интонацию. Он пригласил меня сесть, спросил, как всегда, про меня, про жену, что нового. Я что-то начал рассказывать и скоро заметил, что глаза Блока обращены к потолку, что он меня не слушает. Я прервал рассказ и спросил, как он себя чувствует и не нужно ли ему чего-нибудь.

— Нет, благодарю вас, болей у меня сейчас нет, вот только, знаете, слышать совсем перестал, будто громадная стена выросла. Я ничего уже не слышу,— повторил он, замолчал и, будто устав от сказанного, закрыл глаза.

Я не знал, что мне делать. Мне было очень горько, хотелось сказать ему какие-то ласковые, добрые, утешительные слова. Но слова не шли, какой-то комок сдавил горло — боялся, что не сдержусь, расплачусь.

Я понимал, что сижу у постели умирающего, близкого и очень дорогого мне человека, но мне не верилось, что он может умереть, надеялся, должно быть, на чудо. Мне показалось, что долго сижу.

Александр Александрович тяжело дышит, лежит с закрытыми глазами, должно быть задремал. Наконец решаюсь, встаю, чтобы потихоньку выйти. Вдруг он услышал шорох, открыл глаза, как-то беспомощно улыбнулся и тихо сказал:

— Простите меня, милый Самуил Миронович, я очень устал.

Это были последние слова, которые я от него услышал.

Больше я живого Блока не видел.

Вечером 3 августа доктор Пекелис вышел из комнаты больного с рецептом в руках. Жена осталась с больным.

На мой вопрос, как больной, Пекелис ничего не ответил, только развел руками и, передавая мне рецепт, сказал:

— Постарайтесь раздобыть продукты по этому рецепту, вот что хорошо бы получить.— Он продиктовал мне: сахар, белая мука, рис, лимоны.

4 и 5 августа бегал в губздравотдел. На рецепте получил резолюцию заместителя заведующего губздравотделом, адресованную в Петрогубкоммуну, тов. Мирзоеву. В субботу 6 августа тов. Мирзоева не застал. Пошел на рынок и купил часть из того, что требовалось. Рецепт остался у меня.

В воскресенье 7 августа утром звонок Любви Дмитриевны:

— Александр Александрович сейчас скончался. Приезжайте, пожалуйста.



О Ч И Е Р К И Ж А У С И Х Д Н Е Й

ЛЕОНИД ИВАНОВ

★

НОВЫЕ ВРЕМЕНА — НОВЫЕ ЗАБОТЫ

Мои друзья сибиряки уже начали упрекать меня: редко стал писать о сибирской деревне. Да, в последние годы я действительно увлекся своими родными местами в Калининской области. И не потому, что они мне милее. Уже в первом своем очерке о родных местах я пытался, конечно в меру сил своих, привлечь внимание общественности на запущенность деревень и хозяйств этой зоны. Мне казалось, что в Сибири, по крайней мере в западной ее части, положение куда отраднее, что, впрочем, не мешало мне писать и о недостатках. Но делал я это, правда, вовсе не от любви выискивать плохое. А единственно от желания разобраться в причинах его существования. Мне кажется, что если бы все мы умели своевременно разбираться в причинах отставания того или иного края, района, даже отдельного хозяйства, то наше общее дело сильно выиграло бы и неверных шагов на нашем пути было бы меньше.

Мне приходилось детально знакомиться и с работой многих передовых хозяйств, особенно в Сибири. Занятие это очень приятное. И писать об этом как-то легче. И я писал. Много писал о передовых. А попадешь в слабое хозяйство, в отстающий район — и невольно сопоставляешь их работу с теми, передовыми. При таком сопоставлении частенько открывается не только то, что лежит на поверхности. Скажем, в передовом хозяйстве лучше механизированы основные трудовые процессы, опытные кадры, на полях сохранены правильные севообороты, на фермах больше племенного скота. Все это само по себе, конечно, интересно, но лежит как бы на поверхности, у всех на виду. Эту разницу между передовыми и отстающими уследит всякий мало-мальски знакомый с сельским хозяйством человек.

Гораздо интереснее другое: доискаться до причин, почему в отстающем районе или хозяйстве не используется опыт передовых. Разве они не знают о нем? Знают! Но почему... Ведь все это как-то противоречит нашему общему укладу жизни. И когда попытаешься доискаться до причин этого не совсем нормального явления, то наткнешься иной раз на такое множество любопытных фактов, что дух захватывает! Есть во всем этом много такого, что идет от людей, от их характера, особенно от характера руководителей, от их кругозора. Или от места расположения хозяйства. Ближе к городу — одно дело, дальше — другое. Хозяйство рядом с хорошей дорогой — одно дело, далеко от нее — совсем иная картина.

А ты пытаешься залезть еще глубже, будто главная-то причина лежит на самом дне, за множеством всевозможных наслоений. Бывает, что и не докопаешься — слишком много наслоений. Должен признаться: в своих родных краях я все еще не докопался до главной причины. А незавершенные раскопки влекут еще сильнее.

Потому-то я снова и оказался в своем родном Удомельском районе.

За последнее время в жизни нашей страны произошло много знаменательных событий, имеющих самое непосредственное отношение к жизни села, к его проблемам. Партийный съезд утвердил Директивы по новому пятилетнему плану. Небывало большое внимание в этом плане уделено развитию колхозного и совхоз-

ного производства. Подумать только: удваивается вложение государственных средств в сельское хозяйство, сильно увеличивается выпуск тракторов, комбайнов и других машин для села. Расширяется культурно-бытовое строительство на селе. Или вот: на сорок процентов поднимется реальный заработок колхозников. Все это, вместе взятое, на мой взгляд, и означает крутой поворот в жизни деревни. И потому радуется!

Вскоре после съезда созван Пленум ЦК партии. В развитие Директив съезда обсуждались вопросы опять-таки сельского хозяйства — о мелиорации и орошении земель, а совсем недавно принято решение о неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной эрозии, что и совсем уж близко к моей теме, так как непосредственно затрагивает интересы Нечерноземной зоны.

Как все это отразится на дальнейшем развитии моего родного края? Какие перемены произошли за минувший год, с того времени, как я был здесь в последний раз?

* * *

К деревне Верляйское я подошел, когда уже стемнело. Деревня спала, ни единого огонька в избах. Но хорошо видна пока единственная телевизионная антенна... А на краю деревни, в небольшой избе, которую здесь принято называть клубом, шло кино, и на улице слышен звонкий голос героини фильма... А отсюда всего пять минут хода до Верескунова. А вот и наш дом. Стучусь.

Мать словно у двери ждала: сейчас же забрэнчала засовом...

Улеглась обычная суета встречи, мы сидим за столом, и мать выкладывает новости первого, так сказать, плана:

— Пенсии-то всем колхозникам как прибавили! Это только подумать: Манька Ястребова почти пятьсот рублей в месяц стала получать! И другие тоже... Меньше-то трехсот ни у кого нету. Вот жизнь пришла!

Мать, как, впрочем, и некоторые другие здешние жители, никак не может свыкнуться с новым курсом денег и с новым званием односельчан: прошло более года, как колхоз преобразован в совхоз, а в обиходе по-прежнему — колхозники, колхозницы. И управляющего отделением совхоза мать называет по-старому председателем.

Но это так, к слову. Отрадно слышать, что престарелые люди деревни стали получать приличные пенсии. Мне запомнилось, как в начале прошлого года пожилой колхозник Василий Семенович Козлов, лет тридцать отработавший свиноматом в колхозе, досадовал:

— Работали мы по-разному, кто хорошо, кто не очень, а пенсия всем одинаковая — по двенадцати рублей. Обидно...

Обижался он не на размер пенсии, а на то, что уравнивали всех стариков и баб: всем платят минимум — двенадцать рублей в месяц.

Спросил у матери про пенсию Козлова.

— А никак рублей четыреста или поболее. Я же говорила: меньше трехсот ни у кого... Только вот в других-то деревнях сильно обижаются, — сказала мать.

Знакомые мотивы. И в Сибири доводилось слышать это же.

В последние годы многие колхозы были преобразованы в совхозы. Так случилось и здесь. Сразу после мартовского Пленума ЦК КПСС (1965) три соседних колхоза преобразовали в совхоз «Прожектор». К тому времени пенсии колхозникам были определены: всем без исключения минимум — по двенадцать рублей, потому что артели эти никогда не выделялись большими выплатами на трудодни. Но в совхозе размеры пенсии бывшим колхозникам были пересмотрены, увеличены до тридцати и более рублей.

Плохо? Думается, очень хорошо! Бывшие колхозники заслужили это, за десятки лет работы в колхозе они мало получали по трудодням. Отрадно и другое: уравнило же положен конец, в размере новых пенсий отражено участие каждого колхозника в артельном хозяйстве.

Оживились и «кандидаты» на пенсию: размер пенсионного обеспечения зави-

сит от среднего заработка за последние два года, — они стали работать особенно усердно.

А вот в соседних колхозах престарелые люди по-прежнему получают пенсию двенадцать рублей. И людям обидно. Обида эта усиливается по мере того, как появляются новые пенсионеры. Почему? Да потому, что новые пенсионеры и в колхозе будут получать теперь приличные пенсии, так как в связи с большим повышением закупочных цен, да и с общим подъемом сельского хозяйства доходы колхозов сильно увеличились и оплата трудодня не в пример прежней. По нынешним заработкам в колхозе пенсия будет вполне приличной, во всяком случае на уровне совхозных пенсионеров, так как заработок колхозников теперь гарантирован на уровне рабочих совхоза.

И это тоже хорошо и правильно. Но кто же из сельских тружеников остался, так сказать, обойденным благами последних лет? Как раз те, кто перенес на своих плечах все тяготы колхозных неурядиц, все невзгоды, все трудности послевоенных лет, когда на трудодни почти ничего не получали. И вот теперь именно эти трудолюбивые и стойкие люди остались обделенными до конца своей жизни. Все их прошлые заслуги оценены самой минимальной пенсией — двенадцать рублей в месяц. В самом деле, как-то не совсем ладно получилось с этим.

* * *

Проснулся я по-городскому — в восьмом часу.

Вышел на веранду, всю залитую солнцем. Хорошо!

Мать тут как тут.

— Наша веранда всем понравилась, теперь многие хотят так же делать. Василий Тимофеевич, Яков Васильевич, да многие, и в Карякине, и в Митрофане...

Это любопытно. В прошлом году мы к своему дому пристроили застекленную веранду. Пример оказался заразительным... А если бы кто-то построил красивый дом? Наверняка нашлись бы последователи.

Мать спешит доложить:

— Теперь колхозники поздно на работу выходят, председатель уж сколько раз прошел по селу, а колхозников не видеть...

Пробую поправить мамашу: не колхозники, а рабочие совхоза, не председатель, а управляющий отделением.

— Не все ли равно? Привыкли...

Привыкли, это верно. В тот же день на стене конторы я прочел обязательства совхоза на 1966 год. В конце их сказано так: «Обязательства приняты на объединенном собрании членов совхоза».

Но, конечно же, не это главное. А вот как совхоз повлиял на деревню?

...Рядом со старым гумном когда-то было овощехранилище. Оно уже развалилось, осыпалось. Здесь заложена силосная траншея. Вообще-то, думается, разумно: готовая яма, вместительная...

Когда я пришел к яме, там только что началась работа: гусеничный трактор заползал взад-вперед по бурту, трамбруя зеленую массу. А другой трактор, колесный, с натужным воем подъезжал к траншее. На больших деревянных санях, прицепленных к трактору, высылся холмик зеленой травы. Именно холмик, потому что на простые, без бортов сани зеленой массы много не наложишь. К тому же на холмике разлеглись четыре женщины. Это они подбирают траву из валков, укладывают на сани, а затем у траншеи сгружают ее.

Конечно, не лучший способ организации силосования. В Сибири так силосовали лет пятнадцать тому назад, а может, и побольше. Теперь в любом сибирском колхозе или совхозе силосование ведется иначе: зеленая масса скашивается, как травило, силосоуборочным комбайном, подвозится к траншее на автомашинах. При этом разгрузка давно уже механизирована — привезенную массу стаскивают с машины в траншею с помощью трактора, занятого трамбовкой. А тут все делается руками.

Струзив привезенную траву, женщины уехали на тракторе, весело переговариваясь, а гусеничная машина продолжала утюжить наложенную уже выше краев массу.

Подошел управляющий отделением Ефим Васильевич Езовитов.

— Ну как? — улыбнулся он, подавая руку. — Подвозить не на чем, вот беда. — продолжал он, не ожидая моего ответа.

Ефим Васильевич за минувший год заметно постарел: ежик на его голове стал совсем белый и щетинка на щеках тоже белая.

Я рассказал ему, как теперь ведут заготовку силоса в сибирских хозяйствах. Он в ответ только рукой махнул.

— Да ведь и нам нынче дали силосный комбайн, а толку что? — Заметив мой недоуменный взгляд, пояснил: — Захват-то два и шесть десятых метра, где у нас тут найдешь такие ровные площади? На лугу пустили было, да сразу и остановили — и половину травы не скашивает.

— А на клеверах?

— Так на клеверах-то камни. — возразил Ефим Васильевич. — Да если бы и не было камней, все равно трудно подобрать ровные массивы для такого большого захвата. Нам бы комбайн с захватом на метр с небольшим.

Старая песня: машиностроители и руководители «Сельхозтехники» все еще не научились уважать запросы земледельцев этой зоны. Если в Сибири или на Кубани широкозахватные комбайны — прогресс, то здесь-то — мученье. Мне уже приходилось делать сравнения: в Сибири в большинстве хозяйств размер поля триста — четыреста гектаров, а есть и по шестьсот. И ни единого камешка, ни единого холмика на всем поле. А здесь местность холмистая, каменистая, самое большое поле не превышает двадцати гектаров. По Удомельскому району средний размер поля менее трех гектаров.

— Мы просим тракторных сенокосилок, они хорошо подкашивают, но нам не дают, — продолжал досадовать управляющий. — Говорят, тракторные уже не выпускают, а к старым тракторным, да и конным нет запасных частей. Совсем не учитывают наши особенности.

В самом деле, досадно. Мне давно еще приходилось читать в газетах, что разработаны конструкции комбайнов для работы на склонах, на пересеченной местности — словом, вот для таких мест, как тут. Но самих машин видеть так и не удалось.

— И что же: комбайн стоит без дела? — спросил я.

— В соседнем отделении косят — ужас просто: половину травы оставляют. А мы пока остановили, но начальство ругается: простаивает дорогостоящая машина...

Получилось так, что после обеда я снова проходил мимо траншеи. Ее уже закрывали землей. Те же женщины, вооружившись лопатами, бросали сухую землю на верх бурта. Работа тяжелая, совсем не женская. Тем более что земля сухая, не поддается тупой лопате. Но тракторист сжалился над женщинами, привез плуг и взрыхлил землю вокруг траншеи.

И опять приходилось удивляться. В Сибири уже много лет силосные траншеи не засыпают землей. Ведь зимой эту землю надо будет отбивать ломом, скидывать обратно. Практика показала, что если силосная масса хорошо утрамбована, то достаточно ее укрыть соломой — процесс силосования пройдет нормально. Но зато какая огромная экономия в затратах труда и средств! Почему же здесь работают по-дедовски?

Я зашел в контору, застал там Ефима Васильевича, высказал ему свое недоумение. А он и сам плечами пожал.

— В том колхозе, где я до этого работал, мы тоже землей не закрывали, а здесь начальство приказало так.

Однако он позвонил в центральную контору, стал доказывать начальству. Не все доказал, но скидку получил: разрешили засыпать слой земли, вдвое меньший, чем положено по инструкции.

И все же нельзя не удивляться плохой информации в сельскохозяйственном производстве. Неужели в этой зоне не осведомлены о практике других хозяйств? Ведь так может быть и в других делах? Неужели специалисты и руководители не читают газет и сельскохозяйственных журналов?

Разговорились о делах. Помнится, два года назад, когда Ефим Васильевич возглавлял колхоз, здесь был разработан план специализации производства. Да и осуществлять этот план уже начали — в первую очередь упразднили мелкую птицеферму, ежегодно приносявшую большие убытки. Как же теперь идет работа в этом направлении? Ответ управляющего меня обескуражил. Оказывается, ничего почти не изменилось...

В третьем отделении все осталось, как в колхозе. Подумать только: на ферме деревни Верляйское содержится... двадцать коров, в Гайнове — тридцать, в Дритуни — пятьдесят две. И только в Карякине — сто три коровы. И это в совхозе...

И совсем уж непонятно: в отделении сохранена и овцеферма, на которой восемьдесят шесть овец. Есть небольшая свиноферма с двумя сотнями свиней. Что же получается? Столько лет ведутся разговоры о специализации сельскохозяйственного производства, а на практике никаких сдвигов в этом направлении. Мне казалось, что с созданием совхоза положение изменится быстрее. А иначе, как говорится, зачем и огород городить?

И еще: никаких новых построек за этот год третье отделение совхоза не возводит — ни производственных, ни жилых, ни культурно-бытовых. Правда, начинают строить шоху — нечто вроде крытого тока, где будут сушить зерно, — но на это строительство подрядили лишь... двух плотников. Им никак не управиться до начала уборки хлебов.

* * *

Созвонился с колхозом «Молдино». Евгений Александрович Петров пообещал прислать машину на станцию Еремково. А до станции от нашего разъезда Торфяное — рабочим поездом.

Пока шел до Торфяного, любовался цветущими лугами. Десять дней я здесь, за это время ни единого дождика, солнце палит для этих мест на редкость жарко. Но все силы колхозов и совхозов брошены на закладку силоса.

А как бы поступил крестьянин? Правда, мужики силоса не заготавливали, но уж хорошую солнечную погоду они, конечно же, использовали бы для заготовки сена. Ведь в этой зоне летом довольно часто идут дожди, поэтому каждый погожий день дорог для заготовки сена! А для силосования хватает и дождливых дней. Так почему не принаравливаться к особенностям погоды этих мест? Скажем, дождливое лето — побольше заготавливать силоса. А если лето солнечное, как вот и нынешнее, почему бы не налечь на заготовку сена? Пусть сена будет запасено больше, а силоса даже и поменьше. Раньше силоса вообще не давали скоту, но удои-то коров были не ниже. Да что раньше! И теперь кто имеет своих коров, силосом их не кормит, а удои высокие. Здесь хороши естественные травы, все они цветущие, а обилие разнотравья позволяет запастись прекрасное по качеству сено.

Навстречу ползет трактор, тащит сани. На них зеленая... нет, не совсем уже зеленая трава. Травинки от жары уже свернулись, подсохли. А ведь эту траву будут еще вилами разбрасывать по силосному бурту, и пока едут за новой порцией травы, эта совсем высохнет. Такое я наблюдал и вчера и позавчера. Полусухая трава закладывается в силос...

Не результат ли это шаблонного подхода к делу? Команда насчет силосования дана по всему району, газеты хвалят только за успехи на силосовании, а о сене ни слова. А если каждое хозяйство у себя на месте решит: что лучше сегодня делать — в силос ли гнать высохшую уже траву или на сено ее пускать? И силос и сено — корм. Какой из них полезней — это еще вопрос. Мне приходилось наблюдать, как из силосных траншей (а они здесь в большинстве небольшие: в двадцать — тридцать тонн, редко в пятьдесят) весной выгребали испортившийся

силос. Знаю я случаи, когда силос в яме погибал полностью. А сено не погибает, все скармливается скоту. Если же оно запасается в условиях солнечной погоды, то получается не сено, а чай, как принято тут называть.

Все это я говорил и управляющему и бригадиру. Они соглашались, однако в ответе были единодушны:

— Сейчас установка на силос...

Надо думать, что вот-вот будет дана команда готовить сено. Так привыкли. И не замечаем, что сами же себе противоречим: на словах ратуем за творческий подход к делу, а на деле продолжаем насаждать шаблон.

Почему все еще приходится встречаться с фактами мелочной опеки? Почему кое-где еще не совсем доверяют руководителям сельскохозяйственного производства самим решать вопросы технологии? Почему мы стараемся поучать тех, кто несомненно свое конкретное дело знает лучше, чем любой из нас?

Я говорю «нас» не случайно. Под этим словом я подразумеваю людей пишущих — газетчиков, литераторов.

Ожидая своего поезда, я вдруг обнаружил в кармане областную газету «Калининская правда» за 3 июля. В карман я положил ее три дня назад, когда был в Удомле, но потом забыл. Развертываю. Вот и о сенокосе... Статья «Травы ждут косарей». Присел на скамеечку, прочел. Подписано: М. Алексеев. Это не рядовой корреспондент, а ответственный сотрудник газеты.

Автор прибыл в колхоз «Смена». И что он там обнаружил? Прежде всего ему бросились в глаза стога прошлогоднего клеверного сена. Явление, к сожалению, очень редкое в здешней действительности. Все, кто связан с селом, знают, как трудны зимовки у животноводов. Иногда уже в марте—апреле не остается сена, подметаются все остатки, бывает, что соломенные крыши пускаются на корм скоту. А хозяйства, в которых после зимовки осталось излишнее сено, можно сосчитать по пальцам. И потому, увидев прошлогодние скирды, корреспондент должен был воскликнуть: «Вот где настоящие хозяева! Вот с кого пример другим брать! Ясно, что здесь умеют заготавливать корма».

Первое впечатление автора статьи примерно такое же. Он пишет: «По всему видно: в прошлую зиму на фермах не бедствовали от бескормицы. И надои об этом говорят. По сравнению с тем же периодом прошлого года они нынче выросли на 68 килограммов».

После такого вступления естественно ждать, что автор расскажет и о рачительных хозяевах, об их опыте. Но нет. Речь пошла совсем о другом. М. Алексеев приехал сюда не ума набираться у опытных хозяев, а поучать их, как заготавливать корма. Не дико ли?

Бригадир колхоза А. Морозова говорит корреспонденту, что клевера косить еще рановато, пусть подрастут. А корреспондент высмеивает бригадира — ничего, мол, не понимает: соседи давно уже косят клевера, а здесь ждут чего-то.

Не знаю, как для автора статьи, а вот для меня, читателя, пример соседей, раньше «Смены» начавших косить клевера, совсем не убедителен. Сено-то лишнее осталось не у расторопных соседей, а у разумных руководителей колхоза «Смена». Так на настоящих ли передовиков автор статьи ориентировался сам и теперь ориентирует всю область?

И в другом месте — в колхозе «Заря» — корреспонденту сказали то же, что и в «Смене»:

— У нас клевер еще не поспел. Пусть подрастет.

На это автор статьи глубокомысленно замечает: «И в колхозе не торопятся, ждут. А чего, сами не понимают».

А вдруг да понимают! Ведь, поди, не первый год в своей жизни заготавливают корма? Беда в другом: ничего не хочет понимать автор статьи. Колхозники-то понимают, что губить народное добро — преступно.

Тем более что, как явствует из статьи, в колхозе «Заря» уже портится то сено, которое скошено несколько дней назад на площади в сто сорок гектаров.

А корреспондент понуждает валить траву еще и еще, чтобы уж заодно портилось и остальное сено. Зато сводка по косовице будет выглядеть хорошо.

На станции меня встретил Евгений Александрович. Лицо у него загорелое, настроение бодрее. После взаимных приветствий я поспешил выяснить «клеверный вопрос». Кто же прав?

— Правы колхозники, — решительно заявил Евгений Александрович. — Мы тоже начинаем косить клевера, когда процентов семьдесят головок расцветает. При более раннем скашивании недоберут большое количество корма.

В машине Евгений Александрович продолжил разговор на эту тему:

— В наших краях и клеверов-то мало осталось, так хоть эти не губить попусту, убрать в лучшие сроки. Тем более что клевера можно косить машинами — значит, быстро с уборкой их управиться. Впрочем, и естественные луга слишком рано нельзя выкашивать.

Об этом мне приходилось слышать. Да и наблюдать, как хиреют наши естественные луга. В годы моей юности заливной луг за нашей деревней давал урожай сена в два-три раза больше, чем теперь. И качество корма было лучше, потому что много было на нем цветущих трав. А теперь здесь почти не осталось цветущих, растет осочка и острец. Выслушав мой рассказ, Петров усмехнулся.

— Причина-то ясна. Сами загубили многие луга. Вспомните-ка, когда, бывало, начинали сенокос мужики?

— После Петрова дня.

— Правильно! А ведь это в июле. Тогда все луговые травы в цвету, некоторые уж осыпали семена... Естественный луг сам себя обсемять должен.

В самом деле: если выкашивать луга до массового цветения трав, то ведь цветущие травы должны выродиться. Так фактически и получилось. Потому-то и урожайность лугов снижается.

И как же мы, пишущие люди, смешно выглядим, когда трубим о раннем скашивании лугов... Истины ради надо сказать, что на раннее скашивание кое-кто идет по нужде: не успевают управиться с сенокосом. И очень часто из двух зол выбирают меньшее: берут половину возможного урожая, чтобы не потерять весь.

Так, может быть, нашему брату следует сильнее бить тревогу насчет пополнения колхозов сеноуборочной техникой? Это-то было бы куда благороднее!

Раздумывая об этом, я и не заметил, что машина наша ползет по луже, разбрызгивает грязь. Разве был дождь?

— Утром сильный прошел, — отозвался Евгений Александрович. — Косовицу клевера пришлось приостановить: и так подвалено порядочно...

Начались молдинские поля. Хлеба здесь не в пример тем, что видел возле своей деревни: рослые, колосистые. Льны тоже заметно лучше, кое-где даже полегли. Но это, видимо, из-за дождя.

Сколько раз видел свои посевы Евгений Александрович! Каждый день, да и не раз, наверное. Однако и теперь откровенно любит полями.

— Обратите внимание на эту рожь, — показывает он рукой вправо. Водитель притормаживает машину. — Самый ранний посев, в середине августа сеяли по удобренным чистым парам. Сколько определите с гектара?

Рожь прекрасная: не очень рослая, но густая, с крупным колосом. Я назвал: сто пудов с гектара.

— Мы оцениваем повыше, — возразил Евгений Александрович. — Но сейчас посмотрим другое поле... Вот оно началось. Видите? Сеяли на неделю позднее, по занятому пару. Видите как! А тот край совсем пропал, пришлось весной пере-seять яровыми.

Разница огромная! Много плешин на полосе, рожь здесь ниже и колосом мельче.

— А семена высевались одинаковые, — поясняет Петров. — Все дело в предшественнике и в сроках посева. Посевы по занятым парам подвели нас. — И тут же вывод: — Последний год сеем по занятым парам, хватит, побаловались...

Между прочим, вчера Езовитов тоже говорил, что посе́вы по занятым парам нынче особенно сильно пострадали. Некоторые массивы вообще нет смысла убирать — ничего не выросло. В то же время на чистых парах рожь выстояла, обещает хороший урожай.

* * *

Когда въехали на усадьбу колхоза, Евгений Александрович сказал, что в обеденный перерыв он собирает бригадиров.

У конторы стояло уже два мотоцикла. Пока мы вылезали из машины, подкатил и третий. А потом и еще...

Вот он — командный состав колхоза, главная опора председателя. Прямотаки богатырского сложения бригадир Илья Васильевич Захаров. Напротив него, опершись на спинку стула, задумчиво сидит Иван Васильевич Муравьев — лицо у него морщинистое, красное от загара. А рядом с Муравьевым — улыбающийся Алексей Иванович Смирнов. Чувствуется, что у этого покладистый характер, с таким и работать весело.

Один из бригадиров доложил, что вышли из строя конные грабли — нет подшипников. Алексей Иванович весело воскликнул:

— Чего в обмен дашь? Найдем подшипники!

И другие бригадиры заговорили о недостающих деталях, главным образом к конному инвентарю. Тут же были заключены «контракты» на обмен: у одного есть подшипники для граблей, у другого к сенокосилкам, у третьего храповики. Созыв совещания даже ради этого дела и то уже оправдан. Теперь заработают вновь все остановившиеся машины. А Евгений Александрович порадовал бригадиров, сообщив, что в соседнем районе нашли тракторные грабли и сегодня их привезут в колхоз. Сразу объявил, кому в первую очередь будет оказана помощь этими граблями, к кому перейдут они через день, через три дня.

Это сообщение радовало. Но Евгений Александрович, обращаясь ко мне, сказал не без горечи:

— Мы еще в прошлом году заказали «Сельхозтехнике» восемь конных грабель, но их запланировали нам на четвертый квартал.

— Снег будем сгребать, — мрачно бросил Муравьев.

Подъехали еще два бригадира, и председатель заговорил о главном:

— Начали сено косить, и давайте теперь подумаем, как лучше вести работы. Меня беспокоит силос — погода была сухая до сегодняшнего дождя, масса суховата, можно корм испортить. Поэтому сами строго следите за трамбовкой: как можно лучше трамбовать!

И совсем коротко напомнил: озимые с 25 июля надо будет убирать, а к началу августа подоспеют и льны. Так что для заготовки кормов осталось не так много времени.

— А у нас в некоторых бригадах работу на покосе начинают с шести-семи часов, — упрекнул Петров. — Нам поможет одно — с завтрашнего дня распорядок дня на сенокосе должен быть крестьянским.

Последнее он повторил дважды, пояснив, что это означает: с четырех часов утра начинать полевые работы на сенокосе. Попросил бригадиров рассказать о своих планах организации сеноуборки и о претензиях к председателю.

Доклады бригадиров очень кратки. У них все продумано. И претензий не так уж много.

— Главная претензия к руководству — дайте погоду! — без улыбки произнес Муравьев.

— Погода может быть неустойчивой, — возразил Петров и, обернувшись к висевшему на стене барометру, весьма недружелюбно постучал по стеклу. — Неустойчивой, — повторил он. — Поэтому совершенно недопустим разрыв между косовицей и скирдованием. У кого много клеверов поджошено — придержите косовицу, все силы на копнение перебросьте. Клевера нынче хорошие, нельзя допустить порчи сена.

Как тут не вспомнить статью из областной газеты. Там автор требует: вали травы, наплевать, что со ста сорока гектаров клевера еще не подобраны.

Но вот все вопросы выяснены. Бригадиры дружно поднялись, и скоро у крыльца конторы затрещали мотоциклы.

Евгений Александрович что-то записывал для памяти. А у меня к нему уйма вопросов, и самый первый: как относится он ко всем государственным мероприятиям последнего времени по сельскому хозяйству?

— Очень хорошо, — ответил Евгений Александрович. — Но если бы все это было сделано лет пять назад! Где бы мы теперь уже шагали!

— Но вы-то и так хорошо шагаете!

— Я имею в виду деревню вообще. Помните, в прошлом году мы много говорили о молодежи, почему она не задерживается в деревне... В этих делах, как мне кажется, большое значение имеет и сила инерции. Некоторые молодые люди психологически подготовлены к уходу из родного села задолго до окончания школы. Старшие товарищи или подруги подались в город — значит, и младшим дальнейший путь ясен. И очень немного надо, чтобы этот психологически подготовленный молодой человек покинул деревню. И если бы все последние меры чуть пораньше — удалось бы, думается, создать перелом в мышлении молодежи, да и не только молодежи. Возьмите ту же гарантированную оплату труда колхозника. С первого июля — гарантия заработка на уровне рабочих совхозов. Это же очень сильная мера! Разве она не повлияла бы на молодежь, если была бы введена пять лет назад? А решения насчет культурного строительства на селе? Это и было бы противовесом той самой инерции. Противовес нужен, очень нужен... И теперь, конечно, все к месту, но если бы пораньше...

Среди бумаг Петрова я заметил список награжденных.

— Это недавно наградили, — пояснил Евгений Александрович. — Двенадцать наших! — подчеркнул он.

Да, в этом году тружеников села награждали за успешное выполнение заданий семилетки — и по зерну, и по льну, и по картофелю, и по животноводству. Успешно работали и молдинцы, а отсюда и награды: бригадиру Ивану Васильевичу Муравьеву — орден Ленина, бригадиру Илье Васильевичу Захарову — орден Трудового Красного Знамени. Орденами «Знак Почета» награждены доярка Анна Егоровна Лебедева и колхозный агроном Алексей Александрович Ипполитов, семеро молдинцев отмечены медалями. Отмечены и заслуги председателя — Евгений Александрович Петров удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

* * *

Во время обеда Евгений Александрович предложил сходить в Грановский парк. Но сначала он забежал в контору, чтобы взглянуть на барометр.

— Клеверов порядочно подкюшено, — вздохнул Евгений Александрович, подходя к барометру. Стукнул сначала легонько, потом посильней. — Стоит на месте, — констатировал он.

Зашел молодой паренек.

— Это наш завклубом Саша Шавров. Ну, Саша, какие новости?

Паренек смутился, заговорил робко:

— Я, Евгений Александрович, насчет денег... Праздник молодежный готовим, лотерея будет, платная, но для покупки выигрышей нужны деньги.

Евгений Александрович написал распоряжение, и Саша повеселел.

— Вечер будет интересным! — воскликнул он уже от двери.

Петров еще раз стукнул по барометру, поднялся.

— Того, прошлогодного, старика пришлось освободить от клуба, — напомнил он. — А Саша Шавров в прошлом году поступал в военное училище, но не прошел. Согласился поработать в клубе.

— И получается?

— Лучше, чем у старика, а если бы немножко поднастроить его на курсах, хорошо получилось бы. — Тут Евгений Александрович вздохнул. — Вот только

уедет Саша, псдал заявление в институт, парень способный, сдаст! Просим в районе — не могут... Понимаете, что получается? Во всем районе не найтп приличного культработника для заведования клубом. Нет человека!

— Но ведь в районе, кажется, только один колхозный клуб и есть.

— Такой большой один пока, и еще в двух колхозах начали строить. Но в этом-то и проблема, — загорячился Евгений Александрович. — Ведь за пятилетку все колхозы построят приличные клубы. Теперь построят! Но будут ли кадры культработников для села? — Переждав немного, заключил: — Надежды мало...

Этот разговор напомнил мне другой, состоявшийся недавно в Омске. Там подсчитали, что для клубов и других культурных учреждений районов, колхозов и совхозов области в этом пятилетин потребуется дополнительно более трех тысяч культурных работников. Готовится же в пределах области всего пятьдесят человек в год, но из них на село попадет не более десяти... И если в Удомельском районе не могут подобрать заведующего пока для единственного колхозного Дома культуры, значит культработники для села — проблема трудная. Тем более что незаметно, чтобы для ее решения принимались срочные меры.

Уже на улице Евгений Александрович продолжал:

— Мы и нынче не смогли никого уговорить поехать в культпросветшколу. Никто не хочет! Вот удивительно... Теперь, думается, сельскому хозяйству не хватает только одного — популярности среди народа. Техника, экономические стимулы — все это уже и есть, и, несомненно, будет в достатке. А вот популярности, равной, скажем, популярности больших строек, — этого нет. Тут и вашему брату писателю есть над чем призадуматься. Много пишете о провалах в деревне, о плохом быте, о низкой культуре. Наверное, это вообще-то нужно показывать, но...

Я попытался защититть «нашего брата»: показывая недостатки, мы пытаемся привлечь внимание общественности к тому, что мешает движению вперед.

— Все это правильно, — согласился Евгений Александрович. Однако, поправив кепку на голове, надвинув ее на глаза, перешел в наступление: — Вы думаете, на тех же стройках все отлично? Что там идеальная культурная работа, небывало высокие заработки, у каждого по два телевизора?.. Вот и по Братску: мало детских учреждений, мало клубов... Однако у молодежи эти недостатки не вызвали пренебрежения к стройкам. А попробуйте спросить любого городского паренька или девушку: что они знают про деревню? Ответ быстро найдется, и вы знаете какой. Во всяком случае если кто-то из горожан решит уезжать и перед ним будет двадцать адресов — от колхоза до великих строек, — колхоз окажется в очереди двадцатым. Потому что так сумели внушить ему все — и печать, и радио, словом, все. А это плохо.

— Значит, надо создавать произведения о чудесах в деревне? Писать статьи, очерки, создавать кинофильмы о прелестях сельской жизни, о богатстве колхозов? И закрывать глаза на все плохое? Иначе говоря, во что бы то ни стало возвышать деревню? Да ведь это уже было, да и сейчас еще иногда бывает...

Евгений Александрович усмехнулся. Он сдвинул кепку на затылок.

— А это надо подумать, как показать. Деревенский труд еще нелегкий, очень он нелегкий, этот деревенский труд, но есть же в нем много и привлекательного! Надо, чтобы весь наш народ проникся большим уважением к деревне. Пусть не едут к нам горожане, бог с ними, но пусть они уважают тружеников села. Возьмите простой пример: на какой-то стройке срочно потребовалась машина или какая-то деталь. Бросают клич: «Строители великой стройки нуждаются в том-то и том-то! Дадим досрочно, изготовим досрочно!» И это отрадно. А вот к заказам деревни на заводах нет еще такого энтузиазма, как к заказам строек. И это обидно. Вы же знаете, сколько автомашин простаивает в колхозах из-за отсутствия резины! И это не первый год... А где-то на большой стройке автомашины простаивают из-за резины?

— Точно не скажу, но думаю, что нет.

— Вот именно! Нет, не простаивают. Когда туго, мы только там и покупаем резину. Ворованную, конечно.

Мне вспомнилась прошлогодняя история, когда Петрова привлекали к ответу за покупку резины, запчастей и стройматериалов у частных лиц. Выходит, опять покупают?

— А что же делать? — вместо ответа спросил Петров. — Читали недавно в райгазете заметку?.. В колхозе «Расцвет» давно начали строить клуб, а закончить не могут. Приезжали студенты из Калининна, немножко помогли. Сдвинули с места стройку, а уехали — все затихло. Теперь колхоз и просит-то о малом: дайте чем крышу закрыть, а то сгниет все. Неужели в городе допустили бы такое отношение к клубу? А в деревне можно. И никто не бросит клич: поможем досрочно построить колхозный Дом культуры! Дадим шифера! — Евгений Александрович разгорячился даже. — Вот и у нас нынче, построили первый сушильный комбинат, радовались: теперь дожди в уборку не страшны — и хлеб и льносемя высушим. А кровельного материала нигде нет. Стоит наш комбинат без крыши. Ездили мы в десять мест — нигде ничего. На заводе шиферном были — не получается. Спросят: откуда?.. Из колхоза. И разговор окончен. А запчасти к машинам... Мало улучшилось. Машин все больше и больше, а запасных частей, по-моему, не прибавилось, особенно дефицитных... В самом деле, теперь сельскому хозяйству не хватает одного: популярности в народе. — помолчав немного, повторил он. — А то сами-то сельские жители перестают уважать и любить свои родные места.

Перед нами сосновый бор. За разговором я и не заметил, как мы миновали последнюю улицу поселка и уперлись в лес. Между поселком и лесом стояла изгородь, обычные ворота.

Прикрыв за собой ворота, мы через несколько шагов оказались под сенью могучих деревьев — тут и сосны, и ели, попадаются и могучие дубы, есть белоствольные березки...

Вскоре дорога привела нас на просторную площадку. Евгений Александрович объявил:

— Вот здесь центр наших празднований. Ларьки по перелескам устанавливаются, танцевальная площадка в центре, а ближе к озеру наш стадион.

Несколько дорожек с этой площадки сбегает вниз между деревьями. За кромкой леса открылась еще более просторная площадка, обнесенная скамейками. Видны футбольные ворота...

— Наверное, шумно бывает в дни состязаний?

— Вчера игра была, — отозвался Евгений Александрович. — Ничья! Для нашей команды это неплохо. Беда вот, играем-то мы в чужом районе. — Уловив мой недоуменный взгляд, пояснил: — У нас ребята увлекаются футболом, а в колхозах и совхозах нашего района футбольных команд не создано. Правда, в райцентре есть, да и то, кажется, команда ветеранов, старички, словом. И нашим футболистам не с кем играть. Вот и пришлось попроситься в соседний Вышневолоцкий район. Спасибо, не отказали.

— Значит, ваша команда борется за звание чемпиона Вышневолоцкого района?

— Выходит, так, — усмехнулся Евгений Александрович. — В Волочке все же несколько заводских команд, в совхозах есть. В старых совхозах, — уточнил он. — И колхозные... А в нашем Удомельском... — Он вяло махнул рукой.

Я знал, что Петров — главный наставник своей футбольной команды. И потому осторожно спросил об успехах футболистов.

— Пока ничего, — охотно ответил он. — Соревнуются одиннадцать команд, наши в самой середине.

Правее стадиона — прекрасный пляж. Небольшие волны накатывались на берег, отступали, продолжая промывать и без того чистый прибрежный песочек. Отсюда видны четыре деревни, все они на берегу озера.

— У нас почти весь колхоз раскинулся по берегам этого озера, — заметил Евгений Александрович. — Окружили его... А вот эта сторона занята Грановским парком. Тут было когда-то несколько барских имений. Теперь наезжают горожане...

— Бывшие колхозники? — уточнил я.

— В конечном счете так. Бывшие колхозники и их родственники, уже нажитые в городах. В прошлом году мы пробовали прикинуть, — усмехнулся он чему-то. — Знаете, сколько дачников бывает? Более восьмисот человек насчитали! Это на пятьсот-то колхозных дворов...

Вот ведь и не очень близкое от больших дорог место, а привлекает отдыхающих. Больше всего — ленинградцев. Но есть и москвичи, и калининцы, и вышневолоцкие жители. Влекут людей края родные! А почему бы некоторым из них не жить здесь, не взяв за работу на земле? И в качестве механизаторов, и в качестве культурных работников. Это было бы большим подспорьем быстро встающей на ноги деревне!

Теперь мы шли по берегу озера. Справа от нас шумел бор, слева шелестели волны. Евгений Александрович рассказывал о выпускниках школы.

— И нынче мало кто остается в родном колхозе. Мало уважения к сельскому труду. Нам нужен ветеринарный врач. Бросили клич: принимаем на повышенную колхозную стипендию того, кто поедет учиться на ветврача в Ленинград. И никто! Понимаете? В медицинский будут пытаться поступать, а в ветеринарный — никого. Потому что, говорят, всю жизнь в деревне придется жить. Досадно... И в сельскохозяйственный на агронома и на зоотехника не удастся завербовать. А нам хотелось иметь специалистами своих воспитанников. Они надежнее приезжих со стороны. Казалось бы, просто: и надо-то, чтобы от каждого колхоза училось несколько человек на агронома, на зоотехника, на ветеринарного врача, ну, и, конечно, на инженера-механизатора. У нас, правда, с инженером будет проще. Наш теперешний механик Смирнов заочно учится в институте, этот уж наш! Но нужно еще!

Я спросил о сыновьях бригадира Захарова. В прошлом году один работал на тракторе, но мечтал учиться на офицера.

— Не прошел по состоянию здоровья, — ответил Петров. — Год на тракторе работал, нынче в армию пойдет, а после армии собирается на учебу. Второй сын Захарова, Сергей, сейчас тоже на тракторе работает.

— А Люба Федорова? Осталась экономистом?

— Люба работает хорошо, — оживился Евгений Александрович. — Можно сказать, силой заставили, а теперь поступила на заочное, комсомольцы избрали ее своим вожаком. Славная девушка.

Впереди показалась узкая зеленая лента, врезавшаяся в озеро.

— Наша стрелка! — воскликнул Петров. — Красивейшее место! Пойдемте по ней...

Мы тошагали словно по зеленой ковровой дорожке. Она заканчивалась малюсеньким зеленым мыском. Евгений Александрович присел на травку, я последовал его примеру. Теперь все озеро у нас на виду. Просторное, с множеством заливов и заливчиков. Теперь видны все колхозные поселки. Евгений Александрович называет их: Ильино, Полукарпово, Воронцово... Все они утопают в зелени садов. На озере видны лодки.

— Это дачники, — бросил Петров. Потом заговорил вроде бы о другом: — Нынче в апреле, вскоре после партийного съезда, мы у себя специально обсуждали вопрос о молодежи, о молодых колхозниках, точнее — о выпускниках школы и солдатах, отслуживших в армии. Решили пойти на расходы...

Вот некоторые из них: раньше солдатам, вернувшимся в колхоз, выдавали двадцать рублей денег и двести килограммов зерна. Теперь колхоз пошел на большее: вернувшийся из армии получает на обустройство сто рублей деньгами, двести килограммов зерна, столько же картофеля. А в случае, если решит обзавестись семьей, то ему предоставляется денежная ссуда сроком на пять лет в сумме пятисот рублей. А если в колхозе есть свободный дом (а их намечено строить порядочно), то в первую очередь он будет предоставлен для солдата.

Этим же решением колхозники обязали правление привести в порядок парки, спортивные площадки, отремонтировать все клубы и красные уголки, нала-

дить работу художественной самодеятельности, всячески поддерживать спортивные мероприятия. Приняли еще очень важное решение: все дети колхозников, окончившие среднюю школу и оставшиеся работать в родном колхозе, теперь получают доплату за образование: к их фактическому заработку начисляется надбавка в размере десяти процентов.

Я уже упоминал в своих очерках, что по новому пятилетнему плану предусмотрено построить в колхозе двухэтажные дома со всеми современными удобствами — специально для молодоженов и новоселов, приехавших из других мест. Тем же решением правлению предложено форсировать строительство домов.

Евгений Александрович напомнил о доме отдыха, предложил посмотреть место, где он будет возведен.

Вернувшись на берег, мы пошли дальше. Дорожка стала удаляться от озера. поползла вверх, на холм, густо поросший соснами и березами, и наконец вышла на просторную поляну, с которой опять хорошо видно озеро.

— Вот здесь и будем строить дом отдыха для колхозников,— сказал Евгений Александрович.— Сразу после уборки примемся за дело, нынче зальем фундамент, а в будущем году завершим всю стройку.

Евгений Александрович живо рассказывает, каким ему хотелось бы видеть этот дом, как привольно будет отдыхающим.

— Мы пока что намечаем так: в основном здесь будут отдыхать колхозники, а летом — наши школьники. Наставим палаток, а может, и постройки летнего типа возведем. Тут же и пляж, и вообще редкое по красоте место, очень удобно во всех отношениях. Здесь будут не только отдыхать, но и лечиться. Будем и радикулит лечить — наиболее частый недуг у колхозников.— Рассказывая о планировке дома отдыха, посетовал: — Запрашивали мы всех, кого только можно: дайте типовой проект такого дома, чтобы как-то ориентироваться. А нам отвечают: нет типовых проектов колхозных домов отдыха. Вот и вынуждены сами мудрить, готовим свой проект.

Начинало вечереть, когда мы возвращались обратно. Озеро притихло, притих и лес в Грановском парке.

«Конечно,— думал я,— здесь далеко смотрят вперед. Принимаются реальные меры, чтобы удержать молодежь. И хотя немедленной отдачи еще нет, но будет. Наверняка будет отдача! Пока же, в этом я согласен с Петровым, действует сила инерции».

А Евгений Александрович заговорил уже о более далеком:

— Особенно серьезно приходится думать об облегчении труда женщин. Когда семья решает вопрос, оставаться в колхозе или двинуться в город, слово хозяйки здесь не последнее, а часто решающее. И если много говорится об облегчении домашнего труда горожанок — и это, конечно, правильно, — то о сельской женщине тем более надо думать. Честно говоря, об этом пока никто не позаботился. В городах все же есть и прачечные, и всевозможные комбинаты бытового обслуживания, и газ, и другие удобства. А в деревне все остается так, как и тысячу лет назад. Никакого облегчения у печки и в доме вообще, зато прибавилось хлопот на работе. У нас ведь все женщины работают, чаще всего животноводами, труд же на ферме самый тяжелый.

Я напомнил о двухсменной работе животноводов.

— Будет у нас двухсменка! — решительно произнес Евгений Александрович.— Задержка за электричеством... В семь бригад проведена высоковольтная линия, а подключить к сети все не могут.

Мы миновали ворота, вышли на улицу — ее запрудила скотина.

— Вот видите,— кивнул Евгений Александрович на стадо,— у хозяек только главная работа начинается — разыщя свою корову, подои ее, напои... Нет, надо улучшать условия жизни сельской женщины!

У дома Петровых нам повстречался Володя — младший сын Евгения Александровича, шустрый паренек с непослушными вихрами.

— Папа, мы раков целое ведро наловили!— доложил он и, подхватив с крыльца чугунок, выбежал из ограды.

— На берегу озера и варить будут.— высказал догадку Евгений Александрович.— В военные готовится,— тепло улыбнулся он.— В Суворовское училище подал заявление...

Я знал, что Володя закончил нынче восьмой класс, но о Суворовском услышал впервые. А что же? Надо кому-то из семьи продолжить традицию: дед-то у Володи — генерал.

А в доме прихорашивалась у зеркала дочь Петровых Таня. Как видно, собиралась в клуб. Я пошутил:

— А Таня, наверное, на агронома пойдет учиться.

— Как вы угадали?— сверкнула она темными глазами.

Я немного растерялся. Сказал первое пришедшее в голову: дочь председателя колхоза должна продолжить линию и тому подобное.

— А я и продолжу!

Я взглянул на Петрова. Он только что досадовал, что никто из выпускников средней школы не хочет учиться на агронома. А Таня тоже выпускница, и вот...

Евгений Александрович, как видно, понял мой взгляд и только пожал плечами.

Таня тоже глянула на отца и легко выпорхнула в дверь.

Евгений Александрович поспешил рассеять мое недоумение. Он сказал, что у Тани эти дни тревожные. Надо решать, в какой институт подавать заявление. Родители старались не вмешиваться, но когда она спросила совета, отец сказал, что ему хотелось бы видеть в своей семье агронома.

— Так что,— он развел руками,— и для меня это пока что новость...

* * *

Рано утром Петров ушел в контору. На этот раз и я не проспал — поспешил за ним.

Небо заволочло тучами. Евгений Александрович хмурится.

Сунув ключ в замок, он распахнул дверь в контору, а зайдя в кабинет— сразу к барометру: стукнул по стеклу, покрутил головой.

— Подвинулась к дождю...— И как бы успокаивая себя:— Но чуть-чуть.

Зазвонил телефон. Бригадиры докладывали, как начался рабочий день. Но первым вопросом председателю, как видно, был один и тот же: как барометр? Потому что Евгений Александрович каждому отвечал:

— Чуть-чуть подался к дождю, на полделения, так что сильного ненастья не должно быть.— И сразу к делу:— Что сегодня решили делать?

После доклада шести бригадиров Евгений Александрович удовлетворенно произнес:

— Сегодня работа началась по крестьянскому распорядку!

На часах начало шестого... В большинстве бригад спешно укладывают в копны клевер. А сенокосилки подкашивают траву только для силосования. Так советовал и Петров.

Заявился Захаров, доложил, что и в его бригаде копнят сено, а если вдруг дождь — все подготовлено к силосованию кормов. И сразу о другом:

— А льны-то поднимаются! Вчера мы поволновались — после дождя места-ми совсем положило, а сегодня сбежал посмотрел — поднимаются!

Он даже заулыбался.

После завтрака, а это уже в девятом часу, председательский «газик» помчал по бригадам.

День не разъяснился, по небу поползли грозовые, явно дождевые облака. Слышно погромохивание. Евгений Александрович то и дело выглядывает из машины, чтобы определить движение грозовых туч. Но, видно, не в ту сторону смотрел. Только сделал вывод, что туча может пройти мимо колхозных полей, как за первым же крутым поворотом в кустарниках, по брезентовому верху машины

дружно застучали капли дождя. Сразу стало темнее, и над нашими головами раскатисто прогремело.

Евгений Александрович сообщил, что бригадиром здесь — в Мануйлове — Николай Матвеевич Афанасьев (вчера я видел его на совещании), в прошлом человек военный, в звании капитана.

Миновав деревню, мы оказались возле силосной траншеи. Как раз подкатил трактор с тележкой на прицепе, женщины дружно принялись сбрасывать зеленую траву в траншею, и хотя все успели промокнуть, работа шла споро, даже весело. Николай Матвеевич докладывает Петрову:

— У нас утром уже мочило... Чуть свет туча накатила. Поэтому трактор направил картошку окучивать, а людей — на силос. Клевер-то мы вчера закопнили, дотемна управились...

Когда обо всем договорились, бригадир и сам взялся за вилы, начал разравнивать в траншее сброшенную траву.

— Теперь сбегает в Лугинино к Алексею Ивановичу, — сказал Евгений Александрович, усаживаясь в машину. — Просил он посмотреть горохо-овсяную смесь. Посеяли-то мы ее на силос, но бригадир советует оставить на зерно.

В Лугинине, как выяснилось, с утра не было дождя, но их поля накрыла та самая туча, которая прихватила и нашу машину. Поэтому Алексей Иванович перестраивает свою бригаду на силосование кормов.

А я лишний раз отметил сложность управления сельскохозяйственным производством. Вот вам: один колхоз — три деревни, расстояние между ними четыре-пять километров, а условия для полевых работ совершенно разные.

...Горох расцвел вовсю, на некоторых стеблях образовались стручки. Неплохо выглядел и овес.

— Сколько силоса с гектара возьмешь на этом поле? — обратился Петров к бригадиру.

Алексей Иванович ответил не сразу:

— Зеленой массы тонн по десять будет.

— Вот и давай считать, как выгодней. — предложил Евгений Александрович.

Начались подсчеты. И получалось так, что если это поле скосить на силос, то кормовых единиц соберешь около тысячи с гектара. Если же оставить на зерно, то кормов получишь раза в полтора больше. И корм, понятно, будет дешевле, так как это поле можно убрать комбайном.

— Значит, оставляем? — спрашивает председатель.

— Надо оставить.

Вопрос был решен. Думается, очень правильно. И вообще следовало бы посчитать: выгодно ли в местных условиях заготавливать силос с пашни, то есть со специальных посевов на силос. Тем более что в том же «Молдине» клевера дают в хороший год более двухсот центнеров зеленой массы. И нынче, как сообщил Евгений Александрович, урожай клеверов не ниже. Другое дело, если бы здесь была найдена более урожайная силосная культура. Но таковой пока не нашли. Кукуруза не пошла, подсолнечником почему-то не занимаются. И в большинстве хозяйств высевают для силосования овес в смеси с горохом или викой, но сбор зеленой массы невысок — в пределах шести-семи тонн с гектара. А это разорительно для хозяйства.

Евгений Александрович согласен с этим. Они и горохо-овсяные смеси посеяли для страховки: вдруг клевера подведут...

— Надо лучше заниматься луговодством, — говорит он. — Если подсеять травы на лугах, можно удвоить урожай. И вообще нашим руководителям надо быстрее активизировать деятельность специалистов-луговодов. Здесь во всех районах лугов в два раза больше, чем пахотных земель, вот за луга-то и надо браться всерьез. И главное — подсеивать культурные травы.

Алексей Иванович остался с бригадой, а мы поехали дальше. Я не буду описывать всех встреч с бригадирами. Скажу только о некоторых беседах, имевших место в этой поездке.

Евгений Александрович отлично знает своих первых помощников — бригадиров. А это ведь так важно!

Когда подъезжали к деревне Ильино, он рассказал мне о бригадире Владимире Воронине: молодой, первый год бригадиром, женат на учительнице. Недостатки его такие-то... А исправлять их будем так-то...

У деревни Полукарпово Евгений Александрович рассказал о бригадире Иване Васильевиче Муравьеве.

— Человек немолодой уже, очень скромный, трудолюбивый, люди его уважают. И он заботится о своей бригаде. Построили водопровод в деревне, сейчас в несколько домов воду ведут. Прямо в дом, как в городе. Между прочим, когда по радио услышали, что Муравьева наградили орденом Ленина и передали эту весть Ивану Васильевичу, он не поверил. Я по телефону поздравил его, а он ответил: «И вы подшучиваете надо мной. Свои-то уж наплевать, а вы-то зачем?» Словом, бригадир хороший.

На полях бригады Муравьева мы смотрели лен. Надо заметить, что именно за высокие урожаи льна Муравьев удостоен ордена Ленина. Нынче лен в его бригаде снова великолепный.

И вот здесь-то завязался разговор, старый уже, о технике для уборки льна. В районе нынче очень довольны — получили много льнокомбайнов, совершенно новых! В общем-то, этому рад и Евгений Александрович, но он высказал несколько своих замечаний, к которым следовало бы прислушаться конструкторам.

Льнокомбайн должен, по замыслу конструкторов, таскать лен, очесывать головки и сразу же расстилать соломку — прямо на льнище. Замысел великолепный, экономится много рабочих рук. Но у Евгения Александровича, как у человека весьма практичного, нашлись возражения. Вот они: лен надо убирать в ранней стадии спелости. Если дожидаться полной желтой спелости, то резко ухудшается качество волокна. Но если комбайном убирать лен в ранней спелости, то большая часть льносемена не попадет в закрома — оно зеленое еще. Когда лен в ранней стадии спелости убирают и вяжут в снопы, то зерно «доходит» в суслонах, имеет нормальную выполненность и хорошую всхожесть. А при комбайне можно и без семян остаться.

И еще: при нормальной густоте растений — это три с половиной тысячи стеблей на квадратном метре, — если расстилает комбайн, получается слишком толстый слой, вылежка льна будет неравномерной, а это резко ухудшит качество льноволокна и хозяйство недополучит много денег.

— А если лен окажется не очень густым?

— Тогда можно разостлать и на льнище, но тут другая беда: это поле не распашешь на зябь — значит, снизишь урожай последующих культур.

Вот как все сложно и взаимосвязано...

Евгений Александрович считает, что технология уборки льна для этих мест должна быть такой: тербление машиной, оборудованной вязальным аппаратом, выдержка в снопах, затем обмолот льномолотилкой. А дальше — если в хозяйстве достает рабочих рук, то расстил соломки на клеверницах и лугах. Если же с рабочей силой трудно, то — сдача соломки на льнозаводы.

Практически у молдинцев льнокомбайн используется лишь для тербления льна.

Мне хотелось выяснить несколько интересующих меня вопросов. И прежде всего о специализации: как она осуществляется?

— В соответствии с планом, — просто ответил Евгений Александрович. — Птицу держим нынче последний год, свиней оставили совсем маленько — в основном, чтобы колхозников обеспечить поросятами. Так что остается крупный рогатый скот и овцы.

— А в хозрасчете что нового?

— Нового мало, упорядочилось это дело. Правда, бригадирам трудодни с этого года начисляем с тонны продукции, а по льну — с тысячи рублей выручки. Это чтобы повысить материальную заинтересованность.

На прощание Евгений Александрович еще раз напомнил о самом главном:
— Надо сделать сельское хозяйство самым популярным у нас! Тогда все проблемы будут решены!

Возражать тут нечего.

* * *

Осень позади, можно говорить о некоторых итогах первого года новой пяти-летки.

В целом по стране он оказался весьма удачным. О высоких урожаях во многих зонах страны сообщалось в печати. И мне друзья писали из Сибири: небывалый урожай, небывалый подъем... Это понятно: хороший урожай всегда убирается легче, потому что настроение у людей хорошее, а это сказывается на работе!

А вот здесь, в родных краях, с урожаями нынче не особенно. Хоть и говорят, и довольно часто, что эта зона не знает засух, но хлеборобы знают: всякое бывает... И вот какие мысли приходят в голову: не обезоруживаем ли мы себя, когда совсем не принимаем в расчет возможность засушливого лета в Нечерноземной зоне? Ведь на основе выводов о том, что засухи здесь не страшны, сделаны и практические советы земледельцам. И один из них, может быть самый ошибочный, — ликвидация чистых паров. Правда, сейчас можно уже планировать их, но многие руководящие работники все еще находятся под влиянием недавних лозунгов: в увлажненной зоне не нужны чистые пары...

Нынче в Верескуновском отделении совхоза я своими глазами видел: на полях возле бывшей деревни Крюкшино рожь вымахала двухметровая, а чуть дальше — совсем никчемная. В чем же дело?

Этот вопрос я задал агроному отделения Елене Александровне Семеновой. А она с удивлением взглянула на меня.

— Так вы в прошлом году мимо этих полей ходили на рыбалку... Вы же видели: у Крюкшина был чистый пар с навозом, а там занятый так называемый, зеленку сеяли, вот вам и все...

Да, вот вам и все... Поля эти обмолочены, вот результат: рожь по чистым парам дала без малого двадцать центнеров с гектара, а на занятом только три...

— А у деревни Самсонки, где на парах навозу внесли побольше, мы намолотили двадцать три центнера ржи с гектара!

Двадцать три центнера! Так была ли здесь засуха?

Этот вопрос я задал секретарю райкома Алексею Васильевичу Трошину.

— Все же год не очень благоприятный, — поправив очки, начал он. — Зима не совсем нормальная. Часть озимых подопрела, а весной вымокла. Посевы оказались изреженными. А летом дождей меньше обычного.

Все это правда. Но ведь можно было вырастить двадцать три центнера с гектара?

Алексей Васильевич соглашается: можно!

А ведь в этой зоне озимые хлеба составляют половину всех посевов зерновых культур. Значит, вопрос о парах далеко не праздный.

И все-таки: была ли засуха в Калининской области?

Судя по полученным урожаям — была. Сами посудите: в Удомельском районе средний намолот зерновых не достигает шести центнеров. В целом по области лишь немножко перешагнул за 7,7 центнера с гектара. Правда, это был самый рекордный урожай за последние десять лет. Но нынче и местных и минеральных удобрений под посевы было внесено больше, чем когда-либо, а отдачи не получилось.

В «Молдине», например, озимые хлеба, размещенные по чистым парам, дали с гектара по тринадцать центнеров зерна, а на занятых парах — только по шесть. В бригаде Ильи Захарова, где все озимые размещались только по чистым удобренным парам, урожай превысил восемнадцать центнеров!

Вот вам и засуха. Ведь если лето засушливое, то яровые хлеба должны совсем плохо уродить. А в «Молдине» ячмень дал около шестнадцати центнеров с гектара. Клеверного сена получено более сорока центнеров!

Нет, о плохой зиме и засухе разговор, как говорится, в пользу бедных. В «Молдине» средний урожай зерновых превысил тринадцать центнеров с гектара. А если бы так по району в целом! А если бы по области или по всему нечерноземью!

Однако и в «Молдине» урожай мог быть выше. Агроном подсчитал: если бы все озимые были размещены по чистому пару, средний урожай зерновых превысил пятнадцать центнеров!

Да, все дело в уровне культуры земледелия. Давно ли к «Молдину» прирезали земли отстающих по урожаям колхозов, теперь и на тех полях урожай стал высокими — в два раза выше, чем в целом по району. Неужели все это не убедительно?

— Нет, опыт молдинцев убедителен, — возражает Алексей Васильевич. Он говорит, что теперь большое внимание обращено на семеноводство клевера и трав для посева на лугах. В этом году несколько хозяйств заложило семенные участки многолетних трав, как это сделано и в «Молдине».

Честно говоря, это сообщение меня порадовало. И вот почему: три года назад, когда в печати появился первый мой очерк о родных местах, Алексей Васильевич Трошин выступил в областной газете с критикой моего очерка. В своей статье он упрекал меня за то, что защищаю травопольщиков, необоснованно выступаю против кукурузы, защищаю чистые пары и тому подобное. Теперь Алексей Васильевич сам за клевера.

Пишу об этом не для того, чтобы «попомнить старое». Нет. Отмечаю приятный факт: жизнь учит нас. Думается, что это благотворный результат решений последних Пленумов партии по сельскому хозяйству.

Алексей Васильевич рассказывает об отрадных переменах в жизни района за последние два года. Называет много цифр, приводит факты. Пришла наконец действительная помощь и в эти края!

В прошлом году уже в конце уборки поступили первые семь льнокомбайнов. Семь! А нынче на полях района работало уже двадцать льнокомбайнов! Пусть они не очень совершенны, как об этом говорил Петров, но помощь для района большая.

Появились первые вентиляторные сушилки: теперь легче сохранить льносемя и зерно. Сильно пополнился комбайновый и тракторный парк. И в этом году район управился с уборкой хлебов и льна в небывало ранние сроки.

— Большую роль тут сыграла техника, — замечает Алексей Васильевич. — Но и люди стали работать лучше! Оплата труда сильно возросла...

Мне хочется спросить: а как теперь с раздельной уборкой? Мне приходилось выступать против шаблонного применения этого приема. Ответ порадовал:

— Раздельным путем зерновые мы уже не убираем.

И еще только несколько цифр, сообщенных Алексеем Васильевичем: денежные доходы колхозов района за первое полугодие в сравнении с этим же периодом прошлого года возросли на двадцать четыре процента. Это позволило вложения на строительство в сравнении с прошлым годом увеличить более чем в два раза. Значительно увеличилась и оплата труда колхозников.

Все это отрадны факты! А трудности в чем?

Алексей Васильевич усмехнулся:

— Трудности, конечно, тоже растут...

Самой сложной, по его словам, остается проблема кадров. Всяких...

— Все реорганизации недавнего прошлого привели к тому, что мы порастеряли кадры опытных специалистов и руководителей — хозяйственных и партийных, — говорит Алексей Васильевич. — Но самое главное: мало трудовых сил в колхозах. Тракторов и других машин прибывает, механизаторов же и сейчас уже недостает. Даже на одну смену. Строго говоря, в большинстве хозяйств нет ни единого запасного тракториста.

Сегодня утром мне сказали, что в деревне Островно заболели обе доярки, поэтому коров совсем не доят. Я сказал об этом Алексею Васильевичу.

— Да, это так, — подтвердил он. — Людей не хватает. В наших новых совхозах тоже трудно с людьми. Надо много строить, деньги выделены, но нет строителей.

А ведь в последнее время появились статьи и очерки, в которых звучит тревога: чем бы занять сельского жителя? Дать ли ему игрушки делать или кружева плести? Чтобы, не дай бог, у него, у сельского жителя, оказался вечер, свободный от дел.

Есть даже и обобщения: уход людей из деревни — процесс естественный, всегда так было и будет.

Было — это верно. И в какой-то мере должно быть. Но когда с географической карты исчезли названия десятков деревень, потому что жители их уехали в город, то так ли уж естествен этот процесс?

Конечно, есть в нашей стране районы и области, где нет проблемы рабочей силы. Я и сам имел возможность видеть это на Кубани например, в некоторых пригородных (пригородных!) районах Центра России. Но ведь на Кубани, строго говоря, нет и понятия «деревня». Кубанская станица — это город, где население исчисляется десятками тысяч, где есть и промышленные предприятия. Точно так и в окрестностях крупных городов.

Но если секретарь райкома не знает, кого будущей весной посадить на новые тракторы, а потом и на комбайны, или когда некем заменить заболевшую доярку — тут уж дело не шуточное.

Алексей Васильевич Трошин хорошо видит будущее своего района: надо же «оживлять» заросшие луга и пашни. Если их ввести в строй, то обрабатываемых угодий станет в два, а то и в три раза больше — значит, и посевы соответственно возрастут, а дальше и животноводство.

А возьмите Сибирь, целину. Удвойте население сел этой зоны — и, может, только тогда колхозная доярка не будет работать по пятнадцать часов в сутки, а с полевыми работами будут управляться своевременно. При этом за нормальный рабочий день, а не за день с крестьянским распорядком, как приходится еще делать даже в наиболее обеспеченном людьми колхозе «Молдино».

Нельзя не учитывать и такой перспективы: как только пенсионный возраст колхозников будет уравнен с горожанами, в той же Нечерноземной зоне количество трудоспособных в колхозах убавится по крайней мере на одну треть.

Нет, слишком рано заговорили об излишках сельского населения. Можно пока говорить о слишком неравномерном распределении сельского населения по зонам страны. Это другое дело. Пока же главное — чтобы принимались срочные меры к закреплению сельских жителей в родных колхозах и совхозах.

Мне приходилось уже говорить: в последние годы люди отсюда уезжали. Причины были. О них тоже я писал. Но теперь-то, когда организовался совхоз и заработок гарантирован на довольно высоком уровне, почему все еще продолжается отлив рабочей силы?

Вот Григорий Сергеевич Семенов. Работает на железной дороге. Он говорил года три назад, что если бы в деревне можно было заработать рублей семьдесят в месяц, он давно махнул бы рукой на свое производство. Недавно я напомнил ему о том разговоре. Он заговорил уже иначе:

— Совхоз — это уже лучше. Но и теперь здесь я не заработаю, как на железной дороге... Да и льготы есть...

Вот в этом-то и дело! На железной дороге он зарабатывает до ста рублей в месяц. Плюс к тому два бесплатных билета — один до любой станции страны, другой — в любое место по своей дороге. Это ежегодно. Может, не такая уж для него большая прибавка, но заметил я: сам факт бесплатной (бесплатной!) выдачи очень привлекателен!

Что же получается? Выходит, и дальше людей села все еще будут привлекать более высокими заработками и разными поощрениями? Этого нельзя не учитывать, когда разрабатываются меры по закреплению рабочей силы в совхозах и в колхозах.

Можно уверенно сказать: если бы Григорий Семенов на своем производстве зарабатывал столько, сколько можно заработать и в совхозе, то совхоз приобрел бы хорошего работника.

Есть в этом деле еще довольно странные вещи. Как работник железной дороги, Семенов ежегодно получает участок для заготовки сена своей корове. В полосе отчуждения. А вот рабочий совхоза такой помощи не получает. Сено он должен заработать за счет процентных отчислений, если сам будет участвовать в заготовке кормов для совхоза.

Справедливо ли это, когда труженик на земле не получает даже тех благ, которые распространены на железнодорожника? Думается, мало тут справедливости. Особенно если учесть, что рабочий и служащий райцентра тоже получают участок для заготовки сена. Через профсоюзную организацию или через свое предприятие, но получают.

Рабочий же совхоза и тем более колхозник лишены этого блага. Они зачастую только наблюдают, как на их же земле заготавливают корма рабочие и служащие других организаций. И это не создает хорошего настроения.

Я спросил у Алексея Васильевича: где же выход?

Тут Алексей Васильевич сделал мне комплимент. Он сказал, что читал предыдущий очерк «Лицом к деревне», опубликованный в журнале «Новый мир», и согласен с моей постановкой вопроса.

— Пока же, — продолжает он, — выход один: максимально механизировать труд людей в поле и на фермах. Надо, чтобы труд сельского жителя приблизился к условиям труда промышленного рабочего. В животноводстве нужна двухменка, но до этого надо механизировать доение, раздачу кормов и уборку навоза.

— А специализация не может помочь в решении этой проблемы — и механизация, и?..

— Может. Мы разработали планы, стремимся специализировать производство колхозов, но... — Алексей Васильевич развел руками. — Не можем мы ликвидировать все птицефермы, пока районный план поголовья не разместим в одном-двух хозяйствах. То же и с овцами...

Тут я должен возразить Алексею Васильевичу. Назвал ему примеры по Верескуновскому отделению, несколько других. Вот хотя бы: 19 колхозов района имеют на своих фермах... 3660 кур. Даже в специализированном по птице Удомельском совхозе пока лишь 3000 кур. Почему бы специализированному совхозу не держать десять тысяч, тогда можно освободить колхозы от убыточных ферм.

— И с овцами сложно, — вздыхает Алексей Васильевич. — В районе их двенадцать тысяч, и все на мелких фермах.

Действительно на мелких. Наиболее успешно работают с овцами в колхозе «Расцвет». Но и там лишь пятьсот овец, размещены они на трех фермах...

— Но если нет возможности сконцентрировать хотя бы одну отару в семьсот—тысячу овец на ферме, то есть ли смысл держать овец в таком хозяйстве?

— А районный план? — в свою очередь спросил Алексей Васильевич. — За районом записаны эти двенадцать тысяч. Как же быть с районным планом?

Да, это план... Странно, но факт: именно план, установленный району, сдерживает специализацию. Как укрупнить овцеводческие фермы, если в районе нет подходящих условий для этого? Вот и держат на фермах восемьдесят—сто овец, терпят большие убытки.

Быть может, более подходящие условия есть в других районах области, например в Бежецком. Там места повыше, овцеводство всегда было в почете. А в Удомельском районе взамен овец можно бы соответственно увеличить поголовье молочного скота. Конечно, этот вопрос не в районе решать. Но почему-то руководители района не ставили его перед областью. Не сказывается ли тут некоторая ограниченность: специализацию проводить в рамках лишь своего района?

— А как иначе? — снова спрашивает Алексей Васильевич. — Район обязан придерживаться установленного ему плана.

Тогда я спросил о других не решенных еще проблемах.

— Тут надо подумать... Мне кажется, что и в сельском хозяйстве нужен новый порядок планирования, как это делается сейчас в промышленности. А пока этого нет, возникает много неясных вопросов. Конечно, нужна и материальная ответственность людей за выполнение планов продажи продукции. Это вот — главное.— Переждав немного, продолжал: — А из претензий... Надо очень усиливать машинно-мелиоративную станцию. И кадрами и машинами. Теперешней нашей станции не справиться с теми задачами, которые поставлены майским Пленумом ЦК партии.

Алексей Васильевич подтвердил это цифрами: за последние четыре года силами ММС раскорчевано 2400 гектаров пашни. Однако общее количество пашни в районе за этот период не увеличилось, а даже сократилось на 3300 гектаров. Следовательно, взамен освоенных 2400 выбыло из строя старой пашни почти 6000 гектаров.

— У нас в районе,— дополняет Алексей Васильевич,— восемьдесят пять процентов сенокосов и пастбищ заболочено и заросло кустарниками.

В самом деле: одной маломощной станции не помочь этой беде. Тем более что станция испытывает огромные затруднения с кадрами: здесь среди инженерно-технических работников нет ни одного даже со средним образованием. В последнее время усилилось поступление новой сложной техники, но ни один механик станции не знает этих машин.

А ведь есть еще проблема: уборка камня с полей.

— Да-да,— оживился Алексей Васильевич.— Камни — проблема... Силосные комбайны хорошо помогли бы нам, но камни мешают. Но есть и отрадная новинка: район получил две камнеуборочные машины.

Когда я выходил из райкома, то неожиданно столкнулся... с Петровым. И первый вопрос: как работают камнеуборочные машины?

— Неплохо,— улыбнулся Евгений Александрович.— Правда, они убирают только верховой камень, поэтому на одном поле их придется пускать несколько раз, но это — наше будущее! На свои зубья машина забирает все булыжники и валуны толщиной до шестидесяти сантиметров. Уже неплохо... Наполняет бункер, отвозит его на край полосы, вываливает.

В моем воображении живо рисуется эта картина. Конечно же, машина должна быть простая, не хлеб же убирают. Но какова ее производительность?

— Две машины работали у нас в Цветкове недели две и убрали камни с двадцати пяти гектаров.

Немного, конечно, но и это хорошо!

— У нас они только настраивались, будет у ребят побольше опыта — производительность станет выше.

Это правильно. Но ведь пока машин мало, надо, чтобы они в две смены работали!

— Если бы они были наши, мы заставили бы их сутками работать,— возразил Евгений Александрович.— А в «Сельхозтехнике» порядки на этот счет свои. Там рабочий класс — значит, семичасовой день.

— Как урожай горохо-овсяной смеси в лугининской бригаде? Это там, где решили не косить посевы на силос, оставили на зерно.

— Хорошо получилось,— отвечает Евгений Александрович.— Зерна намолотили с гектара больше одиннадцати центнеров и соломы много собрали. А солома гороховая несколько не уступает сену. Словом, хорошо получилось!

Об урожаях я уже знал, но все же спросил. Цифры те же, что сообщил мне агроном. Но вот вывод Петрова:

— Теперь озимые будем сеять только по чистым парам! Хватит баловаться.

Слушаю Евгения Александровича и думаю: вот ему и его помощникам ясны пути развития производства. Главное-то, конечно, урожай! Иначе говоря — добрый порядок на земле, правильные севообороты. А у кого урожай, у того и с животноводством всегда больше порядка. Вот бы и другим в этой зоне развивать уро-

жайное дело так, как оно развивалось в «Молдине». Ведь при теперешней технике да при огромной помощи со стороны государства молдинский путь можно сократить в несколько раз. Да, путь молдинцев — верный! В этом я совершенно убедился. Однако много ли толку в том, что убедился писатель? Вот если бы руководители района и области в этом убедились! А то ведь в Удомельском районе, например, правильные севообороты, кроме «Молдина», освоены еще лишь в колхозе имени Калинина. А ведь сколько лет уже говорится и пишется о правильных севооборотах.

Я знал, что молдинцы первыми в районе значительно перевыполнили план продажи зерна и льносемян. К 11 сентября завершили годовой план по продаже молока. Словом, все планы с перевыполнением. Но Евгений Александрович приехал в райцентр, как он выразился, пошуметь. Оказывается, «Межколхозстрой» сорвал сооружение детского комбината. И свое строительство, которое ведется хозяйственным способом, под угрозой: нет кровельного материала. Приостановились работы по водоснабжению — нет труб.

— Вообще с материально-техническим снабжением стало даже хуже, — отрезал Петров. — Теперь не только передовые — все начали много строить, а строительных материалов не прибавилось. Ичи запчасти для машин... Машин-то разных удвоилось, а некоторых утроилось, а запасных частей по-прежнему не хватает. Вот и со строителями тоже, — продолжал досадовать он. — У «Межколхозстроя» в бригадах собрана вся шантрапа, много пьяниц. Они ни в одном хозяйстве не возвели доброй постройки. Мы собирались дом отдыха им поручить строить, а теперь — ни в коем случае! Сами будем. Иначе провалим все.

Упомянув о клубе, он схватился за телефонную трубку, попросил соединить с управлением культуры.

Из его разговора я узнал, что молодого завклубом в «Молдине» уже нет — поступил учиться в педагогический институт. И Петров напоминает свою просьбу: командуйте товарища, обеспечим его всем! Положив трубку, передохнул.

— Для единственного в районе колхозного клуба не найти руководителя... А вдруг все колхозы обзаведутся клубами! Что тогда? — Он смотрит на меня, словно я знаю, что тогда будет.

Евгений Александрович заговорил о другом:

— Наши футболисты во втором круге лучше идут. Глядишь, зайдем призовое место в чужом районе, — смеется он. И делится другой своей радостью: — Таня-то моя все-таки на агронома пошла! Колхозный стипендиат. И Володя успешно сдал, теперь курсант Суворовского училища... А помните, я говорил вам про Виктора Лебедева? Он поступил в сельхозинститут на инженера-механизатора.

— Значит, будут свои ученые — агрономы и инженеры?

— Теперь будут. А сын Захарова, Сергей, едет на курсы шоферов, решил остаться в колхозе. За ним потянулся и его дружок по школе — Николай Кузнецов.

Он назвал имена еще трех пареньков, которые решили остаться в колхозе до призыва в армию.

— А после армии?

— К тому времени у нас культура и быт подтянутся, так что эти ребята наверняка закрепятся в родном колхозе, — уверенно заключил Евгений Александрович.

А мне подумалось: вот и начинают уже сказываться меры, принимаемые колхозом в отношении молодежи. Значит, правильные эти меры! Очень вовремя проявил беспокойство о молодежи Евгений Александрович. А добрый посев всегда обернется хорошим урожаем. Это всем ясно!

Лето—осень 1966 года.
Удомельский район, Калининской области.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных журналов

МОЛОДЫЕ ЛЕВЫЕ

США

Английское слово «стадиз» можно перевести как «труды», «исследования», «ученые записки». Нечто солидное, академическое. А между тем журнал «Труды левого движения» — орган протестующей, оппозиционной американской молодежи. Они называют себя «новые левые». Термин этот возник в США в 1959 году, и ныне с ним часто приходится встречаться — в общественной жизни и в печати.

«Стадиз оф дзе лефт» («Труды левого движения»), двухмесячный журнал. Том VI, № 5, 1966 год. Нью-Йорк. Год издания 7-й. Издатель Джеймс Уэйнштейн. Редакторы: Стэнли Аронович, Рональд Аронсон, Ли Бенсендол, Юджин Джиновезе, Элен Крамер, Шин Я Оно.

★

Журнал был создан группой выпускников и молодых преподавателей Висконсинского университета. В этом университете историк Вильям Вильямс начал — впервые за долгие годы — изучать и преподавать американскую историю как марксист.

Кемптон, автор статьи, грустно-иронически озаглавленной «Старая с новыми левыми», определяет это явление так: «Странное сочетание христианских социалистов, революционных пацифистов, миссионеров-язычников, носителей полудюжины противоречивых доктрин, объединенных тем, что все они разочарованы в либерализме; они предпочитают прямое действие, не надеясь на избирательные бюллетени, они презирают власть имущих, они уповают лишь на лишенных власти» («Нью-Йорк ревью оф букс», 26.I.1967).

Аморфность, расплывчатость этого движения, трудность каких бы то ни было четких определений связана с самой его сущностью.

Профессор Иельского университета, один из редакторов журнала «Труды левого движения» Юджин Джиновезе в статье «Левые американцы — новые и старые» весьма самокритичен: «Большинство «новых левых» гордится своим прагматизмом, который в действительности означает просто бездумность, гордится свободой от марксистских догм. В действительности у них совсем нет никакой теории, нет ни понимания, ни уважения к истории, нет даже и представления о том, чего они не знают» («Нейшнл гардиан», 19.II.1966).

Движение «новых левых», безоговорочно враждебное империалистической Америке, развивается по таким основным направлениям: борьба за гражданские права негров, борьба против войны во Вьетнаме, борьба против бедности, борьба за академические свободы, в частности за свободу слова для студентов. Все эти направления, разумеется, взаимосвязаны. Джиновезе так определяет особенности движения: «Если старые левые постоянно пренебрегали индивидом во имя бога-Коллектива, то новые левые пренебрегают коллективом во имя святого Индивида». И далее: «Молодые радикалы настаивают на широчайшей трактовке личного участия или неучастия. Они заменили требование революционной дисциплины требованием революционной совести».

Другой представитель «новых левых» — Эдвард Китинг — заявляет: «Нас заботит прежде всего справедливость. Старые левые стремились к экономической справедливости, наша цель шире — она включает и экономическую, и социальную, и политическую справедливость. Наша цель — мир — внутри и вовне, а мир недостижим без справедливости» («Сэтердей ревью», 24.IX.1966).

Значительная часть радикально настроенной молодежи стремилась к прямым действиям, и поэтому наряду с работой в журнале, с теоретическими дискуссиями в университетах возникали и иные формы движения.

В феврале 1960 года в маленьком городе Гринсборо (штат Северная Каролина) четверо студентов негров зашли в закусочную с обычной надписью: «Только для белых». Они попросили по чашке кофе. Им, разумеется, отказали, но студенты не ушли, просидели до закрытия. На следующий день в эту закусочную пришли двадцать четыре человека — среди них были и белые, и они отказывались есть без своих черных товарищей. К концу февраля движение сидячих демонстраций протеста против сегрегации охватило весь Юг. Во многих местах владельцам ресторанов и закусочных пришлось пойти на уступки и снять позорные надписи. Весной 1960 года в городе Рели (Северная Каролина) студенты из разных городов собрались на конференцию. Это были главным образом студенты негритянских колледжей — участники сидячих демонстраций протеста и иных форм борьбы. Был создан руководящий центр — Студенческий координационный комитет ненасильственных действий, сокращенно СНИК. Один из участников назвал СНИК «братством организаторов, поэтов, битников и мечтателей». К 1965 году на штатной работе в СНИК было занято 200 человек и еще 250 добровольцев; годовой бюджет составлял 800 тысяч долларов.

Летом 1961 года учитель из Нью-Йорка, член СНИК Роберт Мозес отправился в штат Миссисипи — агитировать, просвещать, учить.

В «рейдах Свободы» 1961 года, когда с Севера на Юг пошли автобусы, их было уже десятки, где ехали вместе белые и черные, участвовал и негр Стоукли Кармайкл. Его посадили в тюрьму в городе Джексоне. Ныне двадцатилетний Кармайкл — президент СНИК, член международного трибунала, призванного судить военных преступников во Вьетнаме.

Летом 1964 года уже не единицы, не десятки, а тысяча молодых белых американцев пошла в народ: «рейд Свободы» в цитадель сегрегации — в штат Миссисипи — был организован СНИК. Непосредственная цель похода — создать школы свободы. В этих школах детей и взрослых обучали грамоте, истории, географии, математике, а также основам политических знаний, готовили — впервые — к участию в выборах. Молодые крестonosцы свободы подвергались издевательствам, их оскорбляли, избивали, судили, бросали в тюрьмы. Но они не ступали. Именно здесь многие юноши и девушки нашли то дело, ради которого стоит жить и за которое стоит умереть. Да, и умереть. Эти молодые люди, не принимающие никакой дисциплины, отказывающиеся от каких бы то ни было уставов (СНИК, собственно говоря, нельзя назвать организацией в общепринятом смысле слова; скорее, как сказал один из деятелей СНИК, это «сообщество друзей»), ставили на карту жизнь. В самом начале похода трех юношей — Гудмена, Швернера и Чэйни (двух белых и одного негра) — убили расисты. Но запугать других не удалось. Одна из участниц похода, потрясенная зверским убийством, пишет: «Как отвратительна жизнь! Мне кажется, единственно стоящее — это движение, но я не хочу сама умирать и не хочу, чтобы умирали те, кого я узнала. И в то же время я так потрясена, что даже смерть меня не ужасает. Я — такая же, как все. Если они рискуют жизнью, то и я должна. Но я просто не могу понять, почему люди должны умирать, чтобы добиться свободы, — ведь она необходима всем...» («Письма из Миссисипи», стр. 27)¹.

«Рейд Свободы» не был филантропией. Задача его, как и всего движения, состояла не в том, чтобы «помочь бедным неграм», а в том, чтобы подойти к решению исторических задач, так и не разрешенных в США гражданской войной прошлого столетия. Оказалось, что образованные юноши и девушки, прибывшие прямо из университетских аудиторий, от споров о Марксе и Сартре, о Кафке и Камю, не только учили неграмотных издольщиков Миссисипи, но и учились у них.

В письмах участников похода родным (книга таких писем издана в США) стражены противоречивые чувства и настроения: страх, жажда деятельности, неуверенность в себе, стремление к немедленному перевороту, неудовлетворенность «малыми делами».

¹ «Letters from Mississippi». N. Y. 1964.

Участник похода сообщает своему старшему товарищу, одному из руководителей движения «новых левых» Стофону Линду: «Все, что я здесь увидел, так гнетет меня, что я полностью подавлен. Условия жизни столь ужасны, негры столь угнетены, настолько лишены надежды, что я хочу изменить все это немедленно. Это я пишу вполне искренно. И заниматься школами свободы — бессмысленная трата времени. Я не хочу сидеть в классе. Я хочу выйти и взорвать парочку правительственных зданий — не убивать людей, конечно, но разрушить украденную ими собственность, потрясти их, доказать им, что мы здесь с серьезными намерениями...» (там же, стр. 105).

Деятели СНИК во многом близки к русскому народничеству. Один из них говорит: «Люди просто должны знать, что мы — среди них, что мы включены в их повседневную жизнь; а наша задача — узнать, что они сами, люди из народа, хотели бы, чтобы мы делали» (сборник «Новые радикалы», 1966, стр. 19)¹.

Это самоуменьшение сочетается с явно выраженным сознанием своей исключительности, вернее — исключительности своего поколения. Среди «новых левых» распространено убеждение в том, что нельзя верить ни одному человеку старше тридцати лет (сейчас, когда сами они приближаются к тридцатилетнему возрасту, положение осложняется). Как только деятельность СНИК вышла за рамки первого, непосредственного порыва, им пришлось столкнуться с серьезными, противоречивыми проблемами: «Как действовать открыто? Как сохранить чистоту идеала?» (там же, стр. 22).

Вторая организация «новых левых» — СДС (Студенты, сражающиеся за Демократическое Сообщество) — возникла тоже в 1960 году.

Впрочем, руководители СДС — так же как и СНИК — боятся самого понятия «организация». На съезде СДС в Мичигане один из ораторов заявил: «Вожди означают организацию, организация влечет за собой иерархию, иерархия недемократична». Бывший президент СДС Том Хэйден в статье, опубликованной в журнале «Труды левого движения», предупредил, что «опасно полагаться на определенных руководителей, которые неизбежно начинают больше думать о самой организации и о самих себе и теряют связь с чаяниями рядовых членов».

Члены СДС и СНИК по всей стране собирались на многолюдные и многочасовые собрания (такие собрания продолжались порою целые ночи напролет) и страстно, азартно обсуждали основные проблемы внешней и внутренней политики США. Большинство «новых левых» требовало справедливой политики по отношению к Кубе.

«Знаменитые «сидения» в университетах по всей стране, — сказал Арчибальд Маклиш, — когда наши обычно молчаливые студенты говорили долгие ночи напролет, не были, как это иногда кажется участникам, дебатами по вопросам внешней политики. Это были поиски национального сознания» («Сэтердей ревью», 3.VII.1965).

На одном из таких митингов руководитель студенческого движения в Беркли Марио Савио держал речь со ступеней административного здания. Он сказал: «Наступает момент, когда действия машины становятся столь отвратительными, столь ненавистными, что вы уже не можете оставаться ее частью, даже молча уже не можете. И тогда надо бросаться на колеса машины, на ее рычаги, на ее шестерни. Надо остановить машину. И надо показать тем людям, которые управляют машиной, которые ею владеют, что если они вас не освободят, то машина и вовсе не будет работать» («Новые радикалы», стр. 61).

После подобных речей университетское начальство в Беркли запретило очередное собрание. Студенты отказались подчиниться. 3 декабря 1964 года 814 человек было арестовано. Судили нескольких зачинщиков, в том числе и Марио Савио. Его отчислили из университета. Обзоратель еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью» (19.IX.1965) говорит: «Студенческий бунт в Беркли принадлежит к тем редким лучам, которые освещают целый сектор американского общества и обнаруживают массовое недовольство в то время, когда мы утверждаем, что наши общественные учреждения безупречны. Отчаянный, несвоевременный, разрушительный — все эти черты были присущи бунту в Беркли. Но, что гораздо важнее, эти события показали всем, что многие из самых способных молодых людей Америки, которые учатся в одном из самых известных высших

¹ «The New Radicals. Report with Documents». N. Y. 1966.

учебных заведений, и учатся в период несравненного просперити и научного прогресса, считают, что жизнь лишена смысла... Они выражали свое отвращение к американской утопии стерильного, автоматического самодовольства».

Участники движения — озорные молодые ребята, которые вместо приветствия показывали друг другу нос. Но от законопослушных, равнодушных студентов прошлых лет они резко отличаются.

Сама дискуссия об академических свободах, о правах и обязанностях студентов и профессоров, о студенческом самоуправлении вышла далеко за границы внутриуниверситетских споров. Журнал «Сэтердей ревью» (27.VIII.1966) поместил две статьи с противоположными точками зрения по этим вопросам. Ричард Никсон защищал правительство и университетское начальство от протестующих студентов, а заодно и войну во Вьетнаме; возражая Никсону, Генри Коммаджер говорит: «Лучше излишества заинтересованности и активности, чем излишества апатии... В задачи университета вовсе не входит ворчать, как тетушка Полли, заниматься цензурой студенческих газет или студенческих спектаклей, одобрением того или иного клуба, отклонением того или иного оратора на студенческом собрании. Не дело университета — следить за личной жизнью студентов. Все это — дело самих студентов».

Осенью 1966 года университет в Беркли вновь привлек к себе внимание всей страны. Там была проведена студенческая конференция, участники которой говорили и о новом этапе борьбы за гражданские права негров, о борьбе против войны во Вьетнаме, обсуждали собственно студенческие проблемы. Стоукли Кармайкла — президента СНИК — собрались слушать 15 тысяч человек: «Америка нигде не была способна создать демократическое общество. Эта страна не бог и не может править миром». «Война во Вьетнаме незаконна и безнравственна. У нас нет сил изменить систему, которая повинна в этой войне. Мы можем только сказать «нет!» призыву; есть более высокий закон, чем закон расиста по имени Макчамара, дурака по имени Раск и шута по имени Джонсон. Этот закон позволяет каждому из нас сказать, что мы не позволим сделать нас наемными убийцами. А если они заставят нас убивать, то мы уж сами решим, кого именно мы будем убивать», — закончил он под гром аплодисментов («Пиплз уорлд», 5.XI.1966).

Вскоре после конференции в декабре 1966 года в холле университета был установлен вербовочный столик военно-морского ведомства. Рядом немедленно возник другой столик с плакатом «Спротивляйтесь призыву!». Бунтарям было приказано уйти. Они не послушались. Вновь, как и в 1964 году, на территорию университета ввели полицию. И тогда была объявлена всеобщая забастовка протеста. 20 тысяч студентов не вышли на занятия.

Смысл событий в Беркли станет яснее, если принять во внимание, что в этом университете занято больше служащих, чем в любой крупнейшей корпорации, что там учится 100 тысяч студентов и 200 тысяч заочников. Однако только одна треть бюджета расходуется на обучение студентов. Университет — его ректор Кларк Керр пустил в ход новое слово «мультиверситет» — тесно связан и с военной промышленностью («Нью-Йорк таймс бук ревью», 17.VII.1966).

Тревога правительства в связи с этими событиями отражена в передовой статье газеты «Нью-Йорк таймс» под названием «Нигилизм в Беркли»: «Явная цель вождей мятежа в Беркли — поставить на колени выдающийся университет страны... Нигилисты из Беркли и не скрывали, что они хотят отделаться от ненавистных «либералов» из университетской администрации... Резкий конфликт между крайними левыми и крайними правыми гораздо более по вкусу бунтовщикам, в полном соответствии с их убеждениями, что все наше общество прогнило и его пора на свалку». «Испытание для цитадели культуры состоит в том, чтобы продемонстрировать, что университет обладает цивилизованной защитой против крайностей политического примитивизма» («Нью-Йорк таймс», 5.XII.1966).

Развитию движения молодых радикалов мешает недоверие, а то и презрение к идеологии. Один из членов СДС (из Техаса) утверждает: «Говорят, что «идеология разъединяет, действие объединяет». В этих словах есть доля истины. Однако мой опыт

подсказывает... что и отсутствие идеологии заводит в тупик» («Новые радикалы», стр. 32).

СДС участвует во многих движениях протеста: в апреле 1965 года — в походе на Вашингтон (походе протеста против войны во Вьетнаме), в большой стачке сельскохозяйственных рабочих в Калифорнии.

В конце 1966 года СДС фактически разделился на две части. Одна группа занята теоретическими дискуссиями, собственно студенческими делами, политическими проблемами. Другая — организацией бедняков, борьбой против бедности, практической деятельностью в узком смысле слова. Что-то вроде нашего «экономизма» конца прошлого века.

Многие из «новых левых» скептически относились к марксизму, к социализму. Авторы статьи в журнале «Труды левого движения» (сентябрь — октябрь 1966 года) пишут: «К сожалению, так как социализм стали отождествлять с сектантством, а также с концепцией бюрократизации и централизации, многие новые левые отбрасывают и саму идею социализма. Мы же верим в необходимость социализма — особенно в США, но социализм надо спасти от искажений, которыми занимаются и друзья и враги».

В самом названии СНИК есть слово «ненасильственные». Не применять оружия ни в коем случае — такова была первая заповедь участников похода в Миссисипи.

«Ненасильственные действия» — таков лозунг другой (уже не только молодежной) организации Юга, во главе которой стоит Мартин Лютер Кинг, лауреат Нобелевской премии мира. Во время кровавых событий в Бирмингеме летом 1963 года заместитель Кинга священник Шаттельсворт на вопрос, ради чего он сражается, ответил: «Ради того дня, когда человек, который бил цепями меня и мою семью, мог бы сесть рядом с нами как друг». В книге «Почему мы не можем больше ждать»¹ Мартин Кинг пишет: «Метод ненасильственных действий — мощное и справедливое оружие. Это уникальное в истории оружие, которое разит не калеча, оно облагораживает владеющего им человека». «Мы не колеблясь называем свое движение армией. Но это армия, вооруженная только искренностью, у которой нет другого мундира, кроме решимости, нет другого арсенала, кроме веры, нет других материальных средств, кроме совести».

Этот метод привлекал сердца молодежи благородством. Но одновременно и отталкивал тем, что был медлителен, редко давал прямые результаты. В Миссисипи на участников похода обрушился полицейский террор — и как же трудно было не отвечать ударом на удар. За последние годы неудовлетворенность ненасильственными методами все нарастает. Споры о методах борьбы, споры о широких проблемах идеологии возникают все чаще.

Компартия США призвала к контакту с «новыми левыми». Член ЦК компартии Беттина Аптекер была среди руководителей студенческого движения в Беркли. Теоретический орган партии, журнал «Политикл эффейрз» (декабрь 1965 года) писал: «Наша новая политика должна состоять в том, чтобы присоединиться к борьбе новых левых везде, где это возможно и уместно. Это не означает, что мы гарантируем новым левым, что мы всегда будем их поддерживать, но это означает, что мы не будем автоматически отворачиваться от них каждый раз, как возникают разногласия. Что до этих разногласий, — мы убеждены в том, что истина на нашей стороне, что история подтвердит нашу правоту. Но истина в вакууме перестает быть истиной. Для того, чтобы критиковать новых левых, для того, чтобы учить их, надо прежде всего, чтобы они нас признавали, чтобы мы стали для них авторитетны... Мы должны пытаться объединить новых левых с другими фракциями левого движения, а также объяснить им необходимость сотрудничества с не левыми силами». С другой стороны, в декларации СДС, принятой на конференции в Порт-Гуроне в 1962 году, была дана резкая отповедь холодной войне и антикоммунизму.

Пытаясь избежать теоретических споров, часть молодых людей целиком уходит в «малые дела». Энн Брейден в журнале «Движение за Свободу на Юге» пишет: «Им кажется... что общественные проблемы по существу неразрешимы, и самое большее, что

¹ Martin L. King. Why we can't wait. N. Y. 1964.

может сделать человек,— это вокруг себя создать нечто творческое и демократическое,— создать в том месте, которое он видит и частью которого сам является» (стр. 93).

Очень многое не ясно в движении — не ясно и самим участникам, и тем более наблюдателям: «Ни один участник движения даже смутно не представляет себе, чем заменить гниющую систему». Сейчас все больше говорят о признаках кризиса в движении «новых левых». Может ли это движение ограничиться рамками существующей в США системы или оно неизбежно, логикой развития, приходит в столкновение с самими основами капиталистического строя? Можно ли ограничиться «малыми делами»? Как противостоять стремлению властей приручить движение (американские власти действуют преимущественно не запретами и полицейскими преследованиями, а подачками, подкупом, широким предоставлением всех трибун, открытием всех дверей)? Можно ли обойтись без общей теории, можно ли продолжать игнорировать исторический опыт и опыт марксизма? Эти вопросы постоянно возникают на страницах журнала «Труды левого движения» и других органов прогрессивной печати. В «новомодном воззвании» к товарищам Стофтон Линд пишет: «Наша задача... должна состоять в том, чтобы указать новые пути, на которых наши молодые радикалы смогли бы стать перманентными революционерами, а старые радикалы могли бы сражаться со страстью молодости» («Нейшнл гардиан», 31.XII.1966).

Власти Америки уговаривают молодых людей, что протестовать в «стране господа бога» незачем и некому, что эпоха изменений, революций давно миновала. Так говорил, например, помощник президента по делам госбезопасности Уолт Ростов, выступая перед студентами университета в Лидсе. А во время его выступления перед зданием университета проходила демонстрация. Студенты требовали вывести американские войска из Вьетнама («Нью-Йорк таймс», 24. II. 1967).

Пятьдесят лет тому назад один молодой американец из богатой семьи, окончивший Гарвардский университет, писал: «Я знаю, что мое благополучие построено на несчастье других людей, что я хорошо ем потому, что другие голодают, я одет, тогда как другие полураздетыми бредут зимой по промерзшему городу. И все это отравляет мою жизнь, нарушает мое спокойствие...»

Статья называлась «Почти тридцать», ее автора звали Джон Рид.

Многое не ясно в движении «новых левых». Но совершенно очевидно, что и сегодня, полвека спустя, молодые американцы не могут мириться с тем, что одни едят, а другие голодны, с тем, что в далеком Вьетнаме убивают женщин и детей. Они не хотят мириться с существующим положением вещей.

Чтобы изменить свою страну, многие благородные молодые люди отказываются от карьеры, от благополучной, обеспеченной жизни, идут в тюрьмы и под полицейские пули. Именно в этом «пророческом меньшинстве» — так названа одна из книг о движении — надежда страны, ее будущее.

Р. ОРЛОВА.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. ЛАЗАРЕВ

★

ЭТО СТАЛО ИСТОРИЕЙ

(Заметки о томе «Литературного наследства» «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны»)

I
Виктор Некрасов как-то сетовал: «Я до сих пор ругаю себя, что во время войны не вел дневника. Ну, не дневника — это и в мирное время не очень-то получается: нужен определенный склад характера, — но хотя бы заметок, записей... У нас в полку, в Сталинграде, был ПНШ — помощник начальника штаба, историк по образованию. Он собирал различную документацию. Лично для себя, для будущего, для истории. Мы его слегка презирали: воевать надо, а он бумажки собирает... Что бы я только не дал сейчас за эти бумажки — схемы, донесения, отчетные карточки, формуляры на минные поля, которых сделал за те годы видимо-невидимо! Но от Сталинграда у меня сохранился только помазок для бритвы да память о друзьях...»

В сущности, о том же пишет и Константин Ваншенкин: «Вероятно, наши старшие коллеги были тогда (в дни войны. — Л. Л.) в более выигрышном положении: они вели записи, дневники, сохранили вырезки, документы и т. д.»

Что говорить, реликвиями впрямь не запасаются. Но не просто о реликвиях здесь идет речь. На худой конец и помазок для бритвы может служить реликвией.

Но что поделаешь — даже те, кто ясно сознавал, что участвует в событиях исторического масштаба, что «эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать» — а таких было гораздо больше, чем принято думать, — редко вели дневники и сохраняли документы. Для этого надо было быть либо историком — и не по профессии, мало ли восвало

преподавателей истории, а по призванию, одержимым своим делом — таким, вероятно, и был тот ПНШ, с которым служил Некрасов; либо журналистом, которого профессиональные обязанности, служба заставляли более или менее регулярно заносить на бумагу увиденное. А солдату или офицеру переднего края трудно, почти невозможно было вести какие-либо записи. Не только потому, что такого рода заметки делаются, как правило, в расчете на будущее, для послевоенного времени, а редко кто решался далеко заглядывать вперед, когда каждый бой мог быть последним. И не только потому, что фронтовой быт никак не располагал к подобным занятиям, требующим сосредоточенности и уединения. Главное все-таки в другом. Чтобы вести летопись военных дней — пусть даже одной, собственной жизни, — нужно особое душевное настроение, минимальный резерв внутренних сил. Откуда их взять воюющему солдату, которому выполнение долга и прямых обязанностей давалось с невероятным напряжением? Вот почему не только те, кто мечтал после войны взяться за перо, но и писатели, которых обстоятельства войны отрывали от литературной работы и они становились строевыми солдатами и офицерами, далеко не всегда использовали записную книжку.

Между тем не нужно говорить, как это все важно для писательского труда. Какая-то случайная деталь, какой-то суший пустяк помогают разбудить уснувшую память. И вдруг всплывает то, что было прочно, казалось навсегда, забыто, воскресает целая

картина. Анвер Бикчентаев рассказывает весьма характерную историю:

«Совсем недавно я получил письмо: человек, которого я уже не помнил, писал, что он двадцать лет собирался дать о себе знать, но ему всегда что-то мешало. И вот он рискнул...»

Двадцать лет — большой срок. Автор письма, естественно, пытается восстановить в моей памяти нашу первую встречу. «Помните такую-то дивизию и в ней такой-то дивизион?» — спрашивает он. Как мне помнить! За четыре года войны где только и с кем только не пришлось встречаться!

А еще, пишет он, однажды вы привели с собой в нашу часть молодого журналиста, почти мальчика, и он в тот раз не вернулся из разведки. Но ведь этот-то эпизод я бы должен был помнить! Но память молчала.

И вот наконец читаю в письме про такую деталь: «У вас была любимая пословица. «Все это называется — жизнь солдатская». И тут сразу же возникли в сознании и фамилия фронтовика, и часть, где погиб «мальчик-журналист».

Это свойство не только человеческой памяти, играющее немалую роль в художественном творчестве, но и памяти человечества — истории. Историк, рассматривающий явления и процессы, выводит их из множества конкретных фактов и событий. И чем больше перед ним такого рода материала, тем — можно не сомневаться — обоснованнее и точнее будут его выводы. И даже история литературы, которая, казалось бы, может ограничиться анализом и сопоставлением наиболее значительных произведений эпохи, с особым вниманием относится к дневникам, письмам, воспоминаниям. Как только возникает вопрос о внутренних пружинах литературного процесса, об общественной атмосфере эпохи, о воздействии литературы на современников, — все эти материалы приобретают особую ценность, без них никак не обойтись.

Две объемистые книги 78-го тома «Литературного наследства» «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны», которым посвящены эти заметки, состоят в основном из материалов, для печати не предназначавшихся, — это записные книжки писателей, их письма, официальные документы: справки, характеристики, наградные листы, стенограммы докладов и вы-

ступлений. Вряд ли такого рода издание могло появиться раньше — ну, скажем, лет десять — пятнадцать назад, хотя тогда, вероятно, легче было собрать материал: все еще было под руками, да и некоторых материалов было бы, несомненно, больше — за эти годы ушли из жизни люди, которые могли немало рассказать о военном лихолетье.

И все-таки в ту пору такое издание появиться не могло. Для этого прежде всего — как предварительное, но обязательное условие — необходимо было подлинное уважение к историческому факту и документу. Но его часто недоставало даже в тех случаях, когда дело касалось событий, ушедших в даль веков, а здесь все было так близко и так еще болело. Была, однако, и причина психологическая. Вряд ли мы и сами ощущали настоящую потребность в таком издании, потому что нам тогда казалось, что собственных впечатлений о недавно закончившейся войне хватает с избытком. И появившись сборник таких материалов, кто знает, смогли бы мы оценить его по достоинству. Дело не только в том, что за эти годы многое ушло из памяти и мы больше стали ценить все то, что помогает воскресить память о войне. Не менее важно и другое — то ощущение неповторимости и неизбежного ухода в прошлое пережитой эпохи, которое придает особый смысл и значение всем этим фактам, деталям, подробностям, раскрывающим «творческую лабораторию» истории. Это ощущение приходит не сразу: немалый срок пережитое остается для нас современностью, нам не удается увидеть его из другого времени. Вот почему, кстати, мемуары очень редко — лишь как исключение — пишутся по горячим следам событий: они тоже требуют взгляда из другого времени. (Естественно, что в двух книгах «Литературного наследства» воспоминания занимают солидное место.)

Те, кто следит за критикой и литературоведением, обратили, быть может, внимание, что в самое последнее время стали появляться статьи о литературе Великой Отечественной войны, принадлежащие людям, для которых война — воспоминания детства (можно назвать для примера статьи И. Золотусского, Ю. Буртина). Несколько лет назад, когда события военной поры еще ощущались как события нашего времени, этого не было, да и не могло быть. Как только их стали воспринимать и рассматривать как

достояние истории, преимущества, которые давал критику и литературоведу личный опыт участника войны, стали менее существенны — для исторического исследования такой опыт вовсе не обязателен.

К двадцатилетию Победы журнал «Вопросы литературы» провел среди писателей, пишущих на военные темы, специальную анкету. Трудно не заметить, как часто встречается там слово «история». Как это ни удивительно, писатели, участвовавшие в Великой Отечественной войне (многие из них сражались на фронте с оружием в руках), отвечая на вопросы анкеты, словно сговорившись, повторяют: «история». Как будто речь идет не о том, что пережили они сами, видели своими глазами, а о далеком прошлом, о времени, которое художник прежде, чем описать, должен мысленно «реставрировать». И употребляют они это слово не столько для обозначения масштаба событий — здесь удивляться не приходится, — сколько определяя тот угол зрения, под которым художнику следует сегодня рассматривать пережитое.

Выяснить причинные связи явлений, проследить процесс формирования и изменения характеров под воздействием тех или иных общественных обстоятельств, уловить ход времени, зависящий от разно направленных усилий множества людей, — вот на чем сосредоточено ныне внимание писателей, судя по анкете «Вопросов литературы». Впрочем, об этом свидетельствуют не только высказывания писателей, но в первую очередь само живое литературное развитие, появившиеся в последнее время книги, пафос которых в историческом осмыслении увиденного и пережитого, — «Живые и мертвые» и «Солдатами не рождаются» К. Симонова, «Июль 41 года» Г. Бакланова, «Последние две недели» А. Розена и другие.

Знаменателен и сам факт одновременного обращения к литературе Великой Отечественной войны столь фундаментальных наших изданий, как «Литературное наследство» и «Библиотека поэта», выпустившая в большой серии антологию «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне». Значит, принадлежность этого периода развития советской литературы истории не вызывает уже никаких сомнений — ведь оба упомянутых издания заслужили высокий авторитет и добрую славу у читателей преж-

де всего строгостью научных критериев и принципов.

Это качество в полной мере присуще и 78-му тому «Литературного наследства» (редакторы тома А. Дубовиков и Н. Трифонов). К. Симонов, А. Сурков, Н. Тихонов — авторы предисловия к этому тому — особо подчеркивают: «Мы приветствуем и со своей стороны поддерживаем ту традицию редакции «Литературного наследства», которая последовательно проводится и в этом томе, — традицию публиковать старые рукописи в их подлинном виде, сохраняя, как правило, и те строки, которые ныне, с высоты нашего исторического знания, кажутся неловкими, наивными или неверными. История есть история, — и это относится не только к истории фактов, но и к истории чувств».

Впрочем, подлинностью публикуемых текстов дело не исчерпывается. Обстоятельная статья Б. Бялика «Подвиг советской литературы», открывающая том, обширные комментарии, богатейший иконографический материал (подобранный Т. Динесман и Н. Эфрос) — все отличается научной основательностью и точностью. И здесь неизменно торжествует принцип «история есть история».

И еще одно. Понадобилась бы, наверное, не одна страница, чтобы просто перечислить учреждения и лиц, помогавших созданию этого тома «Литературного наследства», вступающих на его страницах в качестве авторов и публикаторов. И это тоже подтверждает, сколь велика общественная потребность в историческом осмыслении духовной жизни народа в годы Великой Отечественной войны, — именно на эту потребность отозвались многочисленные авторы тома.

Однако даже этот том, объем которого превышает сто печатных листов, никак не может претендовать на полноту. Во вступительной заметке редакция сочла необходимым специально оговорить, что «ни в какой мере не пыталась исчерпать огромную тему, сформулированную в заглавии этого тома», и обещала подготовить к двадцатипятилетию Победы советского народа над германским фашизмом второй том, в котором, в частности, намеревается «полнее отразить участие в Великой Отечественной войне литераторов братских народов Советского Союза».

Можно указать еще на один не менее существенный пробел, который следовало бы восполнить в будущем: очень беден том материалами, посвященными писателям, которые рассказали о пережитом на фронте лишь в книгах, созданных в послевоенное время. Ничего не стоит отнести это предложение (отнюдь не упрек, ибо требование исчерпывающей полноты было бы нереальным и неразумным), сославшись на название тома: «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны». Те же, кого я имею в виду, в большинстве своем не то что писателями, но даже сотрудниками армейской печати не были — они прошли войну солдатами и офицерами переднего края. Но строгое истолкование темы в данном случае не пойдет на пользу делу (и составители вышедшего тома, кстати, в других случаях его тоже не придерживались: они включили, например, материалы о писателях — героях Советского Союза, которые в большинстве начали заниматься литературной работой уже после войны). Без книг писателей военного поколения, пришедших в литературу после победы, уже в мирное время, — назову хотя бы Виктора Некрасова и Григория Бакланова, Юрия Бондарева и Василя Быкова, Владимира Богомолова и Бориса Балтера, Александра Межирова и Бориса Слуцкого, Давида Самойлова и Семена Гудзенко, Сергея Наровчатова и Сергея Орлова (это примеры, а не проспект второго тома), — без этих книг литература о Великой Отечественной войне ощутимо обеднеет. Есть и более частные пробелы, но я не буду на них останавливаться: я пишу не рецензию, а хочу поделиться некоторыми мыслями, возникшими при чтении тома «Литературного наследства».

II

Я снова хочу напомнить о названии тома «Литературного наследства» — «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны». Обычно слово «писатели» употребляется как синоним слова «литература»; писатель — это книги, им созданные. Не случайно столь охотно цитируются слова Маяковского из автобиографии «Я сам»: «Я — поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу. Об остальном — только если это отстоялось словом». Но в данном случае не стоит руководствоваться этим принципом. Слишком

многие так и не дожили до той поры, когда пережитое на войне смогло бы «отстояться словом». Каждый третий из ушедших на фронт писателей — около четырехсот человек — с войны не вернулся. Это большие потери. Может быть, они были бы меньшими, но очень часто писателям, большинство которых стало фронтовыми журналистами, приходилось заниматься не только своими прямыми обязанностями (впрочем, пули не щадили и тех, кому этого не случилось делать), а многие просто оказались в строю — воевали в пехотных частях, в ополчении, в партизанах.

Аркадий Гайдар, после сдачи Киева попавший в окружение, ушел в партизаны. Как-то ночью партизаны наткнулись на немцев, и писатель, предупредивший товарищей об опасности, был сражен автоматной очередью.

Юрий Крымов был убит в штыковом бою при прорыве из окружения. Уже в окружении, за день до гибели он вступил в партию.

Михаил Гершензон, когда погиб командир батальона и захлебнулась атака, поднял под огнем бойцов и был смертельно ранен. В предсмертном письме он писал: «...Я умер в атаке, ранен в живот, когда подымал бойцов... Наши прорвались, бегут вперед, значит, я умираю не даром».

В некрологе, посвященном памяти Юрия Севрука, рассказывается: «Оказавшись в первых рядах воинов, форсировавших в 1943 г. Днепр, он заменил выбывшего из строя командира батальона, блестяще повел бой и во главе батальона ворвался в населенный пункт на правом берегу реки. Получив тяжелое пулевое ранение в правую руку, Ю. Севрук не покинул поле боя».

Эммануил Казакевич, освобожденный по состоянию здоровья от службы в армии, ушел добровольцем сначала в ополчение, а затем дважды из тыловых частей «дезертировал» на фронт. Военная прокуратура почти год занималась «делом о побеге» младшего лейтенанта Казакевича Э. Г., начатым после донесения его непосредственного начальника, в котором было и такое место: «Много говорил о выезде на фронт, прикрываясь в таких случаях своим «патриотизмом». А этот «дезертир» почти все время, что пробыл на фронте, служил в разведке, награжден восемью орденами и медалями.

Судя по воспоминаниям, «в ополчении было человек 80» московских писателей. В Ки-

ровской дивизии ленинградского народного ополчения был взвод, целиком сформированный из писателей. Стоит вспомнить, в каких условиях приходилось порой вступать в бой ополченцам. Об этом рассказывает в «Литературном наследстве» ленинградец Николай Новоселов: «По дороге тянутся колонны ополченцев. Потемневшие от пота гимнастерки, скатки через плечо, синие диагональные брюки, неумело накрученные обмотки. Брезентовые поясные ремни, отягощенные подсумками, саперными лопатками, котелками, флягами. И такие же новенькие брезентовые ремни у выдавших виды винтовок и карабинов, с которых еще не стерта цейхгаузная смазка,— оружие выдали ополченцам перед самой посадкой в шеллоны. В последний раз из этих винтовок стреляли, наверное, в дни обороны Питера от Юденича или при кронштадтском штурме... Многие винтовки без штыков, а некоторые и без ремней,— бойцы несут их в руках... Большинство же ополченцев никогда не воевало, многие даже не служили на действительной — в лучшем случае проходили краткосрочные лагерные сборы. Боевая подготовка дивизии перед отправкой на фронт не продолжалась и недели».

Пожалуй, и «Литературное наследство», как бы тщательно оно ни вело розыски, не сможет рассказать о всех, кто — по доброй ли воле или потому, что так складывались обстоятельства в частях, куда они попадали,—откладывал перо и брал в руки автомат и гранаты. А среди писателей-фронтовиков было очень много (если не большинство) людей не первой молодости, не богатого здоровья и не слишком приспособленных к солдатской жизни — что поделаешь, даже в наш бурный век художник не так часто обладает качествами, необходимыми солдату. Сколько в биографических материалах «Литературного наследства» фактов редкого мужества! Павлу Бляхину было пятьдесят пять лет, когда он ушел рядовым бойцом в ополчение. Сергей Хмельницкий, воевавший солдатом в одной из дивизий, защищавших Ленинград, был болен тяжелой формой астмы, но «комиссоваться» не хотел. Андрей Платонов в 1944 году заболел туберкулезом, но до самого конца войны продолжал оставаться на фронте. Дмитрий Кедрин очень плохо видел (минус 16 диоптрий), с таким зрением в армию не брали. «Но всюду,— читаем в воспоминаниях о нем,— в райвоенкомате, в Союзе

писателей, в ПУРе РККА — поэт просил об одном: сделать для него исключение. Первая в жизни просьба человека, всегда хлопотавшего за других и не мыслившего никаких льгот для себя». «Почти все очкастые» — вот что бросилось в глаза тогдашнему редактору газеты Черноморского флота П. Мусьякову, когда в начале войны в газету прибыло писательское пополнение. О. Черный вспоминает о Михаиле Лузгине: «Свое солдатское дело он выполнял скромно, без показного блеска, но с требовательностью к себе. При этом он уклонялся от каких бы то ни было поблажек: можно было пойти работать в дизионную газету — Лузгин не пошел; большой туберкулезом, он мог остаться работать и при нашей санчасти, но и от этого отказался».

А когда писателям на фронте приходилось работать, так сказать, по специальности («так сказать» потому, что писатель и журналист — это вовсе не одна профессия), они, как правило, прилагали максимум усилий, чтобы быть рядом с теми, о ком писали, чтобы видеть и пережить то же, что видели и переживали их герои.

Анатолий Луначарский, чтобы написать очерк о морской пехоте, высадился с десанниками в Новороссийской бухте в первом броске. В следующую ночь он снова отправляется к десанникам, ведущим ожесточенные бои, и там погибает.

Захар Хащевин в последнюю командировку, из которой ему не суждено было вернуться, уезжал с температурой сорок градусов. Больше всего он боялся, чтобы о болезни не узнал редактор газеты и не отменил поездки.

Евгений Петров, ходивший на лидере «Гашкент» в осажденный Севастополь и решивший написать о героическом экипаже корабля (неоконченный очерк «Прорыв блокады» был опубликован посмертно), когда на обратном пути в Новороссийск лидер был тяжело поврежден во время беспрерывных бомбежек и с трудом держался на плаву, отказался перейти на торпедный катер: он считал, что должен разделить с командой все невзгоды и испытания.

Во время работы над сталинградскими очерками, отправляясь в очередной раз с левого берега Волги на правый, где шли невиданно ожесточенные бои, Василий Гроссман со свойственной ему скромностью писал редактору «Красной звезды»: «...Завтра предполагаю выехать в город — думал сесть

писать большой очерк, но понял, что придется отложить писание и некоторое время посвятить собиранию городских материалов. Так как переправа теперь вещь довольно громоздкая, то путешествие сие займет у меня минимум неделю. Поэтому прошу не сердиться, если присылка работы задержится». Теперь мы из литературы хорошо знаем, что представляла собой переправа, которую Гроссман назвал «вещью довольно громоздкой», и чего стоило «собрание городских материалов». Те, кто был в это самое трудное время в Сталинграде, вспоминают, что Василий Гроссман, несмотря на свои очки и сугубо штатский вид, «сразу расположил к себе бойцов» и пользовался у них за мужество и скромность искренним уважением.

Можно рассказать о том, как Михаил Светлов, выступавший на фронте перед бойцами, продолжал читать стихи во время внезапного налета вражеских пикировщиков. Когда самолеты улетели, поэт, как рассказывает присутствовавший при этом Б. Бялик, сказал со свойственным ему юмором: «Я только теперь заметил, что в этом стихотворении длинноты».

И о том, как Алексей Сурков, приняв за истину «непроверенный» слух, что наши войска отбили у немцев Великие Луки, въехал туда на полutorке, опередив наступающие части, обходившие город.

И о том, как Борис Полевой прилетел в Прагу, когда танки Конева еще были на пути к столице Чехословакии, и через радиостанцию, захваченную восставшими жителями города, передал информацию находившимся на марше войскам и очерк в «Правду».

Можно вспомнить и еще немало примеров мужества, проявленного писателями при выполнении редакционных заданий, в поисках «материала». И дело было здесь не просто в профессиональной добросовестности — по правде говоря, далеко не всегда стремление во что бы то ни стало быть в самом горячем месте диктовалось редакционным заданием. Но была другая, более важная необходимость, заставлявшая поступать именно так, а не иначе. Об этом хорошо сказал Константин Симонов «Служить в газете военным корреспондентом было самое малое из всего того, что были обязаны делать... люди нашего возраста. Другие, такие же, как мы, просто получали повестки военкомата и шли на фронт рядо-

выми, сержантами и лейтенантами, в зависимости от того, какая действительная служба или какое военное образование было за плечами. Работа военных корреспондентов была не самой опасной работой на войне. Не самой опасной и не самой тяжелой. Тот, кто этого не понимал, не был ни настоящим военным корреспондентом, ни настоящим человеком. А те, кто это понимали, сами, без требований со стороны начальства, стремились сделать свою работу и опасной, и тяжелой, старались сделать все, что могли, не пользуясь ни выгодами своей относительно свободной на фронте профессии, ни отсутствием постоянного глаза начальства». Эти слова раскрывают мироощущение не только тех, кто, повинувшись приказу своей совести, сделал для себя профессию фронтового журналиста и по-настоящему трудной, и по-настоящему опасной, но и тех, кто, отложив писательство, ушел на войну рядовым ополчения или пехотным офицером.

«А без меня народ неполный», — говорил один из героев Андрея Платонова, и в грозные дни войны это чувство единой судьбы со всем народом, которому приходится в смертельном бою защищать свою землю, свою культуру, свою жизнь, заставляло людей совершать поступки, в обычное время для них вряд ли возможные. Об этом через много лет после войны напишет Эммануил Казакевич в рассказе «При свете дня». Ольга Петровна Нечаева помнила своего мужа — таким он и был до войны — робким, рассеянным человеком, скромным сотрудником института. А теперь из рассказа его солдата Слепцова она узнает, что он был человеком удивительного мужества: он возглавил форсирование реки, он в трудных обстоятельствах принял на себя командование полком, первым пошел на штурм занятой противником высоты. «Слепцовский Нечаев вошел одетый в воду, а тот, ее Нечаев, простуживался от любого сквозняка и был мнительен, приписывая себе всевозможные болезни. Этот Нечаев был любимцем множества людей — тот был нелюдим, он был только уважаем, да и то слегка насмешливо. Этот Нечаев не боялся никого — даже маршала, который мог его расстрелять, тот опасался институтского начальства, которое могло его ущемить. В том Нечаеве, которого она знала раньше, не было как будто ни удали, ни хладнокровия, ни такого уж большого обаяния — всего того, что было в пре-

избытке у слепцовского Нечаева». Я вспомнил об этом рассказе, потому что метаморфоза, происшедшая с Нечаевым на войне, сродни тому, что запечатлено во многих материалах «Литературного наследства», рассказывающих о жизни писателей на фронте.

Никогда писатель так отчетливо не слышал сердце народа — для этого ему надо было просто прислушаться к своему сердцу. И о ком бы он ни писал, он непременно писал и о себе. Он и старался во всем поступать, как все, а это в конечном счете означало одно — готовность, если придет такой час, отдать в бою свою жизнь. Никогда еще для писателя не было столь коротким расстояние между словом и делом. И ответственность его никогда не была столь высока и конкретна.

Михаил Гершензон, вспоминая о том, как во время прорыва из окружения из-за сильного огня солдаты залегли, добавляет: «Мне надо было заставить их идти, но я имел одно средство — не пригибаться». Здесь очень просто и ясно сказано о важнейшем нравственном законе, который определил и поведение писателя на войне, и отношения литературы и воюющего народа.

III

С выходом 78-го тома «Литературного наследства» некоторые грани литературы Великой Отечественной войны обозначились четче. И не только литературы. «Писать историю этой войны без истории ее художественной литературы — значит заведомо обречь создаваемую картину на неполноту», — справедливо замечает Б. Бялик. Литература военных лет была не просто хроникой сражений и летописью пережитого. Она была духовным оружием невиданной мощи. Сегодня мы часто вспоминаем о том, что по горячим следам событий Симонов и Гроссман писали о стоявших насмерть защитниках Сталинграда, а Тихонов и Берггольц — о подвиге осажденного Ленинграда, и редко — во всяком случае реже, чем следовало бы, — о том, чем были эти произведения для людей, сражавшихся и в Сталинграде, и в Ленинграде, и в других местах протянувшегося от Баренцева до Черного моря фронта.

Николай Тихонов, вспоминая ленинградскую блокаду, говорил: «Были дни, когда листовка была важнее рассказа, важнее любой поэмы...» Но, быть может, еще более важно, что были стихи, которые пе-

чатались как листовки. Можно более или менее точно подсчитать количество сбитых самолетов, подожженных танков, уничтоженных солдат, но нет такой электронной машины, которая бы определила вклад, внесенный нашей литературой в трудное дело победы над фашистами. О значительности его мы можем судить, опираясь лишь на свидетельства читателей, которым литература помогала воевать и которой они за это были благодарны. И таких свидетельств — самого разнообразного толка — один лишь том «Литературного наследства» представляет предостаточно (какая могла бы быть поразительная книга о претворении «художественных красот в жизненные подвиги» (А. В. Луначарский), если бы кто-то взял на себя труд собрать и издать подобного рода материалы!).

Это и бесчисленные стихотворные отклики на «Василия Теркина». И письма любимым писателям. И даже приказы — вот приказ частям 4-й гвардейской танковой бригады от 21 августа 1942 года: «Учитывая огромную популярность писателя Ильи Эренбурга среди личного состава и большое политическое значение его статей в деле воспитания стойкости, мужества, любви к Родине, ненависти к немцам и презрения к смерти и удовлетворяя ходатайство комсомольской организации бригады, зачислить писателя Илью Эренбурга почетным гвардии красноармейцем в списки бригады, в 1 танковый батальон».

Для мирного времени это необычно, удивительно, в войну же, когда обнажаются и уточняются все отношения, в том числе читателя и писателя, — это естественно. К художественной литературе в те дни обращались не для того, чтобы скоротать свободное время — где оно в такую пору, — не для того, чтобы развлечься или отвлечься — не до развлечений, — от писателя ждали помощи. И уж если случалось ему написать то, что помогало солдату исполнить трудный его долг, — читатель не пропускал его произведения, платил искренней признательностью.

Алексей Сурков рассказывал: «Самые правдивые рецензии, которые литераторы получают от читателей, в то время войны особенно, — это те самые газетные вырезки, которые лежат в левом боковом кармане гимнастерки человека, идущего сегодня в бой... Если мне какой-то товарищ из какой-то части прислал письмо, где сказано, что ком-

мунист Снегин из такой-то роты был на днях убит и из кармана его гимнастерки выпал партийный билет и из него вывалился кусочек газетной бумаги, залитый кровью, и на этом кусочке бумаги оказалось напечатанное такое-то стихотворение такого-то автора,— вот это для человека, работающего на войну, является, пожалуй, самой решающей и самой существенной рецензией».

Литература военных лет играла такую огромную роль в жизни народа, что не обратить на это внимание просто было невозможно. Об этом, например, специально пишет Александр Верт в своей книге «Россия в войне 1941—1945» не погому, что его особенно интересовали литературные дела, а потому, что это важно было для понимания хода войны: «Россия также, пожалуй, единственная страна, где стихи читают миллионы людей, и таких поэтов, как Симонов и Сурков, читал во время войны буквально каждый».

Существует уже большая литература, рассматривающая военные, политические и экономические итоги и последствия второй мировой войны. Почти ничего еще не написано о нравственных итогах пережитого в ту пору, а ведь именно здесь, в сфере нравственной, особая роль принадлежит литературе. Может быть, опять-таки потому, что итоги эти никак не выражаются в количественных показателях и их не объясняет элементарная логика, к которой охотно обращаются и в самых неподходящих случаях. А это сложный случай, и элементарная логика здесь дает осечку. Если следовать ей, сама постановка вопроса о нравственных итогах войны выглядит непропорциональной, потому что элементарная логика строит свои доказательства таким образом: раз мы войну выиграли — значит, были к ней готовы. На самом деле сила нашей уверенности в том, что мы готовы к войне, явно не соответствовала степени готовности. «Эта война, по моему глубокому убеждению, — свидетельствует Алексей Сурков, — застала очень многих из нас как бы врасплох. Люди существовали последние годы перед войной в таком убеждении, что все на войне пойдет по расписанию, что война будет построена по принципу: коротким, но сильным ударом поразить противника, отбросить и опрокинуть его, драться на чужой территории. Война же на деле пошла по-другому... Нам пришлось пережить

не предусмотренные кодексом наших довоенных представлений потрясения...»

Как ни горьки эти воспоминания, мы не должны замалчивать трагических ошибок и просчетов того времени уже хотя бы потому, что без этого невозможно оценить масштаб и значение тех глубоких перемен в духовной жизни народа, которые произошли в годы Великой Отечественной войны. Нельзя искусственно выравнять весы истории: изображая предвоенные обстоятельства более благополучными, чем они были, мы тем самым незаслуженно принижаем величие происшедшего в войну, затушевываем одну из самых ярких страниц истории нашего народа.

В самом деле. То, что непосредственно перед войной с фашизмом были и явления отрицательные — атмосфера подозрительности, необоснованные репрессии, привычка уповать на мудрость вышестоящих, которые все знают, все могут, все сделают, — это все воспитывало психологию «винтика», которая в условиях военных поражений могла привести к утрате воли к сопротивлению, воли к победе. Сложилось такое положение, при котором, как писал в своей автобиографии с горькой издевкой Петр Вершигора, «недисциплинированностью у нас часто зовут самостоятельность мыслей и умение их настойчиво проводить в жизнь». Казалось бы, и сам характер войны — тотальной, механизированной, невиданно жестокой и кровопролитной — должен был утвердить и усилить это мироощущение «винтика», ничего не решающей и легко заменимой детали гигантского военного механизма.

В действительности процесс пошел в прямо противоположном направлении — так страшно начавшаяся для нас война заставила каждого почувствовать себя ответственным за судьбу родины, за исход войны. Человек, смирившийся с положением «винтика», знает один вид ответственности — перед инструкцией, перед указанием свыше, перед приказом. А война, особенно на первом ее этапе — до завершения Сталинградской битвы, — сплошь и рядом создавала ситуации, где инструкция и распоряжение были бессильны. И если такой человек, привыкший уповать на что-то и кого-то, попал в положение, где необходимо было самостоятельно принимать решение и полностью за него отвечать, — этот груз ему далеко не всегда оказывался под силу.

Литература тогда еще не осознавала при-

чин, вызвавших эту болезнь. Еще не пришло время, не был накоплен необходимый исторический опыт. Да и практически вряд ли была возможна постановка этих сложных проблем: ведь не был воплощен на экране и напечатан сценарий Александра Довженко «Украина в огне» (как пишет Б. Бялик, Довженко послал сценарий «на просмотр Сталину и был поражен, потрясен его ответом, не давшим родиться задуманной киноопере»), Константин Симонов «вычеркнул» из окончательного текста «Дней и ночей» — правда, считая это сокращение необходимым «с точки зрения общей композиции вещи», — главу, посвященную биографии Сабурова. И в сценарии «Украина в огне», и в главе из повести «Дни и ночи» авторы коснулись некоторых трудных вопросов предвоенного бытия.

«В эти годы, — писал в этой не вошедшей в повесть главе Симонов, — у людей развились два качества, которые потом, постепенно исчезая, все-таки долго еще мешали им жить, — подозрительность и равнодушие. То, что кругом оказалось много негодяев, но еще больше то, что слишком на многих людей бросалась тень этими негодяями, то, что слишком многих несправедливо заподозрили, а еще большему количеству людей несправедливо не поверили, — все это породило те подозрительность и равнодушие, которые подчас делали жизнь нестерпимо тяжелой».

И эта нравственная атмосфера — чувствовал писатель и его герой — имела прямое отношение и к тому, как шла подготовка к надвигающейся войне с фашизмом: «Перебирая в памяти все свои волнения и огорчения последних лет, все свои тревоги и споры с людьми, Сабуров понял, что самое главное, что в глубине души его всегда волновало, — это как раз то, что началось сегодня ночью, — война. Именно предчувствуя ее, он огорчался, когда люди мало читали, и злился, когда не крепко дружили, и приходил в ярость, когда не держали своего слова. Все это, все незаметные качества, из которых на его глазах складывались человеческие характеры, все мелочи, из которых лепилась жизнь, все ошибки в воспитании, которые проходили на его глазах, вся самоотверженность в работе, которой люди научились, и вся беспорядочность и неаккуратность, от которых они не отвыкли, все это вместе взятое должно было теперь лечь на ту или иную чашу военных весов и в не

меньшей, а может быть, в большей степени, чем танки и самолеты, определить силу армии, которая вставала сейчас на пути немцев, силу ее души, неразрывно связанную с твердостью ее руки».

Однако не осознавая как следует всей широты и значительности процесса освобождения от «ранжирного» мышления, начавшегося в войну, литература запечатлела этот процесс и всемерно способствовала ему.

Грянул год, пришел черед.
Нынче мы в ответе
За Россию, за народ
И за все на свете.

Разве случайно эти слова Теркина стали в дни войны крылатыми?

«До той поры Куликов сам себе цены не знал, — писал Борис Горбатов в повести «Алексей Куликов, боец». — Он видел: на этой войне люди воюют массами. Что тут один человек значит? Он даже не винтик в машине, он пешка. Но теперь узнал Алексей Куликов цену умелому человеку на войне...» Пусть Борис Горбатов эту перемену в духовном самочувствии героя связывает с тем, что он стал снайпером, «умелым человеком на войне», хотя дело не только, вернее не столько, в «умелости» — писатель не сомневается в значительности замеченного им явления.

Возникавшая чисто воинская «умелость» в конечном счете определялась бурным ростом гражданского самосознания. Характерно, что маршал Чуйков, размышляя во время Сталинградской битвы «о серьезном пересмотре тактики наших подразделений в условиях уличного боя», исходил из того, что наш солдат может действовать самостоятельно: «В уличном бою солдат порой сам себе генерал. Надо дать ему только правильное направление и облечь его, если можно так сказать, генеральским доверием».

IV

Начало войны развеяло многие иллюзии. Но преодолеть инерцию «исполнительской» психологии было нелегко: казалось, что кто-то, облеченный особыми полномочиями, разберется, распорядится и все пойдет по-другому. Как глубоко въелись в души эти представления, рождавшие порой и пассивность и растерянность, могут подтвердить размышления Степана Злобина в Минском лагере военнопленных в 1942 году: «Если бы я

был коммунистом и членом партии, то я бы и здесь нашел себе дело. Я бы даже считал, что не имею права бежать, бросая массу людей, советских граждан, на растерзание своре фашистов. Но сейчас кто-то другой, кто послан сюда партией, должен соединить распавшихся людей. Ведь их и можно объединить только силой и авторитетом партии. А что могу сделать я, «беспартийный»? Кто это мне позволит руководить, объединять?.. Я хорошо представляю себе, что было бы нужно и возможно тут совершить именем партии и голосом командира. Но у меня нет права ни на то, ни на другое...» Как дорого стоили нам на первом этапе войны это привычное ожидание указаний, эта уверенность, что кому-то «другому» наверняка уже поручено все наладить, а твое дело сторона, раз тебе не поручили!

Так думал не один Степан Злобин. В примечании к только что процитированной записи он пишет: «Среди пленных жила легенда, что есть люди, специально посланные в плен партией, и что они должны организовать сопротивление. Позже, в Германии, я понял, что это фантазия, и, не дожидаясь ничего «разрешения», «именем партии» создал подпольную партийную организацию лагеря 304-Н». И в самом этом факте — «беспартийный» (иначе как в кавычках это слово в данном случае нельзя писать) создает подпольную партийную организацию — отчетливо проявилось новое, рожденное в испытаниях войны сознание ответственности.

Эта — а быть может, даже более острая — нравственная коллизия оказалась в центре леоновского «Нашествия». Федор Таланов ожесточен несправедливостью, которая совершена по отношению к нему, и подавлен недоверием, с которым встречен в родном городе и в родной семье. Фашистская оккупация поставила его перед необходимостью выбора. Он может начать сотрудничать с фашистами, ему это предлагают, от него этого даже ждут — и уже сотрудничающие с врагом «бывшие люди», и наши: ведь он обижен советской властью. Может попытаться отсидеться. Может наконец вступить в борьбу с захватчиками, но бороться в одиночку — ему ведь не доверяют. И этот человек, которого обстоятельства сделали изгоем, ценой жизни покупает себе право на общую со всеми ответственность за землю отцов и дедов: схваченный

немцами, он выдает себя за руководителя партизанского подполья.

То, что столь глубокий переворот в сознании многих и многих людей свершился в какие-то несколько месяцев (по мере продвижения фашистских армий на восток воля к сопротивлению не падала, а росла), то, что он вообще свершился (в большинстве стран, завоеванных гитлеровцами, сопротивление возникало после военного разгрома), объясняется прежде всего тем, что, несмотря на все извращения социалистической нравственности, порожденные культом личности, идеи революции, социалистического отечества оставались фундаментом духовной жизни народа.

Процесс роста гражданского, патриотического самосознания, как действительно глубокий процесс, приобретает тот совершенно особый характер, который Лев Толстой применительно к Отечественной 1812 года так точно назвал «скрытой теплотой патриотизма». Процесс этот был невиданно широким, захватившим и те слои народа, которые не числились передовыми, и имел решающее значение для победы.

Вспомним один из финальных эпизодов повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», в котором пронизательно раскрывается это явление. Дело происходит уже после окружения в Сталинграде армии Паулюса. Из госпиталя вернулся в свой сильно поредевший батальон Керженцев. Празднуют победу над немцами, его возвращение. Все выпили. И тут героям на глаза попадает кусок немецкой газеты с речью Гитлера, произнесенной три месяца назад. Керженцев переводит: «Сталинград наш! В нескольких домах сидят еще русские. Ну, и пусть сидят. Это их личное дело. А наше дело сделано. Город, носящий имя Сталина, в наших руках. Величайшая русская артерия — Волга — парализована. И нет такой силы в мире, которая может нас сдвинуть с этого места...» Посмеявшись над хвастливой речью, разведчик Чумак, человек отчаянной храбрости, вдруг спросил Керженцева:

«— А почему, инженер? Почему? Объясни мне вот.

— Что почему?

— Почему все так вышло? А? Помнишь, как долбали нас в сентябре? И все-таки не вышло. Почему? Почему не спихнули нас в Волгу?»

А Керженцев, отшутившись вместо ответа — есть слова, которые нелегко произносить вслух, от этого они теряют свою силу, — про себя думает: «За теми вот красными развалинами, — только стены, как решето, остались, — начинались позиции Родимцева — полоска в двести метров шириной. Подумать только — двести метров, каких-нибудь несчастных двести метров! Всю Белоруссию пройти, Украину, Донбасс, калмыцкие степи и не дойти двести метров... Хо-хо!

А Чумак спрашивает, почему? Не кто-нибудь, а именно Чумак. Это мне больше всего нравится. Может быть, еще Ширяев, Фарбер спросят меня, почему? Или тот старичок пулеметчик, который три дня пролежал у своего пулемета, отрезанный от всех, и стрелял до тех пор, пока не кончились патроны? А потом с пулеметом на берег приполз. И даже пустые коробки из-под патронов приволок. «Зачем добро бросать — пригодится». Я не помню даже его фамилии. Помню только лицо его — бородагое, с глазами-щелочками и пилоткой полперек головы... Или тот пацан-сибирячок, который все время смолку жевал. Если бы жив остался, тоже, вероятно, спросил бы — почему? Лисагор рассказал мне, как он погиб. Я его всего несколько дней знал — его прислали незадолго до моего ранения. Веселый, смысленный такой, прибауточник. С двумя противотанковыми гранатами он подбежал к подбитому танку и обе в амбразуру бросил.

Эх, Чумак, Чумак — матросская твоя душа — ну, и глупые же вопросы ты задаешь, и ни черта, ни черта ты не понимаешь».

Да, к каждому из этих обыкновенных, неприметных людей, защищавших последние метры земли на правом берегу Волги, пришло сознание — или, лучше сказать, чувство — того, что и от него (а не только от решений командования) зависит, столкнут нас немцы в Волгу или нет. И когда оно возникло, это чувство, двести метров, отделявших немцев от Волги, стали для них непреодолимыми.

Стоит вспомнить об этом эпизоде из повести Некрасова, которая сразу же после появления породила в критике острые споры, продолжавшиеся не один год, еще и потому, что именно этот эпизод в свое время вызвал у ряда критиков наибольшие нарекания. Поучительно сегодня перечи-

тать, что тогда писали. «Характерно, что с точки зрения автора не поддается объяснению — почему в ходе Отечественной войны происходит крутой перелом... На эти «глупые вопросы» (имеются в виду вопросы, которые задает Чумак Керженцеву. — Л. Л.) он не в силах дать никакого ответа. Этого ответа не дает и роман в целом. Сначала наши войска отступали, потом перешли в наступление, разбили врага, а как это произошло, почему, какие способности проявил наш народ на войне, требовавшей не только мужества, массового героизма, но и огромного интеллектуального напряжения, организаторского и стратегического дара, идейной закалки, — этого в романе не видно».

А вот из другой статьи: «Персонажи романа — героические советские воины не предстали перед читателем, как носители самого передового мировоззрения, знающие, что они отстаивают бессмертное правое дело. Не раскрыв идейного, духовного содержания советского человека, автор не сумел с достаточной глубиной показать и источники победы... На этот вопрос (опять речь идет о вопросе Чумака. — Л. Л.) автор и его герой не сумели ответить, ибо тут нужны обобщения большого масштаба, а их автор чурается...» И т. д. и т. п.

Конечно, такая критика во многом объяснялась невосприимчивостью к некрасовской манере, о чем справедливо писал в те годы А. Тарасенков, заметивший, что «критиковать писателей с таких наивных позиций — значит отказывать им в праве на поиски своих изобразительных средств». Но главное все-таки в другом, и потому эта история и имеет непосредственное отношение к теме нашего разговора. Главное — в непонимании того, что «самое передовое мировоззрение» не выражается в знании тех или иных цитат, что высокое гражданское самосознание советских людей проявляется не в торжественных речах, а в самоотверженных поступках. И это высокое гражданское самосознание раскрывается в повести «В окопах Сталинграда» как один из основных источников нашей победы. А это и есть то «обобщение крупного масштаба» — надо только добавить: обобщение художественное, — которого на словах так жаждали критики.

В 1943 году в предисловии к вышедшему на французском языке сборнику писем

фронтовиков (на русском языке оно впервые публикуется в «Литературном наследстве») Илья Эренбург писал о тех переменах в душевном мире советского человека, которые произошли в войну: «На войне люди грубеют, они привыкают к виду крови, лишаются многих ценных оттенков, многих чувств. Но в то же время на войне люди многое приобретают. Они начинают по-новому ценить лучшие человеческие чувства. Нигде нет такой дружбы, как в окопе. Нигде не увидишь столько самоотверженности, как на поле боя... Теперь и малый ребенок знает, за что воюет наша страна... Многие понятия, бывшие до войны несколько абстрактными, книжными, стали теплыми, осязаемыми». Все это были не только качества, необходимые лишь для войны, лишь на поле брани, — раз возникнув, они стали в дальнейшем неотъемлемыми чертами духовного облика народа.

Пережитые народом потрясения подобного масштаба никогда не проходят бесследно. Теперь, когда нас от победы отделяют два с лишним десятилетия и война видна нам в исторической перспективе, мы понимаем все яснее и яснее, какой она была великой школой гражданственности. «В этой войне, — писал Василий Быков, — мы не только победили фашизм и отстояли будущее человечества. В ней мы еще осознали свою силу и поняли, на что сами способны. Истории и самим себе мы преподали великий урок человеческого достоинства... С фронтов великой войны мы принесли не только сознание исполненного долга, но и окрепший в жестокой борьбе дух революционного свободолюбия и интернационального братства, который так или иначе заявил о себе в последующей мирной жизни и продолжает с годами крепнуть».

Конечно, это был сложный, противоречивый процесс, были здесь и свои приливы, и свои отливы. Скажем, в первые послевоенные годы вновь стала усиленно проповодоваться концепция человека-«винтика», да и с толкованиями интернационализма не всегда обстояло благополучно. Хорошо известно, как это сказалось на литературе. Но стоит задуматься и над тем, почему и во время отливов появлялись книги правдивые, глубокие, самобытные? Думаю, что именно это окрепшее в войну, обогащенное историческим опытом, умудренное пережи-

тыми страданиями чувство человеческого и гражданского достоинства — сейчас мы понимаем, что они вообще нераздельны, достоинство человеческое и гражданское, — и было духовной почвой и предметом поэтизации лучших произведений нашей военной и послевоенной литературы.

V

Кто-то заметил: следует не сетовать на то, что в войну не появились книги масштаба «Войны и мира», а гордиться, что столько произведений той поры выдержало испытание временем. Это справедливое замечание. И хотя было тогда и немало произведений-однодневок, художественно невыразительных, удручающе однообразных (Александр Фадеев в докладе на совещании редакторов фронтовых и армейских газет много говорил, например, о стихах «очень внешних, равнодушных», «примитивно-агитационных», содержащих лишь «общие истины»), вовсе не каждые четыре года нашей истории дарили нам такую библиотеку прекрасных книг. А эти годы были, казалось бы, совсем не располагающими к высокому творчеству, — тем больше мы должны ценить то, что сделано литературой.

Чем только не приходилось заниматься писателям в дни войны — вплоть до наставлений по борьбе с танками противника! Если была в этом нужда, поэты писали очерки, драматурги — международные обзоры, прозаики и критики — стихотворные фельетоны. Фронтовые редакции, в которых была учреждена особая должность — «писателя», никак не овозмождали писателей, занимавших эту должность или другие, от повседневной оперативной газетной работы. Ничего не поделаешь: газете всегда нужен материал в номер. А людей обычно в редакциях не хватало, да и некоторым редакторам не доставало широты и дальновидности, чтобы хотя бы минимально разгрузить писателей (даже крупных, с именем) от газетной текучки.

Но даже самые идеальные по тем временам условия для писателя, работающего фронтовым журналистом, выглядели так: месячный отпуск был предоставлен в 1942 году Александру Корнейчуку для работы над «Фронтом», а Ванде Василевской — над «Радугой». Константин Симонов, задумав повесть о Сталинграде, получил —

время было уже более спокойное, 1943 год,— двухмесячный отпуск. «При этом было оговорено,— вспоминает автор «Дней и ночей»,— что если на фронте начнутся события,— отпуск мой может быть прерван в любой день. В этих жестких условиях я решил диктовать первый черновой вариант повести стенографистке и, очевидно, правильно сделал. Я еще не успел продиктовать повесть до конца, когда разразились события на Курской дуге. Последние главы повести диктовывал в течение июля— сентября, урывками между поездками на фронт».

Был и другой ряд внелитературных явлений, с которыми приходилось сталкиваться писателям. Илья Эренбург в книге воспоминаний «Люди, годы, жизнь» писал: «Обычно война приносит с собой ножицы цензора; а у нас в первые полтора года войны писатели чувствовали себя куда свободнее, чем прежде». Это верно. Однако инерция былых представлений о том, чем литература должна и не должна заниматься, и прежних методов наставления писателей на «путь истинный» давала себя знать и в военные годы. И материалы «Литературного наследства» прямо и откровенно говорят и об этом.

О том, как из ставшей ныне хрестоматийной «Землянки» Алексея Суркова во что бы то ни стало хотели выбросить строчку: «А до смерти — четыре шага», потому что она якобы несет в себе пессимизм, словно бы люди, ходившие на фронте все время рядом со смертью, могли утраститься правды, которую несло стихотворение. О «мелочной и пристрастной опеке» во фронтовой газете с горечью пишет Борис Горбатов: «Дело неслыханное,— но каждая моя вещь предварительно просматривается десятью инстанциями... Мои рассказы здесь бракуются, сокращаются, запрещаются и т. д.». О том, как был обескуражен Всеволод Вишневский, когда после просмотра «У стен Ленинграда» услышал, что спектакль «крепко не вышел» («Основные замечания,— свидетельствует запись в дневнике В. Вишневского,— явный перевес отрицательных персонажей, образ комиссара скатился к шаржу, чрезмерна и вообще сомнительна роль князя Белогорского, офицера. Не хватает кадрового вида, массовкам — четкости, словом, замечания «служебно-строевые». По их мнению, трагиче-

ские дни сентября 1941 г. должны выглядеть на сцене обычно, «чисто». Откровенный показ тягот, травм, трудностей и их преодоление — режет глаз и ухо... Больно, очень больно!»). Д. Ортенберг вспоминает об «ограничениях, порожденных «порядками», сложившимися в ту пору, порядками непонятными и нелепыми», а ему-то в силу занимаемой должности редактора «Красной звезды» приходилось сталкиваться с этими «порядками» не раз и не два. И он с восхищением, которое сейчас людям молодым может показаться даже необъяснимым, во всяком случае чрезмерным, пишет о суровой правде очерка Евгения Петрова «Севастополь держится»: «Стоит вспомнить то время, чтобы стало понятным, каким надо было быть смелым и честным, чтобы написать эти слова и требовать, чтобы они были опубликованы вопреки успокоительным сводкам».

Эти «ограничения» были тем более «непонятными и нелепыми», что даже произведения, написанные в самые черные дни войны и не обходившие переживаемых нами тогда трудностей и неудач, пронизывала страстная и неколебимая вера в нашу победу. «Если посмотреть газеты того периода и все, что там написано с фронта военными корреспондентами и писателями,— писал Константин Симонов,— будь то стихи, очерки или рассказы, независимо от того, хорошо или плохо это написано, во всем этом всегда отражалась вера в победу и желание подкрепить эту веру. Найти факты, подтверждающие нашу веру в победу, было не только нашим гражданским долгом, но и душевной потребностью». И сейчас, когда мы получили возможность ознакомиться с дневниками, письмами, записными книжками — с тем, что писалось, так сказать, «для внутреннего пользования»,— мы еще раз убеждаемся, сколь глубокой и сильной была эта внутренняя потребность.

VI

Конечно, разного рода догматические предписания и препоны мешали литературе. Но сила общего душевного подъема была такова, что «нелепые порядки» сплошь и рядом ее натиска не выдерживали. Художнику это выросшее гражданское самосознание давало внутреннюю свободу, уверенность в том, что написанное им нужно и полезно обществу. Вот что говорится

на этот счет в партизанском дневнике Всеволода Саблина, который — это нелишне здесь напомнить — трижды бежал из лагеря военнопленных, трижды его ловили со всеми вытекающими отсюда последствиями, и лишь на четвертый раз счастье улыбнулось ему и он добрался до партизан. «Это должна быть сильная вещь, — пишет В. Саблин, — но не знаю — можно ли открыто говорить об отступлении так, как говорю я. Но это правда, и я решил писать... Хватит глупо бахвалиться, мы достаточно сильны, чтобы говорить только правду. Это я чувствую сердцем своим, а сердце у меня русское и советское».

Были весьма серьезные причины и литературного порядка, мешавшие верному и глубокому художественному постижению действительности военных лет. В воспоминаниях и критической литературе уже немало говорилось о тех широко распространенных в предвоенные годы представлениях, согласно которым победа должна была быть одержана чуть ли не на второй день войны, по единому слову, сказанному «свыше», и о фанфарно-барабанных произведениях, поэтизовавших эти представления. Я не стану этого повторять. Замечу лишь, что, хотя такого рода книги, не выдержав проверки реальностью, умерли в первый день войны, созданная ими традиция «легкого» отношения к вещам отнюдь не легким нет-нет и давала себя знать. Даже в 1943 году Александр Фадеев в уже упоминавшемся докладе говорил, что в стихах все еще встречается «шапкозакидательство».

Но особенно трудно было преодолеть укоренившийся взгляд, связывающий гражданственность с определенным кругом так называемых «газетных» тем. Из самых лучших побуждений, уверенные, что прибегают к самому действительному оружию, поэты на первых порах устремлялись на протоптанный путь сочинения зарифмованных передовиц. С той только разницей, что прежде зарифмовывались достижения стахановцев и ударников колхозных полей, а теперь — боевые эпизоды из сводок Совинформбюро. Война ломала этот примитивный взгляд на гражданственность в поэзии.

Очень характерна и поучительна та эволюция, которую в короткий срок претерпела поэзия Семена Гудзенко: от стихов, печатавшихся в красноармейской газете

«Победа за нами», почти лишенных примет индивидуальности и поэтического своеобразия, до стихов, составивших сборник «Однородчане», о котором Илья Эренбург писал, что в нем Гудзенко «сказал многое за себя и за других». Впрочем, Семен Гудзенко был начинающим поэтом. Но так же поначалу понимали нередко гражданские задачи поэзии и поэты, вполне уже сложившиеся и даже понюхавшие пороха до Великой Отечественной войны.

Сейчас, когда мы говорим о поэзии периода Великой Отечественной войны, рядом со «Священной войной» неизменно ставятся «Землянка» и «Жди меня». Но — празительное дело! — и Сурков и Симонов не только не считали эти стихи, сыгравшие такую большую роль в духовном «обеспечении» солдата Великой Отечественной войны, гражданскими, но и вообще не помышляли об их публикации. Вот их собственные признания. Сурков: «Возникло стихотворение, из которого родилась эта песня, случайно. Оно не собиралось быть песней. И даже не претендовало стать печатаемым стихотворением. Это были шестнадцать «домашних» строк из письма жене. Письмо было написано в конце ноября 1941 года, после одного очень трудного для меня фронтового дня под Истрой, когда нам пришлось ночью после тяжелого боя пробиваться из окружения с одним из полков». Симонов: «Жди меня» — глубоко личное стихотворение, оно мною не предназначалось к печати. В декабре сорок первого года, прибыв с фронта, я зашел повидаться с Петром Николаевичем Поспеловым. В разговоре он спросил, нет ли у меня каких-нибудь стихов для «Правды». У меня не было ничего подходящего. Есть, правда, одно стихотворение, сказал я, но оно интимное...» Война подвергала строгой проверке и эстетические взгляды, заставляя освобождаться от узости, от схематического мышления.

Художнику очень трудно остаться один на один с действительностью: между ними — давно сложившиеся, ставшие общепринятыми представления и понятия; ему не только помогают, но и мешают книги, которые он прочитал, картины, которые ему довелось видеть. А когда дело касается новой, да еще невиданно трагической действительности, какой была эта война, коснувшаяся всех, заставившая людей жить, мыслить и чувствовать по-иному, чем

в мирное время,—это вдвое, втрое труднее. Об опасности, которая таится в стереотипах, писал Лев Толстой: «Он (Николай Ростов.—*Л. Л.*) рассказал им о вое Шенграбенское дело совершенно так, как обыкновенно рассказывают про оражения участвовавшие в них, то есть так, как им хотелось бы, чтоб оно было, так, как они слышали от других рассказчиков, так, как красивее было рассказывать, но совершенно не так, как оно было. Ростов был правдивый молодой человек, он ни за что умышленно не сказал бы неправды. Он начал рассказывать с намерением рассказать все, как оно точно было, но незаметно, невольно и неизбежно для себя перешел в неправду. Ежели бы он рассказал правду этим слушателям, которые, как и он сам, слышали уже множество раз рассказы об атаках и составили себе определенное понятие о том, что такое была атака, и ожидали точно такого же рассказа,—или бы они не поверили ему, или, что еще хуже, подумали бы, что Ростов был сам виноват в том, что с ним не случилось того, что случается обыкновенно с рассказчиками кавалерийских атак... Кроме того, для того чтобы рассказать все, как было, надо было сделать усилие над собой, чтобы рассказывать только то, что было. Рассказать правду очень трудно».

В положении Николая Ростова нередко оказывались и писатели. Даже видевшим все то, что видел солдат: и кровь, и смерть, и доблесть,—даже им было просто преодолеть вьезшиеся в сознание стереотипы.

Алексей Сурков рассказывал во время войны: «...Здесь, в Москве, я два раза слышал выступления одного литератора, с первого же дня находящегося на войне: «С первого дня кочую от батальона к полку, от полка к дивизии, от дивизии к штабу армии...» И я заранее могу представить, что он обязательно приведет пример, в котором внешне грубый человек, с очень богатой натурой, под музыку пушек слушает музыку—Чайковского и Бетховена. Он, этот литератор, еще до войны составил себе такое представление о воюющем современнике. И несмотря на то, что жизнь упорно показывает, что на деле все бывает грубее, совсем не так, он до сих пор ходит с этими схемами и выдает их за подлинную жизнь».

Пожалуй, этот литератор, так упорно по-

вторявший красивую схему, все-таки был фигурой исключительной. В такой крайней форме эта тяга к схеме проявлялась нечасто. Но разной силы давление литературной схемы приходилось преодолевать почти каждому пишущему человеку.

Эммануил Казакевич в письме, написанном 29 ноября 1944 года,—я намеренно указываю дату, чтобы подчеркнуть, что к этому времени писатель уже больше года воевал в разведке, был ранен, отлежался в сибирском госпитале и всякими правдами и неправдами снова вернулся на фронт,—в этом письме Казакевич делился возникшим у него замыслом повести: «...На фронт зылетела на самолете бригада артистов. «I воздь» бригады—знаменитая певица, с ней ее муж—знаменитый скрипач, несколько болезненный и красивый. Самолет заблудился в тумане, затем был замечен немецким истребителем, который погнался за ним. В результате самолет залетел за линию фронта и приземлился на лесной поляне. Здесь их подобрала партизаны. Командир партизанского отряда, товарищ В.,—человек с легендарной известностью, славный исключительно дерзкими номерами, оказался первым мужем певицы. Она с ним рассталась когда-то, разлюбив его ввиду того, что считала слишком «обычным», «обыкновенным» и т. д. (все это, грубо говоря). Теперь она поражена перерождением, произведенным в нем войной. Она вторично влюбляется в него. Он ее все еще тайно любит. Но у него жена—медсестра, милая, тихая и простая девушка. Начинается странный роман, полный лесного очарования и в дымке необычайных ситуаций. Скрипач страдает, медсестра тоже—все понемногу страдают. Наконец, товарищ В. ставит точку. Он путем дерзкой операции захватывает у немцев авиабензин, самолет заправлен и может улететь. И самолет улетае, увозя эту прекрасную женщину, полную раскаяния и уязвленной гордости. А командир партизан с болью в сердце остается в темном лесу исполнять свой тяжелый, но славный долг. Медсестра—рядом с ним. страдающая от чувства невозможности скромными своими силами заменить то блестящее и нежное видение. И он замечает ее чувство и целует ее, благодарный и смиренный».

Чем привлекли Казакевича эти «знаменитости», эти откровенно литературного про-

исхождения страсти? Откуда это недоверие к «обычному» на войне, к своему собственному опыту? Зачем ему было описывать жизнь партизан, которую он знал понаслышке, а не разведчиков, которой он жил сам? Вот как сильна власть беллетристики! Не удивительно, что эта повесть о «странном романе, полном лесного очарования» и происходящем «в дымке необычайных ситуаций», так и не была написана. Затем этот сюжет писатель решил использовать для пьесы, набросал несколько картин, и этим дело кончилось. Потому что сам сюжет был сочинен в соответствии с беллетристическими канонами. И попытка втиснуть фронтовые впечатления в мелодраматическую схему приводила к тому, что автор, если воспользоваться словами Льва Толстого, «незаметно, невольно и неизбежно для себя перешел в неправду». А то, что было в этом замысле Казакевича не заемно литературным, а живым, идущим от реальной действительности — драма женщины, считавшей своего мужа человеком заурядным и расставшейся поэтому с ним, а он (война показала, а может быть, сделала его таким) оказался личностью крупной, — дало затем через много лет рассказ «При свете дня».

«Рассказать правду очень трудно...» Наверное, каждому художнику приходилось если не размышлять об этом, то остро чувствовать это. А военная действительность чрезвычайно усложняла эту самую главную задачу писателя. Эстетическое освоение такого явления, каким была Великая Отечественная война, не могло проходить легко и гладко. Чтобы рассказать правду о том, что происходило и на фронте и в тылу, от художника требовались дополнительные — по сравнению с обычными — усилия. Но необычайно сильными были в ту пору и потребность читателей в правде, и стремление к правде писателей, — они отражали стремительный рост обществен-

ного самосознания. И литературшине, обычно паразитирующей на трудностях, которые неизбежно возникают при освоении нового жизненного материала, пришлось отступать.

Материалы тома «Литературного наследства» многое раскрывают в творческой лаборатории литературы военных лет, если только подходит в данном случае сам этот термин — «творческая лаборатория», который в нашем сознании невольно связывается с тишиной, сосредоточенностью. Какие там тишина и сосредоточенность... Но сверхтрудные условия не остановили той внутренней работы в литературе, которую называют «лабораторной», она шла в высшей степени интенсивно и плодотворно.

Четыре года в жизни человека — срок не такой уж большой, а об истории народа или литературы и говорить нечего, — что для истории четыре года! Но четыре года Великой Отечественной войны были временем особым, и в истории нашей литературы они составили целый период. Литература военной поры не только подтвердила жизнеспособность и плодотворность реалистических принципов, она их существенно обогатила. И мы выделяем как особый, самостоятельный этот период развития нашей литературы, руководствуясь не только тем, что ею полностью владела одна тема. Не менее важно и другое — тот уровень правды, которого достигла литература. И хотя в послевоенную пору ей приходилось отступать — иногда очень далеко отступать — от завоеванных позиций, в литературном развитии и первых лет после победы над фашистской Германией, и особенно современном, завоевания литературы Великой Отечественной войны сыграли огромную роль. Вот еще один вывод, который напрашивается после чтения выпущенного «Литературного наследства» тома «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны».



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Овидий Горчаков. Доктор Вера — настоящий человек. — **Л. Левицкий.** Душа действительности. — **Е. Гинзбург.** Цвет времени. — **Ф. Левин.** Детский дом в Краесветске. — **Р. Райт-Ковалева.** История одной биографии.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Л. Абалкин. Труд и его проблемы. — **А. Литвин.** Книги о гражданской войне. — **К. Микульский.** Социалистическая экономика сегодня. — **А. Писаренко, А. Обозов.** Размышления над аксиомами. — **А. Кандан.** Библия — это значит «книги»...

Литература и искусство

ДОКТОР ВЕРА — НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК

Борис Полевой. Доктор Вера. Повесть в ненаписанных письмах. «Советский писатель». М. 1966. 416 стр.

Не год, не два, а несколько месяцев прожила доктор Вера в оккупации. Но эти месяцы показались ей нескончаемым ночным кошмаром. Лишь тот, кто сам пережил ни с чем не сравнимую радость освобождения, может до конца понять, что чувствовала доктор Вера в этот самый светлый праздник ее жизни. И вдруг — арест. Не всякое сердце может вынести такие ошеломляющие «перепады»...

Подобно миллионам хороших советских людей, доктор Вера осталась в тылу немцев по стечению обстоятельств. Просто она думала о своих раненых, которых не успели вывезти, и о своих детях, тоже никуда не эвакуированных. Сначала о раненых, потом о детях...

Война расколола страну на две половины, одну из которых затопила черная ночь оккупации. Помню, будущие партизаны пели в строю: «Наших братьев в беде не оставим мы...» Пели в теплушках бойцы сибирских дивизий: «Белоруссия родная, Украина золотая, ваше счастье молодое мы стальными

штыками оградим!..» Песни звучали как гимн, как клятва.

Мы сдержали эту клятву, освободили из-под ига горше Мамаева наших братьев и сестер, отцов и матерей, наших земляков. С какой радостью и болью вглядывались бойцы нашей части в почерневшие лица освобожденных, с каким гневом глядели на волоколамскую виселицу с восемью мучениками, восемью героями-разведчиками нашего отряда. Декабрьский снегопад пеленал израненную снарядами и бомбами землю, закоптелые коробки взорванных и спаленных домов, а в город вступали все новые полки и батальоны, и раздавшие свой последний хлеб и свою последнюю соль волоколамские старухи встречали молодых красноармейцев солеными от слез поцелуями...

Но в кузовах грузовиков, прибывших в город вслед за передовыми частями, везли не только хлеб, не только медикаменты для голодных и больных, а и новенькие пустые папки, «ундервуды», кодексы, бутылки с чернилами и много-много бланков и бумаги.

Нужно ли было это «снаряжение» в освобожденном городе? Нужно ли было подыскивать помещение для трибунала и срочно ремонтировать взорванное гитлеровцами здание тюрьмы?

Увы, да. Ведь тогда мы успели отпраздновать всего только 24-ю годовщину Октября. Разумеется, внутренних врагов у нас с годами становилось не все больше, а все меньше, но все-таки оставалось их еще немало. Многие из нас, комсомольцев, добровольно ставших подрывниками и разведчиками, не ожидали, что в тылу врага нам придется драться не только с немцами, но и с предателями самых разных мастей — полициями, бургомистрами, власовцами...

Да, нужны были и трибуналы и тюрьмы, но вместе с поборниками правосудия в освобожденных ликующих городах оказывались и безыдейные карьеристы, которые несли с собой слепую ненависть, недоверие, несправедливость. Во имя закона творили они беззаконие, и не было на них до поры до времени ни суда, ни управы.

Так происходит и в «Докторе Вере». Еще дымили руины израненного Верхневолжска (так автор называет в повести свой родной город Калинин), а чья-то рука уже подписывала ордер на арест доктора Веры — хорошего, честного человека, — и в оккупационной ночи не изменившей своему характеру.

В нашей военной и послевоенной литературе главное внимание уделялось людям «Большой земли»; меньше писали о людях «Малой земли» — героях партизанской и подпольной борьбы; о жизни же подавляющего большинства населения оккупированной гитлеровцами земли читатель знал не больше, чем о невидимой стороне Луны.

Именно «невидимой стороне» захваченной врагом советской земли и посвятил свою новую повесть Борис Полевой. Через двадцать лет после создания повести о настоящем человеке «Большой земли» писатель написал повесть о настоящем человеке «на той стороне».

Для своего нового произведения автор избрал несколько неожиданную форму: «повесть в ненаписанных письмах». И то, что эти «письма» — внутренние монологи — «адресованы» доктором Верой из оккупированного немцами города ее несправедливо репрессированному мужу, бывшему секретарю горкома партии, придает всей книге

особую горькую остроту и взволнованность, освещает ярким светом душевную драму героини.

Судьба доктора Веры — жены так называемого «врага народа», сохранившей тем не менее верность стране и народу, — не была судьбой нетипичной, исключительной. Я встречал на войне много обиженных и оскорбленных, сумевших подняться над личной обидой и понять, что не родина оскорбила их, а люди, изменившие высоким гуманистическим идеалам, начертанным на знамени родины. Помню комбата Романова из 1-й Клетнянской партизанской бригады: этот бесстрашный воин разрыдался, когда узнал, что комбриг представил его к ордену Ленина. Он рассказал комбригу, что он вовсе не Романов, а Платонов, несправедливо приговоренный к расстрелу, что он бежал из-под стражи и, попав в окружение, стал народным мстителем... Помню рославльскую подпольщицу Тину Виноградову: она искусно пользовалась доверием оккупантов, считавших, что она, как жена арестованного НКВД ответственного работника, должна ненавидеть советскую власть... Помню своего товарища по диверсионно-разведывательной части Нину Костерину, автора знаменитого ныне дневника: дочь несправедливо арестованного, она ушла в тыл врага, чтобы отдать жизнь за родину.

Сложна была жизнь доктора Веры в оккупированном городе. Гитлеровцы вели себя по-разному на захваченной советской земле. В Харькове они расстреляли или заживо сожгли около четырехсот раненых красноармейцев в армейском госпитале на улице Тринклера; в Могилеве они разрешили военным врачам лечить раненых командиров Красной Армии, надеясь тем самым переманить этих командиров на свою сторону. В Верхневолжске они поначалу не трогали госпиталь доктора Веры, считая его гражданским. В небывало сложных условиях доктор Вера, еще молодой и не слишком опытный врач, делает все, что в человеческих силах, чтобы спасти раненых и больных. В преодолении немислимых для нее прежде трудностей происходит становление и утверждение недюжинного характера, идет процесс самопознания. И с каждой страницей мы проникаемся все большей любовью и все большим уважением к этой недавно такой еще слабой и неуверенной в себе женщине, всегда считавшей себя обыкновенной трусихой.

Доктор Вера — человек большого, щедро-го сердца, в котором умещается любовь к раненым, к детям, к бесследно пропавшему мужу и к товарищу по лихолетью, раненому полковнику Сухохлебову. Сердца, в котором зреет и крепнет сознательная, непреодолимая ненависть к врагам.

Интересен сам по себе напряженный сюжет повести, хотя трудно согласиться с издательской аннотацией, заявляющей, что повесть «может показаться остроприключенческим произведением». Точно написанные страницы, посвященные каждодневному быту госпиталя доктора Веры, ее поистине героической борьбе за жизнь и здоровье своих «ранбольных», за каждый кусок хлеба, ее тайной войне с оккупантами, волнуют сильнее, чем вовсе необязательные в повести подвиги таинственного мстителя Мудрика. Не грустно ли, что жизнь на оккупированной советской земле слишком часто становится достоянием авторов «остроприключенческих произведений»?

Доктор Вера не партизанила, не совершала подвигов в подполье, но и она — человек с чистой совестью. Однако предателю Винокурову ничего не стоит оклеветать ее: ведь она жена репрессированного, по слухам нарочно осталась в захваченном гитлеровцами городе. встречалась с комендантом, стояла рядом с ним во время публичной казни патриотов. В свете этих «тяжелых улик» следователи смотрят весьма мрачно на дело без вины виноватой женщины.

По-настоящему трагичны страницы, посвященные аресту, тюрьме, допросам, самоубийству актрисы Ланской, также оставшейся на оккупированной территории. Драма доктора Веры перерастает в подлинную, не только личную трагедию. Но тут — внезапное счастливое избавление, вновь «перепад». Что ж, и так бывало... Но к радости читателя примешивается досадное чувство искусственной легкости решения конфликта, облегченности, обтекаемости: за доктора Веру вступился полюбивший ее полковник Сухохлебов, спасенные ею раненые.

Доктор Вера — духовная сестра Мересьева, и потому, наверное, невольно сравниваешь эти две книги, отмечая рост писательского мастерства и углубление морально-психологической проблематики.

На каждой странице чувствуется любовь автора к своей героине. Это, конечно, прекрасно, но вот для других героев у него порой словно и глаз нет. Образ доктора Веры ярок, а остальные персонажи теряются в некоей дымке. Получается похоже на солиста, который освещен всеми огнями рампы и отделен от хора тюлевым занавесом. Фигуры передних хористов — Мудрика, Ланской, Винокурова, Кисляковой, Кочетковой — еще угадываются, остальные же персонажи повести намечены лишь силуэтно. А важный по замыслу автора образ полковника Сухохлебова совсем не вызывает в воображении никакого живого лица. Это просто «мудрый наставник» вообще, которого в «Повести о настоящем человеке» зовут Семеном Воробьевым, а в «Докторе Вере» Сухохлебовым, — вот и вся разница.

Удивили меня мелкие неточности в деталях. Удивили потому, что я знаю, как хорошо помнит Борис Полевой войну. (А если бы мы забыли об этом, то совсем недавно напомнил нам о майоре Кампове — Полевом англичанин Александр Верт в своем интереснейшем труде «Россия в войне» — именно майор Кампов привез Верта в Корсунь-Шевченковский, был его проволником по «Сталинграду на Днепре».) Неточностей этих немало: немецкими комендантами (и одновременно начальниками гарнизонов) русских городов всегда были не эсэсовцы, а вермахтовцы; противотанковых гранат осенью сорок первого не имели не только партизаны, но и фронтовики, гитлеровцы отнюдь не отрицали принадлежности «неполноценных» русских к арийской расе; «эсэсманами» называли эсэсовцев в западных областях и Польше, но не под Москвой...

Но, в общем-то, это все мелочи. Важно главное: Борис Полевой написал новую повесть о настоящем человеке.

Овидий ГОРЧАКОВ.



ДУША ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Новелла Матвеева. Душа вещей. Книга стихов. «Советский писатель». М. 1966. 148 стр.

Продавец книжного магазина пожимает плечами: поэзия опять стала выходить из моды. Раньше стихотворные сборники хватало, как горячие пирожки на улице. Теперь не то. Они спокойно лежат на прилавках. Подойдет покупатель, перелистает книжку, другую — и на место положит. Прежнего спроса нет как нет...

Знакомый поэт: баста, отказываюсь от публичных выступлений. Совсем недавно еще читал стихи в самых разнообразных аудиториях. Залы — битком. Жадно ловили каждое слово, ни за что не хотели отпустить. А сейчас как будто подменили людей...

Что и говорить, время меняется, и сегодняшний день не похож на вчерашний, но быть не может, чтобы дело было только в читателе, чтобы он вдруг почему-то отвернулся от того, к чему недавно еще так рвался. Дело, наверно, в поэтах. Точнее, в стихах. В их качестве и наполненности. В том, что слишком часто обманывают они возлагающиеся на них надежды. В том, что изощренная внешняя техника (не подлежит сомнению, что сегодня она в среднем намного выше, чем каких-нибудь лет пятнадцать назад) прикрывает содержание убогое или банальное. Пустота в прозе обречена на неудачу, она за версту видна. Вооруженная рифмами, уложенная в стопы и украшенная несколькими расхожими метафорами, она производит нередко впечатление чего-то значительного.

Настоящие стихи — вне капризных колебаний моды. Им не приходится прибегая к услугам рекламы, гоняться за читателем. Читатель сам их ищет. И находя их, он оценивает эти стихи по достоинству. Они остаются в поле его зрения и становятся неотъемлемой частью его душевного обихода.

«Душа вещей» — третья книга Новеллы Матвеевой. Она вышла довольно большим для поэтических сборников тиражом — в пятьдесят тысяч экземпляров. Ее мигом раскупили: двумя предыдущими книгами, публикациями в периодике и особенно песнями Новелла Матвеева завоевала расположение многих.

Среди поэтов, одновременно с нею пришедших в литературу, Новелла Матвеева стоит несколько особняком. Мы не найдем в

ее стихах того, что бросается в глаза при чтении вещей многих ее сверстников: никаких деклараций о верности заветам юности, никаких широковещательных клятв и настойчивых заверений, что, несмотря на адскую тяжесть этого непосильного бремени, она возложила на себя ответственность говорить от имени своего поколения. Эти бесконечные риторические возгласы, приглашающие нас восхищаться недюжинным мужеством и другими не менее ценными качествами отважного автора, совершенно чужды ей.

Может быть, причина этого кроется в органической неприязни Новеллы Матвеевой к стертым словам и затасканным выражениям? Отчасти да. Не случайно один из ее сонетов называется «Штамп» и кончается энергичными строками: «Не черта я боюсь, а трафарета: он глуп, смешон, но в нем — кончина света». В еще большей мере это связано со складом ее поэтического характера и с природой ее лирического дарования, которым противопоставлены верхоглядство и общие места.

Новелла Матвеева — и это достаточно отчетливо ощущалось в предыдущих ее поэтических книгах — тяготеет к искусству аллегорическому, в котором условное, часто фантастическое преобразование действительности не только не уводит от нее, но, наоборот, помогает глубже постигнуть характерные ее особенности. Защищая свой путь в поэзии от критических посягательств, Новелла Матвеева не без полемики задора пишет в программном стихотворении, давшем заглавие всей книге:

Мне скажут: брось мечты, рисуй
действительность,
Пиши, как есть: сапог, подкову, грушу...
Но есть и у действительности видимость.
А я ищу под видимостью — душу.
И повторяю всюду и везде:
Не в соли соль. Гвоздь — тоже не в гвозде.

Конечно, поэзия Новеллы Матвеевой выросла не на голом месте. Если она стоит особняком в нынешней поэзии, то в нашей литературе она имеет предшественников и учителей. Критика не раз отмечала ее зависимость от творчества Александра Грина. Мне кажется, что с не меньшим основанием

можно говорить о влиянии на стихи Новеллы Матвеевой драматургии Евгения Шварца с его умением вдохнуть новую жизнь в традиционные литературные сюжеты, с его даром в условных формах и сказочных ситуациях нести своим современникам ответы на насущные вопросы их общественного бытия, отстаивая душевное благородство и бескомпромиссную справедливость. При чтении стихов Новеллы Матвеевой память услужливо и как бы автоматически подсказывает знаменитые строки Александра Блока, которые могут служить эпиграфом к ее поэзии:

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным
Закутанным в цветной туман!

Таким он и предстает перед нами в стихах Новеллы Матвеевой — мир странный и до мелочей знакомый, «закутанный в цветной туман», в котором, однако, каждая подробность не теряет своих очертаний, а выступает отчетливо и крупно.

Новелла Матвеева одарена способностью чувствовать поэзию в самых рядовых и обыденных житейских проявлениях, в предметах будничных и даже примелькавшихся — в кочне капусты, в вечернем дожде, льющемся сквозь водосточные трубы, в огненно-красном стручке перца, в сидящем «в своем колючем шлеме» еже, в простой кувшинке, в реке, текущей, как дождь, «лежащий на боку».

Эти свойства давали о себе знать и в предыдущих сборниках Новеллы Матвеевой. В новой книге к ним прибавилось важное качество: настоятельная потребность автора добраться до того, что не бросается в глаза, что требует особой душевной сосредоточенности и напряжения мысли. Дар не умозрительного философствования о высоких материях, рождающего нередко мнимозначительные упражнения на заданную тему (то, что тему задает себе сам автор, положения, понятно, не спасает), а поэтического, очень конкретного, при всем таящемся в нем обобщении, проникновения в действительность. Таково, на мой взгляд, стихотворение «Страна детства», в котором мысль, чувство и живописное ощущение мира слиты воедино.

И связанное с этим обостренное чутье языка, когда слова как бы аукаются, вступающая в сложную многоголосую перекличку

меж собой, служат теперь не внешней лишь инструментовке. Вчитываясь в эти строки, постигая их смысл, понимаешь, что этот блеск лишен обманчивой нарядности, что он не самоцелен, а абсолютно естествен, по настоящему содержателен, что почерпнут он из живой стихии русского языка, в котором заключено несметное музыкальное богатство, и нужно лишь прикосновение талантливой и любящей руки, чтобы эти до поры, до времени скрытые звуки зазвучали во всю свою силу: «А водопад — он не то что листопад. Не печалит он, а радуется там, где падает, водопад не листопад, водопад не звездопад — он веселый от макушки и до пят». Не только музыка в этих строках. В них почти осязаемо передана реальность возобновляющейся жизни, ее непрерывность и неисчерпаемость.

В этом стремлении воспроизводить слово в его звуковой первоизданности, очищенным от бесчисленных наслоений, воспроизводить слитно и не расчлененно Новелла Матвеева ориентируется на богатейший поэтический опыт Марины Цветаевой («Восхищенной и восхищенной, сны видящей среди бела дня», «Минута: мнущая: минешь! Так мимо же, и страсть и друг!», «Поэт — издалека заводит речь. Поэта — далеко заводит речь»).

Говоря о Новелле Матвеевой, то и дело вспоминаешь прозаиков и поэтов, с которыми ее связывают узы тесного родства. Это и дало критику повод мягко укорять ее за книжность, за вторичность, за приверженность к литературным образам и ассоциациям.

Нельзя сказать, чтобы эти упреки вовсе были лишены оснований. Нет, встречаются в новом сборнике Новеллы Матвеевой вещи действительно книжные. К их числу я отнес бы слабые стихи о Редьярде Киплинге и Роберте Бернсе. В них содержатся бесспорные утверждения. Коли Бернс, то в стихотворении — ясное дело — возникают и вереск, и камелек, и кузнец, и швея, и добрая чарка вина. Раз Киплинг, то, как и следует ожидать, весь колониальный антураж перед нами: гиены, кобры, карабин, цепи Гималаев и, конечно же, неизменный Томми. С внешней стороны все на месте — ничего не упущено и не забыто. Эти стихи свидетельствуют о том, что автор внимательно читал обих поэтов и, в общем, осведомлен в том, о чем взялся говорить. Не меньше того, но — увы! — и не больше того. Значит, неизме-

римо меньше того, что дают стихи Киллинга и Бернса. И потому они в одинаковой мере не устраивают тех, кто знаком с этими поэтами, и тех, кто ничего не слышал о них: у первых оставят чувство разочарования, у последних вызовут недоумение. Беда в том, что нет в этих стихотворениях подлинно поэтического проникновения в материал и своего открытия этого материала. Попадают в ее книгу (хоть и сравнительно немного, меньше, чем в предыдущих двух сборниках) и другие слабые стихи, но разве виной тому обращение Новеллы Матвеевой к литературным фактам?

В лирической поэзии, пожалуй, не так уж существенно, от чего оттолкнулся автор, что послужило исходной точкой его стихотворения. Важно другое: как он претворил полученные впечатления, как глубоко он пережил их, насколько они стали для него «своими». Если автор говорит чужими словами, если он механически воспроизводит увиденное или услышанное, если он находится, пусть и бессознательно, во власти заемной поэтической интонации — он будет насквозь вторичным, несмотря на самые искренние попытки делиться только тем, что сам он видел. И, напротив того, поэт может отталиваться от литературных источников и быть оригинальным и самобытным.

В том, что Новелла Матвеева непринужденно себя чувствует в области истории и культуры, в том, что искусство естественно входит в ее внутренний мир и составляет часть ее душевного опыта, думаю, не слабость ее, а достоинство.

И именно потому, что для Новеллы Матвеевой искусство — нечто глубоко выношенное, вошедшее в плоть и кровь, ее стихи, посвященные природе поэтического ремесла, кажутся как нельзя более уместными в «Душе вещей». Этих стихов много, они занимают почти целый раздел книги.

Зная цену слову, умея с ним обращаться, она беспощадна к вычурности и трюкачеству. Очень хорошо сказано об этом в сонете «Рифма»:

Невидим гвоздь в подошве башмака:
Он на посту невидимости занят.
Но только там походка и легка,
Где гвозди напоказ не вылезают.

А там, где гвозди лезут напоказ,
Шаг прячется, походка исчезает;
И там, где рифма с л и ш ком потрясает,
От потрясения гибнет вся строка.

Не надобно особого таланта,
Чтоб только бантом рифму уложить;
Любое платье может жить без банта,
Ботинки без гвоздя не могут жить.

А твердость поэтической походки
Не столь от банта, сколько от подметки.

Ей дорог стих, продиктованный душевной необходимостью и крепкой мыслью. Дилемма — форма или содержание — кажется ей искусственной и надуманной. Ничего лишнего, ничего кокетливого и претенциозного — таков ее девиз. В этом она видит не столько принцип мастерства, сколько принцип нравственный. Впрочем, можно ли одно отделить от другого?

В стихотворении «Фокусник» Новелла Матвеева отдает должное изобретательному умиению совершать чудеса и делать ловкие превращения:

Ах ты фокусник, фокусник-чудак!
Ты чудесен, но хватит с нас чудес.
Перестань!
Мы поверили и так
В поросенка, упавшего с небес..
Не играй с носорогом в домино
И не ешь растолченное стекло...

Все эти фокусы, может быть, и недурны, но ведь они не в силах заслонить от нас те мучительные вопросы, которые ежедневно встают перед нами и властно требуют ответа, — в них наше настоящее и будущее.

...Но втолкуй нам, что черное — черно,
Растолкуй нам, что белое — бело.

В этом-то все дело. И потому-то так требовательно, так настойчиво звучат последние строки:

Ах ты фокусник, фокусник-чудак!
Поджигатель бенгальского огня!
Сделай чудное чудо: сделай так,
Сделай так, чтобы поняли меня!

В книге Новеллы Матвеевой собраны стихи широкого тематического диапазона и интонационно-ритмического разнообразия. Последнее кажется мне особенно примечательным. Читая даже хорошие стихи, нередко поражаешься их ритмической и интонационной монотонности. И создается впечатление, что такого рода интонация стала своеобразным автоштампом, обрекающим автора на бесконечные повторы одних и тех же дви-

жений. Спешит ли поэт, гуляет ли — шаг его не теряет своей неизменности.

Что же объединяет стихи Новеллы Матвеевой в одно целое, что придает им такую законченность и внутреннее единство? Облик поэта, или, лучше сказать, лирического героя. Этот герой требователен к себе — нет в нем и тени самодовольства. Новеллу Матвееву отличает удивительная нравственная шепетильность. Она жаждет высоты. Она ищет духовности. Ничто не вызывает большей ее тревоги, чем бездуховное существование (достаточно напомнить такие стихотворения, как «Сон», «О наградах», «Не пиши, не пиши, не печатай хриплых книг, восславляющих плоть!»), — не потому, конечно, что она против плоти. Она хорошо знает, что тысячелетия понадобились для того, чтобы возникли современная культура и цивилизация. Но для того, чтобы вернуться, так сказать, к исходному положению, нужны не тысячелетия, для этого достаточно нескольких минут, «ибо путь от Платона к планктону и от Фидия к мидии — прост». Лирическому герою книги Новеллы Матвеевой претят напыщенная неискренность, лживые фразы, дешевое позерство. Это ярче всего проступает в одном из лучших стихотворений сборника, которое стоит привести полностью:

Я, говорит, не воин,
Я, говорит, раздвоен,
Я, говорит, разроен,
Расчетверен,
Распят!

Ты, говорю, не воин,
Ты, говорю, раздвоен,
Распят и четвертован,
Но ты — не из растяп.

Покуривая трубку,
Себя, как мясорубку,
На части разобрал,
Ты, может быть, и праг.

Но знаешь? — этой ночью
К тебе придут враги.
Я вижу их вoочью,
Я слышу их шаги...
Ты слышишь?
Не слышишь?

Они ползут, шуршат...
Они идут, как мыши,
На твой душевный склад.
И вскорости растащат
Во мраке и в тиши
Отколотыс части
Твоей больной души.

— А что же будут делать
Они с моей душой?
А что же будут делать
С разбитой, но большой?

— Вторую часть — покрасят,
А третью — разлинуют,
Четвертую — закусят,
А пятую — раздутят,
Шестую — подожгут,
А сами убегут.

Был человек не воин,
Был человек раздвоен,
Был человек разроен,
А все, должно быть, врал:
Прослышав о напасти,
Мигать он начал чаще,
И — сгреб он эти части,
И ничего! — собрал.

Конечно же, не против трагической раздвоенности, в какой может очутиться хороший и честный человек, направлено это стихотворение — серьезное, взволнованное и одновременно ироничное, а против спекулятивного кокетничанья тем, чем порядочный человек не имеет права кокетничать. Игра в человеческие страдания — это игра с огнем. Эти трюки не проходят безнаказанно. Один раз обошлось — и человек «ничего! — собрал» разобранный на части душу. Но в другой раз может не обойтись. Маска прирастает к лицу — и ее никакими силами не отдерешь. Тогда не остается ничего другого, как окаменеть в кокетливой позе. И не стоит утешаться: окаменевшая поза и памятник, воздвигнутый благодарными потомками, — вещи разные.

В новой книге стихов Новелла Матвеева выступает как поэт зрелой мысли. В том, что она не стоит на месте, в том, что она ищет, пробует, думает, судит себя высокой нравственной мерой — словом, живет насыщенной духовной жизнью, — кроется секрет успеха ее книги «Душа вещей».

Л. ЛЕВИЦКИЙ.



ЦВЕТ ВРЕМЕНИ

Михаил Кольцов, каким он был. Воспоминания. «Советский писатель». М. 1965. 328 стр.

Казалось бы, каждый из авторов, участвующих в этом сборнике, вспоминает свое и по-своему. Да и тема, вынесенная в заголовок книги, вполне конкретна и ограничена рамками одной биографии, так что сами составители сборника просят читателя принять книгу всего только как «своеобразный вечер воспоминаний».

Как же получилось, что благородная, но сравнительно скромная задача — воскресить в памяти современников облик Михаила Кольцова и познакомить молодых с этим признанным «лучшим журналистом двадцатых и тридцатых годов» — стала только одним из составных элементов этой узлекательной книги? А главным в ней оказалось лицо времени, его своеобразный цвет, вкус, аромат?

Чем больше углубляешься в книгу, тем виднее, ощутишь широта, которую вдруг обретает этот коллективный рассказ об одной судьбе. И это невзирая на значительную пестроту авторского коллектива и очень разный уровень писательского мастерства мемуаристов.

Мне кажется, разгадка — в глубокой личной заинтересованности авторов. Почти все они — люди, чья юность совпала с двадцатыми, а возмужание — с тридцатыми годами. Если не побояться высоких слов, то можно сказать, что мемуаристы писали о времени наиболее яркого цветения их собственных душ. Наверно, отсюда и идет горячее, пристрастное отношение к эпохе, гордость за ее взлеты, боль за ее боли, то есть та неподдельная взволнованность и достоверность, которые пронизывают эту на первый взгляд мозаичную книгу — плод труда многих людей, не сговаривавшихся о распределении материала, а просто давших волею горячей памяти сердца.

Нежной любовью к юности, когда все мечтали и дискутировали, пронизаны воспоминания старой правдистки Софьи Виноградской. Мы видим внешние приметы эпохи: булыжные мостовые Москвы, единственный чан с асфальтом на Тверской (в нем греются беспризорники), разбитые дрожки извозчика в каменном ущелье типографских ворот и — о радость! — только что открывшееся кафе «Сбитые сливки» в Столешниковом.

И вдруг — великолепная материализация мечты — завоевание воздуха, обретение своей авиации, которое шло одновременно, а то и раньше, чем замена булыжника асфальтом на московских улицах.

В тридцатые годы Москва пересаживается с трамвая на автобус, с извозчика — на такси. Мечтатели двадцатых годов становятся деловитее. Еще в двадцатых годах из эфемерного материала мечтаний рождается вполне металлическое чудо — самолет «Правда». В редакционных коридорах ведется самозабвенная «воздушная» кампания.

Очень много для ощущения климата и нравов журналистики того времени дают воспоминания брата Михаила Кольцова — народного художника Бориса Ефимова. Вот она, дружеская, «ни для кого не обидная» теснота крохотной редакции «Огонька» в Козицком переулке, где в одной комнате — редактор, его заместитель и секретарь, немногочисленный аппарат редакции и «неубывающий поток авторского актива». И вдруг в этом потоке — фигура, различаемая з любой толчее. Маяковский. «Здорово, Колёчки! Зашел на «огонек». — «Спасибо, Володя. Принес?» — «Принес».

А вот картина ночной жизни «Правды», нарисованная Н. Беляевым:

«Жизнь в редакции «Правды» в те годы своим распорядком как бы опрокидывала всякое представление о дне и ночи... Сюда можно было приехать в любое время, лучше всего — в три или четыре часа ночи. Ничто не напоминало о позднем часе: ярко освещенные комнаты, озабоченно снующие по коридору сотрудники, уборщицы, разносящие чай, совещания, собрания — все как в обычном учреждении в три часа дня!»

Введенные в атмосферу редакций тех лет, мы сталкиваемся и с профессиональными проблемами, волновавшими газетчиков. Здесь на первом месте вопрос о взаимоотношениях с читателем. Из воспоминаний Б. Агапова отчетливо видно, как велик был страх перед аморфностью материала, перед тем, как бы газета не оказалась «ниже, слабее, мизернее, чем культурность тех, кого она призвана просвещать и убеждать». Великой заслугой Михаила Кольцова признается его умение поставить дело так, что-

бы журналисты писали не для редактора, не для руководителя ведомства, а именно для читателей.

«Это — умные люди... Дать им возможность лично, самостоятельно созерцать материал и не мешать им сделать правильный вывод... Это люди с большим жизненным опытом... и потому им неприятен поучительный тон и непререкаемость ваших суждений... Уметь доказать им ту или иную мысль, а не предлагать ее как директиву».

Глубоко демократична была принятая в редакции, в частности в «Правде», система работы с читательскими письмами. Ее не передоверяли второстепенным сотрудникам. Описывая типичный рабочий день Михаила Кольцова, его помощник по редакциям «Правды» и «Огонька» Н. Беляев свидетельствует о том, что член редколлегии центрального органа партии ежедневно, в течение долгих часов, порой до глубокой ночи, вел кропотливую, утомительную работу по разбору почты и нередко наутро выезжал в какой-нибудь отдаленный район, чтобы расследовать жалобу, содержащуюся в читательском письме, сложенном треугольником и заклеенном хлебным мякишем.

Из статьи С. Виноградской читатель видит, сколько блистательных журналистов работало тогда в «Правде», в частности, в какое серьезное творческое соревнование пришлось вступить М. Кольцову в эти годы расцвета советского фельетона, затмившего работы дореволюционных мастеров — Аверченко, Тэффи...

Динамика, лаконизм, острота — вот чего неуклонно требовали друг от друга сатирики-журналисты тех лет. Недаром на редакционных совещаниях так часто фигурировала знаменитая резолюция — «СИУ!», что расшифровывалось: сократить и усмешнить.

В воспоминаниях В. Ардова и Татьяны Тэсс хорошо передана атмосфера так называемых «темных» совещаний в редакциях сатирических журналов, где порой разгрывались целые юмористические интермедии, где начинали с возгласа: «Ну что ж, продолжим наши игры!» — а со стен смотрел суровый призыв: «Пишите короче, вы не Гоголь!»

Образ Михаила Кольцова органически вписывается в эту картину. Он глядит на нас со страниц книги воспоминаний как

живой — дитя своей эпохи. Человек незаурядный, ярко галантный, но тем не менее полностью разделивший все вдохновения и ошибки, порывы и предубеждения своего времени.

«Его громокипящие статьи в газете «Правда» стяжали ему в те времена славу первого журналиста эпохи», — пишет К. И. Чуковский.

И не одни статьи. Эту славу стяжала Кольцову не только его манера писать, но и манера жить, активно вмешиваясь в ход жизни, его неутолимая любознательность, мобильность, дар общения с людьми.

«Я как дверная ручка, за которую круглые сутки кто-то хватается», — напоминает излюбленную шутку Кольцова его многолетний друг А. Дейч. И, комментируя шутку, добавляет: «Не было у него привычки устраивать в редакции «лечушки», «пятиминутки» или более длительные заседания... К нему можно было прийти, а не «прорываться» или «добиваться».

«Он не умел медленно ходить», — вспоминает Г. Рыклин. И читателю ясно, что Михаил Кольцов просто не мог позволить себе такой роскоши, как медленная ходьба, потому что ему надо было успеть проделать все, что он проделал за свою короткую жизнь: изъездить вдоль и поперек нашу страну, исколесить многие страны Европы, воевать в Испании, летать на первых советских самолетах, участвовать в опасных экспедициях, быть инициатором многих и многих начинаний, вошедших потом в наш быт.

В своем постоянном стремлении к значительным общественно-культурным начинаниям Михаил Кольцов встает перед читателем как продолжатель горьковской традиции. Сам Кольцов в письме к Горькому, говоря о своем пристрастии к издательскому делу, подчеркивал, что он следует примеру Алексея Максимовича. Книжные серии, выпущенные «Жургазом» под руководством Кольцова, были тесно связаны с горьковскими замыслами и пожеланиями.

Борис Ефимов цитирует шутивное письмо Горького к Кольцову, кончающееся словами: «Крепко жму руку и — да пишет она ежедневно и неустанно словеса правды! Старец Алексей Нижегородский и Соррентийский».

Очень радует, что коллективно созданный портрет Михаила Кольцова начисто лишен той иконописности, той умиленной восхи-

шенности, которая нередко сопутствует посмертным портретам выдающихся людей, сделанным их современниками. Внутренняя свобода, с которой авторы воспоминаний пошли следом за своей памятью, высветлившей именно те, а не иные эпизоды, дала в результате живой, а не сконструированный облик Михаила Кольцова. Он перед нами, данный в динамике, меняющийся вместе с переменами времени, несущий в себе всю его сложность и противоречивость.

Читатель видит, как ко второй половине тридцатых годов меняются кольцовские краски: изящная ирония, насмешливость, веселая энергия его прежних работ все чаще уступают место пусть не менее талантливым, но уже совсем иначе эмоционально окрашенным очеркам, теперь чаще именно очеркам, чем фельетонам.

С большой психологической тонкостью переданы эти перемены в воспоминаниях Бориса Ефимова. Особенно волнует читателя мастерски написанная сцена доклада, сделанного Михаилом Кольцовым после его первого возвращения на родину из борющейся Испании. Очень выразительно отразилось время и в сцене беседы Кольцова с бывшим редактором «Правды» Мехлисом.

Точно найденными деталями, короткими выразительными штрихами Борис Ефимов раскрывает перед читателем характерный парадокс времени: легендарное бесстрашие, проявленное Кольцовым в Испании, сменяется чезадолго до конца его жизненного пути, казалось бы, чуждыми всему складу

этой природы опасениями. На смену блестящей логике, умению доходить «до корня» всякого явления приходят неотвратимые предчувствия или, скорее, предвидения, выхода из которых он ищет только в том, чтобы «уйти от дум», забыться в неистовой работе.

«Где-то во тьме колеблются таинственные весы, на которых лежит его судьба», — пишет Ефимов. И хотя все идет внешне по-старому, по-заведенному, но читателю воспоминаний ясно, что отчаянный смельчак испанских боев, человек прямого и острого ума смятен и растерян перед тем непонятным, которое он не может — а может быть, и не хочет — проанализировать до конца.

У современника эпохи, встающей со страниц этой книги, сборник воспоминаний о М. Кольцове вызовет яркий образ тех дней, желание поразмыслить над пройденным путем. Что же касается молодого читателя, то надо думать, что, познакомившись с этой книгой, он обязательно обратится к трехтомнику избранных произведений Михаила Кольцова. И не только для того, чтобы внимательнее прислушаться к голосам людей минувших десятилетий, не только для того, чтобы присмотреться ко времени, запечатленному талантливым пером, но и для того, чтобы соотнести то, о чем писал и над чем размышлял Михаил Кольцов, с проблемами нынешней журналистики.

Е. ГИНЗБУРГ.

★

ДЕТСКИЙ ДОМ В КРАЕСВЕТСКЕ

Виктор Астафьев. Кража. Повесть. «Сибирские огни», №№ 8 и 9, 1966.

Едва ли отыщется в мире еще одна страна, кроме нашей, в которой за последние полвека так остро стояли бы вопросы о сиротах, о беспризорных детях, об их устройстве, обеспечении и воспитании. Первая мировая война, гражданская война и интервенция выбросили на улицы наших городов великое множество малышей и подростков, оставшихся без отцов или матерей, а то и без обоих родителей. Голод в Поволжье 1921 года, раскулачивание с его перегибами, затронувшими и часть середняков, необоснованные репрессии 1937 года увеличили число сирот. И наконец вторая мировая вой-

на, в которой наш народ принес самые тяжкие жертвы, потерпел самые большие людские потери, добавила нам еще миллионы обездоленных ребят. Всем известно, как много сил, средств, внимания, заботы потребовалось, чтобы спасти этих детей от нищеты, голода, от смерти, чтобы согреть их тела и души и вырастить из ребят физически и морально здоровых граждан.

Наши художественная литература и искусство не прошли мимо этого неизвестного прежде в таких масштабах общественного явления. Ему посвящены «Правонарушители» Лидии Сейфуллиной, «Таш-

кент — город хлебный» А. Неверова, фильм «Путевка в жизнь», «Республика ШКИД» Г. Белых и Л. Пантелеева, «Два капитана» В. Каверина, «Педагогическая поэма» А. Макаренко. Теперь в этот ряд войдет новое произведение — повесть «Кража» Виктора Астафьева.

Город в Заполярье, на огромной сибирской реке, условно названный Краесветском, в течение долгой зимы отрезан от остального мира: только летом добираются сюда пароходы сверху, от «магистрала», и прибывают с моря за лесом иностранные суда. Город, в котором поначалу было больше ссыльных, раскулаченных, чем «вольных». Но прошло несколько лет, и вот уж «комендант» Ступинский превратился в председателя горисполкома, и как-то незаметно детский приемник преобразовался в детский дом с необычайно пестрым населением, где почти у каждого сложная судьба, но все вместе образуют живую ячейку, своеобразный коллектив. Идет апрель 1939 года.

Виктор Астафьев не пытается ни разжалобить читателя горькими судьбами ребят, хотя порою они очень горьки, ни напугать ими, хотя порою они страшны. Он не показывает детдомовцев лучше или хуже, чем они есть, не сентиментальничает, не сюсюкает, не объясняется в любви к ним и не торопится ни перевоспитывать «неподдающихся», ни ставить на них крест.

В. Астафьев пишет о них просто правду, суровую и шершавую. А правда, как известно, чужда шаблонов, похожа только сама на себя, а не на какие-то априорно или по прежней литературе сложившиеся представления о том, как все должно быть. Удивительно, например, судьба заведующего детским домом Валериана Ивановича Репнина. Бывший студент, потом офицер, он после революции служил в колчаковской белой армии и состоял в группе охраны эшелона с архивами и другими ценностями. Потом, уже после гражданской войны, полностью порвав с прошлым, Репнин однажды резко поговорил с мальчишкой-следователем и — попал в ссылку, работал на лесобирже, по болезни был переведен кладовщиком в детский приемник. И вот этот Валериан Иванович оказался как раз тем человеком, лучше которого на пост заведующего не найти, да и не надо искать. Ему, правда, очень трудно. «Но всякий раз, как только он опускался на узкую железную кровать, на мочальный матрац, на тощую казенную

подушку, на эти детдомовские постельные принадлежности, его кругом обступали ребята со своими одинаковыми и в то же время такими непохожими судьбами. И во сне они не оставляли его. Они всегда были вокруг него и вместе с ним. И ему казалось порой, что не было у него иной жизни и что он вечно жил в этом доме, с этими, неведомыми ему когда-то, заботами и делами».

Детский дом живет своей противоречивой жизнью. Большею частью его обитатели — круглые сироты, уже хлебнувшие лиха, успевшие поскитаться, научившиеся воровать. Они не раз сталкивались с равнодушием и жестокостью. Порою озлобившиеся, буйные, драчливые, истеричные, они в то же время дружны и готовы стать на защиту «своих» против городских ребят, с которыми учатся в одной школе. У детдомовцев обостренное чувство достоинства, своя этика. Они мгновенно ощущают фальшь в поведении взрослых, быстро раскусывают их характеры, улавливают слабости своих воспитателей и пользуются ими, но могут и по-настоящему уважать, любить хороших людей и привязываться к ним.

Одна за другой возникают перед нами фигуры ребят: Гошка Воробьев, чахнувший день за днем, — так умело изувечил его за воровство какой-то лихой «мастер»; другой искалеченный, по прозвищу Паралитик, не знающий ни своего имени, ни фамилии; ловкие карманники Попик и Женя Шорников; и всезнающая Маруся Черепанова с носом «фигушкой»; и Мишка Бельмастый; и Борька клин-голова; и Зина Кондакова с ее страшным детством; и многие, многие другие. Самый примечательный среди них — Толя Мазов, парнишка, которому нет еще пятнадцати. Поначалу Репнин думает о нем: «Сложный мальчишка. И хороший, и плохой. Без середины».

Но именно он, Толя, оказывается главной фигурой романа, формирование его характера — предмет пристального внимания писателя.

Человека формируют обстоятельства его жизни. Но они не имеют над ним фатальной силы, иначе не было бы ни возможности выбора, ни личной ответственности. Главная идея повести в том и заключается, что человек может и должен даже вопреки обстоятельствам определять свое поведение и свою судьбу.

Главное, что заставило повзрослеть Голю Мазова, что определило его будущий путь, —

это история с кражей денег у кассирши бани Из-за недостачи денег эту женщину арестовали, а ее двоих детишек — школьника Аркадия и совсем еще маленькую Наташку — отправили в детский дом. Оказывается, одно дело — украсть и не знать последствий кражи для жертвы, другое дело — увидеть эти последствия своими глазами. «Девочка и мальчик. Брат и сестра. Они жили где-то с матерью, и вот, — думает Толя. — Зачем же так получилось? Из-за денег. Из-за восьмисот рублей. Трое людей, три человека живьем страдают. А сколько осталось денег? Водку пили. Конфеты ели, шоколадные. Папиросы курили, «Казбек». И за все эти штуки кто-то расплачивается: трудом, тюрьмой, слезами. Да-а, а казалось все просто: взяли денежки и веселись себе, гужуйся».

Ради Аркадия и Наташки, ради своей совести Толя вступает в бой против отпетого уголовника Деменкова, который имел на ребят немалое влияние. Это подвиг. Толя совершает его и увлекает за собой других детей. Он с ними и в то же время он отделился от них «силою какой-то или той ответственностью, которую он взвалил, а главное, смог взвалить на себя. Вот так, наверное, и рождается командир».

В сущности, произошло чудо, и в то же время чуда не было. Толя созрел постепенно, ему помогло многое, что отлагалось в его душе: и образ жизни, и характер Толиного прадеда Якова Марковича, старика кремневой крепости, и дружба с коচেгаром карачаевцем Ибрагимкой, чистым и добрым человеком, и доверие Валериана Ивановича, и книги, которые любил читать Толя. И в истории с злополучной кражей товарищи увидели своего Мазова: «...эти ребята мало читали книг и потому мало знали того, другого Мазова, который собрался в нем по частям из разных занимательных произведений и жил вовсе самостоятельно, скрыто от всех. В нем было немножко от рыцарей-рубак, подобных Робину Гуду. Были там и Гранты, и Немо, и Чапаев, и Арсен, и Тарас Бульба. Кого только не было в этом другом Мазове! И народишко-то все как на подбор, отчаянный».

Заметим, что Толя определил не только свой дальнейший путь: ведь если бы не он, другие ребята еще долго оставались бы в порабощении у Деменкова и быть может, он повлек бы кое-кого из них за собою,

вниз. Следуя за Мазовым, они выбираются на верную дорогу.

Роман освещен оптимистической верой в силу человека, в его возможности.

Но идея книги была бы голым тезисом, если бы не рождалась из самой художественной ткани романа, из правдивых картин жизни Краесветска, детского дома, портретов воспитателей и ребят. Виктор Астафьев здесь, как и в прежних своих произведениях, обнаружил незаурядное дарование.

Всякий человек в его книге индивидуален, он мыслит и действует в соответствии со своим уровнем развития, жизненным опытом и складом характера. С многообразием характеров связано и полифоническое богатство речевых стилей: полублатного жаргона детдомовцев, книжной фразеологии Валериана Ивановича, своеобразной манеры выражаться рабочего человека, пожилого столяра Махшева, канцелярских штампов в словаре инструктора горно Ненилы Романовича, просторечия ловарихи тети Ули, ломаного русского языка Ибрагимки... А то, что пишется от автора, тоже своеобразно (так, в языке В. Астафьева чувствуется, что он сибиряк). Вот начало весеннего половодья. «На протоке, в устье лога, затемнела узкая промоина. В ней плавал мусор, обречь досок — торец, как его зовут в городе, а у самого уреза воды светилась фиолетовая пленка мазута. Из промытого льда торчали угрюмые, замутные сваи. Протока сделалась проплешистой. Снег на ней почти съело, и она взялась лишаями. Но на острове снег лежал в непорочной белизне, широко и уверенно. До ледохода было еще далеко. Еще не раз и не два зазимок ударит, хотя, падая в промоину, и пошумливает под снегом пробравшийся по логу ручей и солнце спит в середине дня. Однако нет в нем ярости, нет еще и силы. Игры в нем больше, чем работы. От игры этой нарушен ход природы, и оттого она вроде бы сбилась с ноги, кругом ощущалось замешательство».

Многие сцены и главы книги останутся в памяти: заполярная весна в Краесветске, тонко написанная беседа Репнина со Ступинским зимой 1930/31 года перед назначением Валериана Ивановича заведующим, отчаянная драка Толи и его товарищей с Паралитиком и Деменковым, живописная сцена кражи в универмаге у жирной дамы-спекулянтки, кражи, совершенной Попиком, Женей Шорниковым и Мишкой Бельмастым (последняя кража!), потому что больше не-

где было взять денег, чтоб покрыть недостачу и выручить арестованную кассиршу и ее детей. Целомудренно написана не называемая словами, пугливая любовь, возникающая между Толей и Зиной Кондаковой, в сущности лишь ею и осознаваемая. И удивительно написан эпизод, когда Зина ночью приходит в комнату к постели избитого Толи. Как пугается она, увидев, что Толя чуть подвинулся на кровати, освобождая для Зины краешек. И нам понятно ее состояние, мы помним, что пережила Зина еще так недавно, когда два здоровых тупых мужика заставляли девочку-подростка жить с ними...

Не обошлось, к сожалению, без неболь-

шой, но досадной погрешности. Толя Мазов смотрит фильм, музыка которого потрясла его. Нетрудно догадаться, что речь идет о ленте «Большой вальс». Однако в апреле 1939 года фильм этот еще не мог идти в Советском Союзе, он появился на наших экранах гораздо позже. Не всякий читатель заметит эту «накладку», но она огорчительна, как огорчительны и некоторые просчеты вкуса в книге, где все дышит правдой.

Именно правда обстоятельств, мысли и характеров делает книгу В. Астафьева одним из сильных и значительных произведений современной советской прозы.

Ф. ЛЕВИН.



ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИОГРАФИИ

Э. Хьюз. **Бернард Шоу. Перевод с английского. «Молодая гвардия». М. 1966. 288 стр.**

Нет ничего труднее, чем писать биографию знаменитого человека, которого ты хорошо знал. Он, чугунный, в чугунных брюках, уже стоит на площади, а ты еще помнишь его теплую руку, голос, запах его папиросы.

Но если все же приходится писать, то для правдивой и честной биографии надо выбирать один из двух путей. Это либо свои, личные, субъективные воспоминания, тщательно проверенные по письмам, дневникам тех лет и по воспоминаниям общих ваших друзей и современников, которые «не дадут соврать». Либо надо отойти в сторону, как можно чаще предоставлять слово тому, о ком пишешь, то есть дать ему самому подтвердить то, что ты о нем думаешь, каким ты его видишь сейчас, когда его самого уже нет, но живет то, чем он стал дорог и тебе и другим,— его мысли, его правда, его отношение к миру и людям.

Эмрис Хьюз, автор новой биографии Бернарда Шоу, вышедшей у нас недавно в серии «Жизнь замечательных людей», хорошо знал Жи-Би-Эс, как звали Шоу везде, где говорят по-английски. Хьюз был совсем молодым журналистом, редактором социалистической газеты «Форвард», когда впервые услышал выступления Шоу и стал печатать его статьи, смотреть его пьесы и бывать у него дома во время своих, правда не очень частых, приездов в Англию из Глазго, где издавалась газета. И в его представлении Шоу — прежде всего борец за

социализм, страстный памфлетист, блистательный оратор и спорщик, чьи пьесы, в сущности, только продолжение этой борьбы за лучший мир. Эмрис Хьюз твердо уверен — и во многих случаях прав,— что пьесы Шоу — не психологические портреты людей, не драматизированный быт, не анализ душевных переживаний, но театрализованная пропаганда и агитация, типизированные идеи, обобщенные картины социальных противоречий, пристрастные и резкие обвинительные акты.

Не зря том предисловий Шоу представляет собой огромный флиант величиной с две библии, где мелким шрифтом в два столбца напечатаны подробнейшие разъяснения каждой пьесы — и отнюдь не с точки зрения ее сценической интерпретации, а с точки зрения ее политического, идейного значения в воспитании человечества и, конечно, его отдельных представителей — тех, кто смотрит пьесу на театре.

Так воспринимал свой писательский долг сам Шоу, так его воспринимает и его биограф Эмрис Хьюз.

Об этом Хьюз откровенно говорит в предисловии к своей книге, специально написанном для издательства «Молодая гвардия».

По мнению Хьюза, есть много хороших биографий Шоу, но, «как бы хороши эти книги ни были, их писали люди, не знающие советского читателя, и, кроме того, Шоу

показан в них только как драматург и писатель, а вся его общественная деятельность, в которой он является горячим проповедником социализма и коммунизма, совершенно не затронута. Авторы биографий явно не сочувствовали этому делу — делу всей его жизни — и обошли его молчанием».

В этом же предисловии рассказано, как у советских друзей Э. Хьюза, среди которых были С. Я. Маршак и автор этой рецензии, родилась мысль — заставить его написать о Шоу.

Но прежде чем говорить о книге и ее заслуженном успехе, хочется ближе познакомиться читателя с ее автором.

В наших газетах изредка появляются статьи Хьюза — остроумные, точные и живописные отчеты о каком-нибудь этапе политической борьбы в Великобритании и палате общин, где Хьюз вот уже более двадцати лет как член левого крыла лейбористской партии, всегда настроенного независимо, а часто и оппозиционно, представляет шахтерский округ Южной Шотландии — Эйршир, родину Роберта Бернса.

У нас многие читали в переводе небольшую книжечку Хьюза о путешествии по СССР — полную юмора, понимания и тепла, но мы еще не знаем серии его блистательных биографий политических деятелей — от ранней книги о его учителе и близком друге Кейре Харди, одном из основателей социалистической партии Великобритании, до биографий нескольких премьер-министров — от Черчилля до Макмиллана. И мы еще не перевели — а надо бы! — лучшую книгу Эмриса Хьюза «Парламент и мумбо-юмбо» (1966), как бы завершающую все предыдущие политические памфлеты Хьюза.

«Мумбо-юмбо» (или «мамбо-джамбо») — это дикарские ритуалы вроде старинного «камланья» или «шаманства» наших северных племен. Этим словом Хьюз называет не только живописную процедуру, предваряющую парламентские заседания с традиционным выходом «спикера» в парике и мантии со шлейфом, перед которым «маршал» несет жезл и торжественно провозглашает: «Спикер идет!» Для автора книги «шаманство» — это вся устаревшая парламентская процедура, вся нелепая громоздкость и сложность парламентской машины, с наследственной палатой лордов, «давно устаревшим учреждением», как сказал недавно по телевидению Би-би-си сам Хьюз. В книге собрано мно-

жество убедительнейших цифр, документов, высказываний самых различных деятелей в самые различные эпохи, и вместе с тем она читается безотрывно именно благодаря истине беспощадному таланту автора — так ядовито, остроумно и метко разоблачает он все то, что ему кажется помехой в его работе, всяческую «показуху» и ложь.

В этих книгах все время слышен голос, так хорошо знакомый всей Великобритании, — сильный, отлично поставленный голос Эмриса Хьюза, который умеет не только громить противника, но и защищать друга.

И если о чем-то можно пожалеть, читая книгу «Бернард Шоу», то лишь о том, что в ней этот мощный голос звучит приглушенно, как бы уступая «микрофон» другому, еще более мощному голосу — голосу Бернарда Шоу.

Книга сознательно и последовательно построена на цитатах. Казалось бы, что такой метод никогда не даст того, чего ждет читатель серии «Жизнь замечательных людей» — то есть портрета замечательного человека, рассказа о его жизни, а не только о его работе, о его убеждениях и способах внушить эти свои убеждения людям. Но совершенно неожиданно для читателя благодаря внутреннему стержню — образу Шоу, такому, каким его видит Хьюз, — все цитаты складываются в мозаичный портрет, сливаются в одну последовательную музыкальную тему, подчиненную строгому замыслу автора.

И вдруг начинаешь понимать, какой сложной была именно жизнь Шоу, хотя тот всегда уверял, что у него не было никакой биографии и что все его «добро» — на витринах книжных магазинов и на сценах театров. Без бытовой сплетни, без «залезания» в чужую интимную жизнь, несколькими деликатными и сдержанными строками, скромным описанием личных встреч с Шоу и с его женой, подбором воспоминаний близких к Шоу людей и его писем Эмрис Хьюз сумел сделать читателя участником всех событий в жизни Шоу куда лучше, чем те биографы, которые с удовольствием расписывали его отношения с людьми, его романы — в письмах и не в письмах — словом, делали именно то, что ненавидел Шоу, — «покойник не любил сплетен», как написал Маяковский о себе...

Конечно, иногда «скудость» автора книги огорчает читателя. Хотелось бы больше уз-

нать об эпохе — то есть почти о целом столетии! — прожитой Шоу, о некоторых людях, окружавших его. Жаль, что почти ничего не рассказано ни о Кейре Харди, ни о супругах Уэбб, ни об интереснейшем художнике и поэте Уильяме Моррисе, в чьей семье Шоу впервые столкнулся с «новыми людьми» века, с попытками сделать жизнь на земле «красивой для всех» и для этого упразднить всякую украшательство, все дорогие побрякушки и найти эту красоту в естественности и простоте. Жаль, что слишком коротко рассказано даже о тех выступлениях Шоу, которые проходили так живописно и бурно

на площадях и в парках Лондона, жаль, что нет хотя бы беглых зарисовок тогдашних улиц, редакций, загородных домов...

Но не будем спорить с автором. Пусть читатель судит сам, если только ему легко удастся достать экземпляр: весь стотысячный тираж этой книги, которую хорошо перевел Борис Носик и очень тонко оформил Юрий Нолев-Соболев, разошелся в три-четыре дня, что бывает почти со всеми книгами этой чрезвычайно популярной и интересной серии, кратко называемой ЖЗЛ.

Р. РАЙТ-КОВАЛЕВА.

★

Политика и наука

ТРУД И ЕГО ПРОБЛЕМЫ

Е. Л. Маневич. Проблемы общественного труда в СССР. «Экономика». М. 1966. 190 стр.

Политическая экономия как наука ведет свою родословную с Вильяма Петти, открывшего, что «труд — отец богатства». С тех пор на протяжении трех столетий труд был и остается той осью, без которой невозможно решение основных проблем экономической науки. О нем написаны тысячи научных трактатов; его исследовали экономисты, философы и инженеры, физиологи, психологи... Но еще далеко не на все вопросы даны исчерпывающие ответы. И не в силу несовершенства науки или недостаточной компетентности ученых, а потому, что общественный труд — явление, постоянно изменяющееся и рождающее при этом все новые и новые проблемы. К наиболее актуальным из них относятся проблемы общественного труда при социализме: его характер, производительность, оплата, изменения при переходе к коммунизму. Именно их и исследует в своей книге известный советский экономист профессор Е. Л. Маневич.

Смелость мысли, новизна постановки вопросов, доведение теоретического анализа до практических рекомендаций — отличительные черты рецензируемой книги, написанной в полемическом стиле. Автор критикует многие положения, еще совсем недавно казавшиеся общепринятыми и незыблемыми... И не сокрушаться по этому поводу надо, а радоваться. Ибо чем чаще наука пересматривает и уточняет свои выводы, тем успешнее она развивается.

Важное место занимает в книге проблема рационального использования рабочей силы. Еще недавно ее рассматривали весьма отвлеченно: труд — право и обязанность каждого члена социалистического общества; и на этом нередко ставили точку, не видя больше никаких неясностей. А они есть. Как быть, например, с рабочей силой, высвобождаемой в результате механизации и автоматизации производства? Как привлечь к общественному труду неработающих женщин? Как обеспечить восточные районы страны рабочей силой и закрепить ее там?

Ответить на эти вопросы нелегко. Можно запланировать строительство новых предприятий, предусмотреть поставку материалов и оборудования. Но без обеспечения стройки и действующего предприятия рабочей силой не будет ни строительства, ни самого производства. В движении рабочей силы часто происходят не регулируемые обществом процессы. Нерациональная трата рабочей силы на предприятиях, неполное использование трудовых ресурсов, нехватка рабочей силы — все это, к сожалению, еще есть.

Е. Л. Маневич не обходит в своей книге эти вопросы. Он считает необходимым в целях планомерного регулирования рабочей силы, трудоустройства рабочих и служащих, высвобождаемых в результате технического прогресса, создать специальную государственную организацию. Автор поднимает также весьма важный вопрос о мате-

риальном обеспечении рабочих и служащих на время их трудоустройства. «Не значит ли это, что при социализме существует безработица?» — спросит иной читатель. Нет, не значит. Но не потому, что безработица автоматически исключается общественной собственностью, а потому, что впервые в истории создана возможность планомерно распределять рабочую силу, использовать ее наиболее полно и рационально. И немаловажное значение имеет при этом материальная заинтересованность работающего, распределение по труду.

Проще всего сказать: произвел вдвое больше продукции (затратил вдвое больше труда) — и получай вдвое больше. В действительности же это далеко не так. Дело в том, что распределение по труду устанавливает лишь разность в оплате труда, ее дифференциацию, но не дает ответа на вопрос об абсолютной величине вознаграждения за труд.

В процессе производства расходуется рабочая сила. Ее надо восстановить, воспроизвести. Заработная плата призвана прежде всего возместить затраты рабочей силы, так как без этого не может происходить непрерывное развитие производства. Автор констатирует, что существует «объективная необходимость воспроизводства рабочей силы, восстановления затраченных в процессе производства физических и умственных сил работников, необходимость обеспечения рабочих, служащих, колхозников и их семей средствами существования, материальными и духовными благами».

Воспроизводство рабочей силы предполагает не только восстановление сил данного работника, но и создание условий для развития тех, кто сменит его в дальнейшем. Это значит, что семья должна получать все необходимое для воспитания потомства. Часть расходов общество берет на себя (образование, здравоохранение). Но это далеко не все. Детей надо не только учить и лечить, их надо кормить и одевать, им надо покупать кровати, книги, игрушки. Без этого нет нормального воспроизводства рабочей силы. Следовательно, должны быть найдены формы, в которых семья получала бы от общества средства, достаточные для нормального развития детей. Решение этого вопроса не дело будущего, замечает профессор Маневич, а необходимое условие воспроизводства рабочей силы сегодня.

Вполне правомерно в связи с этим пред-

ложение о материальном вознаграждении в зависимости от числа детей в семье. Однако против этого выдвигаются по меньшей мере два возражения. Утверждают, во-первых, что для этого нет средств. Но ведь средства могут быть найдены — в частности за счет направления на эти цели ежегодного прироста части национального дохода, идущего на потребление. Говорят далее, будто такое распределение приведет к уравниловке. Но и это неверно. Распределение по труду было и остается основой дифференциации заработной платы. Семьи, имеющие одинаковое количество детей, будут получать в строгом соответствии с количеством и качеством труда работающих. Зарплата же родителей, у которых много детей, будет несколько выше: этим подчеркивается высокая оценка обществом такого большого и общественно полезного труда, каким является воспитание детей.

Учет в заработной плате количества детей — вопрос новый и сложный. Но решать его надо сейчас. В будущем возникнут новые проблемы. Их тоже рассматривает в своей книге Е. Л. Маневич.

Перспективы общественного разделения труда уже длительное время служат предметом непрекращающихся дискуссий, в которых порой высказываются крайние точки зрения. Одни считают, что в коммунистическом обществе будут жить «всезнайки» и каждый человек «сумеет все сделать в любой сфере труда». Другие, наоборот, настаивают на все большей специализации работников на определенном и довольно узком участке деятельности. Профессор Маневич справедливо критикует и тех и других.

Коммунизм устраняет не всякое разделение труда, но лишь такое, которое связано с социальными различиями в труде, с прикреплением людей к физическому или умственному труду. Правильное сочетание работы мускулов и мозга — лучшее средство гармонического развития личности. В книге приводятся замечательные слова старого английского экономиста, который писал: «Труд подливает масло в лампу жизни, а мысль зажигает ее».

Возможность в полной мере использовать способности человека, выявление его талантов и наклонностей не происходит само по себе. Для этого требуется основанное на современных научных данных изучение способностей и интересов людей, особенно

молодежи, а также изучение путей и средств формирования этих наклонностей и интересов. В книге справедливо отмечается, что «не совсем удачный опыт по «профотбору» привел к тому, что в нашей стране по существу прекратилось сколько-нибудь организованное изучение наклонностей молодежи».

Если, рассматривая вопрос о перспективах разделения труда, профессор Маневич не поддался искушению занять крайнюю позицию, то в вопросе о личной собственности при коммунизме он это сделал. Вывод его категоричен: в условиях, когда трудящиеся получают в свое распоряжение все материальные и духовные блага по своим потребностям, личная собственность отмирает.

Действительно, переход к коммунизму вызовет глубочайшие изменения в личной собственности, изменится ее социальное

значение, ее вещественный состав. Но сама личная собственность все-таки не исчезнет. И при коммунизме будет у каждого личная библиотека (с пометками на полях книг!), у музыканта — виолончель, у художника — палитра и кисти. Кровать и настольная лампа также, видимо, останутся в личной собственности. Я уж не говорю о зубной щетке и многих других мелких предметах...

В начале рецензии было сказано, что не на все вопросы общественного труда наука дает полный и исчерпывающий ответ. Это же можно сказать и о книге Е. Л. Маневича. Но книга эта находится на главном направлении научных поисков, она решает не второстепенные, а коренные проблемы общественного труда. В этом ее ценность и общественная значимость.

Л. АБАЛКИН,

кандидат экономических наук.

★

КНИГИ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

М. И. Романов. Средневожские партийные организации в годы гражданской войны (1918—1919). Марийское книжное издательство. Йошкар-Ола. 1966. 334 стр.

З. А. Аминев. Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Башкирии (1917—1919 гг.). Башкирское книжное издательство. Уфа. 1966. 483 стр.

П. И. Рощевский. Гражданская война в Зауралье. Средне-Уральское книжное издательство. Свердловск. 1966. 339 стр.

Историография гражданской войны в Поволжско-Уральском районе насчитывает десятки книг и сотни статей. И, конечно, от каждой новой работы, посвященной борьбе с внутренней и внешней контрреволюцией, читатель вправе ожидать не только описания известных событий, но и серьезных обобщений. В достаточной ли мере отвечают этому требованию рецензируемые книги?

«Показать с марксистско-ленинских позиций, на основе архивных документов и материалов, руководящую роль Коммунистической партии в годы гражданской войны на примере средневожских партийных организаций (Самарской, Симбирской, Пензенской)» — так определяет М. И. Романов цель своего исследования. Исходя из этого, он далее иллюстрирует многими примерами этот свой основной тезис. Но достаточны ли для этого одни лишь примеры?

В годы гражданской войны все отчетливой выявлялась одна из особенностей советской демократии — однопартийная система. Это был сложный процесс, своеобразно проходивший на местах, особенно в таком аграрном, многонациональном районе, как

Среднее Поволжье. В книге же этот процесс показан упрощенно.

Губернским и уездным большевистским организациям пришлось проводить тогда разностороннюю работу, применять гибкую тактику, чтобы отвоевать у левых эсеров крестьянские массы.

В апреле — июне 1918 года левые эсеры еще пользовались большим доверием значительной части крестьянства Среднего Поволжья (и не только среди кулаков, но и у немалой части середняков). Недовольные хлебной монополией, действиями продотрядов, реквизицией продовольственных излишков, многие крестьяне на выборах в Советы голосовали за левых эсеров или за беспартийных. На Симбирском съезде Советов в мае 1918 года левым эсерам была отдана половина голосов. По данным мандатной комиссии V Всероссийского съезда Советов (июль 1918 года), Поволжье представляли 64 большевика и 63 левых эсера.

«...Среди левых эсеров всегда была внушительная часть за Советскую власть, т. е. принципиально все левые эсеры были за Советскую власть, — писал В. И. Ленин, — а

когда часть левых эсеров пошла на восстание-авантюру в июле 1918 года, то от них отделились из их бывшей партии две новые партии, «народников-коммунистов» и «революционных коммунистов». Став на путь мятежей против советской власти летом 1918 года, опираясь в них по сути дела только на кулачество, левые эсеры лишились поддержки трудового крестьянства и перестали существовать как партия.

Большевики разоблачали мелкобуржуазную эсеровскую идеологию, решительно подавляли контрреволюционные выступления и в то же время привлекали лучшую часть левых эсеров на сторону большевиков. И, конечно же, автору книги о роли партийных организаций в гражданской войне следовало бы обстоятельно показать эту борьбу партии за массы.

Надо ли говорить, как важен для историка критический анализ источников. У М. И. Романова такой анализ подчас отсутствует. Приведу лишь один пример. На страницах 218—219 книги рассказывается о количестве партийных ячеек (выборочно) по уездам Самарской и Симбирской губерний в конце 1918 — начале 1919 года. Но ничего не говорится об их социальном составе, о действительности работы ячеек, об ошибках, которые допускались некоторыми руководителями на местах в своем стремлении ускорить привлечение крестьян в коммунистическую партию. Так, в конце 1918 года в деревне Тимбаево Буинского уезда была создана ячейка, членами которой оказались и кулаки. Естественно, что эта ячейка просуществовала недолго.

Само название работы — «Средневожские партийные организации в годы гражданской войны» — обязывало автора уделить максимум внимания вопросам партийного строительства, совместной деятельности губернских и армейских коммунистов, формам и методам ведения большевистской агитации и пропаганды. И едва ли достаточно тут ограничиваться выдержками из резолюций. Ведь принятие постановлений далеко не всегда означает немедленное проведение его в жизнь. В книге часто встречается слово «мобилизация». Это очень емкое слово, и важно было бы показать, как в каждом отдельном случае осуществлялась мобилизация, как конкретно руководили ею коммунисты, как вели за собою массы.

Фактического материала в книге М. И. Романова много, но исследован он недостаточ-

но. А ведь именно к этому — к самостоятельному исследованию источников (как опубликованных уже, так и публикуемых впервые) — должен стремиться каждый историк.

В большей мере выполняют свою задачу две другие книги, названные в подзаголовке этой статьи.

З. А. Аминев предлагает читателю систематизированную, насыщенную фактическими данными историю Башкирии в период с февраля 1917 года до августа 1919 года, то есть до освобождения ее от белогвардейцев и интервентов. Автор обстоятельно рассматривает два течения в башкирском национальном движении после победы Великой Октябрьской социалистической революции: буржуазно-националистическое и движение башкирской бедноты. Он отмечает закономерность прихода в большевистскую партию и воспитание в ней национальных кадров из башкир.

Однако некоторые положения, выдвинутые в работе З. А. Аминева, нуждаются, на мой взгляд, в дальнейшем изучении. Приведу некоторые из них.

После февральской революции в Уфе начинает функционировать объединенный комитет РСДРП (большевики и меньшевики). В самом факте такого объединения автор книги видит серьезную ошибку и объясняет ее примиренчеством и оппортунизмом «уфимских большевистских руководителей». Думается, однако, что более конкретное изучение событий позволило бы автору увидеть происходившую в то время дифференциацию среди меньшевиков, когда лучшие из них шли к большевикам. Едва ли такие явления стоит объяснять одной, даже очень хлесткой фразой.

З. А. Аминев упрощает объяснение сложных событий и тогда, когда описывает причины падения Уфы в начале июля 1918 года. Он сводит все дело в основном к предательству военных руководителей штаба Махина и Харченко. Так ли это в действительности? Г. М. Котов, секретарь Уфимского губкома партии в 1918 году, писал: «Что касается губкома, то он был заражен иллюзиями, что чехословацкое выступление — плод недоразумений, ошибок и нетактичности Троцкого, как военного комиссара, и что все это рассеется и события примут другое направление». И затем отмечает, что решительных мер к обороне не предпринималось и Уфа была слана без боя. Разумеется, вспомни-

ния могут быть со временем дополнены или исправлены вновь обнаруженными документами. Автор не приводит таких материалов, не показывает объективно обстановку некоторой растерянности на местах при известии о выступлении мятежного чехословацкого корпуса.

Но это частные замечания. В целом же книга написана обстоятельно.

П. И. Рошевский избрал предметом своего исследования «комплекс социально-политических вопросов, связанных с борьбой рабочих и крестьян против внешней и внутренней контрреволюции в одном из крупнейших районов Западной Сибири — бывшей Тобольской (Тюменской) губернии». В этом плане вызовут интерес приведенные в книге материалы о борьбе трудящихся Западной Сибири с белогвардейцами и интервентами, сведения о восстании в Тобольской каторжной тюрьме в октябре 1918 года, о восстании мобилизованных Колчаком в Туринске и Тюмени в марте 1919 года.

Исход гражданской войны в России в конечном счете зависел от того, на чьей стороне (пролетариата или буржуазии) выступит среднее крестьянство, составлявшее осенью 1918 года большинство сельского населения страны. В Сибири была своя специфика. «Контрреволюция могла временно побеждать, потому что буржуазия имела там за собой крестьянство, потому что крестьяне были против нас», — говорил В. И. Ленин. Одна из причин перехода сибирских крестьян на сторону буржуазии состояла в том, что невозможно было дать им то, что крестьяне других районов России получили сразу же после социалистической революции — помещичью землю. «В Сибири крестьянство не получило помещичьей земли, потому что

там ее не было, и потому им легче было поверить белогвардейцам», — говорил Ленин.

Известно, что в Зауралье контрреволюция пользовалась известной поддержкой крестьянства. Автор книги исследует причины этого явления и анализирует факторы, под влиянием которых крестьянство перешло на сторону советской власти. Тут и агитационная деятельность сельских коммунистов и рабочих, и убедительные победы Красной Армии. Важное значение имело разоблачение контрреволюционной и террористической сути колчаковщины. Можно, пожалуй, спорить о композиции книги: может быть, лучше было бы не начинать ее сразу с факта установления контрреволюционного режима в Зауралье, а исподволь подвести читателя к тому, что свершилось, но это уже второстепенный вопрос.

Вызывает сожаление, что в рецензируемых книгах не представлена по-настоящему историография. М. И. Романов даже не считает нужным познакомить читателя с литературой двадцатых годов по теме своей работы, а З. А. Аминев и П. И. Рошевский перечисляют лишь некоторые источники. А ведь важно было бы знать, что сделано до настоящего исследования, чтобы полнее оценить новое, внесенное автором. Интересно было бы проследить развитие исторической мысли по изучаемой проблеме.

Надо всячески приветствовать выпуск местными издательствами книг, отражающих важнейшие исторические события в наших республиках и областях. И хочется, чтобы книги эти были на высоком научном уровне.

А. ЛИТВИН,

кандидат исторических наук.

Казань.

★

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА СЕГОДНЯ

Мир социализма в цифрах и фактах. 1965 год. Справочник.
Политиздат. М. 1966. 160 стр.

Мы уже привыкли к огромным переменам, которые принес народам социалистических стран новый общественный строй, привыкли к их стремительному ритму, к высоким темпам роста социалистической экономики. Поэтому даже самые контрастные сравнения наших дней с не столь еще отдаленными прошлыми годами уже поражают нас. И все же...

Количество промышленной продукции, которая ежегодно производилась перед войной в странах, образовавших мировую систему социализма, ныне выпускается за один месяц! А для производства всей той продукции, которая выпущена в этих странах за 1950 год, требуется сейчас немногим более двух месяцев. А ведь до войны казалось, что многие из стран, идущих ныне по

пути социализма, обречены на застой. Например, в Польше в 1938 году продукция промышленности даже не достигала уровня 1913 года, в то время как мировая промышленная продукция за этот период увеличилась примерно в полтора раза. Вследствие систематического отставания в темпах роста доля этих стран в мировом промышленном производстве все более снижалась. Объем промышленной продукции в расчете на душу населения был не только гораздо ниже, чем в высокoinдустриальных странах, но и ниже среднемирового уровня.

Победа народной власти и переход к социалистическому строительству означали для этих стран также и коренной перелом в динамике производительных сил. Своими практическими достижениями в деле индустриализации эти страны продемонстрировали, что только социалистический путь развития дает возможность обеспечить такие темпы роста производства, которые позволяют при жизни одного поколения вывести ранее отсталые в экономическом отношении страны в число передовых.

«Мир социализма в цифрах и фактах» — такие справочники вот уже в течение ряда лет выпускает Политиздат. Заглянем в справочник за 1965 год и дополним его итогами развития экономики стран социализма за 1966 год и другими материалами из литературы братских стран...

Исторический опыт показывает, что подъем производительных сил в странах мировой системы социализма неотделим от перестройки общественных отношений. Доля социалистического сектора уже составляет в них в целом примерно девяносто восемь процентов валовой продукции промышленности. Утверждение принципов социализма во всех областях жизни создало качественно новые, благоприятные условия развития производства, породило невиданные при капитализме стимулы его мощного подъема.

Среднегодовые темпы роста промышленного производства в европейских социалистических странах за послевоенные годы примерно втрое превышали темпы роста, достигнутые ими в отдельные, наиболее благоприятные годы до второй мировой войны. В Китайской Народной Республике промышленное производство возросло с 1959 года по сравнению с 1949 годом примерно в тринадцать раз. Но в последующие годы авантюристическая политика «большого скачка»

отбросила экономику страны далеко назад и произошло резкое снижение объема промышленной продукции. В 1966 году промышленное производство находилось на уровне 1957 года.

В целом же страны социализма намного превосходят капиталистические в темпах роста производства. Если в 1950 году объемом промышленной продукции в странах СЭВ в расчете на душу населения примерно соответствовал среднемировому уровню, то в 1965 году он превысил его более чем в три раза. Если в 1950 году на долю стран социализма приходилось лишь двадцать процентов мировой промышленной продукции, то в 1966 году они давали уже тридцать восемь процентов. Страны социализма производят сейчас почти одну треть мирового выпуска стали и цемента, более половины всего количества угля, зерна и сахарной свеклы, две пятых хлопка и молока. Об огромных масштабах хозяйственного строительства в странах социализма свидетельствуют итоги последнего, 1966 года. Прирост их промышленной продукции превысил годовой выпуск продукции Франции, или равен всей продукции Японии, то есть стран, стоящих соответственно на пятом и четвертом местах в капиталистическом мире по объему промышленного производства.

Но дело не только в количественном росте экономики стран социализма. Коренным образом изменилась отраслевая структура их народного хозяйства. Ранее отсталые, аграрные страны превратились в индустриально-аграрные или аграрно-индустриальные страны, и все заметнее уменьшается разрыв, отделяющий их от наиболее развитых стран мира. Доля промышленности почти во всех странах социализма существенно превысила долю сельского хозяйства. Задача коренной перестройки отраслевой структуры экономики была решена в странах социализма в исторически короткие сроки, не достигаемые для капиталистического пути индустриализации. Например, в капиталистической Германии для увеличения доли промышленности в совокупной продукции промышленности и сельского хозяйства примерно с одной трети до двух третей потребовалось полвека, а Болгария в условиях народной власти добилась такого структурного сдвига за одно десятилетие. Доля промышленности достигла в Болгарии уже трех четвертей совокупной продукции промышленности и сельского хозяйства, в то вре-

мя как в предвоенные годы она составляла лишь одну четверть. Резко изменилась в странах социализма и отраслевая структура национального дохода. В создании национального дохода ведущую роль в большинстве стран стала играть промышленность.

Нынче почти во всех странах социализма на долю средств производства приходится свыше половины промышленной продукции, а в ряде стран эта доля достигает двух третей и более. В большинстве этих стран лишь в годы социалистической индустриализации было создано современное машиностроение, химическая промышленность, развитое энергетическое хозяйство. А теперь по этим молодым отраслям многие страны социализма достигли уровня наиболее развитых стран капитализма или приближаются к нему.

Увеличение выпуска средств производства создает предпосылки для повышения темпов производства разнообразных предметов потребления. Например, если в 1955 году телевизоры производились только в трех странах СЭВ, то в 1965 году их выпускали все эти страны, кроме МНР.

В последние годы большое внимание уделяется сельскому хозяйству, поскольку развитие его отстает от растущих общественных потребностей. В 1966 году в странах СЭВ валовая продукция сельского хозяйства по сравнению с предыдущим годом увеличилась на девять процентов. Это большой успех. За время с 1960 года по 1965 год тракторный парк стран СЭВ увеличился примерно на полтора миллиона (в пересчете на пятнадцатисильные).

Развитие производительных сил при социализме осуществляется в интересах народных масс. Марксистско-ленинские партии исходят из необходимости органически сочетать неуклонный рост производства и систематическое повышение на этой основе жизненного уровня трудящихся. На цели народного потребления в странах социализма затрачивается семьдесят пять — восемьдесят процентов всего национального дохода. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на сближение жизненного

уровня трудящихся города и деревни. По ряду важных показателей жизненного уровня ранее отсталые страны вышли в условиях социализма на авангардные позиции даже по сравнению с высокоиндустриальными капиталистическими странами. Это относится прежде всего к таким показателям, как число обучающихся (в том числе в вузах) в расчете на тысячу жителей, число врачей и больничных коек, система социального обеспечения и другие.

Огромную роль в развитии экономики социалистических государств играет их хозяйственное сотрудничество. Впервые в истории взаимные экономические отношения большой группы стран целиком и полностью подчинены задачам их общего подъема. Принцип товарищеского сотрудничества и взаимопомощи стал определяющим принципом многообразных хозяйственных связей между государствами.

Народнохозяйственные планы социалистических стран на 1966—1970 годы намечают новый мощный подъем производительных сил. Промышленная продукция стран СЭВ возрастет за пятилетие в полтора раза, а продукция сельского хозяйства примерно на одну четверть. В текущей пятилетке странам СЭВ предстоит выполнить ряд сложных задач хозяйственного строительства. Намечается ускорить рост производительности труда, улучшить загрузку производственных фондов, более рационально использовать капиталовложения. В странах СЭВ предпринимаются большие усилия к совершенствованию методов социалистического хозяйствования, повышению научного уровня планирования, более действенному применению системы материального стимулирования.

Хозяйственное строительство в социалистических странах — решающий участок борьбы за социализм и коммунизм. Победы, одерживаемые на этом участке, — убедительная демонстрация преимуществ социализма, залог роста притягательной силы социалистических идеалов для народов всего мира.

К. МИКУЛЬСКИЙ,
кандидат экономических наук.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД АКСИОМАМИ

И. Зыков. Три аксиомы. «Молодая гвардия». М. 1966. 349 стр.

Эта книга о лесах. Начинается она авторским предисловием, озаглавленным «Не по моде...». В 1949 году, вспоминает автор, все наши газеты ежедневно печатали сообщения о ходе подготовки к посадкам лесных полос в юго-восточных областях: это было модно. Через десять лет, когда лесные полосы были выращены, газеты молчали: эта тема перестала быть модной. И только теперь многие снова стали говорить об исключительной важности полезащитного лесоразведения для борьбы с ветровой и водной эрозией почв.

Кроме скоропреходящих, существуют, оказывается, моды длительного действия, приобретающие силу «общественного мнения», хотя иногда они противоречат фактам действительности и подлинной науке. Например, не может не вызвать недоумения письмо трех ленинградских научных работников, опубликованное в «Литературной газете» 5 апреля с. г. Авторы письма приписывают И. Зыкову положения, которые в книге «Три аксиомы» не содержатся. Так, они утверждают, будто бы И. Зыков призывает «поскорей срубить» леса естественного происхождения. В книге же речь идет о необходимости непрерывно и разумно использовать лес, не допуская его истощения. Есть в письме и некоторые другие необоснованные обвинения.

Автор книги предлагает вести разговор о лесах «не по моде», а «по правде», а замалчивая и не преувеличивая недостаток, имеющихся в нашем лесном хозяйстве. В то самое время, когда нередко в художественной литературе и в публицистике осуждалась любая рубка леса, когда чуть ли не все лесорубы объявлялись «опустошителями природы», И. Зыков одобрительно писал об архангельских и пермских лесорубах.

В книге автор обобщает свои предыдущие высказывания о лесном хозяйстве и лесной промышленности.

Начинает он с элементарных истин, оказавшихся прочно забытыми. Все мы с детства помним строчки Некрасова: «Плакала Саша, как лес вырубали». Кто не сочувствовал печалю чеховского доктора Астрова? В русском обществе укоренилась стойкая вера в то, что, если дерево не рубить, оно

будет якобы существовать вечно, если же срубить — вечная пустота останется на том месте, где оно росло. Вспоминается в связи с этим такое высказывание одного «радетеля» леса в 1914 году. «Россия счастлива отсутствием путей сообщения — этим лучшим лесоохранительным комитетом». Есть у нас и литераторы, которые не могут спокойно слушать «шелест падающих зеленых твердых» и не всегда обоснованно протестуют против рубки леса. И даже иные лесохозяйственники склонны так думать. Не оттого ли это, что охранять лес все-таки легче, чем валить, трелевать, штабелевать, сплавлять, грузить, возить, разгружать, — тут ведь нужны умелая организация и дисциплина труда, технические средства и кадры, жилье и производственные помещения.

Чтобы поколебать представления о «вечности» деревьев, И. Зыков ведет читателя по московским бульварам и паркам. Тверской бульвар в Москве существует с конца XVIII века. Присмотритесь, однако, к толщине и форме стволов, и вы увидите, что на всем бульваре остался какой-либо десяток старых деревьев. Остальные деревья молоды — явно советской посадки.

В московском Нескучном саду старые деревья начали массами умирать после жестоких морозов 1940 года. Конечно, в суровые дни войны у москвичей было много более важных дел, чем приведение в порядок Нескучного сада. И мы долго глядели сначала на неспящие мертвые деревья, потом на обнажившиеся пустыри и только в пятидесятых годах увидели молодые посадки. То же самое наблюдалось в других московских парках — Сокольниках, Измайлове.

Сам собой напрашивается вывод: нельзя до бесконечности хранить старые деревья, они обречены на смерть: сохранить любое древесное насаждение, будь то бульвар, парк или лес, можно только путем замены старых деревьев молодыми.

В дикорастущих лесах тоже происходит смена древесных поколений, но на примере безлюдной эвенкийской тайги автор показывает, насколько она осложнена и замедлена. Молодняк, долгие десятки лет угнетаемый материнским древостоем, получает ничтожные порции солнечного света и пищи, влачит жалкое существование. Поэтому

выгоднее не ждать, когда старые деревья умрут да сгниют, а спилить их да вывезти.

Так, в главе «Аксиомы», пожалуй одной из самых удачных в книге, автор подводит читателя к пониманию трех истин лесного хозяйства.

Первая: Лес надо обязательно рубить. Где нет рубок, там нет и лесного хозяйства, а это вредит здоровью, сохранности и росту леса. Наступает период, когда весь выращенный древостой должен быть спилен, чтобы уступить дорогу новому поколению леса. Невырубленный спелый лес — это та же «нежская полоса».

Вторая: Рубка леса должна производиться в наиболее выгодное время, когда с каждого гектара можно получить максимальное количество добротной древесины. Нельзя рубить лес преждевременно, но нельзя и запаздывать с этим делом.

И третья: Все вырубки надо восстанавливать, а лес умело и заботливо выращивать. На месте срубленного леса должен расти новый лес, не хуже, а по возможности лучше прежнего.

При этом И. М. Зыков не увлекается одними лишь общими, хотя и существенными рассуждениями. Нет, он рисует картинки живой действительности, встречи с людьми в средних лесах, на лесной полосе под Волгоградом, в тайге — архангельской, пермской, эвенкийской, — а также в лесопарках Москвы, Киева, Алма-Аты. Так накапливаются факты, на первый взгляд немудрящие, но из цепи этих фактов, нанизанных на единый логический стержень, ясно и просто раскрывается суть больших и важных явлений, сами собой напрашиваются серьезные выводы. И он излагает их, не прибегая к непонятным специальным терминам, живым литературным языком.

«Выращивание хороших новых древостоев взамен срубленных — это и есть главная наша задача», — утверждает автор и показывает, как неодинаково решается эта задача в разных краях страны. В южных, западных и центральных районах леса сажают больше, чем рубят, и там площадь лесов увеличивается. Хочется дополнить мысль автора следующими данными: на Украине к началу 1923 года лесистость составляла 7 процентов всей территории республики, а сейчас поднялась до 12,8 процента; в Белоруссии за пятнадцать лет (1945—1960) лесистость увеличилась с 20 до 32 процентов; в девятнадцати областях и автономных республи-

ках центра европейской части РСФСР лесистость с 1927 по 1961 год возросла с 22,5 до 26,8 процента.

Другое положение в тайге Там много рубят, но мало сажают. В книге показано, как исторически сложилось отставание лесного хозяйства в тайге. В годы первых пятилеток, когда потребовалась мобилизация всех материальных ресурсов на скорейшую индустриализацию, был сделан «заем у леса». В течение двадцати лет тайгу рубили без какой бы то ни было заботы о восстановлении леса на вырубках. Правда, за этот двадцатилетний период наш фактический долг лесу оказался значительно меньше, чем мы предполагали и на какой в свое время давали согласие. Объясняется это просто. В начале тридцатых годов лесоводы думали, что все таежные вырубки превратятся в заболоченные пустыри. Но этого не случилось. На вырубках появился самородный молодняк. На одной трети площадей — хвойный, на двух третях взамен срубленного ценного хвойного леса выросла малоценная береза или осина. Это, конечно, лучше заболоченных пустырей, но все же не так уж и хорошо.

Смена пород протекает в нескольких вариантах. В книге описан благополучный вариант, при котором первоначально поселившаяся береза сменяется впоследствии елью. Но даже этот благополучный вариант приносит большие потери времени. Автор приходит к выводу: «Природа не считается с нашими интересами, и если мы хотим, чтобы росло то, что нам требуется, надо регулировать лесовозобновительный процесс».

Забота о восстановлении хвойных лесов на вырубках впервые стала проявляться в конце сороковых годов. Но и до сих пор она еще недостаточна.

Автор с горечью пишет о том, что в некоторых районах тайги, примыкающих к железным дорогам, рубка леса превышает допустимые нормы. Совсем мало там остается спелого леса, и не исключено, что скоро придется закрывать леспромхозы. Какой же выход? Надо осваивать новые районы тайги и подводить к ним железные дороги.

Правильно организованная рубка леса — лучшее средство улучшения состава и состояния лесов. Надо лишь хорошо знать, где рубить, что рубить, сколько и каким способом.

И еще одна острая проблема — наиболее полное использование древесины. Горы об-

резков на свалках лесопильных заводов, масса низкокачественной дровяной древесины, остающейся в леспромхозах за неизменным сбыта, приводят автора к логическому выводу о необходимости создания новой отрасли лесной промышленности — химической переработки отходов.

У нас строятся новые и реконструируются существующие целлюлозно-бумажные комбинаты и предприятия по производству древесных плит с расчетом использования отходов. Но их мало. Предприятия по химической переработке древесины весьма капиталоемки. На строительство завода, способного перерабатывать в год один миллион кубометров дров и отходов, надо затратить более ста миллионов рублей.

Есть в книге и досадные промахи. Нам представляются, например, недостаточно обоснованными рассуждения автора по вопросу об изменении климата. Дело, однако, не в климате. Древесная и травяная расти-

тельность регулирует сток воды и тем самым предотвращает два страшных необратимых процесса — ветровую и водную эрозию почв. Таким образом, наши предки, расширяя запашки в степях, получали не одни выгоды, но и несли ущерб.

Но истории И. М. Зыков коснулся лишь мимоходом. Главное содержание его книги — современность, главная его забота — сохранение лесов. И эта забота хорошо выражена в книге, написанной со знанием дела.

Досадно, что помещенные в книге рисунки художников А. Колли и И. Чуракова совершенно не соответствуют содержанию книги.

А. ПИСАРЕНКО,
инженер лесного хозяйства,
кандидат сельскохозяйственных наук.

А. ОБОЗОВ,
ученый-лесовод.

★

БИБЛИЯ — ЭТО ЗНАЧИТ «КНИГИ»...

Зенон Косидовский. Библейские сказания. Перевод с польского Э. Гессен, Ю. Мирской. Политиздат. М. 1966. 456 стр.

Всякий школьник, окончивший пятый класс, слышал и, наверное, запомнил древнегреческие предания о царе богов Зевсе, о Прометее, прикованном к горам Кавказа, о могущественном герое Геракле, вычленившем Авгиевы конюшни и убившем Лернейскую гидру. А если наш школьник любознателен, ничто не помешает ему заглянуть в книгу Н. А. Куна о легендах и мифах древней Греции, книгу, ставшую уже классической, или в совсем новую, чуть-чуть насмешливую книгу Ф. Арского «В стране мифов». Легенды сынов Эллады, наивные и мудрые, трогательные и жестокосердные, легенды, питавшие бесчетные поколения поэтов, нашему читателю доступны. И не только в пересказе, но и в их древнейшей (во всяком случае из известных нам) записи — в гомеровских поэмах, неоднократно у нас издававшихся.

С ветхозаветными легендами школьник не познакомится на уроках истории, и многоопытное издательство «Детская литература» еще не приготовило для него сборника «Легенд и мифов древней Палестины». О десяти казнях египетских, о жене Лота, превратившейся в соляной столб, о

Самсоне, избивавшем филистимлян ослиной челюстью, можно узнать лишь из случайных примечаний к какому-нибудь классику мировой литературы.

Может быть, эта дискриминация справедлива? Может быть, ветхозаветные сказания и в самом деле не оставили заметного следа в истории мировой культуры? Нет, у тех, кто создавал мировую культуру, было по этому вопросу иное мнение. Байрон написал трагедию «Каин». Рембрандту принадлежит полотно «Жертвоприношение Авраама». Всем известны пушкинские строки

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,—
И шестикрылый серафим
На перепутьи мне явился.—

вдохновлены одной из ветхозаветных книг — книгой пророка Исайи. Как и греческая мифология, ветхозаветные сказания составляют величественный арсенал, из которого постоянно и щедро черпает художественное творчество человечества.

Популяризации этих преданий у нас препятствовала, как это ни парадоксально, их чересчур широкая популярность в определенных кругах.

Греческая религия, одним из элементов которой была гомеровская и гесиодовская мифология, умерла, и передовое атеистическое мировоззрение не усматривает в культе Зевса или Афины сколько-нибудь серьезного себе соперника. Древняя палестинская религия, напротив, жива и поныне, Ветхий завет — и поныне священная книга последователей иудаизма и христиан, в действиях ветхозаветных персонажей всякий сле- по верующий иудаист или христианин склонен усматривать истинные и чудесные события. Соответственно критика Ветхого завета — одно из существеннейших звеньев научно-атеистической пропаганды.

Было время, когда под критикой понимали поток бранных слов, разоблачение. Описанные в Ветхом завете события и участвовавшие в них персонажи объявлялись мифическими, вымышленными; составители и редакторы (палестинские Гомеры и Гесиоды) оказывались злобными фальсификаторами и пособниками угнетателей, а для вящей убедительности критики на произведениях их было наложено табу: ветхозаветные предания были обречены на забвение. Величественный литературный памятник, стоящий вровень с «Илиадой» и «Одиссеей», на протяжении столетий воздействовавший на умы художников и поэтов, был вычеркнут из истории мировой литературы, потому что ему довелось сделаться священной книгой двух доживших до нового времени древних религий.

Если я не ошибаюсь, книга Зенона Косидовского — первая брешь в этом заговоре молчания. Как показательно, что мы начинаем с перевода, словно уж в России никто не в состоянии пересказать — объективно и в то же время научно — Ветхий завет!

Но пусть — перевод. Книга-то хорошая, и главное сделано: оказалось возможным познакомить читателя с ветхозаветными преданиями, отнюдь не способствуя укреплению религиозных пережитков...

Книга Косидовского рассказывает не о всей Библии (по-гречески «библиа» значит книги), но только о первой ее части, о Ветхом завете, сборнике древнееврейских исторических и публицистических сочинений, повестей и мифов, песен и поучений, канонический текст которого окончательно сложился ко II веку до н. э.

Книга написана в двух планах: каждая глава состоит из подробного и живого пересказа библейских преданий и из научно-

го комментария, основанного на новейшей литературе. Книга Косидовского — атеистическая книга. Ее главная, внутренняя задача — критика Ветхого завета. Для автора Библия отнюдь не священное, не боговдохновенное произведение. Он выясняет бесчисленные противоречия, промахи, заимствования, фольклорные элементы в тексте Ветхого завета. Как для всякого умного атеиста, для Косидовского Ветхий завет — человеческий документ, человеческий памятник. Этот памятник создавался на протяжении ряда столетий, впитывая религиозные системы соседних народов и местные старинные предания, отражая и этические идеалы, и представления о Вселенной, свойственные давным-давно истекшим столетиям.

Но вместе с этим Косидовский не боится признать, что в тех или иных ветхозаветных преданиях отражена — пусть в искаженной, в преображенной форме — историческая действительность. Он готов допустить, что рассказ об исходе евреев из Египта под водительством Моисея имеет за собой какой-то реальный факт, хотя и искаженный до неузнаваемости легендарными, мифическими деталями. Даже библейское предание об уходе Авраама из Харрана опирается, по мнению Косидовского, на устойчивую племенную традицию, и если самое существование Авраама как личности писатель подвергает сомнению, гипотеза о выселении предков палестинских евреев из Харрана в Ханаан кажется ему достойной внимания.

Здесь я позволю себе небольшое отступление. XIX столетие подарило нам не только библейскую критику, но и историческую критику вообще. Разъедающий ум исследователей обнаружил противоречия в рассказах о древнейшей судьбе не одних палестинских евреев, но также греков и римлян. Троянская война была объявлена мифом, равно как и предания о войнах римлян с этрусками, о борьбе плебеев и патрициев. Дальнейшее развитие исторической науки показало, что исследовательский скепсис в отношении народных преданий (при всем блеске критического анализа) был не совсем справедливым: и Троянская война, и ранние этапы римской истории реабилитированы. Будучи последовательными, мы должны позволить себе несколько больше доверия и к библейским преданиям, даже если они противоречивы и кажутся фантастическими.

Конечно, вопрос о достоверности Ветхого завета как исторического источника долго

еще будет дискуссионным, но думается, что именно «средняя позиция», занятая Косидовским, средняя между безусловным доверием богословов и безусловным гиперкритицизмом, долго господствовавшим в нашей литературе, является наиболее плодотворной.

Но еще раз я возвращаюсь к тому, что представляется мне куда более важным, нежели спор об исторической достоверности. Ветхому завету принадлежит значительное место не в одной истории религии, но и в истории литературы. Дело не только в том, что он оказывал колоссальное влияние на литературное развитие средневековья. Дело даже не в том, что он дал сюжеты и мысли для множества авторов нового времени. Гораздо важнее, что и ныне — это обстоятельство подчеркивает Косидовский — лучшие образы Ветхого завета поражают жизненностью и человечностью.

Подобно гомеровским героям, библейские патриархи и их жены наделены не одними именами, но и особыми свойствами характера — они не похожи один на другого. И каждый в своей индивидуальности остается человеком — не символом добродетелей и пороков, а именно человеком в сложном сочетании доблестей и недостатков. Даже Исаи, краснокожий и косматый, зверолов и бродяга, неспособный сдержать малейшую из прихотей, величествен в своей щедрости и умении забывать обиды. А Иосиф, которому предстояло стать мудрецом, толкователем снов и правителем Египта, выступает в отроческие годы папенькиным сыночком, доносчиком на братьев, наряжавшимся в разноцветные одежды и требовавшим всеобщего поклонения.

Одно из замечательнейших по психологической глубине мест находим мы во Второй книге Царств, в рассказе о смерти первого сына Давида и Вирсавии. Красавица Вирсавия была женой полководца Урии, и царь Давид, влюбленный в Вирсавию, приказал во время военных действий поставить Урию в опасном месте и не оказывать ему помощи. Урия со своими людьми погиб, и Вирсавия была взята в царский гарем. Тогда пророк Нафан проклял этот брак и предсказал, что дитя Вирсавии умрет. И действительно, ребенок заболел. «И молился Давид богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли; но он не хотел, и не ел с ними

хлеба. На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец; ибо, говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего; как же скажем ему: «Умерло дитя»? Он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих: умерло дитя? И сказали: умерло. Тогда Давид встал с земли, и умылся, и помазался, и переменял одежды свои, и пошел в дом господень, и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его: что значит, что ты так поступаешь: когда дитя было еще живо, ты постился и плакал; а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб? И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не помилюет ли меня господь, и дитя останется живо? А теперь оно умерло; зачем же мне постижаться? Разве я могу возвратити его? Я пойду к нему, а не оно возвратится ко мне».

С какой удивительной жизнеутверждающей силой передан этот трагический эпизод, с каким наивным и глубоким проникновением в смутные переживания мятущейся человеческой души! Палеолитические художники изображали оленей в каких-то странных, долго казавшихся ученым неестественными позах — и только моментальная фотография объяснила, что глаз первобытного художника улавливал движения животного, которые мы теперь не способны фиксировать. Так и лучшие памятники древних литератур; они обнажают человека в такой естественности, какая не удается нашим современникам со всей опытностью веков, стоящих за их плечами.

Конечно, библейские этические нормы сплошь и рядом для нас устарели и чужды. Кровная месть, многоженство, жестокость к побежденным, откровенная жажда наживы и столь же откровенная радость, рождаемая ловким обманом, — все это не принадлежит к числу вечных идеалов и вряд ли может войти в моральный кодекс человека XX века. Герои Ветхого завета — люди иной эпохи, чем мы; они, кстати сказать, чрезвычайно близки гомеровским героям, и действительно, у Агамемнона и Одиссея мы обнаружим все те же, нашим современникам уже не симпатичные доблести. Но раз мы вспомнили об этических проблемах, — разве не сохранил Ветхий завет невиданно острые

для того времени инвективы против богатей, присваивающих имущество бедноты, против несправедливости и насилия? И разве не включено в эту священную книгу одно из древнейших сочинений, пронизанных сомнением в справедливости божества, — повесть о праведнике Иове, подвергнутом несправедливым карам и незаслуженным мукам?

Одним из высших достижений античной этики считается — и совершенно справедливо — пьеса Менаандра «Третьейский суд». Там рассказывается, как молодой афинянин Харисий обнаружил, что у его жены Памфилы есть внебрачный ребенок, и как затем выяснилось, что этот ребенок — от самого Харисия, который во время какого-то праздника в пьяном виде сошелся с Памфилэй, а затем женился, не узнав ее. Равенство моральных требований, предъявляемых к мужчине и к женщине, отстаивал Менаандр, и это было очень смело для его времени. Но ведь сходная история — об Иуде и Фамарии — задолго до Менаандра была включена в Библию! Кстати, жаль, что этот эпизод из книги Бытие (гл. 38) опущен Косидовским...

Полигиздат, выпустив перевод книги Косидовского, сделал большое дело. И приятно видеть, что издательство отнеслось к этому своему детищу любовно: щедрые иллюстрации, продуманная игра шрифтов украшают книгу. Ее приятно не только читать, но и держать в руках. И все-таки я позволю себе несколько критических замечаний. Хорошо переведенная книга заслуживала более тщательного научного редактирования. Транскрипция часто произвольна: мы встречаем город Нуш (стр. 81, 85) вместо Нузу, египетского писателя Синуге (стр. 92) вместо известного русскому читателю Синухета, путешественника Веи Амона (стр. 228) вместо Унуамона; и уж совсем плохо, когда один и тот же ассирийский царь выступает то как Синахериб (стр. 369, 403 и сл.), то как Сангериб (стр. 429). С датами тоже не все в порядке. На странице 173 мы узнаем, что Эхнатон правил в 1377—1358 годы до

н. э., на странице 112 его правление продлено до 1352 года. Впрочем, поскольку он умер на семнадцатом году своего царствования, не подойдет ни та, ни другая датировка. На странице 87 читаем: «Определение времени царствования Хаммурапи и поныне» составляет предмет споров. Ученые называют три даты: 1955—1913 годы, 1792—1714 годы и наконец 1728—1686 годы до н. э.». Хаммурапи правил сорок два года, поэтому средняя дата невозможна и ни один ученый ее, конечно, не может предлагать. Кроме того, если ученые предлагают три даты, почему же на странице 12 безоговорочно называется четвертая (и фантастическая!) дата правления Хаммурапи: 1750—1690? На странице 151 сообщается, что Рамсес II воевал с хеттами пятнадцать лет и что война эта закончилась в 1286 году до н. э. сражением при Кадеше. Но чуть выше, на странице 149, можно узнать, что Рамсес II вступил на престол в 1292 году. С 1292 года по 1286 никак не могло пройти пятнадцать лет! На самом деле сражение при Кадеше произошло на пятом году правления Рамсеса и было отнюдь не последним, а первым его сражением с хеттами; после битвы при Кадеше война продолжалась еще шестнадцать лет. Неверно датировано и правление императора Аркадия на странице 318, да и перевезти прах Самуила в Турцию он никак не мог — потому что в его время Турции еще не существовало.

Довольно. Не стану продолжать этот печальный список, памятник редакторской нерышливости. Хорошая книга и хороший читатель заслуживают лучшего к себе отношения. Будем надеяться, что во втором издании книги Косидовского эти погрешности будут исправлены, а новые вместо них не появятся. Будем надеяться также, что наш читатель получит в конце концов и самый текст Библии, ибо, думается мне, нет более сильного инструмента для критики Библии, нежели сам библейский текст, снабженный умным и тактичным комментарием.

А. КАЖДАН.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

Д. РУДНЕВ. Сбереженное людьми и временем. Документальные очерки. «Ээсти Раамат». Таллин. 1966. 294 стр.

«Был ли Владимир Ильич в Эстонии, видел ли он эстонскую землю?» Такой вопрос, говорит автор книги, часто задают школьники учителю, студенты лектору, рабочие пропагандисту. Обычно отвечают, что прямых свидетельств о том, что В. И. Ленин хотя бы кратковременно был в Эстонии, нет. Но, возможно, Владимир Ильич был на эстонской земле проездом из Пскова в Ригу и обратно в 1900 году.

Для исследователя этот вопрос, конечно, немаловажен. Автор, однако, ставит перед собой иную цель — восстановить некоторые страницы истории Эстонии, связанные с именем Ленина. Как известно, Владимир Ильич в своих произведениях, письмах и выступлениях неоднократно упоминает Эстонию, дает характеристику ее экономического и политического положения, ее места и роли в общероссийском революционном процессе.

Автор по крупицам собирает документы, факты. Из письма эстонского скрипача-революционера Эдуарда Сырмуса Максиму Горькому автор узнал, что Сырмус встретился с В. И. Лениным в Париже в 1909 году. Начинаются поиски, и вот раскрыты подробности этой встречи. Так же терпеливо и настойчиво выясняет автор подробности состоявшегося в 1914 году Всеэстонского совещания большевиков.

1917 год. 8 октября на конспиративной квартире Ленин пишет свои знаменитые «Советы постороннего» и «Письмо к товарищам большевикам, участвующим на областном съезде Советов Северной области». В них Владимир Ильич набросал развернутый план вооруженного восстания. И определил место и роль в нем трудящихся Ревеля (Таллина). В этой связи Д. Руднев исследует два интересных вопроса: когда и каким путем большевики Ревеля узнали о статье и письме Ленина? И сыграл ли Таллин ту роль, которую Ленин отводил ему в своем плане вооруженного восстания?

Так шаг за шагом обогащается история. Появлению книги предшествовала большая кропотливая работа исследователя — собирателя исторических ценностей. Люди и

время приоткрывают многое из того, что до сих пор оставалось неизвестным. И новые находки, несомненно, расширят наш кругозор.

Поиски и находки — вполне оправдавший себя жанр исторической литературы. Живая очерковая форма повествования увлекает читателя. К сожалению, она не получила еще своего надлежащего развития в наших книжных издательствах, даже центральных. Тем более надо приветствовать выход в свет книги Д. Руднева в таллинском издательстве.

В. Светцов.

★

А. ВЕРБИЦКИЙ, Е. ЕФИМОВ. Сердце чекиста. Политиздат. М. 1967. 128 стр.

Война застала Сергея Солнцева в Подмоскowie на посту начальника Рузского районного отдела НКВД. Когда наши войска вынуждены были оставить Рузу и секретарь райкома партии П. А. Ткачев возглавил партизанский отряд, Солнцев стал его комиссаром.

О дерзких боевых операциях этого отряда знали даже в Берлине, оттуда поступали категорические требования — уничтожить отряд Ткачева. Но он уходил от карателей и продолжал наносить врагу чувствительный урон.

Солнцев был душой отряда. В самые тяжкие дни он личным примером вдохновлял партизан на преодоление выпавших на их долю невзгод. Всегда спокойный, уравновешенный, он находил пути к сердцам людей и, как никто другой, умел воодушевить их. Нередко он возглавлял разведывательные и оперативные группы. Именно благодаря своевременным и четким действиям группы Солнцева наши войска смогли нанести уничтожающий удар по немецкому штабу в Вишенках (об этом сообщалось в сводке Совинформбюро). В другой раз группа Солнцева начала, а группа Ткачева довершила разгром вражеского пехотного полка.

Об этих и других славных делах партизан, о храбром комиссаре Солнцева обстоятельно рассказывается в книжке А. Вербицкого и Е. Ефимова. Но ведь не только описания боевых действий ждет читатель от таких книг. Он хочет проникнуть в психо-

людей, оставшихся на оккупированной герригории, понять душевные порывы одних и низменные чувства других. Азторы же, к сожалению, не идут навстречу такому стремлению. Это тем более досадно, что, как видно, материала было у них немало.

Книги о партизанах с увлечением читает наша молодежь, они воспитывают в ней любовь к родине, к ее славным традициям. И требования к таким книгам должны быть повышенные.

П. Кokoшкин.

★

РАСУЛ ГАМЗАТОВ. Мулатка. Стихи. Перевод с аварского Н. Гребнева и Я. Козловского. «Советский писатель». М. 1966. 136 стр.

В новой книге Расула Гамзатова есть простор, в ней дышится легко и легко. Здесь вас встречает человек «в простой одежде уроженца гор», мудрый друг, который поймет вас в трудную минуту и поддержит. Здесь крепко рукопожатие, поучительна и радушна беседа. Здесь имя матери священно, на него «не ложатся тени», потому что она «великая раба» своей любви. И отцы чтят не только по горской семейной традиции — с гордостью вспоминают, что он сделал, какие заветы оставил.

В «Мулатке», как и в прежних сборниках, господствует и заявляет о своих правах любовь:

Смерть унесет и нас, и все, чем мы живем.
Избегнет лишь любовь ее прикосновенья.
Так ворон прочь летит, когда он видит дом.
Где не остыл очаг, где есть еще поленья.

Полюбить мир легко, легче, чем соседа. Но если полюбишь этого соседа, то не будет ли обделен вниманием второй и третий? Необходимо отыскать самое живое место, где частное приобщается к общему.

Я хочу, чтобы люди давали ответ
На эти вопросы всегдашние.
— Холодно вам?

— Нет.

— Голодно вам?

— Нет.

— Страшно ли вам?

— Не страшно.

Сила поэзии измеряется ее прозорливостью, умением сосредоточиться на людской боли и нужде: «Пусть будет на земле дешевле хлеб, а человек немножечко дороже». Поэзия авторитетна, пока хранит готовность встать на защиту тех, «кто был унижен».

От кого, от чего защищать?.. Расул Гамзатов не занимается бесплодной войной против отвлеченных символов зла. Он просто хорошо чувствует, что сегодня теснит человека. В нем живет стойкая непримиримость ко всему, что мертвенно и фальшиво, к пустому слову, равнодушию. Вот стихотворение о воровстве, толкующее предмет в его прямом и очевидном смысле. Здесь есть строки о тех, кто «ворует на пару и в одиночку. То стащат отару, то

чью-нибудь строчку». Но кража многообразна. Это лицемерие в любви и ненависти, это ложь, клевета и нравственное браконьерство, это попытки представить мнимое как подлинное.

В новом сборнике Расул Гамзатов остается тем же, кем мы его знали до сих пор, таким, каким мы его приняли и полюбили. Но его поэзия как бы обрела большую напряженность. В его стихах на «вечную тему» все отчетливее проступает нынешнее, сегодняшнее. Поэт как бы уплотняет и обобщает все то, что было сказано до сих пор. Несколько особняком стоят, пожалуй, стихотворение «Таинственность» и еще одно-два. Они вносят в рационально-ясный строй гамзатовской поэзии иные, новые ноты, но это пока что из области эксперимента. Гамзатов много размышляет о личности художника, о его роли в искусстве. Какая из опасностей, угрожающих художнику, наиболее серьезна, по его мнению? Та, что идет изнутри:

— Не бойся врагов, стихотворец! Взгляни,
Как верных друзей твоих много везде!
— А если в день черный изменят они?
— Не бойся! Жена не оставит в беде!
— А если изменит жена? — Ничего!
Есть отчие горы в рассветном дыму.
— Чего же бояться тогда? — Одного:
Опасной измены себе самому!

Пафос поэта, сохранив постоянство, придает его поэзии крепость, неподверженность случайным влияниям. Поэт не оставляет поля боя. И оружие его — сила добра...

Л. Антопольский.

★

Ю. И. СЕМЕНОВ. Как возникло человечество. «Наука». М. 1966. 576 стр.

Миллион лет тому назад на Земле появились первые люди, началась эпоха первобытного человеческого стада; она закончилась сорок тысяч лет назад. Этому продолжительному и наименее изученному периоду истории человечества и посвящена книга Ю. И. Семенова.

Эпоха первобытного человеческого стада была временем величайшего перелома — перехода от биологической формы движения материи к более высокой — социальной: к превращению зверя в человека, а стада, подобного стаду животных, — в человеческое общество.

Воссоздать картину этого исключительно сложного и многогранного процесса становления человека и общества возможно, лишь опираясь на данные естественных наук (дарвинизм, генетика, общая зоология, антропология, зоопсихология, физиология размножения, физиология высшей нервной деятельности и другие) и на данные общественных наук (археология, этнография, политическая экономия, этика, психология, языковедение и другие). Автор, творчески осмысливая с позиций марксистско-ленинской философии результаты исследований в указанных областях наук, прослеживает в своей книге процесс становления производи-

тальных сил, общественного бытия и общественного формирования человека как производительной силы и общественного существования.

В советской и в зарубежной литературе не было еще книги, в которой бы на столь обширном и многообразном материале и так широко ставились и решались все основные проблемы предьстории и первобытной истории человеческого общества.

Книга Ю. И. Семенова — труд энциклопедического характера, ибо в известном смысле подводит итоги всех основных исследований в этой области. В ней даны историографические обзоры, подробный указатель литературы на русском и иностранных языках и предметный указатель. Написана она живым, ясным языком.

Проф. Л. Карлик.

★

НИКОЛАЙ РОДИЧЕВ. Цветы отцу. Рассказы. Повесть. «Московский рабочий». 1966. 167 стр.

С главным героем повести «Цветы отцу» бывшим морским старшиной-сверхсрочником, ныне колхозником Симоном Аверьяновичем Подузовым мы знакомимся в один из самых, пожалуй, сложных моментов его жизни. Симон Аверьянович только что получил письмо от сына и своим отцовским сердцем сразу почувствовал, что за скупыми строчками письма, в котором сын сообщал, что он женился и что у него родился сын, скрывается что-то крайне плохое.

Уж давно замечал он, что вортится с Виктором неладное, да как-то все было ему недосуг заняться воспитанием сына. «Привыкший к строевой службе, Симон по простоте душевной полагал, что если сын отличник, то, значит, он на правильном пути... берет от старших все, без чего.. в жизни не обойтись». Но выходит, что напрасно понадеялся Симон на «воспитательную мощь коллектива». Сбился его сын с верной дороги, бросил дружить с примерным парнем Пашкой Филимоновым, связался со стилигой Романом Штепой, работу на заводе бросил, спекулировать иконами начал, бороду отпустил — одним словом, получилось так, что поросла его душа «мошжом зеленым» и «липкая сила» овладела сознанием.

Встретив сына в Москве, Симон поразился не только бороде Виктора, но еще больше словам его насчет того, что каждый человек имеет право «на свое собственное лицо» и независимость суждений. Эти слова сына неприятно удивили отца.

Перевоспитание сына Симон начинает с... обыска. Проверив содержание сыновних карманов, он говорит: «Приступим к допросу». В результате этих «воспитательных мер» обнаружилось, что Виктор — невинная жертва своей тещи Лии Ивановны, бывшей актрисы, и ее окружения из московской интеллигенции. Это они — коварные городские интеллигенты — внушили сыну Симо-

на Аверьяновича мысли о том, что каждый человек «имеет право» на свое собственное лицо, что он может иметь свое «независимое» суждение о произведениях искусства. Уезжая из города и увозя с собой сына, Симон не случайно вспоминает о сорняке в своем огороде, который он и решает по приезде выкорчевать с корнем Пашке же Филимонову, которого «поветрие», сказавшееся в отращивании бород, не коснулось и потому остающегося в городе, Симон с осуждением бросает: «Выучки вам армейской не хватает!»

Впрочем, у Н. Родичева положительные герои вообще привыкли брать жизнь штурмом, легко преуспевают в этом, и все им ни почем. Так, армейский сержант Шушунов в рассказе «За кружкой пива» не только «бессмазочные подшипники» изобрел, но и «китайский язык по ночам штудирует». А немецкий и английский языки он уже знал в совершенстве. Повышенный за такие беспримерные успехи в генеральский чин, этот бывший сержант «прокидывал мужичкой хваткой и виденнем сути дела» любые научные проблемы. «Через полгода его группа отковала такое ружьецо, что наша армия,— сообщает автор,— сразу опередила иные державы в вооружении этого типа на два добрых броска».

На этом крайне отрадном факте нам и хотелось бы закончить рецензию. Надеюсь, что у читателей сложилось уже довольно ясное представление о содержании и художественном уровне произведений Н. Родичева, собранных в этой книге.

Г. Макаров.

★

ЛИДИЯ ЛИБЕДИНСКАЯ. Зеленая лампа. Воспоминания. «Советский писатель». М. 1966. 408 стр.

Книга воспоминаний Лидии Либединской написана, как говорится, «не мудрствуя лукаво», ясным и чистым слогом. Читается она легко и с интересом. Это воспоминания о жизни автора, еще не пожилого даже человека, а потому они охватывают время, живое в памяти многих и всем интересное, — с середины двадцатых до конца пятидесятых годов. На страницах книги читатель встретит многих известных и любимых им людей: Александра Фадеева и Георгия Димитрова, Юрия Олешу и Марину Цветаеву, Артема Веселого и Михаила Светлова... Либединская не придумывает биографий или происшествий, она пишет о том, чему была свидетелем. Воспоминаниям веришь, они звучат живо и убедительно. (Впрочем, не могу пройти мимо одной неточности. Л. Либединская подробно рассказывает, как она вместе с художником Л. А. Бруни провожала на вокзал уезжавшую в эвакуацию Марину Цветаеву, передает даже растерянные и беспомощные слова поэта. А между тем люди, уезжавшие в эвакуацию вместе с Цветаевой и жившие вместе с ней в Елабуге, утверждают, что они слы-

ли из Москвы парохомом и на пристани провожал Цветаеву Пастернак.)

Первая часть книги приводит нас к весне 1942 года, когда для героини началась настоящего взрослому жизнь. Эта часть кажется мне наиболее интересной и передающей аромат времени. Мы входим в детство ребят двадцатых годов, в само то необыкновенное время, когда все только начиналось. Вместе с героиней любишь ее бабушку «из бывших», которая за рассказами о декабристах едва успеваешь помыть посуду и приготовить обед. О времени напоминают и неустойчивые чашки — детище первой пятилетки — с изображенными на них тракторами, подъемными кранами и другими признаками индустриализации, и совсем непонятные и ненужные, но частые тогда ломки и перестройки: «Мы помогали рубить столетние липы на Садовом кольце и с восторгом сажали в новых скверах чахлые прутья тополей». На похоронах Есенина час, как и четырехлетней героиню, потрясают рыдания Мейерхольда, а в день смерти Маяковского со школьной стены на нас смотрит неуклюжая, но трогательная и понятная надпись: «Умер Маяковский. Что делать?» Л. Либединской удалось — и это кажется большой удачей первой части ее книги — сохранить непосредственный взгляд на события тех лет.

Однако чем ближе воспоминания подходят по времени к нашим дням, тем все меньше начинает удовлетворять простая непосредственность в изображении событий, тем больше ждем мы осмысления происшедшего. К сожалению, этого нет.

Вторая и третья части книги посвящены Юрию Николаевичу Либединскому, совместной жизни и работе с ним автора воспоминаний. Л. Либединской хотелось поведать о своей любви, о своем счастье, «донести до людей всю чистоту, серьезность и праздничность наших отношений». Она пишет об этом с понятной увлеченностью. — увы! — порой переходящей в самоупоение.

Ю. Н. Либединский прожил большую жизнь в литературе и был активным ее участником. Судьба его, часто сложная и тяжелая, подверженная многим превратностям времени, вобрала в себя и радости и горести нашей эпохи. Но эта сторона жизни в рассказе оказывается как бы потесненной. Для характера второй и третьей частей воспоминаний типично такое построение: «Весна 1953 года была тревожная. Множество вопросов поднималось в душе. Что-то будет? А кругом ярко светило солнце, деревья одевались в белые и розовые пенные одежды, билось о берега по-весеннему синее море... Мы ездили по Крыму, поднимались на Ай-Петри, слушали шум летящих, стремительных вод Учун-Су, с наслаждением вдыхали густые ароматы Никитского сада».

С сожалением приходится отметить, что книга «Зеленая лампа» значительно проигрывает по сравнению с первой публикацией в журнале «Сибирские огни». Из нее исчез-

ли очень существенные детали, подробности, имеющие непосредственное отношение ко времени и людям, и одновременно появилось множество описаний поездок, отвлекающих от главной темы книги — писатель и время.

В. Швейцер.

★

Д. Б. ШЕЛОВ. Танаис — потерянный и найденный город. «Наука». М. 1967. 143 стр.

Летом 1955 года на хутор Недвиговка приехали из Москвы члены археологической экспедиции для раскопок древнего города, построенного в третьем веке до нашей эры при впадении реки Танаис (греческое название Дона) в Азовское море. В июне этого года археологи выедут туда в тринадцатый раз. Экспедицию снова возглавит ее бессменный руководитель — кандидат исторических наук Д. Б. Шелов.

Руины древнего городища, ставшие теперь археологическим заповедником, привлекают внимание туристов. По узким улочкам раскопанного Танаиса бродит множество экскурсантов, и они, конечно, задают вопросы о древнем городе, о найденных предметах.

«На эти вопросы не всегда бывает легко ответить быстро и кратко, — пишет Д. Шелов. — Понадобилась целая книга, чтобы рассказать о том, что мы знаем о древнем Танаисе, и о том, как мы это узнали».

Дважды разрушенный и дважды восстановленный город вот уже сто пятьдесят лет привлекает внимание археологов. С увлечением рассказывает автор историю поисков исчезнувшего Танаиса полковником Стемповским в начале прошлого века, описывает первые раскопки, предпринятые профессором Московского университета Леонтьевым, членом императорской археологической комиссии Тизенгаузенем и другими.

Книга проникнута романтикой поиска и радостью открытий. По незначительным, казалось бы, приметам автор рисует впечатляющую картину быта танаитов. Трагическая судьба сожженного и разрушенного мирного города, который на протяжении семи веков был форпостом античного мира в Приазовье, и сегодня волнует нас, живущих во второй половине двадцатого века.

Рассказы о далеком прошлом чередуются с яркими зарисовками работы экспедиции, быта и отдыха археологов — энтузиастов своего дела. Руины древнего города Танаиса — оля из интереснейших страниц истории нашей родины. Прочитать эту страницу и рассказать о ней людям — трудная и благородная задача археологов.

И. Ярославцев.

★

В. ПОЛЫНИН. Мама, папа и я. «Советская Россия». М. 1967. 320 стр.

Несколько игривое название этой книги может ввести в заблуждение иного чита-

теля. Однако тема этой интересной книги глубоко научная — наследственность и изменчивость живых существ.

На длительном пути своего развития человечество двигалось от незнания к знанию, от заблуждения к истине. Но, пожалуй, нет такой отрасли знания, в которой на протяжении многих веков и даже в наши дни высказывалось столько необоснованных гипотез, как в генетике. В семнадцатом веке профессор из Лейдена Дрелинкур отверг как неосновательные двести шестьдесят две теории наследственности. Он самоуверенно полагал, что только ему наконец удалось открыть истинные генетические законы природы.

«Несчастливы те люди, которым все ясно», — говорил уже в наше время Луи Пастер. Законы Дрелинкура оказались пригодными лишь для того, чтобы в списке вздорных и ошибочных гипотез занять место под номером 263. Читатель найдет в книге много примеров таких объяснений механизма наследственности и изменчивости, которые ныне кажутся смехотворными.

Увлекательный рассказ о бесчисленных исканиях, о мнимых и действительных открытиях дает возможность автору постепенно ввести читателя в круг понятий сложной науки и ее теории, показать подлинную борьбу идей. Люди, только понаслышке знавшие о генетике, прочитав эту популярную книгу, конечно, не станут специалистами, но им, несомненно, станет яснее великая роль этой науки в управлении сложными биологическими процессами.

Книга В. Полинниа состоит из небольших очерков, сообщающих читателю малоизвестные факты не только из области развития генетики, но и из области общебиологических воззрений. В ней обстоятельно рассказано о замечательных работах выдающихся русских генетиков Н. К. Кольцова, Н. И. Вавилова и других. С интересом ознакомится читатель с суцностью экспериментов с тутовым шелкопрядом, которые ведутся академиком Б. Л. Астауровым уже в течение нескольких десятилетий.

Многие положения, высказанные В. Полинниным, отнюдь не бесспорны. Однако они никогда не выходят за пределы научно возможных решений. Дискуссионность, остроту проблем некоторых разделов («Генетика и мы», «Внимание, гены!») скорее можно отнести к достоинствам, чем к недостаткам книги.

С. Смуглый.

★

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ДРЕВНЕЙ РУСИ. Труды Отдела древнерусской литературы. XXII. «Наука». М.—Л. 1966. 476 стр.

Во вступительной статье к сборнику редактор Д. С. Лихачев метко и тонко замечает. «Литература Древней Руси не имела своего «антагониста» в критике и литературоведении. Она отражалась в изобразитель-

ном искусстве и сама отражала это изобразительное искусство, как в противопоставленных зеркалах. Литература проверяла и комментировала себя в живописи всех видов».

Это взаимодействие словесного и изобразительного искусства на Древней Руси, достигшее особенного расцвета в XIV—XV веках, когда живопись занимала передовое положение в художественной культуре страны, показано в сборнике на ряде блестящих примеров и, являясь основной его темой, придает ему необходимую стройность, законченность и цельность.

Материал сборника распределен и сгруппирован очень удачно: каждая статья как бы логически, вытекает из другой, дополняя и развивая ее. Тематика же статей разнообразна на редкость: «Гибель Святополка в легенде и в иконописи» (М. В. Алпатов), «Древнерусский миниатюрист за чтением Псалтири» (Н. Н. Розов), «Плетение словес» и плетеный орнамент конца XIV в.» (О. Ф. Коновалова), «Вновь раскрытая икона «Сошествие во ад» из Ферапонтова монастыря и московская литература конца XV века» (В. К. Лаурина) и многое, многое другое.

В большинстве помещенных в сборнике статей, кроме раскрытия основной темы — чудесного преображения слова в картину (икону), — содержится немало различных познавательных сведений, дается социальный анализ эпохи, говорится о нашей древней культуре широко и разносторонне.

Очень интересна, например, статья Г. И. Вздорнова «Книгописание и художественное оформление рукописей в московских и подмосковных монастырях до конца первой трети XV в.». В статье, подробно знакомящей читателя с трудом монахов-книгописцев, украшавших «рукописание» непревзойденными по изысканной красоте заставками, выдвигается гипотеза о том, что Андрей Рублев получил художественное образование не в Троице-Сергиевом монастыре (нынешний Загорск), а в московском Симоновом монастыре, поскольку, как говорит автор, монахи Троицкой обители обучались «не столько изящным искусствам и литературе, сколько строгой практике иноческого послушания и хозяйственно-деловой сметке».

Исторична и содержательна статья Е. С. Сизова «Русские исторические деятели в росписях Архангельского собора и памятники письменности XVI в.». В ней убедительно показывается, как авторы росписи стремились «поставить монументальную живопись на службу государственным идеям, подчинить отдельные части росписей одной мысли — идее укрепления единовластия» — и как в ходе изучения росписей «все больше обнаруживается влияние самого Грозного на их сюжетное построение».

Три статьи посвящены мятежному трибуну XVII века — протопопу Аввакуму. Одна разбирает взгляды Аввакума на изобразительное искусство (А. Н. Робинсон), другая — историю его «иконного» изображе-

ния (В. И. Малышев), третья — пейзаж в аввакумовском «Житии» (А. С. Демин).

С подлинным увлечением, как хорошая историческая повесть, читается статья Н. А. Маясовой «Литературный образ Ксении Годуновой и приписываемые ей произведения шитья», ярко воссоздающая трагический образ царевны-инокини.

Столь же удачны и статьи «Живописный цикл Ферапонтова монастыря на тему Акафиста» (Т. Н. Михельсон) и «К вопросу о связях художественной культуры Древней Руси с античным миром» (М. Н. Свири).

Сборник богато иллюстрирован.

И. С.

★

Ю. ФИАЛКОВ. Ядро — выстрел! «Детская литература». М. 1966. 175 стр.

Было ли начало и будет ли конец мира? Материалистическая философия отвечает на этот вопрос отрицательно. Бесконечны формы движения материи, бесконечно время ее существования. Но ведь Солнце и звезды расходуют колоссальную энергию, которая излучается в мировое пространство. Рано или поздно эта энергия иссякнет и во Вселенной будут скитаться лишь черные погасшие шары. Исчезнет жизнь на Земле и на других планетах.. Неужели же правы церковники и конец мира неизбежен? Еще сравнительно недавно мы могли возражать им, лишь ссылаясь на общие положения диалектического материализма. Теперь же наукой изучены процессы, происходящие в недрах звезд, доказаны круговорот, цикличность этих процессов. Одни звезды гаснут, другие возникают вновь. Жизнь во Вселенной не исчезнет никогда.

Всего лишь полвека прошло с тех пор, как было открыто явление радиоактивного распада, но сейчас уже трудно найти такую область науки или техники, где это явление не нашло бы себе применения. Впрочем, известно об этом далеко не каждому. Современные физика, химия, и в особенности такие ее разделы, как радиохимия, требуют для знакомства с ними основательной подготовки и отпугивают своей трудностью многих «непосвященных». Оказывается, однако, что и о сложных вещах можно писать ясно. Свидетельство тому — книга крупного специалиста-радиохимика доктора химических наук Ю. Я. Фиалкова. Она написана живо, увлекательно и остроумно, и ее с полным правом можно назвать научно-художественной. Удивительно доходливо описывает Ю. Фиалков самые сложные явления. Прочитав книгу, читатель получает достаточно цельное представление о методах исследования, об истории радиохимии и ее многочисленных применениях в физике, химии, астрономии, в других науках и в технике.

Книга выпущена издательством «Детская литература», и она, несомненно, принесет большую пользу учащимся старших классов. Однако ее с удовольствием прочтут и

взрослые читатели, далекие от проблем физики и химии. Прочтут и узнают, как наука сумела познать себе огромные силы, которые таились в атомном ядре, и успешно использовать их в мирных целях.

А. Белановский,
кандидат технических наук.

★

Н. Д. ВОЛКОВ. Театральные вечера. «Искусство». М. 1966. 478 стр.

Известный театральный критик Н. Эфрос, написав Н. Д. Волкову одну из своих книг, назвал его «писателем о театре». «Я никогда не любил раздавать голые похвалы и порицания. Мне хотелось передать читателю самое видение предмета» — так сам Волков объяснял жанр своего литературного творчества.

«Театральные вечера» не просто мемуары в привычном для нас толковании этого слова. Книга Волкова органически соединяет в себе анализ, широкую эрудицию театрального историка и критика с непосредственным чувством человека, причастного к жизни театра, объективность оценок — с личными вкусами и симпатиями.

В книге — панорама театральной жизни двадцатых—тридцатых годов: рассказы о спектаклях Художественного театра и трех его студий, Малого, Камерного, Александринского и других; серия ярких и лаконичных портретов Немировича-Данченко, Станиславского, Мейерхольда, Качалова, Таирова, Вацангова, Эйзенштейна, Марджанова, Ахметели и других актеров, режиссеров, театральных художников, критиков, которых в разное время знал Волков. О многих из них написаны уже сотни страниц. Но для истории важен каждый новый штрих, психологический или историко-культурный ракурс, в котором увидел и осмыслил их мемуарист.

Кануло в неизвестность немало имен провинциальных актеров предреволюционной России, но без них трудно восстановить творческую атмосферу, в которой начинали свою жизнь в искусстве иные его выдающиеся деятели. Поэтому с таким интересом читаются страницы, посвященные культурной жизни провинциальной Пензы (города, где родился автор «Театральных вечеров», где родился и получили первый творческий «импульс» Мейерхольд и Татлин).

В ткань личных воспоминаний автор ввел отрывки из своих рецензий и статей в том виде, какими они в свое время были написаны. «Нельзя требовать от режиссерской части Малого театра следовать по стопам Станиславского, Мейерхольда или Таирова, но можно и должно настаивать на том, чтобы реализм этого театра не был реализмом времен очковыхских и покорения Крыма, чтобы режиссура его осознала, что современный художник — независимо от своего творческого «символа веры» — есть прежде всего человек убежденный в специфичности театральной формы...» — написал

в двадцатые годы Волков по поводу одного из спектаклей Малого театра. Эта мысль поставлена им «во главу угла» всей книги. И, осмысляя сложную, необычайно многообразную в своих формах жизнь советского театра первых десятилетий — непохожесть Художественного театра на его студии, театра Мейерхольда на театр Таирова, — автор старался найти исторические корни их театральных поисков, нащупать какие-то общие закономерности в развитии театра.

В книгу вошло далеко не все, о чем мог бы вспомнить и рассказать «театральный Пимен», как называла Волкова его друзья. И не все в ней равноценно — и по полноте изложения, и по глубине осмысления. Автор предполагал продолжить свои мемуары, но умер, когда «Театральные вечера» были еще в рукописи. Тем не менее в ряду других театральных мемуаров, которых, к счастью, появляется все больше в последние годы, книга Волкова займет свое место и поможет вернуть «начинающим желтеть театральным страницам» их молодость.

И. Гитович.

★

НИК. ЗАРУДИН. Закон яблока. Рассказы. «Советская Россия». М. 1966. 277 стр.

Николай Зарудин был широко известен читателям в двадцатых—тридцатых годах. Ныне, после тридцатилетнего забвения (Николай Зарудин погиб в 1937 году), с выпуском книги рассказов «Закон яблока» происходит как бы второе знакомство читателя с писателем.

Свой путь в литературе Н. Зарудин начал как поэт. Но главное, что создано им, — это рассказы, новеллы, философский роман «Тридцать ночей на винограднике» (1933) и большая социально-бытовая повесть «В чародном лесу» (1936).

Сборник «Закон яблока» знакомит нас только с рассказами писателя, но и они дают почувствовать особенности его мировосприятия, его стиля. Книга эта необычная — и по самобытной, оригинальной тематике, и по языку, который чем-то напоминает причудливо расшитую парчу.

В рассказе «Старина Арбат» очень хорошо показано душевное состояние демобилизованного красноармейца, вернувшегося в столицу. Рассказ несомненно автобиографический, написан, однако, не от первого лица (традиционное «я»), а от имени коллектива («мы») — настолько типичен для тогдашней революционной молодежи восторженный юноша, изображенный в этом рассказе.

Зарудин много ездил по родной стране. Где бы он ни бывал — на Севере, в Казахстане, в Армении, — он везде ощущал себя как в родной семье: ему было органически свойственно высокое чувство интернационализма. Писатель испытывал гордость при виде огромного строительного размаха конца двадцатых — начала тридцатых годов,

особенно он радовался, когда приходилось сталкиваться с людьми нового типа (рассказ о поездке в деревню «Спящая красавица»).

Зарудин, впрочем, нисколько не идеализировал и не приукрашивал жизнь — он свободно и смело касался и темных сторон быта. Рассказ «Путь в страну смысла» (о рыбных промыслах на Каспии) говорит не только о пафосе труда, но и о грязи тогдашних рабочих казарм, оставшихся со времен купцов-прасолов, о грубости нравов, бедности и т. п.

С тем же сталкивается писатель и в сторожке лесника (рассказ «Древность»). Но пафос рассказа — в словах героя (здесь он носит фамилию автора — Зарудин): «Передельывать! Передельывать! — шептал он, с трудом волоча ноги. — Камня на камне, бревна на бревне не оставить на этих зонючих и вшивых гнездовьях!»

В книге, о которой идет речь, собраны рассказы преимущественно описательного характера, и человек присутствует в них лишь эпизодично. Но и здесь есть живые человеческие характеры — например, колхозница в рассказе «Спящая красавица» или героиня рассказа, давшего название книге — «Закон яблока». Последний рассказ — очень тонкий — о любви. (Жаль, что в книгу не включен другой рассказ Зарудина о любви — «Ночная сирень», характеризующий чуткость писателя и к социальным вопросам современности.)

Талант Н. Зарудина находился в стадии становления. В некоторых его рассказах нередки пустоты, ощущается «длиннословие» и чужеродность. Словесная стихия иногда захлебывала писателя, и он порой, как челн в волную погоду, покорно отдавался течению.

Видны в книге и литературные влияния, которые все больше и больше преодолевались Зарудиным.

Хотелось бы, чтобы вслед за «Законом яблока» были изданы стихи Ник. Зарудина и его повесть «В народном лесу»: литературное наследство каждого подлинного таланта должно быть доведено до читателя.

Ник. Смирнов.

★

А. Н. РУБАКИН. Похвала старости. «Советская Россия». М. 1966. 267 стр.

Быстро исчезла с прилавков книжных магазинов эта книга с необычным, почти вызывающим названием и запоминающимся эпиграфом: «В старости печально только одно: то, что она тоже проходит...»

Книга А. Н. Рубакина, профессора медицины и публициста, далеко не первая книга о геронтологии — науке, изучающей медицинские, социальные, философские проблемы старости. Являясь исследовательской и полемической, она по-настоящему популярна и обращена не столько к специалистам, сколько к самому широкому кругу читате-

лей. А. Н. Рубакин рассказывает о далеко идущих выводах, которые следует делать из общей для всей нашей планеты тенденции к «постарению населения».

Используя данные современной медицины, статистики, истории, автор доказывает, насколько неточно представление о старости как о периоде физического, духовного, творческого угасания. Он резко выступает против попыток объяснить причины долголетия многих людей тем, что они живут вдалеке от цивилизации, с минимальной нервной и интеллектуальной нагрузкой. А. Н. Рубакин доказывает, что это заблуждение опирается на весьма неточную статистику. Возраст тех жителей гор, которые составляют главный процент долгожителей, исчислен «со слов», без всяких документов, грубо «округлен»... Зато возраст множества людей, живших до глубокой старости полной творческой, интеллектуальной жизнью, совершенно точно указан во всех энциклопедиях и справочниках. Автор называет десятки знаменитых ученых, политиков, художников, писателей, являвших собой пример сочетания долголетия и яркой творческой старости, доказывает, что долголетние больше в горах, нежели в горах. Интересно, в частности, что никакие испытания, нервные и физические перегрузки не помешали многим узникам Шлэнсельбурга или героям Парижской коммуны до преклоннейших лет сохранять ясность ума и свежесть мысли. Автор убеждает нас в том, что жизнь — это не только постепенный и неизбежный процесс, ведущий к умиранию. Это прежде всего активная защита организма от умирания, сопротивление процессам старения.

Очевидно, не все в книге бесспорно. Но автор защищает свои взгляды не только убежденно, но и с той ясностью и доказательностью, которая заставляет вспомнить лучшие книги его отца — знаменитого просветителя и популяризатора науки (кстати, являвшего собой пример необыкновенной творческой работоспособности, сохранившейся до самой его смерти на восемьдесят пятом году жизни).

Написанная с позиций жизненного оптимизма, опирающегося на выводы науки, многочисленные наблюдения и немалый жизненный опыт, «Похвала старости» заслуженно привлекла внимание многочисленных читателей.

Лев Разгон.

★

А. КВЯТКОВСКИЙ. Поэтический словарь. «Советская энциклопедия». М. 1966. 375 стр.

Исследователь поэзии, особенно начинающий, испытывает большие трудности, не имея обстоятельного руководства по теории поэзии. До недавнего времени такой книги не было, и вообще поэтика, важнейший раздел теории литературы, оставалась не одно десятилетие в забвении.

Поэтому «Поэтический словарь» А. Квятковского — ценная книга для всех, любящих и изучающих поэзию. Название книги, пожалуй, обедняет ее содержание, хотя построена она по принципу словаря. В этой книге читатель найдет не только толкование терминов (а их здесь шестьсот семьдесят), но и познакомится с историей вопроса, с различными взглядами на то или иное явление в поэзии, найдет убедительные поэтические комментарии. Содержание словаря составляют факты самой поэзии, а не сухое разъяснение терминов.

Например, в статье «Верлибр» широко излагается сущность свободного стиха. Автор рассказывает об особенностях верлибра зарубежных поэтов-символистов, русских классиков (Фет, Лермонтов, Блок), о свободном стихе в народной поэзии и в советской литературе (Маяковский). Само понятие верлибра предстает не застывшим — видно, как со временем менялось содержание термина.

В небольшой по объему статье «Баллада» содержится исчерпывающий материал о возникновении жанра баллады, о различных видах баллад (французская, английская, немецкая, русская классическая и советская) и об их художественных особенностях. Читатель узнает об изменении тематического и структурного характера баллады. Цельность представления достигается также тем, что автор приводит примеры не в отрывках, а дает целиком две баллады (Вийона и Н. Тихонова).

Вообще следует отметить, что автор работает не только о том, чтобы убедительно аргументировать то или иное определение, он берет для примеров прежде всего образцы настоящей поэзии и тем самым способствует воспитанию вкуса.

В книге сказано, как решались вопросы поэтики исследователями стиха — отечественными (Третьяковский, Востоков, Греч и другие) и зарубежными; несомненную ценность представляет и библиография избранной литературы по вопросам поэтики, приложенная в конце книги.

А. П. Квятковский отдал изучению вопросов поэтики более тридцати пяти лет, на каждой странице его книги чувствуется любовь автора к поэзии, и эту любовь внушает он читателю.

Л. Чеченева.

★

ДЭВИД УЭБСТЕР. Акулы-людоеды (Факты и легенды). Перевод с английского. «Мир». М. 1966. 263 стр.

Акулы... Невольное отвращение вызывают эти свирепые морские хищники, о которых рассказывают так много небывших. Д. Уэбстер попытался отделить подлинные факты от легенд. Он пишет о происхождении и образе жизни акул, о промысле на них в прошлом и настоящем. Читатель узнает и о том, что большинство акул, ока-

зывается, съедобно. Мясо полярной акулы, сбитающей в наших морях, по вкусу напоминает белугу.

Центральное место в книге занимает раздел о наиболее агрессивных видах акул. Это гигантская молот-рыба, вездесущая голубая акула, белая акула, рассредоточенная на огромных просторах, тигровая и наконец быстрая, как молния, акула-мако. Наиболее свирепыми, пишет автор, быстрыми и благодаря абсолютному превосходству массы самыми сильными из всех видов являются белые. Жадные и агрессивные, они подчас без малейшего повода нападают на пловцов, атакуют лодки. Основной удар они наносят головой и хвостом, пытаются прокусить обшивку.

Прозвище «людоед», замечает автор, по праву должно принадлежать тигровой акуле: она поглощает все, что попадает на ее пути,— от моллюсков, угрей, черепах и птиц до людей, тюленей и скатов

Редкое удовольствие доставляет рыболо-

вам-спортсменам охота на акулу-мако, весьма воинственную, бесстрашную и уверенную в себе. К слову сказать, рекорд в этом виде спорта принадлежит Эрнесту Хемингуэю: его спиннинг взял акулу-мако весом в триста сорок восемь килограммов.

Почти вся книга написана в интересной манере беседы с читателем. Попробуйте, предлагает автор, острым ножом разрезать пополам метровую рыбу — на это уйдет несколько минут, акула же рассечет ее на две части в какую-то долю секунды. Царю зверей — льву приходится долго терзать мясную тушу, тигровой же акуле достаточно, не снижая скорости, при встрече в море скользнуть по такой туше, чтобы отхватить двадцатикилограммовый кусок.

Предисловие к русскому изданию и постраничные примечания к тексту написал доктор биологических наук профессор Т. Расс; он же тактично указал на некоторые ошибки автора книги.

А. Глухов.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Г. Глезерман. Исторический материализм и развитие социалистического общества. 304 стр. Цена 65 к.

Г. Голиков. Революция, открывшая новую эру. 351 стр. Цена 1 р. 5 к.

Голос великой революции. Сборник. 224 стр. Цена 28 к.

П. Елизаров. Марк Елизаров и семья Ульяновых. 136 стр. Цена 30 к.

С. Зданович. Карл Вауман. 56 стр. Цена 9 к.

Об Октябрьской революции. Воспоминания зарубежных участников и очевидцев. 319 стр. Цена 88 к.

Я. Пономарев. Психика и интуиция (Над чем работают, о чем спорят философы). 256 стр. Цена 26 к.

Л. Фотиева. Из жизни В. И. Ленина. 320 стр. Цена 71 к.

«МЫСЛЬ»

Вопросы научного атеизма. Вып. 4. 463 стр. Цена 1 р. 62 к.

Х. Гарсия. Испания XX века. 488 стр. Цена 1 р. 80 к.

Г. Колесов. Социалистический коллектив и атеистическое воспитание. 64 стр. Цена 16 к.

Научное управление обществом. Вып. 1. 351 стр. Цена 1 р. 22 к.

Повышение эффективности технического прогресса (На материалах машиностроения). 176 стр. Цена 55 к.

Управление производством и организация труда. 216 стр. Цена 68 к.

А. Урлова. Книга, живущая в веках. 255 стр. Цена 1 р. 16 к.

А. Харламов. В тупике буржуазного техницизма. 78 стр. Цена 12 к.

«ЭКОНОМИКА»

А. Бугров и Г. Чубаров. Отраслевые и межотраслевые нормативы по труду. 232 стр. Цена 77 к.

В. Громов и В. Каменецкий. Производственные объединения в СССР. 166 стр. Цена 53 к.

О. Дейнено. Наука управления в СССР. 64 стр. Цена 11 к.

В. Ивановский. Капитальные вложения в торговле и их эффективность. 135 стр. Цена 35 к.

М. Мельнов и П. Серб. Научная организация труда на рабочем месте. 187 стр. Цена 68 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

В. Анчишкин. Арктический роман. 576 стр. Цена 1 р. 3 к.

Б. Галанов. Искусство портрета. 207 стр. Цена 54 к.

В. Гоффеншефер. Из истории марксистской критики. Поль Лафарг и борьба за реализм. 451 стр. Цена 1 р. 16 к.

А. Малышко. Дорога под яворами Стихи. Перевод с украинского. 279 стр. Цена 56 к.

Э. Межелайтис. Карусель Стихи. Перевод с литовского. 231 стр. Цена 64 к.

Нам пишут из деревни. Сборник. Составители И. Винниченко и Г. Радов. 469 стр. Цена 76 к.

О. Писаржевский. Ферсман. Повесть. 399 стр. Цена 71 к.

Ф. Таурин. Путь к себе. Роман. 219 стр. Цена 49 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Материнская любовь. Рассказы непальских писателей Перевод с непали. 175 стр. Цена 37 к.

Д. Нгуги. Не плачь, дитя. Роман. Перевод с английского. 166 стр. Цена 37 к.

Л. Пантелеев. Избранное. 608 стр. Цена 1 р. 9 к.

М. М. Х. Русва. Танцовщица. Повесть. Перевод с урду. 321 стр. Цена 65 к.

Французские поэты. Избранное в переводах Арга. 150 стр. Цена 30 к.

Б. Шинкуба. Мои земляки. Роман в стихах. Перевод с абхазского. 158 стр. Цена 39 к.

«МОЛОДАЯ ГЕАРДИЯ»

Д. Блынский. Избранная лирика. 32 стр. Цена 6 к.

З. Журавлева. Ключ от Вселенной. Повесть. 480 стр. Цена 66 к.

Л. Корнюшин. Где-то в России... Повести. 318 стр. Цена 59 к.

С. Ласкин. Воль других. Повесть и рассказы. 399 стр. Цена 51 к.

А. Моруа. Жорж Санд Перевод с французского Е. Булгаковой. 412 стр. («Жизнь замечательных людей»). Цена 1 р. 76 к.

Б. Недогонов. Избранная лирика. 32 стр. Цена 5 к.

Прометей. Историко-биографический альманах. Том II («Жизнь замечательных людей»). 367 стр. Цена 1 р. 27 к.

Р. Рождественский. Сын Веры. Новая книга стихов. 160 стр. Цена 44 к.

«ИСКУССТВО»

А. Зись. Искусство и эстетика. Введение в искусствоведение. 440 стр. Цена 1 р. 72 к.

Л. Малюгин. Насмешливое мое счастье. Сценическая повесть в письмах. В 2-х частях. 50 стр. Цена 17 к.

В. Мишоша. Годы и страны. Записки кинооператора. 568 стр. Цена 1 р. 67 к.

И. Ольшанский. Восьмой цвет радуги. Странное происшествие в 2-х действиях. 72 стр. Цена 18 к.

И. Соловьева и В. Шитова. Жан Габен. 188 стр. Цена 38 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Алексин. А тем временем где-то... Повесть и рассказы. 158 стр. Цена 28 к.

К. Алтайский. Цюльковский рассказывает. 287 стр. Цена 64 к.

Г. Х. Андерсен. Сказки. Рис. В. Конашевича. 176 стр. Цена 86 к.
Л. Бать. Море бушует. Повесть о писателе А. С. Новикове-Прибое. 191 стр. Цена 40 к.
В. Голявинин. Города и дети. 180 стр. Цена 42 к.
Ж. Зобель. Мальчик с Антильских островов. Перевод с французского. 222 стр. Цена 41 к.
Н. Крупная. Владимир Ильич Ленин. 16 стр. Цена 16 к.
Э. Пашнев. Цветы из чужого сада. Повесть. 128 стр. Цена 28 к.

«НАУКА»

Н. Голубцова. У истоков христианской церкви. 144 стр. Цена 30 к.
М. Горанович. Крах Зеленого Интернационала. 282 стр. Цена 1 р. 9 к.
Кибернетика. 315 стр. Цена 1 р. 6 к.
А. Копанец. Ленинская философия и прогресс физических наук. 198 стр. Цена 66 к.
Э. Леви-Провансаль. Арабская культура в Испании. Общий обзор. Перевод с французского. 96 стр. Цена 32 к.
В. Мороз. Физика планет. 496 стр. Цена 2 р. 12 к.
От Октября к строительству коммунизма. 399 стр. Цена 1 р. 85 к.
Примечательные природные ландшафты СССР и их охрана. Ботанические, геологические, озерные и зоологические заказники СССР. 176 стр. Цена 77 к.
Советское языкознание за 50 лет. Сборник статей. 427 стр. Цена 2 р. 44 к.
Художественный опыт литератур социалистических стран. 367 стр. Цена 1 р. 67 к.
П. Шаститко. Нана Сахиб (Рассказ о народном восстании 1857—1859 гг. в Индии). 168 стр. Цена 56 к.
Я. Ю. Щепанский. В рай и обратно. Перевод с польского. 208 стр. Цена 66 к.

«ПРОГРЕСС»

А. Гилия. Свойки. Роман. Перевод с румынского. 317 стр. Цена 1 р. 4 к.
С. Доржпалам. Избранное. Стихи. Перевод с монгольского. 79 стр. Цена 14 к.
М. Картер. Избранное. Стихи. Перевод с английского. 63 стр. Цена 13 к.
С. Марч. Каждый день что-то гибнет. Перевод с испанского. 189 стр. Цена 41 к.
А. Мэддисон. Экономическое развитие в странах Запада. Перевод с английского. 374 стр. Цена 1 р. 45 к.
П. Неруда. Птицы Чили. Перевод с испанского. 80 стр. Цена 16 к.

Поэты Ливана. Перевод с арабского. 79 стр. Цена 16 к.
Х. Пуяг. В год января. Роман. Перевод с испанского. 261 стр. Цена 61 к.
Р. Ретамар. Своими руками. Стихи. Перевод с испанского. 111 стр. Цена 26 к.
Н. Стефанов. Теория и метод в общественных науках. Перевод с болгарского. 271 стр. Цена 1 р. 4 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Н. Димчевский. Калитка в синеву. Повесть. 115 стр. Цена 15 к.
Л. Попов. Спасибо, доктор! Стихи. 104 стр. Цена 17 к.
Э. Севостьянников. Степь в снегу. Рассказы. 69 стр. Цена 12 к.
Д. Фурманов. Красный десант. Повесть. 56 стр. Цена 3 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

К. Горшенин. Кодификация законодательства о труде. 224 стр. Цена 1 р. 24 к.
Н. Гуновская. Деятельность следователя и суда по предупреждению преступлений несовершеннолетних. 112 стр. Цена 38 к.
Н. Жогин. Борьба с хулиганством — дело всех и каждого. 64 стр. Цена 9 к.
В. Иванов. Уголовноправовая охрана основных прав граждан. 136 стр. Цена 44 к.
М. Кольнер. Из практики следователя. 64 стр. Цена 7 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

П. Бугаенко. А. В. Луначарский и литературное движение 20-х годов. Саратов. Издательство Саратовского университета. 204 стр. Цена 65 к.
И. Василенко. Два брата. Повесть. Ростов-на-Дону. Ростовское книжное издательство. 67 стр. Цена 19 к.
И. Задонский. Донские вечера. Исторические этюды. Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство. 287 стр. Цена 32 к.
К. Каладзе. За час до старости. Стихи. Перевод с грузинского. Тбилиси. «Литература да хеловнеба». 95 стр. Цена 24 к.
Начало. Стихи молодых поэтов Черноземья. Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство. 190 стр. Цена 47 к.
Э. Раннет. Гуси. Чаша и змея. Кривоногая роза. Пьесы. Перевод с эстонского. Таллин. «Ээсти Раамат». 199 стр. Цена 53 к.
Г. Скульский. Иностранка. Повести. Таллин. «Ээсти Раамат». 292 стр. Цена 50 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров**
 (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
 Почтовый адрес. Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 22/IV 1967 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 8/VI 1967 г.
 А 02572. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
 Зак 1390. Тираж 148.500.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636